

Достоевский обращает внимание читателя буквально на все: как вошел князь, как впустил его в квартиру Рогожин, как вошел сын хозяина (осторожно), куда он положил ключ, как обратился к князю. Такая фиксация действий глубоко мотивирована.

Особенно остро выявляется противопоставление времени общего, «обычного» с необычным временем, которым живет Мышкин в своих переживаниях. Идет разговор о первом сегодня посещении Мышкиным дома Рогожина. Но и во время беседы лишь один единственный вопрос интересует князя, он наконец выговаривает его, задыхаясь: «Где же... Настасья Филипповна?»

«Она здесь», - медленно проговорил Рогожин, как бы капельку выждав ответить: он поднял глаза и пристально посмотрел. Автор еще и еще раз подчеркивает тишину дома (говорил шепотом, не торопясь, медленно, задумчиво).

И время движется медленно, пока, наконец, герои не входят в кабинет. Здесь опять следует детальное описание обстановки: занавеска спущена, ходы закрыты, в комнате очень темно. Но и сама медлительность описания начинает работать на ускорение «внутреннего» времени, времени переживания, поскольку все острее и яснее становится, что надвигается что-то зловещее.

Тишина и темнота - вот два слова, преобладающие в описании этой сцены. «Рогожин, взяв князя за руку, нагнул к стулу, сам сел напротив, придвинув стул так, что почти соприкасался с князем коленами». С минуту молчали.

Мышкин боится своих вопросов, своих догадок, которые требуют разрешения, противится им, но первым не выдерживает молчания: «Рогожин! Где Настасья Филипповна?» - прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами.

Поднялся и Рогожин. «Там!» - шепнул он, кивнув головой за занавеску. «Спит?» - шепнул князь. Рогожин пристально посмотрел (время возвращается назад - *С.А.*), как давеча... Приподнял портьеру, остановился, оборотился опять: «Входи!».

Князь должен войти, ведь он сам допытывался, где же Настасья Филипповна. И князь вошел. Неторопливое, на первый взгляд, течение художественного времени все же стремительно приближает развязку.

Князь шагнул еще ближе, шаг, другой - и остановился. Он стоял и всматривался минуту или две. Оба ничего не говорили, но предчувствие

князя начинало сбываться. У князя билось сердце так, что, казалось, «слышно было в комнате, при мертвом молчании комнаты». Молчание и так подразумевает тишину, но эпитет «мертвое» придает молчанию и всей атмосфере комнаты, на наш взгляд, зловещий оттенок.

Он уже пригляделся, мог различить постель, на которой кто-то спал совершенно неподвижным сном. Кто-то... Достоевский еще не приводит героя к окончательному решению.

Снова время замедляется подробнейшим описанием разбросанной одежды, богатого белого платья, цветов, лент, кружев. «В ногах сбиты в комок какие-то кружева, и на белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначился кончик обнаженной ноги; он казался как бы выточенным из мрамора и был ужасно неподвижен». Был не просто неподвижен, а неподвижен в высшей степени - «ужасно». Достоевский словно с кинокамерой в руках кинематографически выпукло и точно фиксирует интерьер комнаты.

О чем думает в это время Мышкин? Нашел ли он ответ на мучивший его вопрос? Князь глядел и чувствовал, что «чем больше он глядит, тем мертвее и тише становится в комнате». В комнате до того тихо, что Мышкин вздрагивает, когда в этой чудовищной тишине раздастся жужжание проснувшейся мухи, пролетевшей над кроватью. Муха вывела героев из оцепенения (вышли, уселись в тех же стульях, один против другого). Но прежние ли это герои?

«Князь дрожал все сильнее и сильнее и не спускал своего вопросительного взгляда с лица Рогожина». Он уже все понял, он совершенно не слушает Рогожина, хотя и пытается, «напрягая все силы и спрашивая взглядом»:

«- Это? - выговорил он наконец...»

- Это... я, - прошептал Рогожин и потупился.

Помолчали пять минут.»

Таким образом, противопоставляя движение художественного времени переживаниям персонажей, Ф.М. Достоевский рисует одну из самых лучших сцен своего романа.

Мышкин с самой встречи с Рогожиным противится его просьбе, не хочет следовать за ним, но не может не идти, ведь он должен узнать, где Настасья Филипповна, что с ней, а сердце подсказывает ему, что разрешение загадки знает только Рогожин. Художественное время движется, и, несмотря на внутреннее сопротивление героев,

приближается развязка, глубоко обнажающая внутренний мир героев.

Чрезвычайно интересным, на наш взгляд, примером организации временного «контрапункта» в романе «Идиот» является у Достоевского игра на повторяющейся художественной детали. Здесь само повторение, многократное описание и возвращение к подробностям словно бы одновременно и замедляют, и усиливают действие.

Так, в разговоре князя с Рогожиным не раз и не случайно мелькает тема ножа, уже отмечавшаяся в литературе о Достоевском [33, с.72]. Мышкин сначала просто упоминает нож: «Ведь значило бы, что она бессознательно в воду или под нож идет, за тебя выходит». Рогожин перехватывает это слово. «В воду или под нож! - проговорил тот наконец. - Хе! Да потому-то и идет за меня, что, наверно, за мной нож ожидает».

В человеческом общении бывают моменты, когда собеседники одновременно пронзены одной и той же мыслью и становятся как бы совладельцами общей тайны. Так и здесь: Мышкин не мог подумать, что раз Настасья Филипповна ищет у Рогожина смерти и скорее всего получит смерть от его руки, то нужно спасти, защитить ее от Рогожина. «Ну, как же ей теперь за ним быть? Как ее к этому допустить?» Рогожин же, в свою очередь, понимая это, думает о том, что Мышкин боится произнести, думает о том, о чем Мышкин страшится догадываться.

«Это все ревность, Парфен, все это болезнь, все это ты безмерно преувеличил...», - пробормотал князь в чрезвычайном волнении». И эта взаимность достигает меры смертельно опасной.

Снова возникает тема ножа. Князь в рассеянности берет со стола нож, а Рогожин настойчиво отнимает его. «Оставь, - проговорил Парфен и быстро вырвал из рук князя ножик, который тот взял со стола, подле книги, и положил его опять на прежнее место».

Князь раскаивается в нанесенном визите: «...Я как будто знал, как будто предчувствовал, не хотел я ехать сюда. Я хотел бы все здешнее забыть, из сердца прочь вырвать! Ну прощай!.. Да что ты!» - Князь в рассеянности опять было захватил ножик, и опять Рогожин его вынул у него из рук и бросил на стол». Грамматическая конструкция глагола «опять было захватил», состоящая из наречия «опять», которое указывает на то, что подобное действие уже имело место ранее, и глагола-связки «было», непосредственно отсылающего читателя к

прошлому, думается, употреблена Достоевским в данном контексте отнюдь не случайно. И по отношению к следующему действию Рогожина автор вновь употребляет только что примененное наречие «опять»: опять вынул нож. Такая повторяемость в дальнейшем должна быть объяснена всем ходом развития действия романа. Так, по мнению М. Бахтина, происходит фиксация временных моментов, в частности, значения прошлого в его соотношении с настоящим.

Постоянно все мысли героев возвращаются ненароком к ножу. Тема ножа проходит через всю сцену. «Видя, что князь обращает особенное внимание на то, что у него два раза вырывают из рук этот ножик, Рогожин с злобною досадой схватил его, заложил в книгу и швырнул книгу на другой стол».

Далее снова замедленное безобиднейшее «бытовое» течение времени, связанное, так сказать, «с предметом домашнего обихода», приобретает и новый план, и неожиданное внутреннее ускорение. Приведем достаточно объемную цитату диалога героев, дающую точное представление о грядущем.

«- Ты листы, что ли, им разрезаешь? - спросил князь, но как-то рассеянно, все еще как бы под влиянием сильной задумчивости...

- Да, листы...

- Это ведь садовый нож?

- Да, садовый. Разве садовым ножом нельзя разрезать листы?

- Да он... совсем новый.

- Ну, что ж, что новый? Разве я не могу сейчас купить новый нож? - в каком-то исступлении вскричал, наконец, Рогожин, раздражавшийся с каждым словом».

В. Днепров отмечает, что «своей реакцией на, казалось бы, ничего не значащее движение Мышкина Рогожин говорит ему больше и прямее, чем мог бы сказать словами» [33, с.74]. Князь вздрогнул и пристально поглядел на Рогожина.

«- Эх ведь мы! - засмеялся он вдруг, совершенно опомнившись. - Извини, брат, меня, когда у меня голова тяжела, как теперь, и эта болезнь... Я совсем, совсем становлюсь такой рассеянный и смешной. Я вовсе не об этом хотел и спросить-то... не помню о чем. Прощай...»

В разговоре с Рогожиным Мышкин достигает душевной близости, братается с ним, меняясь крестами, знает, как много хорошего в

Рогожине, любит его. И вместе с тем идущая из глубины мрачная мысль говорит ему, что блестящий опасный нож, увиденный им в комнате Рогожина, нанесет ему смертельный удар. Мышкин ужасается этой мысли, укоряет себя, чувствует себя ею загрязненным, но не может от нее отделаться, не проверив ее.

И он проверяет. Полностью подтверждается высказывание М. Бахтина о мире Достоевского и его героях. «В мире Достоевского все и всё должны знать друг о друге, должны вступить в контакт, сойтись лицом к лицу и заговорить друг с другом» [34, с.239].

С самого утра томит его предчувствие, он хочет увидеть «эти давнишние глаза», чтобы убедиться, что он встретит их там, у этого дома. Темпоральный указатель «утро» выполняет функцию завязки важнейших событий. Князь выбежал из вокзала, очнулся только перед лавкой ножовщика. Причем, Мышкин не замечает, что стоит и оценивает «в шестьдесят копеек один предмет с оленьим черенком». Это был точно такой же нож, что и дома у Рогожина.

Мышкин понимает (и Достоевский дает понять это читателю), что Рогожин, если следит за ним, то будет поджидать его около того дома на Петербургской. Князь судорожно устремляется, но видит там «только несчастного человека».

Почему они не подали руки друг другу? Князь размышляет об этом постоянно. «Или в самом деле было что-то такое в Рогожине, то есть в целом сегодняшнем образе этого человека, во всей совокупности его слов, движений, поступков, взглядов, что могло оправдывать ужасные предчувствия князя и возмущающие нашептывания его демона?»

Достоевский ясно дает почувствовать, что князь боится своих предчувствий, пытается отбросить их, понимая, что они унижают Рогожина. «Была минута в конце этого длинного и мучительного пути с Петербургской стороны, когда вдруг неотразимое желание захватило князя - пойти сейчас к Рогожину, дожидаться, обнять со стыдом, со слезами, сказать ему все и кончить все разом».

Но минута упущена. Движения художественного времени противопоставляются переживаниям персонажей. Может быть, Мышкин и пошел бы к Рогожину, но время назад не воротить. Утро - символ начала катастрофы. Время сжато, замкнуто, психологизировано.

Время неумолимо движется к развязке. Он стоял уже у дверей своей гостиницы... И опять главный герой произведения во власти своих

дум. Не понравилась ему эта гостиница, ее коридоры, номер, не понравились с первого взгляда. Он даже несколько раз в день «с каким-то особенным отвращением» думал, что надо будет сюда возвратиться.

И все-таки Мышкин протестует: «Да что это я, как больная женщина, верю сегодня во всякое предчувствие!» Мышкин весь перед читателем, автор раскрывает его внутренний мир: «Новый прилив стыда, почти отчаяния приковал его на месте».

Читатель не может не обратить внимания на то, как медленно, с какими внутренними противоречиями подходит князь к дому (он остановился на минутку, порывисто двинулся идти, опять остановился).

Темно и тяжело стало на душе князя, и в воротах, «и без того темных», было очень темно от надвинувшейся тучи. Туча разверзлась и прошла.

И вдруг внимание князя привлекла чья-то фигура в глубине ворот, в полутемноте, у самого входа на лестницу. По-видимому, человек кого-то ждал, но быстро промелькнул и исчез. Князь вдруг почувствовал, что это был Рогожин. Но вновь упущено драгоценное мгновение (Князь бросился догонять).

Автор подробно описывает каменную, узкую, темную лестницу, которая вилась около толстого каменного столба, углубление, «не более одного шага ширины и вполшага глубины». Здесь стоит человек. Мышкин чувствует, что Рогожин здесь, и ему вдруг захотелось пройти мимо и не глядеть направо. Он ступил уже один шаг, но не выдержал и обернулся. Лестница - пространство катастроф героя, место его мучительных раздумий.

Персонажи узнали друг друга.

Далее события развиваются с необычайной быстротой: вдруг встретились, уже успел ступить один шаг, стояли почти вплоть, вдруг схватил, повернул. Мышкин хотел «яснее видеть лицо». Кульминация и развязка наступают мгновенно, эмоционально насыщенное время приближает их. Глаза Рогожина засверкали, бешеная улыбка исказила лицо, правая рука поднялась, что-то блеснуло в ней.

Итак, Мышкин проверил свою догадку, от которой не мог уже отделаться с момента посещения дома Рогожина. Вдруг как бы что-то разверзлось перед ним, «мгновение, - пишет Достоевский, - продолжалось полсекунды». Спрессованность времени художественного и физического необычайна. Ясно и сознательно князь помнил лишь

начало, затем сознание его угасло мгновенно. Наступил полный мрак.

Не хотел идти Мышкин, но шел, хотя и помимо своей воли. Эту роковую встречу приближает движение художественного времени. «Сердце его замерло! Сейчас все разрешится! - с странным убеждением проговорил он про себя». И все же, когда нож уже сверкнул над его головой, он крикнул: «Не верю!..»

Таким образом, в результате проведенного исследования, мы пришли к выводу о том, что Ф. М. Достоевский не пользуется в своих произведениях непрерывным историческим и биографическим временем, то есть строго эпическим временем. Он «перескакивает» через него, он сосредотачивает действие в точках кризисов, переломов и катастроф, когда миг по своему внутреннему значению приравнивается к «биллиону» лет, то есть утрачивает временную ограниченность.

Действия сосредотачиваются только в двух «точках»: на пороге (у дверей, при входе, на лестнице, в коридоре и т.д.), где совершается кризис и перелом, или на площади, заменой которой обычно бывает гостиная (зал, столовая), где происходит катастрофа. И изображая потрясения своих героев, Ф. М. Достоевский опирается на соотношения и противопоставления движения общего художественного времени и времени частного в индивидуальных переживаниях героев. Достоевский подчеркивает, что поступки его героев в настоящем во многом определяются их прошедшим и зависят от будущего. Индивидуальные потоки времени, совпадающие с временем общим и расходящиеся с ним, помогают читателю яснее увидеть роль той или иной психологической ситуации. Так, своей реакцией на казалось бы ничего не значащее движение герой говорит больше и прямее, чем мог бы сказать словом.

Остро обнаруживается противопоставление художественного времени во внутренних монологах. Но даже сама медлительность описания, к которой прибегает писатель в решающих сценах своих произведений, ускоряет «внутреннее» время. И игра на повторяющейся художественной детали работает на одновременное ускорение и замедление течения художественного времени.

Автор «Идиота» в черновиках напишет о своем герое: «Главное то, что всем нужен» [IX, с.257] - и всем ходом повествования докажет обратное - никому не нужен.

БУДУЩЕЕ В МЕЧТАХ И МЫСЛЯХ ГЕРОЕВ РОМАНА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»



Герои Ф. М. Достоевского - люди, живущие под постоянным гнетом почти физически давящих на их мозг тяжелых жизненных впечатлений, и в то же время они, предельно «изголодавшиеся» по настоящему человеческому общению, постоянно осознают свое одиночество. Они стремятся поделиться своими мыслями о будущем с окружающими их людьми. Будущее, неразрывно связанное с настоящим, живет в их мечтах.

Как отмечает Г. М. Фридлендер, «автор стремится то с помощью «стенограммы» их внутренней речи передать читателю лихорадочно проносящиеся в их голове вихри мыслей, то обрисовать моменты незапного, столь же лихорадочного общения между ними. В эти моменты стена, обычно стоящая между героями, исчезает, и они пытаются, нравственно компенсируя себя за долгое молчание, сразу, «вдруг», за один раз высказать собеседнику всю полноту накопившихся у них, обычно спрятанных в глубине души мыслей и чувств» [35, с.35].

Герои ищут себя, «проверяют» свои безумные теории в городе, контрасты которого обострены до предела. Иногда «Преступление и наказание» называют «петербургским романом». Достоевский изображает в своих произведениях два города: «город пышный» и «город бедный». Так, в романе «Униженные и оскорбленные» Петербург мрачный, угрюмый, с давящей, одуряющей атмосферой, с зараженным воздухом, с драгоценными палатами, всегда запачканными грязью, с тусклым, бледным солнцем и с злыми, полусумасшедшими людьми.

В «Преступлении и наказании» Петербург больной, мрачный, угрюмый, но автор вместе с героем романа любит его мучительной любовью. Город контрастов: «полнощных стран краса и диво» и «дома без всякой архитектуры», трактиры, распивочные, ночлежки... Но именно второй Петербург понятен герою романа, некогда ему любоваться архитектурой. Именно здесь, в «бедном городе» жил сам писатель, работая над романом, и сюда же поселил Раскольникова. В переулке, недалеко от Сенной, раздавлен Мармеладов; вместе с детьми выходит на улицу, заставляя их петь, Катерина Ивановна, а затем

умирает; здесь позже застрелится Свидригайлов, боявшийся смерти; бросится в воду испитая женщина, «напившаяся до чертиков»; здесь встретит Раскольников обесчещенную девочку; здесь он сам будет каяться в совершенном преступлении. Так картины будущего, становясь реальностью, дополняют жизнь города.

Огромную роль в романе играет и городской пейзаж. «На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, - все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши». Раскольникову более по душе дождь, звуки шарманки, свет сквозь дождевую пелену газовых фонарей.

Сны в произведениях Достоевского нередко переходят в реальность, а реальность напоминает сон. Раскольников проснулся в холодном поту и представил смерть старухи. Бредовые видения Раскольникова похожи на действительность, а действительность, картины реальной жизни (убийство старухи-процентщицы; появление «человека из-под земли», называющего Родиона «убивцем»; «страшные, отчаянные вопли с улицы») похожи на кошмарные грезы безумного.

Тип сна в произведениях Достоевского связан с авторским замыслом, с формой произведения, с ролью сна, с характером героя [36, с.23]. По мнению современных исследователей Э. П. Хомича и С. А. Шпагина, у Достоевского встречается «целая цепь сновидений, содержание которых соотносится с реальными событиями» [36, с.23].

Толкает на преступление Раскольникова и ужасное положение бедных людей, «униженных и оскорбленных». Достоевский рисует историю двух семейств - Мармеладовых и Раскольниковых.

Знакомится Раскольников с Мармеладовым в трактире. Родион узнает страшную историю жизни этой семьи (прошлое вплетается в ткань романа), глава которой - опустившийся пьяница. Мармеладов женился на Катерине Ивановне, и своим поступком спас ее. Приехав в Петербург с семьей, он находит работу, но уже после того, как Сонечка стала жить по желтому билету. Казалось, к семье вернулось благополучие, но тут Мармеладов снова срывается. Он заложил все, украл деньги из сундука жены и пятый день ночует на берегу Невы, а в день знакомства с Раскольниковым ходил к Соне просить похмелиться.

Раскольников доводит Мармеладова до дому и становится свидетелем сцены между мужем и женой. Катерина Ивановна «была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами». Раскольников оставляет этой семье свои последние деньги и уходит.

Будущее безрадостно и беспросветно. Вскоре, раздавленный лошадью, умрет Мармеладов. За ним уйдет из жизни и Катерина Ивановна со словами: «Довольно!.. Пора!.. Прощай, горемыка!.. Уездили клячу!.. Надорвала-а-сь!» Свидригайлов устраивает детей Мармеладовых. Но будущее их безрадостно и неизвестно.

Раскольников часто думает о детях. В том обществе, где он живет, дети не могут оставаться детьми, в семь лет они развратны.

Еще одна из причин, толкнувших героя романа на преступление, положение его собственной семьи. Мать прислала Роде в начале романа письмо, в котором сообщала о Дунечке, изгнанной, а затем вновь восстановленной в обществе. Теперь Дунечка выходила замуж за Лужина, дальнего родственника Марфы Петровны, в доме которых она была гувернанткой. Но Раскольников против этого брака. В результате - Лужин изгнан из их семьи. Дунечка позже выйдет за Разумихина.

Вот как описано признание в убийстве Раскольникова в комнате Сони. «Опять он закрыл руками лицо и склонил голову вниз. Вдруг он побледнел, встал со стула, посмотрел на Соню и, ничего не выговорив, пересел машинально на ее постель». «Та минута», о которой он думал, наступила. И в этот миг настоящее у Раскольникова переплетается с прошедшим. «Перед последним мгновением, когда герой, наконец, назовет Соне убийцу Лизаветы, он опять во власти, по мнению Н. Чиркова, тех переживаний, которые владели им непосредственно в момент убийства» [37, с.94]. Эта минута была ужасно похожа, в его ощущении, на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из петли топор, и почувствовал, что уже «ни мгновения нельзя терять более».

От описания переживаний Раскольникова Достоевский переходит к описаниям размышлений Сони: «А между тем теперь, только что он сказал ей это, ей вдруг и показалось, что и действительно она как будто это самое и предчувствовала».

Раскольников же, отвечая на ее вопросы, пытается объяснить причину убийства и, отчасти, свою теорию Соне: «Ну ... ну, вот я решил,

завладев старухиними деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета, - и сделать все это широко, радикально, так чтоб уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать...» Все, что отражается в душе Раскольникова, принимает, по мнению М. Бахтина, «форму напряженнейшего диалога с отсутствующими собеседниками... и в этом диалоге он и старается свою «мысль решить»... Идея Раскольникова раскрывает в этом диалоге разные свои грани, оттенки, возможности, вступает в разные взаимоотношения с другими жизненными позициями... Утрачивая свою монологическую абстрактно-теоретическую завершенность... идея приобретает противоречивую сложность и живую многогранность идеи-силы, рождающейся, живущей и действующей в большом диалоге эпохи и перекликающейся с родственными идеями других эпох» [34, с.117-118].

Идея этого убийства зародилась в голове Раскольникова в результате его любимого занятия, о котором он говорит так: «Я лучше любил лежать и думать. И все думал...» И зародилась у него сначала мечта, о которой читатель узнает с первых страниц романа. Мечты эти раздражали его «безобразною, но соблазнительною дерзостью». Сначала он не верил в них, но месяц спустя «безобразную» мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил. И даже шел «делать пробу». «С первых страниц «Преступления и наказания» мы застаем Раскольникова в сфере неотступных и уже давних его размышлений: «...Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно?...». Интонационная окраска внутреннего монолога очень сильна и обозначена не темпераментом, не житейскими обстоятельствами, не страстями, а идеей, которая тревожит, как своего рода страсть», - отмечает А. В. Чичерин [38, с.418].

Раскольников живет в мире своих мечтаний, но звуки и предметы внешнего мира (звон колокольчика, вид часов и др.), врываясь в этот выдуманный мир, напоминают ему о чем-то и вызывают в представлении картину будущего. Так, звон колокольчика в двери «вдруг ему что-то напомнил и ясно представил». «И тогда стало быть, так же будет солнце светить!...» - как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова». Отдавая часы в заклад, он помнит, что «еще и за

другим пришел». При виде старухи он смотрит на нее и не спешит уходить, «точно, - пишет Достоевский, - ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно...»

И все-таки мечта так завладела им, что он предупредил Алену Ивановну о еще одном посещении.

На вопрос Настасьи, в чем заключается его работа, Раскольников серьезно отвечает, помолчав: «Думаю». Во время разговора с Настасьей главный герой, отвечая на задаваемые ей вопросы, дает самому себе ответ и на свои сокровенные вопросы, связанные с его «мечтой». «Он странно посмотрел на нее. «Да, весь капитал», - твердо отвечал он, помолчав».

«Диалогом последних жизненных решений» называет М. Бахтин внутренний монолог Раскольникова после того, как он прочел письмо матери. Еще более укрепился он в своем решении, мечта скоро станет явью. «Внутренний монолог Раскольникова является великолепным образцом микродиалога: все слова в нем двуголосые, в каждом из них происходит спор голосов... В начале отрывка Раскольников воссоздает слова Дуни с ее оценивающими и убеждающими интонациями и на ее интонации наслаивает свои - иронические, возмущенные, предостерегающие интонации, т.е. в этих словах звучат одновременно два голоса - Раскольникова и Дуни» [34, с.100].

«Ну как же-с, счастье его может устроить, в университете содержать, компаньоном сделать в конторе, всю судьбу его обеспечить; пожалуй, богачом впоследствии будет, почетным, уважаемым, а может быть, даже славным человеком окончит жизнь». Так рисует Родион Раскольников, со слов Сони, свою будущность. Это заставляет Дуню решиться на замужество.

«В последующих словах, - продолжает М. Бахтин: («Да ведь тут Родя...» и т.д.) звучит уже голос матери с ее интонациями любви и нежности и одновременно голос Раскольникова с интонациями горькой иронии, возмущения (жертвенностью) и грустной ответной любви. Мы слышим дальше в словах Раскольникова и голос Сони, и голос Мармеладова. Диалог проник внутрь каждого слова, вызывая в нем борьбу и перебои» [34, с.101].

Раскольников задумывается над тем, что будет с матерью и сестрой через десять лет. «Давным-давно как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и концентрировалась, приняв

форму дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения. Теперь же письмо матери вдруг как громом в него ударило». Не раз в этой сцене встретится наречие «вдруг»: «вдруг как громом в него ударило», «вдруг он вздрогнул», «явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде», «и он вдруг сам осознал это».

Вчерашняя мысль пронесется в голове Раскольникова, но она стала иной. Будущее приобретает конкретную форму: «Но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь... теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам осознал это... Ему стукнуло в голову, и потемнело в глазах».

Мечта его настолько овладела Раскольниковым, настолько стала привычной и неизбежной, что он уже включает ее в свои планы на ближайшие дни. И к Разумихину он решает идти «после того». «После того, - вскрикнул он, срываясь со скамейки, - да разве то будет? Неужели в самом деле будет?» Раскольников еще сомневается, еще ищет другой выход, еще не окончательно принял он решение. «Он бросил скамейку и пошел, почти побежал; он хотел было поворотить назад, к дому, но домой идти ему стало вдруг ужасно противно: там-то в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало все это вот уже более месяца, и он пошел куда глаза глядят».

Но Петербург - город не только «униженных и оскорбленных», но и город «деловых людей». Город, где процветают Алены Ивановны, чья жизнь «не больше, чем жизнь вещи»; Кохи - скупщики; Дарьи Францевны и Амалии Ивановны, торгующие живым товаром; держатели доходных домов; Лужины, мечтающие жениться на бедной девушке, но красавице, для того чтобы им были всю жизнь обязаны; Свидригайловы, темные личности, шулеры, издевающиеся над крепостными.

Но не только под влиянием всего этого, но и для проверки своей идеи совершает Раскольников преступление. Только таким образом он мог узнать: «Тварь ли я дрожащая или право имею?»

Маркин П.Ф., анализируя раннюю прозу Достоевского, приходит к выводу, что персонажи Достоевского тяготеют к «углу», «создающему у них иллюзию отгороженности и изолированности от внешнего мира» [39, с.110].

В сцене описания убийства все движения героя доведены до автоматизма, даже суп он ест «машинально». «Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины и его начало в нее втягивать».

Аналогичное происходило с князем Мышкиным в романе «Идиот», когда какая-то неведомая сила заставляла его отыскать Настасью Филипповну.

В момент самого убийства «Достоевский еще раз акцентирует автоматизм действий Раскольникова», - подчеркивает Н. М. Чирков [37, с.93]. «Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил его на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила».

Нередко по тексту художественного произведения можно воссоздать (воспользуемся удачным определением Л. Чернец) «детальную топографию действия - фантастическую или как бы реальную» [12, с.200].

Дорога героев Достоевского имеет «четко обозначенные ориентиры и топографическую точность, что не мешает ей иметь символический смысл. Набережная Фонтанки - Измайловский мост - Литейная улица - Аничков мост - Итальянская - Шестилаводная улица - таков, например, извилистый путь Голядкина, пытающегося уйти от своего двойника. Однако эта дорога оказывается зигзагообразностью замкнутого круга, символизирующего трагическую противоречивость и замкнутость расщепленного сознания Якова Петровича» [39, с.8]. Так же можно проследить последний путь князя Мышкина к дому Рогожина.

В подробностях изучен путь Раскольникова к дому его жертвы, старухи-процентщицы, все семьсот тридцать шагов [40].

После свершения убийства мечта мгновенно становится уже прошедшим. Будущее, лишь мгновение бывшее настоящим, уже отошло на задний план. «Вместе с отчуждением от всех герой чувствует отчуждение от самого себя, от своих прежних мыслей и чувств, от всего своего прошлого. После убийства Раскольников смотрит с

Николаевского моста на панораму Петербурга и припоминает свои прежние мысли» [37, с.90]. Герой словно парит над своим прошлым, пространственные рамки раздвигаются, и он видит себя со стороны. «В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь все это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся это панорама, и он сам, и все, и все... Казалось, он улетал куда-то вверх, и все исчезало в глазах его».

Таким образом, будущее из мечтаний главного героя становится настоящим и мгновенно превращается в прошедшее.

«Нетрудно заметить, - отмечает В. Кожин, - что в «Преступлении и наказании» очень большое место занимают и диалоги в прямом смысле этого слова. Напряженно спорит Раскольников и с Соней, и со Свидригайловым, Лужиным, Дуней, Разумихиным; особый характер имеют его диалоги-бои со следователем Порфирием Петровичем» [41, с.147].

Так, Раскольников стремится разрешить важнейший для него вопрос: «Знает ли Порфирий Петрович?» Язык мимики и жестов говорит об этом больше, чем слова Порфирия Петровича, которые он так и не решается произнести вслух. «И вдруг Порфирий Петрович как-то явно насмешливо посмотрел на него, прищурившись и как бы ему подмигнув. Впрочем, это, может быть, только так показалось Раскольникову, потому что продолжалось одно мгновение. По крайней мере, что-то такое было. Раскольников побоялся бы, что он ему подмигнул, черт знает для чего».

Спорит Раскольников и со Свидригайловым, который предлагает ему свой план спасения через Дуню. Но мечты остаются мечтами. «Хотите, я увезу его за границу? У меня есть деньги; я в три дня достану билет. А насчет того, что он убил, то он еще наделает много добрых дел, так что все это загладится; успокойтесь». И Раскольников, и Свидригайлов - каждый из них говорит по-своему. «Раскольников отрывисто, сторяча, не выбирая выражений, небрежно и в то же время - не без любопытства, как бы против воли бросаясь навстречу тому, кого он готов выставить за дверь: он поминутно ставит вопросы. Свидригайлов - обстоятельно, с намерением пофилософствовать, с удивительной прямоотой и грубой точностью речи («хлопочу в свой карман», «да, был и шулером...»), с сугубым уважением к собеседнику и с готовностью

кротко принимать его дерзости. У каждого из них свой человеческий голос» [38, с.418].

Будущее чаще всего рисуется в мечтах героев. Мечтает Катерина Ивановна о будущем пансионе. А Амалия Ивановна сообщает ей даже «одно дельное замечание».

Мечтает Лужин о бедной девушке, своей будущей жене. «Сколько сцен, сколько сладостных эпизодов создал он, в воображении, на эту соблазнительную и игривую тему, отдыхая в тиши от дел! И вот мечта стольких лет почти уже осуществилась: красота и образование Авдотьи Романовны поразили его; беспомощное положение ее раззадоривало его до крайности... И вот все рушилось!»

Размышляя над тем, что же самого характерного в языке романов Достоевского, А. В. Чичерин приходит к следующему выводу: «Особой ударностью, смысловой и интонационной, наделяется отдельное слово - преимущественно в речи персонажей романа: «...Ничего, т.е. ровно ничего и, может быть, в высшей степени ничего» (V, 367).

...Возникают превосходные степени и через край вырывающийся гиперболизм: «... в высшей степени ничего». Повторение того же слова во многих случаях придает ему особую ударность: «Надо воздуху, воздуху, воздуху, воздуху»; «Ведь уж бросил же, бросил». В таких случаях повторение усиливает общую ударность слова, не меняя его значения. Но вот трижды повторенное слово каждый раз звучит иначе и в интонационном, и в смысловом отношении: «Однако, какая восхитительная девочка!... - Восхитительная? Ты сказал восхитительная! - заревел Разумихин...» (V, 169) [38, с.419].

Но не всегда Достоевский повторяет слова, чтобы достичь особой ударности отдельного слова. С этой целью он использует нередко смысловую нагрузку: «...когда я пошел делать эту... пробу...», «...ему хотелось остаться наедине с этим письмом»; «... он шел дорогой тихо и степенно». «Переноса смысл и накал всего предыдущего в самые простые, сами по себе ничего особенно не значащие слова, часто отмечая их курсивом, автор создает, в пределах каждого романа, новую систему «понятий». Это слова, в которых идея романа кристаллизуется наиболее полно, которые в то же самое время насыщены индивидуальным психологическим содержанием и характерны в социально-бытовом плане. Многообразно, например, в «Преступлении и наказании» слово «гордость» [38, с. 419].

Картины будущего занимают и Разумихина. «Об издательской деятельности и мечтал Разумихин, уже два года работавший на других и недурно знавший три европейских языка». Он подробно излагает свой проект Дуне и Родиону: «Будем и переводить, и издавать, и учиться, все вместе. Теперь я могу быть полезен, потому что опыт имею. Вот уже два года скоро по издателям шныряю и всю их подноготную знаю: не святые горшки лепят, поверьте!»

Голоса героев, по мнению М. Бахтина, «все время слышат друг друга, перекликаются и взаимно отражаются друг в друге... Вне этого диалога «противоборствующих правд» не осуществляются ни один существенный поступок, ни одна существенная мысль ведущих героев» [34, с.100-101]. Даже не обязательно слова произносятся вслух, герои молча понимают друг друга.

Проанализируем следующий отрывок из романа. «В коридоре было темно; они стояли возле лампы. С минуту они смотрели друг на друга молча. Разумихин всю жизнь помнил эту минуту. Горевший и пристальный взгляд Раскольникова как будто усиливался с каждым мгновением, проникал в его душу, в сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное как будто прошло между ними... Какая-то идея проскользнула, как будто намек; что-то ужасное, безобразное и вдруг понятое с обеих сторон... Разумихин побледнел как мертвец».

И картина будущего, нарисованная Разумихиным, разрушилась в то же мгновение. Достоевский рисует новую: «Одним словом, с этого вечера Разумихин стал у них сыном и братом».

Не дано осуществиться картинам будущего и у Свидригайлова. Нет у него будущего. Это со всей очевидностью рисует автор. «В молодой и горячей голове Разумихина твердо укрепился проект положить в будущие 3-4 года, по возможности, хоть начало будущего состояния, скопить хоть несколько денег и переехать в Сибирь, где почва богата во всех отношениях, а работников, людей и капиталов мало; там поселиться в том самом городе, где будет Родя, и ... всем вместе начать новую жизнь».

Достоевский не только слышал «резонансы голосов - идей прошлого», но «старался услышать и голоса - идеи будущего, пытаясь их угадать, так сказать, по месту, подготовленному для них в диалоге настоящего, подобно тому, - как подчеркивает М. Бахтин, - как можно угадать будущую, еще не произнесенную реплику в уже развернувшемся диалоге» [34, с.120].

Таким образом, миру жестокой прозы настоящего в произведениях Достоевского противостоит мир воспоминаний или мир мечтаний героев. В своем «петербургском романе» Достоевский, решая проблемы «униженных и оскорбленных», протеста против несправедливости общества, протеста одиночки и контрастов Петербурга, совмещает временные пласты. Воспользуемся удачно найденным выражением Н.М. Чиркова о том, что в произведениях писателя присутствует антитеза «счастливого и полноценного бытия в прошлом и бытия разорванного, мучительного, полного надрыва в настоящем» [37, с.43].

«Соотношение времени бессобытийного, «хроникально-бытового» и событийного в художественных произведениях во многом определяет темповую организацию художественного времени произведения, что, в свою очередь, обуславливает характер эстетического восприятия, формирует субъективное читательское время» [10, с.56]. В «Преступлении и наказании» Достоевского преобладает «событийное время (имеются ввиду, конечно, не только внешние, но и внутренние, психологические события). Соответственно, и модус его восприятия, и субъективный темп чтения будут другими: зачастую роман читается «взахлеб», особенно в первый раз» [10, с.57].

Нередко характерные жесты героев из своих более ранних произведений Достоевский передает героям произведений последующих. Так происходит в «Преступлении и наказании» и «Бесах» Достоевского, когда Хромоножке передается характерный жест Лизаветы: «всплескивание руками - детски-наивное инстинктивное желание укрыться от страшного, защитить себя от неумолимого. Ужас сотрясает лицо Марфы Тимофеевны; явление Ставрогина в самозванном облики представляется ей продолжением сна: «она подняла, сотрясая их, руки и вдруг заплакала, точь-в-точь как испугавшийся ребенок; еще мгновение, и она бы закричала» (7, 288). В.А. Туниманов в статье «Рассказчик в «Бесах» Достоевского» пишет далее: «Жест (он повторяется трижды) вызван сном, и сонное видение наплывает кошмаром на реальность, но во сне как раз и отражается будущая действительность; реальность становится сном, а сон превращается в реальность. Голос, жест, лицо Ставрогина - не то: это личина, маска, и к ее мечте отношения не имеют; это явившийся самозванец из сна; пробуждение Хромоножки в действительность совершается лишь на мгновение, в конце концов побеждает сон - вечно безумие. Фантастическая, магическая

перспектива преобразует реальный мир, сообщая ему колдовской, пророческий колорит, приоткрывая завесу времени и обнаруживая подноготную настоящего» [42, с.150].

Итак, Достоевский постоянно в своих произведениях подчеркивает, что поступки его героев в настоящем во многом определяются их прошедшим и зависят от будущего. С помощью времени писатели «испытывают своих героев, проверяют их моральный и психологический потенциал», раскрывают динамику развития их характеров [43, с.128]. Наиболее ярко это проявляется в произведениях Достоевского. Начиная с романа «Преступление и наказание» определяется последний, «высший этап (Чичерин А.В.) в развитии стиля Достоевского-романиста. В отличие от ранних произведений, влияние гоголевской прозы поглощается богатством новых, ничего в прошлом не напоминающих словосочетаний. Все, что вошло в язык Достоевского от Пушкина, Гоголя, Шиллера, Гофмана, Бальзака, теперь переплавлено и приобрело совсем новый облик» [38, с.418].

Продолжение следует...

Светлана Ананьева
ТВОРЧЕСТВО ДОСТОЕВСКОГО И
ТУРГЕНЕВА В РАКУРСЕ МОТИВА
БЛУДНОГО СЫНА
(отзыв на новую книгу барнаульской
исследовательницы
Валентины Габдуллиной)



Конец XX – начало XXI века отмечены усилившимся интересом к духовному содержанию русской классики. Именно эта проблема стала предметом исследования в учебном пособии В.И. Габдуллиной «Мотив блудного сына в произведениях Ф.М. Достоевского и И.С. Тургенева» (Барнаул: Изд-во БГПУ, 2006. – 132 с. Рецензенты: В.Г. Одинокое, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАО [НГУ]; Р.Н. Семькина, кандидат филологических наук, доцент [ГПУ]).

Учебное пособие В.И. Габдуллиной состоит из двух частей: «Мотив блудного сына в контексте биографии и творчества Ф.М. Достоевского»

и «Трансформация мотива блудного сына в повествовательной структуре романов И.С. Тургенева». Выбор именно этих писателей-классиков для сопоставительного анализа с точки зрения функционирования в их произведениях архетипической модели, объясняется их пристальным интересом к проблеме героя времени, в духовном облике которого, как показано в работе, Достоевский и Тургенев воспроизвели психологический комплекс блудного сына. По мысли автора учебного пособия, «духовный мир Достоевского и Тургенева, принадлежавших к одному поколению русских людей, характеризуется напряженными поисками идеала, в процессе которых каждый из них прошел через свое “горнило сомнений”», что не могло не отразиться на интерпретации писателями нравственно-этических проблем времени, так или иначе связанных с вопросами духовного самоопределения личности.

Повторяющиеся у Достоевского из произведения в произведение ситуации и коллизии, восходящие к притче о блудном сыне, позволяют автору пособия рассматривать мотив блудного сына в творчестве Ф.М. Достоевского как сквозной: от его раннего творчества («Петербургская летопись» 1847 г.) до последнего публичного выступления с речью на открытии памятника Пушкину в Москве («Дневник писателя» 1880 г.). При этом, дефиниция «русский бездомный скиталец» явилась итогом осмысления Достоевским типа «героя-богоборца» и «правдоискателя» как блудного сына, порвавшего со своим Домом – русской «почвой».

Появление мотива блудного сына в раннем творчестве Достоевского автор связывает с двумя факторами: автобиографическим и историко-литературным, – подробно рассматривая переписку начинающего писателя с родными, в которой обнаруживается житейская ситуация с разделом наследства, проецирующаяся на известный эпизод евангельской притчи. В дальнейшем комплекс блудного сына укрепляется в сознании писателя в связи с увлечением идеями утопического социализма (в кружке Петрашевского), которое сам Достоевский оценит как отступление от христианских идеалов, возвращение к которым совершится в период «испытания каторгой».

Мотив «возвращения» и «воскресения из мертвых», настойчиво начинающий звучать в письмах Достоевского из ссылки и в его стихотворных посланиях монаршим особам, стал одним из проявлений



вызревающей в сознании писателя «почвеннической» идеи, суть которой заключается в мысли о необходимости воссоединения распавшихся частей русского общества и возвращения блудного сына – русской интеллигенции к русским национальным корням – к русской «почве» – хранительнице духовных православных идеалов.

Использование «евангельского кода» при исследовании биографии и творчества Ф.М. Достоевского позволяет автору рецензируемого учебного пособия дать новые прочтения известных произведений писателя.

Во второй части выявлено притчевое начало в романе «Дворянское гнездо», прослежена сложная трансформация мотива блудного сына в романах И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» (его возникновение в историях персонажей, принадлежащих к разным поколениям, и участие в организации сюжетной структуры романа), «Отцы и дети» (в сюжетных линиях Павла Петровича Кирсанова, Аркадия Кирсанова и Евгения Базарова) и «Дым» (в истории «ухода» и «возвращения» Литвинова). Три романа – «Дворянское гнездо», «Отцы и дети» и «Дым» – рассматриваются в исследовании В.И. Габдуллиной как трилогия Тургенева о блудном сыне.

Учебное пособие В.И. Габдуллиной «Мотив блудного сына в произведениях Ф.М. Достоевского и И.С. Тургенева» снабжено вопросами и заданиями, темами для самостоятельной работы. Предложенные темы разнообразны и многоаспектны и зачастую не повторяют основной текст пособия: «Тема русской усадьбы в романе «Отцы и дети»; «Мотив искушения в «таинственных повестях» Тургенева («Сон», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»); «Библейские мотивы в «Записках из мертвого дома» и др. В разделе «Консультации по темам» предложены «Библейские мотивы в романе Достоевского «Записки из мертвого дома»; «Мотив дома в романе Достоевского «Идиот»; «Мотив искушения в романе Достоевского «Идиот»; «Мотив блудного сына в романе Достоевского «Братья Карамазовы»; «Мотив искушения в романе Тургенева «Дым»; «Философские и религиозные мотивы и темы в цикле Тургенева «Стихотворения в прозе». Библиография включает 352 источника.

Обозначенный в учебном пособии В.И. Габдуллиной подход к изучению творчества Ф.М. Достоевского и И.С. Тургенева, несомненно, продуктивен. И думается, что в этом направлении нас ждут еще новые открытия.

Памяти достоевсковеда Николая Феоктистова



Виктор Вайнерман
РАССКАЗ «НЕИЗВЕСТНОГО»
ИЛИ СНОВА О НИКОЛАЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ
ФЕОКТИСТОВЕ

В начале 21 века о Достоевском, кажется, уже написано всё, что только можно написать. Существует целая литература «вокруг Достоевского» — чего стоят одни только уникальные по концентрации научной мысли «спутники» Полного собрания сочинений и писем Достоевского в 30-ти томах — академические сборники «Достоевский. Материалы и исследования», альманахи «Достоевский и мировая культура», монографии известных учёных, художественные произведения (среди которых назовём, хотя бы, книги Л. Гроссмана, Ю. Селезнева, Б. Бурсова, Д. Бреговой, П. Косенко, М. Кушниковой и В. Тогулева, Н. Анциферова, Д. Гранина), разнообразные вузовские издания, в том числе авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, горы популярных публикаций в газетах и журналах. А сколько сломано копий в сражениях за право причислить Достоевского к своему лагерю, а то и просто растащить его по углам коммунальной квартиры, за разрешение или запрет прикоснуться к потаённым, теневым сторонам его биографии и творчества! Сколько изорвано знамён, на которые пытались и пытаются поднять Достоевского! Но он, как писал поэт Леонид Мартынов, «остаётся Достоевским, исключая переименования».

В архиве Николая Васильевича Феоктистова, среди множества уникальных фотографий, документов, автографов, книг я обнаружил рукопись рассказа, которая меня сначала оставила равнодушным.¹ Я вчитывался в мелкий почерк автора и с сожалением думал, что ещё лет эдак 35-40 тому этому тексту не было бы цены. А теперь, когда всё о Достоевском, вроде бы, написано, рассказ об уже известном неинтересен. В нём нет новых фактов, сюжетных ходов, ярких особенностей в речи, оригинальности в точке зрения. Но, перечитывая рассказ снова и снова, я приходил к убеждению, что, как бы то ни было, он впервые касается событий, сопутствовавших выходу Достоевского из острога. Феоктистов умер в 1950 году. Все книги, монографии и статьи появились потом. И автор неопубликованного рассказа, разумеется, никак не мог воспользоваться ни одним

Великие люди сами сооружают себе пьедестал; статую
 воздвигает будущее.

Виктор Мари Гюго

источником, вышедшим в эти годы...

Феоктистов рассказывает о необыкновенном моменте в жизни писателя. Ф.М. Достоевский вместе с поэтом-петрашевцем С.Ф. Дуровым только что вышли из Омского острога, в котором четыре года отбывали наказание за участие в демократическом кружке М.В. Петрашевского. Одному из них, Достоевскому, вскоре отправляться в солдаты. Судьба другого решается у нас на глазах – уж слишком он болен. И ситуация необычная. Эти двое вчерашних каторжников переводят дух, приходят в себя не где-нибудь, а в доме у полковника К.И. Иванова. Хотя он женат на дочери декабриста Анненкова, и, следовательно, должен симпатизировать политическим ссыльным, но, всё же, столь высокое воинское звание, казалось бы, обязывает быть осторожнее с откровенным вниманием к государственным преступникам, особенно накануне собственного перевода в Петербург. Ан нет... Каждый сюжет в рассказе выписан совершенно естественно, как будто бы автор давным давно детально знаком с подробностями двухнедельного пребывания Достоевского во внеострожном пространстве Омской крепости. А ведь каждый факт, связанный с этим периодом жизни будущего автора «Записок из Мёртвого дома», впоследствии по крупницам разыскивался и выверялся исследователями. В первом, вышедшем в 1928 году, томе Писем Достоевского, впервые были опубликованы послекаторжные письма писателя 50-х годов, среди которых брату, женам декабристов П. Анненковой, Н. Фонвизиной, Э. Тотлебену, А. Врангелю и другим. Именно в них Достоевский рассказывает обо всём, произошедшем с ним в Омске, сразу по выходе из острога и о ближайших планах на будущее. Скорее всего, Феоктистов опирался на эти письма Достоевского, как на главный источник для создания своего рассказа. В таком случае – честь и хвала его доверию частным письмам, воображению и писательскому мастерству. Конечно, были ещё «Записки из Мёртвого дома», но в тексте представляемого рассказа реалии «Записок» звучат глухим и не читаемым фоном. Любопытно, что Феоктистов весьма туманно отмечает роль в судьбе Достоевского коменданта Омской крепости А.Ф. де Граве. Выпущенные на свободу арестанты всего лишь отмечают в комендатуре. Второе упоминание о коменданте в рассказе связано с исходящим от него уведомлением о том, что Достоевскому пора

отправляться к месту солдатской службы в Семипалатинск. Из рассказа ясно, что комендант знал и о проживании вчерашних каторжан в доме К.И. Иванова, и о том, что Достоевского по дороге нагонит и «подвезёт» к месту службы обоз с канатами. Поскольку комендант не препятствовал этим поблажкам, тем самым он помогал Достоевскому. Повторюсь, что Феоктистов ведёт рассказ как будто о давно известном. В единственном месте он считает уместным «устранить некоторую неточность, прочно укрепившуюся во всех биографических справках и очерках о времени пребывания в Омске после выхода с каторги. Везде говорится о том, что он жил у Ивановых «около месяца». На самом деле Достоевский гостил у Ивановых немного более полумесяца, а «около месяца» жил у них Дуров». И снова читателю не даёт покоя вопрос: «Откуда у Феоктистова такая уверенность?..»

В год трёх юбилеев Достоевского никому не известный рассказ человека, внесшего значительный вклад в развитие литературного процесса в Сибири, заслуживает внимания читателей.

Николай Феоктистов ВОСКРЕШЕНИЕ ИЗ МЁРТВЫХ¹

1

В яркий, солнечный, морозный день 15 февраля 1854 года, только что умолк последний, одиннадцатый, удар колокола на городской пожарной каланче, – медленно, как бы нехотя, открылась небольшая калитка, вделанная в тяжёлые массивные деревянные ворота Омского крепостного острога и, выпустив на волю двух человек, быстро захлопнулась.

Вышедшие из острога люди были одеты по-дорожному. На них были простые, не дублёные, белые полушубки, старые меховые шапки-треухи, поношенные кожаные сапоги. За плечами у обоих болтались небольшие холщёвые мешки.

Один из них – высокий, когда-то, видимо статный, красивый человек прихрамывал и сильно кашлял. Другой – среднего роста, коренастый, широкоплечий производил впечатление дюжего, крепкого человека... Оба были возбуждены и выражения лиц того и другого говорили о сильном, но несколько сдержанном душевном волнении.

Перешагнув высокий порог острожной калитки, они отошли от острожных ворот шагов на двадцать и, обернувшись, молча пожали руки друг другу.

Волнение этих людей было вполне понятно: оба они только что пережили незабываемые минуты освобождения после отбытия четырёх мучительных лет тяжелой каторги. После того, что произошло с ними почти пять лет тому назад в Петербурге, после нескольких месяцев заключения в Петропавловской крепости, после ужаса пережитого на Семёновском плацу в ожидании смертной казни и, наконец, этих последних четырёх страшных каторжных лет — это были первые минуты свободы... свободы относительной, отравленной горечью сознания, что впереди — бессрочная солдатчина, но все-таки — свободы...

— Ну, вот, дорогой Фёдор Михайлович, — сказал Дуров, обращаясь к Достоевскому, — мы можем поздравить друг друга с благополучным отбытием и окончанием второго этапа нашего наказания...

— Да, можем... Поздравляю... — отозвался Достоевский, — но почему второго? Второй этап — это ещё предстоящая нам солдатчина... — Может быть, бессрочная. — Ведь сказано: «без выслуги»...

— Нет. Фёдор Михайлович, вы ошибаетесь, солдатчина — это уже третий этап... разве Петропавловка и, особенно, те жуткие минуты, которые мы вместе пережили на Семёновском плацу, в ожидании смерти на эшафоте, — пустяки и так таки ничего не стоят?

— Да, пожалуй, вы правы, — подумавши, сказал Достоевский. — Будем благодарны судьбе. Как бы то ни было, а всё это уже пережито. Всё это уже в прошлом... А жизнь ещё впереди. Ведь выжили мы в этой каторжной дыре четыре года. Перенесли один бог знает что...

— Значит, будем жить...

— Однако нам нужно двигаться, Сергей Фёдорович. Пойдем в комендатуру. Может быть, нам разрешат до этапа несколько дней погостить у Ивановых. Ольга Ивановна передавала, что очень старается за нас. А хорошо бы хоть капельку отдохнуть у них, особенно вам, Сергей Фёдорович. Вам надо хоть немного поправиться. В таком виде для этапа вы не годитесь.

— Да, плох я, совсем плох, — сказал Дуров, — надо бы мне с недельку ещё полежать в госпитале. И оставляли ведь доктора, да сам я не захотел ни одного лишнего дня арестантом быть, да, правду сказать,

и от вас отставать не хотелось.

Дуров закашлялся. Кашлял он долго, мучительно, с надрывом. Из каторги он вышел совершенно больной — с тяжёлым кашлем и одышкой, с опухшими ногами. Достоевский тоже не мог похвастаться здоровьем, но, по сравнению с Дуровым, выглядел почти здоровым человеком.

Когда Дуров справился с тяжёлым приступом кашля, они медленно двинулись дальше. До комендатуры было недалеко, она находилась тут же, в крепости.

По отбытии четырёхлетней каторги, согласно «высочайшей» конфирмации Дуров и Достоевский превращались в военнообязанных и должны были из каторжной тюрьмы отправиться в казармы и ожидать там отправления по этапу в соответствующие воинские части. Они ещё точно не знали, куда и в какие части будут отправлены. Этапы готовились в Омске без особенной спешки и не будь у наших освобождённых добрых друзей в Омске, пришлось бы им ещё задолго до прибытия к месту службы познакомиться с солдатской жизнью в омских казармах... Но, выходя из ворот омского острога, ни Достоевский, ни Дуров не испытали того неприятного чувства, которое является неизбежным спутником сознания своей бесприютности. На худой конец им была обеспечена казарма, но они знали, что в Омске у них есть друзья, есть дом, где их ожидает не только гостеприимство, но и участие, и с посильной помощью дружеская ласка. Это была семья военного инженера Константина Ивановича Иванова, которого Достоевский знал ещё по военно-инженерному училищу, а с его женой Ольгой Ивановной — дочерью декабриста Ивана Александровича Анненкова и её матерью Прасковьей Егоровной Дуров и Достоевский познакомились в Тобольской пересыльной тюрьме в течение тех нескольких дней, когда они оставались там в ожидании отправки в Омск. Прасковья Егоровна Анненкова была в числе тех жён декабристов, которые устроили свидание с петрашевцами в квартире смотрителя пересыльной тюрьмы.

Это знакомство имело огромное значение для обоих заключённых в омской каторжной тюрьме. Супруги Ивановы жили в Омске, где Константин Иванович служил в корпусе военных инженеров. Местопребывание Дурова и Достоевского было им известно. Много доброго и хорошего сделали они, особенно Ольга Ивановна, для двух этих

людей, пока они были закованы и отбывали наказание в Омском остроге. И не даром как святыню берёт Достоевский Евангелие, которое подарила ему в Омской пересыльной тюрьме Прасковья Егоровна Анненкова и её добрейшая дочка. Вот и сейчас, незадолго до их освобождения, Константин Иванович договорился с комендантом и получил разрешение для освобождения Дурова и Достоевского, провести несколько дней до отправления по этапу у него в доме. Об этом они узнали от самого коменданта, когда они явились в его распоряжение.

- Можете отправляться к полковнику Иванову и быть у него на квартире впредь до вызова. От явки в комендатуру вы освобождаетесь. Отдыхайте. Можете идти.

Ободренные таким либерализмом начальства, будущие солдаты по-граждански поблагодарили любезного коменданта и отправились на квартиру Ивановых.

Жили они в небольшом отдельном домике, тут же в крепости, и через несколько минут Дуров с Достоевским стояли у парадного крыльца уютного домика и осторожным стуком в двери дали знать о своем прибытии.

Им открыла дверь сама Ольга Ивановна. Радушно приветствуя уставших и очень взволнованных гостей, она провела их в заботливо подготовленную для них комнату и сказала:

- Вот ваша временная обитель. Сердечно рада вас видеть и принять в первый день вашей свободы. Муж тоже будет рад приветствовать вас. Сейчас он сдаёт дела, так как переводится на службу в Петербург. Домой я его жду не раньше четырёх часов, как раз к обеду. А пока располагайтесь, как дома. Вот ваши постели, кое-какая одежда. Уж извините, что нашлось на первое время. Вот бельё, полотенца, простыни. Я сейчас узнаю, готова ли для вас баня.

- Дуняша! – крикнула она в полуоткрытую дверь. И на пороге тотчас появилась опрятно одетая, миловидная девушка.

- Как баня?

- Готова, Ольга Ивановна. И угара нет, и вода горячая. Можно идти хоть сейчас, – доложила Дуня.

- Хотите сейчас? – спросила гостей Ольга Ивановна.

Достоевский даже зажмурился от одного предчувствия испытать давно позабытое удовольствие попариться в хорошей, чистой бане, а Дуров хотел выразить не только согласие, но и восторг и благодарность

попечительной хозяйке, но закашлялся и только рукой махнул...

Через пять минут они были готовы, одеты, и Дуняшка проводила их до бани.

- Ну, вот, голубчик Сергей Фёдорович, и жизнь возвращается и все её радости понемногу вернутся к нам... Давайте разоблакайтесь и поплещемся, – говорил Достоевский, быстро сбрасывая все свои острожные ризы.

- Не знаю, как вы, а я прямо на полок, на «седьмое небо», – и, не дожидаясь Дурова, он вошёл в баню.

Дуров не обладал такой быстротой движений, да и болезнь не позволяла ему так экспансивно переживать радость освобождения. Он медленно разделся и, не спеша, вошёл в баню. Охваченный горячим паром, он остановился у дверей, осмотрелся и, найдя шайку, налил в неё воды и уселся на скамейку, приготовившись мыться. Сверху, с полка неслись блаженно-радостные восклицания Достоевского, беспощадно хлеставшего себя на полке горячим берёзовым веником.

- Вот это баня! – восхищался он. – Рай, а не баня!.. Особливо в сравнении с тем Дантовым адом, как мы называли нашу острожную баню... Помните, Сергей Фёдорович?

- Как не помнить... – отозвался Дуров. Он хотел ещё что-то сказать, но закашлялся, а когда приступ кашля прошёл, взял шайку, наполнил её горячей водой и стал мыться.

Особенная приподнятость настроения в связи с выходом из каторжной тюрьмы, овладевшая в этот день Достоевским, как-то не доходила до Дурова. Правда, он был болен и болезнь несколько снижала остроту ощущений и радость переживаний, но сказывалось и то, что он никогда не был особенно близок с Достоевским. Дуров был достаточно чутким человеком, чтобы понимать более чем прохладное отношение Достоевского, который смотрел на него несколько свысока и, по-видимому, недостаточно уважал его, а временами даже позволял себе смеяться над его религиозностью, «неумеренною до смешного», как он говорил и, хотя признавал в нем несомненный и глубокий ум, но считал его ум каким-то «однобоким» и односторонним. Во время пребывания на каторге их взаимоотношения всё время оставались довольно тяжёлыми и никогда в жизни у них не было дружеской переписки. В сущности это были глубоко разные люди.

Разговор уже не возобновлялся. В молчании закончили они свой банный туалет, завершив его дружеским актом взаимопомощи: обменявшись мочалками, потёрли спины друг другу и пошли одеваться. Оба они были уже одеты и уже готовы к выходу, когда в дверь предбанника постучали и прозвучал голосок Дуняши:

- Ольга Ивановна беспокоится, не угорели ли вы в бане, и кваску принесла. Можно войти?

- Пожалуйста, входи, Дуняша. Мы уже одеты, – сказал Достоевский. – Ну и добрая же душа эта Ольга Ивановна, – обратился он к Дурову.

Дверь открылась и в облаке пара в предбанник вошла девушка. Она поставила на стол объёмистый кувшин кваса и две кружки.

- Кушайте. Квас у нас хороший – мятный... После баньки вам поди пить хочется. – И она налила обе кружки. Достоевский быстро опорожнил свою кружку и попросил Дуню налить ещё, а Дуров, отхлебнув глоток, поставил кружку на стол.

- А вы что ж не пьёте? – спросила Дуня. – Не нравится?

- Очень нравится. Отличный квас, но холоденек, мне нельзя особенно после бани, простужен я очень. И без того кашель замучил.

- Ужотка я дома вам подогрею и принесу, – сказала Дуняша, – а пока что Ольга Ивановна сказала, чтобы до обеда вы отдохнули после бани. Обедать то ещё через два часа будем, когда Константин Иванович придут...

- Спасибо, Дуняша, спасибо. Передай нашу благодарность Ольге Ивановне. И тебе спасибо: никакого угара в бане не было. Всё хорошо и мы очень довольны и благодарны Ольге Ивановне за её заботу. Так ей и скажи.

Добравшись до своей комнаты, Дуров и Достоевский поспешили воспользоваться любезным приглашением хозяйки – отдохнуть до обеда, и растянулись на своих койках. Дуров быстро заснул, баня его так утомила, что он не слышал, как Дуня принесла ему подогретый квас и оставила его на столике возле койки.

- Пуцай спит, – сказала добрая девушка, – сон-то, чай, слаще кваса... – и вышла, тихо приперев двери.

А Достоевский не мог заснуть, несмотря на некоторую усталость. Он лежал, заложив руки под голову, с открытыми глазами, устремленными куда-то в пространство. В остроге он часто думал об этой

минуте, когда, в последний раз перешагнув тюремный порог, он пойдёт навстречу медленно возвращающейся жизни... Вот сейчас эта минута настала. Он только что испытал острую радость освобождения, но как коротка была эта минута! Достоевский не мог позволить себе длительного самообмана. Он сознавал, что сейчас то, что он переживает, чему радуется – не свобода, а только иллюзия свободы, короткая передышка... Правда, самый страшный этап – четырёхлетняя каторга – уже пройден, но не забыт и не забудется никогда, от этих чёрных годин тянется страшный след тяжёлых, мучительных воспоминаний, исчезающий фантом прошлого... И это не все. Впереди ещё бессрочная солдатчина, то есть жалкое бесправное существование со всеми ужасами николаевского казарменного режима... Это мало чем лучше каторги...

Вдруг наступила пауза, прошло мгновенье какого-то еле ощутимого бездумья. Он встрепенулся и сел на койке.

- Господи, что это со мной? Давно ли, ещё в остроге, я ждал этой минуты, как счастья, даже самому ожиданию её радовался? Как это: «не лучше каторги»?.. Да ведь я же знаю, что только смерть страшнее каторги, а всё, всё остальное лучше, приемлемее, потому что во всем остальном есть жизнь. Надо взять себя в руки. Что это я раскис? Ведь каторга уже в прошлом, а впереди какая-то, может быть и трудная, но ещё неиспытанная, новая жизнь, новые люди... Я ещё не старик, – мне 34 года. Силы есть и для борьбы и для жизни. Надо связаться с родными, с Мишей, с другими братьями, с друзьями... Мне помогут подняться... стать на ноги... Все проходит... И не верю я, что солдатчина моя будет вечной! И Николай² не вечен... Нет, – к черту уныние! – Надо жить, надо бороться за жизнь. Я верю, что впереди – жизнь! Сегодня же начну писать письма, и прежде всех Михаилу. Жив ли он? Ведь четыре года от него не было ни строчки...

Достоевскому удалось дать мыслям другое направление. Воля к жизни питала надежду. На душе стало легче, хотя по-прежнему было беспокойно. Он порывисто встал и подошел к стоявшему в простенке письменному столу. Покрытый большим листом толстой зелёной бумаги, стол этот тщательно и любовно был вооружён для работы всем необходимым: возле чернильницы в деревянном бокале торчали новые, хорошо очищенные гусиные перья, тут же стояла медная песочница, а справа лежала аккуратно обрезанная стопка почтовой бумаги

и пачка конвертов, возле которой палочка красного сургуча, совершенно бесполезного сейчас для Достоевского, так как его именная печать, взятая жандармами при обыске в 1849 году, осталась в Петербурге.

- Обо всём позаботилась добрейшая Ольга Ивановна, – подумал Достоевский, обозревая убранство письменного стола. Осторожно, чтобы не разбудить мирно похрапывающего Дурова, он перенёс к столу кресло, пододвинул бумагу и прежде чем начать писать, долго рассматривал остро очиненное перо... Давно, уже около пяти лет, он не сидел за письменным столом и не держал в руках такого пера...

Но писать Достоевскому в этот день не удалось. Только что он обмакнул перо в чернильницу, в дверь комнаты легко постучали. Успевший хорошо отдохнуть Дуров заворочался на кровати, явно обнаруживая желание проснуться и в довершение всего стенные часы с кукушкой, висевшие в комнате, подозрительно зашипели, щёлкнули и появившаяся в створке часов кукушка, с поклонами, прокуковала четыре раза.

Услышав все эти шумы, поднявшиеся в комнате гостей, Дуняша, не дожидаясь разрешения, открыла дверь и, не входя в комнату, сказала:

– С лёгким паром! Константин Иванович приехали, и Ольга Ивановна просит гостей пожаловать в столовую, – обедать.

Когда Дуров и Достоевский вошли в столовую, там ещё никого не было, но стол уже был накрыт на пять приборов. Это определяло интимный характер обеда. Оба они облегчённо вздохнули: любезные хозяева позаботились о том, чтобы никто из посторонних не стеснял непринужденность и откровенность предстоящей беседы. Пятый прибор предназначался для дочери Ивановых, но она была своим человеком и не могла стеснить их.

В ожидании хозяев гости уселись на небольшой удобный диванчик (кушетку) и предались созерцанию. Столовая Ивановых была обставлена просто: кроме большого круглого стола, поместительного дивана, стульев и маленького закусочного стола в столовой больше ничего не было, только в двух простенках между окон на круглых деревянных блодах красовались отлично препарированные чучела двух уларов – горных индеек – трофеев удачной охоты в Саянских горах, поднесенный Ольге Ивановне одним из старых друзей её мужа.

Стол, покрытый ослепительной белой скатертью и сплошь заставленный графинами и бутылками, рюмками и лафитными стаканчиками, был вполне подготовлен к предстоящей торжественной трапезе. Ольга Ивановна, дочь старого декабриста, оставаясь верной традициям людей её круга, сделала всё возможное, для того, чтобы придать этому обеду характер маленького торжественного праздника. Она не только понимала, она чувствовала значение и важность этой минуты, этого дня для только что освобождённых людей, которые нашли первый временный приют под её кровом. Понимали это и сидевшие на диване гости и поэтому чувствовали себя несколько неловко.

Наконец, дверь из соседней комнаты распахнулась и в столовую торопливо вошла Ольга Ивановна.

- Простите, дорогие гости, что мы несколько запоздали и заставили вас ждать. Сейчас будем обедать. Константин Иванович сейчас выйдет, а я на минуточку должна заглянуть в кухню.

Послышались шаги и вслед за Ольгой Ивановной, из соседней комнаты вышел довольно высокий, красивый, одетый в домашнюю военную тужурку человек. Это был хозяин дома – Константин Иванович Иванов, всегда весёлый, бодрый, оживлённый, добрый и добродушный, через много лет оставивший о себе воспоминание и кличку весёлого генерала. Но сейчас он был ещё в обер-офицерских чинах.

- С воскресением из мёртвых, дорогие друзья... – обратился он к поднявшимся навстречу Дурову и Достоевскому и, широко раскрыв объятия, крепко обнял и поцеловал того и другого.

- Воистину... – сказал Достоевский. На глазах Дурова сверкали слёзы...

- Спасибо вам и Ольге Ивановне за приют и за радость первого дня нашей свободы, – сказал Дуров.

- Ну, что вы, ...какой приют. Не надо об этом, а вот за нашу общую радость, за Вашу и за нашу, мы сейчас выпьем... Вот только Оленька подойдёт...

- Оленька, где ты там. Мы в нетерпении....

Но дверь из кухни широко распахнулась и в комнату вплыла нарядная и весёлая Ольга Ивановна с большим блюдом заливной нельмы в руках, а за нею, тоже принарядившаяся Дуняша, несла большой поднос с закусками.

- Ну, гости дорогие, прошу за стол, – пригласила Ольга Ивановна. Рядом с Достоевским стул оказался не занятым и он спросил Ольгу Ивановну:

- А где-же ваша милая дочка, Ольга Ивановна?

- Она с утра сегодня ушла провожать уезжающую подругу и, может быть, задержится до вечера. Будем обедать без неё.

Константин Иванович между тем уже «священнодействовал» у закусочного столика, наливая довольно объёмистые рюмки...

- Дорогие друзья, – обратился он к гостям, – я думаю, для начала мы выпьем по рюмочке той, «иже и монаси приемлют», – нашей незаменимой «святорусской». Оличка, ты позволишь, я тебе тоже водки налью?

- Налей, – отозвалась Ольга Ивановна, – я рюмку водки выпью ради нашего торжества... Ведь сегодня мы приветствуем, в лице наших освобождённых друзей, второе поколение тех лучших людей нашей Родины, к которым принадлежит и мой добрый отец и добровольно разделившая с ним годы каторги моя добрая и любимая мама.

Тяжело мы расплачиваемся за наши смелые и светлые мечты, но мы знаем и верим, что «Не пропадёт ваш скорбный труд, и дум высокое стремление», как верил в это наш величайший поэт Александр Сергеевич Пушкин. Позвольте мне, скромной дочери декабриста, приветствовать вас с выходом из здешней каторжной норы – Омского острога – и выразить надежду, что, может быть, скоро исполнится пророчество поэта, когда полная и уже ничем не омрачаемая «свобода вас встретит радостно у входа, и братья меч вам отдадут...»

Константин Иванович удивленно смотрел на жену, так неожиданно для него произнесшую свой взволнованный тост, на смущённого Достоевского, закашлявшегося от волнения, на радостно улыбающегося Дурова. В эту минуту она была прекрасна, глаза её сияли какой-то смело открывшейся радостью... Муж никогда ещё не видел ее такой взволнованной... Ни Дуров, ни Достоевский не нашли сразу, как ответить и только Дуров, поцеловав руку Ольги Ивановны, сказал:

- Спасибо вам, дорогая Ольга Ивановна, но только долго ещё это ждать... А Вам – спасибо.

Достоевский чокнулся со всеми и молча выпил свою рюмку. Он тоже был, видимо, сильно взволнован.

Ольга Ивановна, вспомнив о своих хозяйских обязанностях, принялась усиленно угощать и гостей, и мужа, особенно рекомендуя чудесную заливную нельму. Она нет-нет да поглядывала на своего, словно потускневшего, благоверного. Он стал как-то необычно молчалив. С него словно слиняла его всегдашняя весёлость.

Пока гости занялись заливной нельмой и отличной зернистой икрой, она, улучив минутку, шепнула мужу на ухо: – Костя, милый, не сердись на меня... Ну, что за беда, что я раз сердце открыла... Ведь они – свои, близкие нам люди...

- Полно, Оленька. С чего ты взяла, что я сержусь. Напротив, я очень доволен тобой. Только грустно мне стало, что я ещё плохо знаю тебя.

- Ну, хорошо. Потом поговорим. Угощай гостей.

Константин Иванович улыбнулся жене и, взяв графин, принялся наливать водку.

- Фёдор Михайлович, Сергей Фёдорович, Рубикон перейдён. Возвеселитесь духом: всё мрачное и тяжёлое осталось позади, в прошлом. Впереди радость и счастье. Перед вами новая жизнь. Давайте думать и говорить о будущем, а для воспоминаний о прошлом у нас в запасе остаётся старость. Выпьем же за будущее, за новую хорошую жизнь, за вернувшуюся свободу. Да, да – свободу. Не улыбайтесь, Фёдор Михайлович, я говорю серьезно. Вас ожидает солдатчина, трудное это дело... Но ведь солдат – не арестант, он стоит на какой-то грани гражданства, пусть не полного, ограниченного, но гражданства. Да вам ли говорить об этом, вам, столько видевшим и испытывавшим... Вы отлично понимаете разницу этих состояний. Мне незачем вас убеждать. Выпьем же за вашу скорую будущую свободу, за ваше будущее большое и полное человеческое счастье...

- Выпьем, конечно, выпьем... – отвечал Достоевский. – Как не выпить, у таких милых и добрых людей, как вы с Ольгой Ивановной, устроивших нам такой пышный, давно небывалый праздник, такой радушный приём. Эти минуты мы никогда не забудем с Сергеем Фёдоровичем. Спасибо вам сердечное за всё, за всё! Пусть счастье, любовь и радость будут постоянными спутниками вашей жизни.

Когда был запит и этот двойной тост, Ольга Ивановна распорядилась подавать обед. Расторопная Дуняша внесла в столовую огромную миску дымящихся, ароматно благоухающих сибирских пельменей...

Разговор принял характер отрывочных, отдельных замечаний. Дифирамбы, адресованные хозяйке по поводу её исключительных кулинарных познаний, сменяли коротенькие рассказы о героической борьбе осаждённого гарнизона в Севастополе. Когда Константин Иванович упомянул, что сейчас душою обороны Севастополя является генерал Эдуард Иванович Тотлебен, инженерное искусство которого противостоит всем ухищрениям союзников, Достоевский восторженно воскликнул. Ему впервые пришла в голову мысль, что этот человек – Эдуард Иванович Тотлебен – знает его, Достоевского, – как близкого товарища и даже друга своего брата Артура, с которым он подружился в инженерном училище. Ему живо вспомнилась последняя встреча с Артуром Ивановичем не задолго до ареста петрашевцев, на Невском проспекте, когда он так дружески не только пожал, но даже потряс его руку. Достоевский так обрадовался этой, осенившей его мысли, что чуть было не проговорился об этом. Ничего особенного в этом, конечно, не было, но по свойственной ему скрытности, он решил оставить эту мысль про себя, и стал прислушиваться к рассказу Константина Ивановича, который всё ещё говорил о Тотлебене...

- Говорят, что государь очень любит и отличает Тотлебена. Недавно он произвёл его в генерал-адъютанты...

- А, как вы думаете, Константин Иванович, выйдет у нас что-нибудь в Севастополе или не выйдет? – вмешался в беседу Сергей Фёдорович Дуров.

- То-есть: выиграем мы или проиграем войну? Так я вас понял, Сергей Фёдорович? – спросил Константин Иванович.

- Так, совершенно правильно.

- Ведь вы знаете, Сергей Фёдорович, что от театра военных действий мы находимся на расстоянии почти четырёх тысяч вёрст, а от Петербурга, где концентрируются все сводки о ходе военных действий, пожалуй, и того больше. Почта идёт не меньше 12-15 суток. Что там произошло за последние две недели, мы не знаем. Выводов делать никаких не можем. Но мое мнение, строго конфиденциально, конечно, я вам сообщу. – Войну мы, если ещё не проиграли, то проиграем обязательно.

- Почему? – в один голос спросили Дуров и Достоевский.

- Потому, что Россия за последние 30 лет отстала во всех областях жизни от Европы на целое столетие. У нас нет ни нового, современного

оружия, ни флота, ни транспорта, ни дорог, да что говорить: даже хорошего шанцевого инструмента в Севастополе не хватало... Интендантство сгнило на корню. У нас только чудесный человеческий материал налицо, наши чудо-богатыри, наша сплошь героическая армия... Но что она может сделать голыми руками.

Может быть, неудача этой войны подействует отрезвляюще, заставит подумать не о реформах, а о коренной перестройке жизни и всего нашего государственного хозяйства... Это – большая тема, господа, и говорить о ней не за обедом. Я думаю: нам ещё удастся потолковать как-нибудь вечером, а пока, давайте предадимся чревоугодию. Вы знаете: меня вызывают на службу в Петербург, но уеду я, вероятно, ещё не скоро.

- Правильно, Костя, – сказала Ольга Ивановна, ласково взглянув на мужа. – А я уже испугалась: подумала, что наш обед превратится... в парламент.

Обед подходил к концу. Подали мороженое, появилась покрытая инеем бутылка «редерера», а вышедшая в соседнюю комнату Ольга Ивановна, внесла и поставила на стол большую вазу, наполненную огромными, румяными, благоухающими яблоками. Ни Дуров, ни Достоевский никогда ещё не видели таких больших, красивых плодов, ароматом которых наполнилась столовая. Они помнили, что находятся в холодной и «бесплодной» Сибири, где нет ничего лучше знаменитых сибирских пельменей... Дуров не выдержал, и спросил:

- А это ещё что за чудо природы? И где эти сады Гесперид, из которых вы получаете такую благодать.³

Хозяева улыбались, довольные тем впечатлением, которое произвёл на гостей их необычный «достархан».

- Яблоки эти самого земного происхождения – аппорт, и рождаются они в чудесных садах нашего соседнего Семиречья, где-то у северной подошвы горного хребта Заилийского Алатау. Правда, от Омска эти сады расположены довольно далеко, около двух вёрст. Транспортировать их очень трудно и в продаже этих яблок, конечно, нет, а если мы имеем удовольствие угощать вас этим чудесным аппортом, то всецело обязаны этим одному из моих старых друзей и поклоннику Ольги Ивановны (он лукаво взглянул на жену) топографу Закржевскому. Он недавно приехал из Семиречья и привез целый ящик Ольге Ивановне в подарок. Между прочим, он рассказал нам,

что работал по распланировке улиц нового города, основанного нашим правительством и названного городом «Верным», который расположен как раз в тех самых садах, где произрастают эти отличные фрукты.

Отведайте-ка их... Впрочем, нет. Яблоки подождут, а вот шампанское может согреться прежде, чем произведёт положенное ему освежающее действие...

Обернув заиндевшую бутылку салфеткой, Константин Иванович произвёл над ней все необходимые манипуляции, и – пробка хлопнула в потолок... Бокалы были наполнены, произнесены ещё раз дружеские приветственные тосты и пожелания, после чего гости были отпущены на отдых. Они горячо поблагодарили хозяев и поцеловали ручку добрейшей Ольги Ивановны. Уходя, они уносили в руках по большому «верненскому» яблоку, которые они по настоянию хозяйки, обязаны были «скушать, отдохнув после обеда»...

У Федора Михайловича была думка сесть за стол и написать письма после обеда. Но, добравшись до своей комнаты, он увидел, что «сил своих не рассчитал» и вынужден был последовать примеру своего блаженно улыбающегося соседа Сергея Фёдоровича, который, не теряя времени, снял сапоги и растянулся на своей койке. Через минуту в комнате воцарилась полная тишина – вчерашние арестанты спали блаженным сном хорошо пообедавших праведников...

2

Вся следующая неделя, проведенная в Омске, прошла для Достоевского каким-то смутным сном. Всё это время и он, и Дуров были объектом исключительных забот и внимания супругов Ивановых. Прежде всего, они позаботились о восстановлении здоровья освобождённых узников, которым скоро предстояло длительное путешествие по этапу. Дуров должен был отправиться в Петропавловск, а Достоевскому предстояло шагать семьсот верст до Семипалатинска, где он должен был отбывать солдатчину в седьмом Сибирском линейном батальоне. Константин Иванович пригласил лучшего в Омске вольнопрактикующего врача, просил его хорошо познакомиться со своими гостями, помочь им, чем можно, и дать своё заключение. Выслушав и выстукав обоих пациентов, врач сказал, что состояние здоровья

Достоевского не может препятствовать отправлению его по этапу, что же касается Дурова, врач нашёл, что состояние его здоровья внушает очень серьёзные опасения и отправлять его по этапу, даже недалеко – в Петропавловск, – было бы равносильно убийству. Присутствовавший при осмотре больных военный врач согласился с мнением своего учёного штатского коллеги и дал соответствующие сентенции: Дурова следует оставить в Омске до выздоровления, а Достоевского можно отправлять, когда начальству будет угодно. Мнение врачей не встретило возражений. Временно Дуров оставался в Омске и решил начать хлопотать о замене военной службы – гражданской по состоянию здоровья, а Достоевский стал готовиться к этапу. Впрочем, все его личные приготовления к далекому путешествию ограничивались только моральной самоподготовкой и писанием писем родным и знакомым. А все материальные заботы о нём взяла на себя Ольга Ивановна. Она по опыту знала, что март считается весенним месяцем только по календарю, а в Сибири он мало чем отличается от выюжного и холодного февраля. Поэтому, собирая в трудную и далёкую дорогу Фёдора Михайловича, она делала героические усилия для того, чтобы теплее одеть его и обеспечить всем необходимым. Нелёгкое это было дело, но доброе сердце и твёрдая воля помогли ей преодолеть все затруднения и скоро Фёдор Михайлович стал обладателем тёплого нового полушубка, великолепных валенок – пимов по-сибирски, меховой новой шапки-треуха и чудесных варежек-рукавиц, связанных самой Ольгой Ивановной из тёплой верблюжьей шерсти. Кроме всего этого внешнего облачения Достоевский получил от неё два комплекта тёплого белья, дюжину носовых платков, два полотенца и пару простыней. А на кухне тем временем для него заготавливался «аварийный» запас сибирских пельменей, замороженные и твёрдые, как камень, они складывались в специальный холщёвый мешок. Новый, просторный рюкзак довершал снаряжение Достоевского. Ольгу Ивановну беспокоило только, как справиться с такой солидной нагрузкой Фёдор Михайлович на своем длинном марше. Но и этот вопрос скоро разрешился весьма благоприятно для Достоевского, благодаря хлопотам и заботам Константина Ивановича. Незадолго до отправления этапной команды Иванов узнал, что в тот же день из Омска интендантство отправляет на Кольванский завод (недалеко от Змеиногорска) большой обоз с верёвками и канатами, и договорился с кем следует

о разрешении Достоевскому, вместе с остальными двумя пересыльными и конвоем, состоявшим из двух человек, ехать с этим обозом до станции Долонской, в пятидесяти верстах от Семипалатинска. От Долони обоз сворачивал с большака влево, что значительно сокращало его путь к Колыванскому заводу. Обоз был большой, причём ввиду дальности пути сани были загружены не полностью, и разместить пять человек на двадцати подводах было нетрудно. Это очень облегчало путешествие Достоевского, и он горячо благодарил Константина Ивановича за его исключительную дружескую заботу и помощь.

В маленьких городишках, каким был Омск пятидесятых годов прошлого столетия, трудно было что-либо долго удержать в тайне, и слухи о том, что у Ивановых гостят два бывших арестанта, только что отбывших четырёхлетнюю каторгу в местном остроге, быстро распространилась по городу. Кумушки из местного «бомонда» шёпотом передавали, что в прошлом это – «страшные» государственные преступники, которым предстоит ещё «бессрочная» солдатчина. Очень немногие знали, что один из арестантов – Достоевский – писатель, автор «Бедных людей» и «Неточки Незвановой». Во всяком случае, дом Ивановых в эту неделю стал предметом пристального внимания и интереса знакомых и малознакомых людей, особенно «дам из общества», и Ольге Ивановне в борьбе с нездоровым любопытством пришлось применить самые энергичные меры. Выходившая на звонки гостей Дуняша то и дело заявляла, что «барыни нет дома». Но, уступая просьбам своих близких знакомых, за несколько дней до отъезда Достоевского, Ольге Ивановне пришлось все-таки устроить маленькое «суаре», на котором присутствовали и Дуров, и Достоевский, причём последний не только присутствовал, но даже принял участие в спиритическом сеансе, во время которого был очень взволнован ответом «духа» на мысленно заданный, совместно с Ольгой Ивановной, вопрос о наследстве Анненковых. Увлечение спиритизмом и «столоверчением» в ту пору было модным и широко распространённым явлением в некоторых кругах русской интеллигенции и Достоевский, видимо, серьёзно разделял это увлечение. Он долго толковал по поводу этого «ответа», в котором, по всей вероятности, заключалось какое-то обещание, с крайне взволнованной Ольгой Ивановной, которая была поражена категорическим тоном утверждения, что наследство Анненковыми будет получено.⁴

Незадолго до этого вечера в доме Ивановых Достоевский познакомился с преподавателем Омского Кадетского корпуса полковником Ждан-Пушкиным и очень симпатичным офицером-киргизом (казахом) Чоканом Чингисовичем Валихановым, бывшим воспитанником Омского Кадетского корпуса. С первой же встречи между ними возникло чувство взаимной симпатии, перешедшее скоро в крепкую дружескую связь, продолжавшуюся до смерти Валиханова.

Ему Достоевский обязан был первыми сведениями о Семипалатинске. Достоевский говорил, что самого его мало занимает вопрос о ближайшем будущем, поскольку в основном это будущее определялось предстоящей военной службой в качестве рядового, но Валиханов, – человек широко образованный, большой умница и отличный знаток края, – в живой и увлекательной беседе сумел дать такие красочные и яркие картины своеобразного быта степного города, в котором несколько лет предстояло жить и работать Достоевскому, что он невольно увлёкся и сам начал задавать вопросы о казахском народе, его историческом прошлом, его быте и прочем.

В течение тех 15 или 16 дней, которые Достоевский провёл у Ивановых, он не менее трёх раз виделся с Валихановым и всегда у них находилась интересная тема для дружеской, оживлённой беседы.⁵

Валиханов сумел разглядеть в Достоевском человека исключительной судьбы и огромного таланта. Он много говорил с ним о значении писателя и укрепил в нём надежду на будущее. Под влиянием этих бесед с Валихановым Фёдор Михайлович почувствовал, что он ожил и как бы вырос и укрепился в сознании своей исключительной самоценности. К нему вернулась вера в свои творческие силы. А это было так важно для будущего, для успешной борьбы за жизнь...

Вообще всё это время, проведенное Достоевским под гостеприимной кровлей Ивановых, все эти встречи и беседы с людьми, сразу ставшими ему симпатичными и дорогими, значительно повлияли на его настроение. Как человек, в течение долгого времени оторванный от жизни, и, наконец, освобождённый и вновь начавший соприкасаться с жизнью, он переживал как бы второе рождение. И если бы это радостное чувство возвращения к жизни не отравлялось ядом сознания того, что это ещё не полная свобода, что впереди годы бесправия в солдатской шинели, – он был бы вполне счастлив. Правда, к этому примешивалось чувство тревоги за судьбы близких родных, от

которых он в течение четырёх лет не имел ни одной весточки.

Особенно его беспокоило четырёхлетнее молчание любимого брата Михаила. На каторге он не получил от него, да и вообще ни от кого из родных, ни одного письма.

- Жив ли Михаил? – думал он. – Может быть, его давно уже нет... Иначе неужели он не мог добиться разрешения на посылку хотя бы одного письма в год? Ведь другие получали же письма!..

Он не удовлетворился кратким официальным письмом брату Михаилу Михайловичу, которое написал и послал через комендатуру на третий день после своего выхода с каторги. Ему хотелось написать большое тёплое сердечное письмо брату, которое миновало бы всякую цензуру. Но для пересылки такого письма надо было ждать «оказию». Такое письмо можно было доверить только верному человеку. Константин Иванович обещал, говорил о товарище, который скоро должен поехать в Москву и оттуда в Петербург. Он доставит. Передаст лично.

- Приготовьте письмо заранее, – говорил он Достоевскому, – возможно, что ему предложат выехать экстренно...

Но Достоевский медлил. Он очень грустил и поделился с Ивановым своими опасениями о судьбе брата. Константин Иванович, как умел, успокаивал его и убеждал поскорее заготовить письмо.

22 февраля Константин Иванович пришёл домой неожиданно рано. Он принёс целую стопку свежих, только что полученных газет и, быстро раздевшись (скинув шинель), прошёл в комнату гостей. Открывая дверь в комнату, он уже с порога возбуждённым голосом обратился к Достоевскому:

- Фёдор Михайлович, а я к вам с радостною вестью! Даже со службы удрал, чтобы успокоить вас. – Жив! Жив ваш брат Михаил Михайлович...

Достоевский порывисто встал и, поблуднев, широко раскрытыми глазами смотрел на Константина Ивановича. У него занялось дыхание. Но, справившись с волнением, он быстро шагнул и сдавленным голосом спросил:

- Откуда вы узнали? Письмо? Да?! Давайте письмо!..

- Успокойтесь, дорогой Фёдор Михайлович. Письма ещё нет, а вот прочтите газеты... – и он передал Достоевскому свежие газеты. – Смотрите на четвёртой странице, в отделе объявлений. Там публикация

Михаила Михайловича об открытии его табачной фабрики.

Достоевский дрожащими от волнения руками взял поданную ему газету и быстро прочитал указанную публикацию.

Волнение его ещё более усилилось, на глазах блеснули слезы... Говорить он не мог – душила спазма. Подошёл, крепко обнял и поцеловал Иванова, которому тоже передалось волнение Фёдора Михайловича.

Наблюдавший эту сцену Дуров, без слов – крепким рукопожатием, поздравил Достоевского.

Около минуты длилось молчание. Когда Достоевский немного успокоился, Иванов снова обратился к нему:

- Ну, вот видите, Фёдор Михайлович, я оказался добрым пророком... А готовы ли у вас письма? Завтра я их должен передать вашему «почтальону». 24 февраля он уезжает, и не в Москву сначала, как предполагалось раньше, а едет прямо в Петербург.

- Письма?.. Письма ещё не готовы... – отозвался Достоевский, – но будьте уверены: завтра утром, не позднее 9 часов, письма мои будут в Ваших руках, добрейший Константин Иванович. Собственно я намерен просить вас о передаче двух писем, одного – брату Михаилу и другого Наталье Дмитриевне Фон-Визиной. Вы не можете себе представить, как легко мне теперь будет писать, когда я знаю, что мой дорогой брат Миша – жив... Ещё раз спасибо вам за добрую весть!

- Ну, полноте, Фёдор Михайлович... Я счастлив тем, что мне довелось передать вам эту радостную весточку о вашем брате.

К сожалению, последнее моё сообщение, которое я должен сделать вам, Фёдор Михайлович, другого характера и совсем неприятно, как для нас, так, вероятно, и для вас. Сегодня утром я встретил полковника Де-Граве, он сказал мне, что завтра должно начаться ваше этапное путешествие в Семипалатинск. Завтра же отправляется обоз с канатами. Время выхода этапного отряда согласовано с отправлением обоза, который выедет через час после вашего ухода. Этап отправляется от Комендантского Управления обычным пехотным порядком. Обоз догонит вас на полпути к первой остановке. Ольга Ивановна заготовила вам на дорогу несколько сот пельменей. Чтобы не обременять вас мешком с этими подорожниками, мы передадим его заведующему обозом. Так что в комендантское управление вы явитесь завтра налегке, с одним рюкзаком за спиною. Ну, а когда обоз

догонит Вас, – вам и вашим спутникам будут предоставлены места на подводах.

Да, совсем было позабыл сказать, что Ольга Ивановна достала Вам ещё кусок толстой, совершенно новой, кошмы и соорудила маленькую подушечку – «думку». То и другое очень пригодится вам в дороге и, особенно, на первых порах в казарме, пока вы там не освоитесь. В тягость эта походная постель вам не будет. Кошма и подушечка складываются в небольшой портативный рулон, на который надевается холщевый чехол.

- Спасибо, сердечное спасибо вам, дорогие друзья, за все ваши заботы о нас, – сказал растроганный Достоевский и крепко обнял и поцеловал Константина Ивановича.

- Да полноте, Фёдор Михайлович, за что, какой может быть об этом разговор. Разве вы сами в аналогичной обстановке не сделали бы того же самого. Вот что, дорогие мои: сегодня вечером у нас будет маленький прощальный ужин. К Вам, Фёдор Михайлович, хотел зайти проститься Валиханов. Я пригласил его на ужин. Вы не возражаете?

- Что Вы, что Вы, Константин Иванович, разве Вы не знаете, как я люблю этого чудесного киргиза? – Спасибо вам за то, что вы даёте возможность ещё раз встретиться и побеседовать с ним.

Константин Иванович взглянул на часы:

- Второй час. Вы меня извините, я ещё должен побывать на дистанции. Да и не хочу мешать вам, Фёдор Михайлович, писать ваши письма. А собраться в дорогу Вы успеете и завтра утром, этапная команда выходит в 11 часов дня. Итак, до вечера, господа...

Проводив Константина Ивановича, Достоевский прошёл к письменному столу, очистил и очинил перо, пододвинул стопку бумаги и, подготовившись писать, задумался.

Дуров, взглянув на Достоевского, погружённого в глубокую задумчивость, решил, в такую минуту надо бы оставить товарища одного. Он отложил книгу, встал и потихоньку отправился к выходу.

- Куда вы, Сергей Фёдорович? – окликнул его Достоевский.

- Пойду, пройдусь немного, – сказал Дуров, – погода сегодня хорошая, а я уже давно не был на воздухе. Надо немного освежиться...

Он, тихо притворив дверь, вышел в переднюю, оделся, вызвал Дуню, попросил затворить за ним и, перешагнув порог гостеприимного дома,

в первый раз после выхода из острога, оказался на улице. По дороге белым горностаем бежала позёмка...

Оставшись один в комнате, Достоевский решительно пододвинул чернильницу и начал своё первое, неофициальное, бесцензурное письмо брату Михаилу [Цитирование письма произведено Феоктистовым с искажениями, - *сост.*]:

«Омск. 22 февраля 1854 г.

Наконец то, кажется, я могу поговорить с тобой попространнее и повернее. Но прежде чем напишу строчку, спрошу тебя: Скажи ты мне ради господ бога, почему ты мне до сих пор не написал ни одной строчки? И мог ли я ожидать этого? Веришь ли, что в уединенном, замкнутом положении моем, я несколько раз впадал в настоящее отчаяние, думая, что тебя нет и на свете, и тогда по целым ночам раздумывал, что было бы с твоими детьми, и клял мою долю, что не могу быть им полезным. Другой раз, когда я узнавал наверное, что ты жив, меня брала даже злоба (но это было в болезненные часы, которых у меня было много) и я горько упрекал тебя. Но потом и это проходило: я извинял тебя, старался приискать все оправдания, успокаивался на лучших, и ни разу не потерял в тебя веры: я знаю, что ты меня любишь и хорошо обо мне вспоминаешь. Я писал тебе письмо через наш штаб. До тебя оно должно было дойти наверное, я ждал от тебя ответа и не получил. Да неужели же тебе запретили? Ведь это разрешено и здесь все политические получают по несколько писем в год. Дуров получал несколько раз, и много раз на запросы начальства о письмах разрешение писать их подтверждалось. Кажется, я отгадал настоящую причину твоего молчания. Ты, по неподвижности своей, не ходил просить полицию, или если и ходил, то успокоился после первого отрицательного ответа, может быть от такого человека, который и дела-то не знал хорошенько. Ты мне доставил этим много и эгоистического горя: Вот, подумал я, если он и о письме не может выхлопотать, будет же он хлопотать об чем-нибудь важнее для меня! Пиши и отвечай скорее, а прежде всего пиши официально, не ожидая случая, и пиши подробнее и пространнее. Я теперь от вас от всех ломоть отрезанный – и хотел бы прирасти, да не могу. Les absents ont toujours tort. Неужели и между нами это должно случиться? Но не беспокойся, я в тебя верю.

Вот уже неделя как я вышел из каторги. Это письмо посылается тебе в глубочайшем секрете, и об нем никому ни полслова. Впрочем я пошлю тебе письмо и официальное, через штаб Сибирского корпуса. На официальное отвечай немедленно, а на это – при первом удобном случае. Впрочем, и в официальном ты должен изложить самым подробным образом, всё главное о себе за все эти четыре года. Что же касается до меня, то я бы рад был послать тебе целые томы. Но так как и на это письмо едва имею время, то и напишу главнейшее...

Я ни одного дела не люблю делать вполонину, а сказать что-нибудь, ровнешенько ничего не значит. Впрочем, главная реляция перед тобой. Читай и выжимай, что хочешь. Я обязан это сделать и потому принимаюсь за воспоминания...»

Дальше Достоевский довольно обстоятельно описывает всё, что произошло с ним в течение четырёх лет с момента после свидания с братом Михаилом и сопровождавшим его А.П.Милюковым, 24 декабря 1849 года, в доме коменданта Петропавловской крепости, до выхода из Омского каторжного острога. В конце описания острога сообщает:

«Я часто лежал больной в госпитале. От расстройства нервов у меня случилась падучая, но впрочем, бывает редко. Есть у меня ещё ревматизм в ногах. Кроме этого я чувствую себя довольно здорово...

Одно: не забудь меня и помогай мне. Мне нужно книг и денег. Присылай ради Христа.

Омск гадкий городишка. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видал. Городишка грязный, военный, и развратный в высшей степени. Я говорю про чёрный народ. Если бы не нашел здесь людей, я бы погиб совершенно. Константин Иванович Иванов был мне как брат родной. Он сделал для меня всё, что мог. Я должен ему деньги. Если он будет в Петербурге, благодари его. Я должен ему рублей 25 серебром. Но чем заплатить за это радушие, всегдашнюю готовность исполнить всякую просьбу, внимание и заботливость как о родном брате. И не он один! Брат, на свете очень много благородных людей.»

Несколько раз в письме к брату Федор Михайлович возвращается к просьбам о высылке книг и денег.

«Адрес я тебе вышлю. Во всяком случае вот он: в Семипалатинск, Сибирского линейного №7 батальона рядовому. Это официальный адрес. На этот посылай письма. Но для книг я вышлю другой..

Не знаю, что ждет меня в Семипалатинске. Я довольно равнодушен к этой судьбе. Но вот к чему не равнодушен: хлопочи за меня, проси кого-нибудь. Нельзя ли мне через год, через два на Кавказ, – все-таки Россия. Это моё пламенное желание, проси, ради Христа. Брат, не забывай меня. Вот я пишу к тебе и распоряжаюсь всем, даже состоянием твоим. Но у меня вера в тебя не погасла. Ты мой брат и любил меня. Мне нужно денег. Мне надо жить, брат. Не бесполезно пройдут эти годы. Мне нужно денег и книг. Что истратишь – не пропадет. Ты не ограбишь своих детей, если дашь мне. Если только буду жив, то им с лихвой возвращу. Ведь позволят же мне печатать лет через шесть, а может и раньше. Ведь многое может перемениться, а я теперь вздору не напишу. Услышишь обо мне...

Ради бога это письмо мое держи в тайне и даже сожги: не компрометируй людей. Не забудь же меня книгами, любезный друг. Главное: историков, экономистов, «Отечественные записки», отцов церкви и историю церкви. Перешли в разное время, но пересылай немедленно. Я распоряжаюсь в твоём кармане как в своём, но это оттого, что я не знаю твоих денежных обстоятельств. Напиши мне об этих обстоятельствах что-нибудь точное, чтоб я имел понятие. Но знай, брат, что книги – это жизнь, пища моя, моя будущность! Не оставь же меня ради господ бога. Пожалуйста! Спроси разрешения, можно ли будет тебе послать мне книг официально. Впрочем, осторожнее. Если можно официально, то высылай. Если же нет, то через брата Константина Ивановича, на его же имя; мне перешлют. Впрочем, Константин Иванович будет сам в Петербурге – в этом году; он тебе все расскажет. Что за семейство у него! Какая жена! Это молодая дама, дочь декабриста Анненкова. Что за сердце, что за душа, и сколько они выгтерпели!...

Но, ради бога, старайся и проси об моем переводе на Кавказ, да наведайся у людей знающих, можно ли мне будет печатать, и как об этом просить. Я прошу года через два или три. Вот до тех пор корми меня, пожалуйста. Без денег меня, задавит солдатство. Смотри же!...

Все наши ссыльные живут помаленьку. Толь кончил каторгу; он в Томске и живет порядочно. Ястржембский в Таре кончает. Спешнев в Иркутской губернии, приобрёл всеобщую любовь и уважение. Чудная

судьба этого человека! Где и как он ни явится, люди самые непосредственные, самые непроходимые, окружают его тотчас же благоговением и уважением. Петрашевский по-прежнему без здравого смысла. Момбелли и Львов здоровы, а Григорьев, бедный, совсем помешался в больнице. А что у вас?...

22 числа февраля.

Завтра, кажется, я наверное еду в Семипалатинск. Константин Иванович будет здесь до мая. Я думаю, что ты можешь, если захочешь мне что-нибудь переслать – книг, например, прислать ещё на прежнее имя Михаила Петровича..

Ради бога хлопочи за меня. Нельзя ли мне на Кавказ, или куда-нибудь вон из Сибири. Теперь буду писать романы и драмы, да много ещё, очень много надо читать. Не забывай же меня и прощай. Перецелуй детей твоих. До свидания».

Письмо к брату Фёдор Михайлович успел закончить к восьми часам вечера. Он так увлекся беседой с братом, что не слышал, когда возвратился с прогулки Дуров.

Почти каждому человеку свойственно стремление иногда побыть одному, уединиться, уйти от общения с окружающими его людьми, от обычной, повседневной обстановки. Но особенно эта «тяга к одиночеству» близка и понятна людям, которые, в силу обстоятельств, долгое время были лишены возможности распоряжаться собой по своему усмотрению. Очень тягостно одиночное заключение, но и непрерывное, многолетнее, принудительное пребывание «на людях» становится иногда нестерпимо-мучительным. Правда, многое в таких случаях зависит от характера человека и его интеллектуальных особенностей. И Дуров, и особенно Достоевский, иногда очень остро испытывали эту «тягу». Достоевский понял, что побудило Сергея Федоровича предпринять свою неожиданную «прогулку» в тот момент, когда он начал писать письмо к брату. И сейчас ему было неловко оттого, что, понимая это, он не удержал Дурова из чисто эгоистических побуждений и заставил, таким образом, больного человека несколько часов бродить по улицам в мороз и выюгу.

Он ощутил прилив какой-то теплоты и благодарности к этому человеку. И в первый раз за всё время знакомства с ним и совместного пребывания на каторге, упрекнул себя в несколько предвзятом и несправедливом отношении к Дурову.

Вдруг ему захотелось подойти, обнять и сказать несколько тёплых сердечных слов этому чуткому, хорошему человеку. Дуров лежал на койке, повернувшись лицом к стене. Достоевский, подойдя к кровати и увидев, что Дуров спит, не стал будить его, но долго молча стоял возле него, всматриваясь в бледное лицо и прислушиваясь к тяжёлому, неровному дыханию.

Возвратившись к столу, Достоевский собрался было начать письмо Фонвизиной, но в это время в дверь постучала Дуняша и позвала ужинать. Видимо, очень уставший во время своей «прогулки» Дуров крепко спал и не слышал стука Дуняши, Достоевский подошел и, осторожно разбудив его, сказал:

- Вставайте, Сергей Федорович, – ужинать зовут.

Когда Дуров встал, привёл себя в порядок и отправился в столовую, Достоевский подошёл к нему вплотную, обнял за плечи и сказал:

- Хороший вы человек, Сергей Фёдорович...И...спасибо Вам!...

- За что? – удивился Дуров.

- Вы знаете, за что... - отозвался Достоевский и, не глядя на него, шагнул вперёд и первый вышел из комнаты.

Прощальный ужин прошел не очень оживлённо. Да и не мог он быть особенно весёлым. Ведь, по существу, в каждом проводах есть что-то похоронное...

Эта мысль тревожила сознание каждого из четырёх сотрапезников, собравшихся в столовой. Валиханов не пришёл, очевидно, какие-то непредвиденные обстоятельства задержали его.

Ольга Ивановна делала героические усилия, чтобы поднять настроение, но это ей мало удавалось. Разговор вертелся вокруг туманного неизвестного и загадочного «завтра», в которое уходил Достоевский.

Константин Иванович тоже по мере сил стремился развеселить и вызвать улыбку на помрачневших лицах друзей. Даже Дуров попытался было острить, но безуспешно. Достоевский не мог, а, может быть, и не хотел вырваться из овладевшего им мрачного оцепенения. Наконец, ему удалось овладеть собой и после дружеского тоста со всевозможными добрыми пожеланиями, адресованными ему Ольгой Ивановной, он встал и, с бокалом в дрожащей руке, обратился к ней с такими словами:



- Милые, дорогие, незабвенные друзья мои, завтра я должен покинуть ваш тёплый гостеприимный кров. Я никогда не забуду этих светлых минут, проведенных в общении с вами и всего того, что вы сделали для меня, для нас, а вы сделали больше, чем могли бы сделать брат и сестра... Вы, ваша семья, ваш дом были и остаются для нас чудесным оазисом, в пока ещё дикой, великой сибирской пустыне... Здесь, под вашим кровом, мы вновь почувствовали себя людьми и ощутили иллюзорное чувство свободы... Спасибо вам за эту краткую, но незабываемую радость. Завтра я перешагну через порог вашего милого дома и уйду опять в ожидающее меня, вероятно тоже не лёгкое и тревожное, будущее. Простите меня за эти тяжёлые и мрачные мысли. Но я не знаю, доведётся ли когда-нибудь ещё встретиться и обнять вас и всех тех дорогих и близких мне людей, которых я не видел уже пять лет и не знаю, увижу ли когда? Мне сейчас вспомнилось стихотворение Лермонтова. Может быть, через несколько лет я вернусь на родину. Но что меня ждет там?

*Увижу-ль прежняя объятья,
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца после долгих лет?!*

*Или, среди могил холодных,
Я наступлю на прах родной
Тех добрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной?...*

Достоевский быстро справился с охватившим его волнением и закончил:

- Но что бы-то ни было, а сейчас ещё раз братское, сердечное спасибо вам, дорогие Ольга Ивановна и Константин Иванович! Не забывайте меня там, – в киргизских степях. А я... я буду писать вам...

Ужин скоро закончился. Достоевскому предстояла бессонная ночь: он должен был написать ещё несколько писем, а завтра...завтра начинался новый этап его жизни....

*Публикация источника и комментарии
подготовлены Виктором Вайнерманом*

Лев Толстой и Сибирь



Марина Борисова
ИЩЕМ ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
А ОНИ РЯДОМ...



лет исполнилось со дня создания в Кузбассе толстовской коммуны «Жизнь и труд».

Конечно, сегодня и коммуны давным-давно нет, и первых толстовцев с каждым годом становится все меньше и меньше. Однако идеи, которые проповедовали сторонники добра и справедливости, живы и поныне. В минувшие выходные в Новокузнецке состоялась встреча потомков первых идеологов, принесших учение писателя Льва Толстого на Сибирскую землю.

Отпраздновать юбилей собрались те, чьи родители жили и трудились в коммуне, кто в ней родился, рос и учился. Организатор и идейный вдохновитель сего мероприятия – Борис Аронович Гросбейн, сын одного из основателей «Жизни и труда», директор школы, где и проходила встреча.

Кстати, учебное заведение, которым руководит Гросбейн, носит имя Л.Н.Толстого. В программе школы написано, что «она дает возможность учителю и учащемуся проникнуть в систему нравственных понятий о жизни, об окружающем мире...учитель, пользуясь методикой Толстого, подводит детей к истине через их собственное переживание». Еще Борис Аронович заведует школьным музеем, в котором выставлены предметы быта, принадлежащие коммунарам, литература, которую они издавали, тесно работая с Львом Толстым, воспоминания в рукописях.

Мы застали директора в тот момент, когда одна из первых коммунарок Лидия Афанасьевна Шилова передавала музею рукописи своей тети, убежденной последовательницы толстовских учений, Анны Степановны Малород. Когда-то Юлий Егудин (один из инициаторов толстовского движения) написал, что «она принадлежала к тем людям, которые приносят в мир светлый ум и доброе сердце». Анна Степановна преподавала детям коммунаров литературу и музыку.

Восторг Бориса Ароновича по поводу подаренных документов словами передать трудно. Понятно было одно: мы стали свидетелями важного и торжественного момента. Убеждение в том, что это на самом деле так, пришло, когда собравшиеся начали вспоминать

Великих мужей рождают не матери, а Плутархи.
Станислав Ежи Лец

историю «Жизни и труда» и свою жизнь в коммуне: стало ясно, что описанные Анной Степановной события – это ценнейшее пособие для историков и литераторов. Как позже рассказал Борис Аронович, у него подобных документов достаточно для того, чтобы издать много томник, посвященный истории развития толстовского движения в Кузбассе. Другой вопрос, что этим мало кто интересуется. И зря...

Нужно было видеть, с каким волнением встречались эти люди. Как они вглядывались в лица друг друга, узнавая, кто есть кто. Они жали друг другу руки, обнимались, некоторые плакали.

- Сегодняшняя встреча – случай неординарный и уникальный, – начал мероприятие Борис Аронович. – Мы вспомним наших отцов и матерей. Здесь собрались замечательные люди, воспитанные в добре, которые никому ни при каких обстоятельствах не причинят зла.

Далее – поименное представление каждого с обязательным указанием имени родителей – некоторые из собравшихся не виделись годами.

- Я – Шипилов Николай Петрович. Родился и вырос в коммуне...

- Вы обязательно должны идентифицировать одну фотографию, которая есть у нас в музее, – обращается к нему Гросбейн. – Это такая удача, что у нас есть возможность сделать это! И вообще, какое счастье, что вы все нашли возможность и силы приехать, это уникально.

Далее – Лев Александрович Шилов:

- Я ровесник коммуны. Мне полностью передались убеждения моей матери Аграфены Петровны.

...Елена Ивановна Дрогуновская, Тамара Кожухар, Валентина Юльевна Егудина, Литвиновы Наталья Петровна и Татьяна Петровна, Вера Львовна Алексеева... Всего почти двадцать человек, по сей день проповедующих убеждения своих родителей – идею непротивления злу насилием.

Первые последователи Толстого появились в Кузбассе в 1931 году. Это были добровольные переселенцы почти из всех уголков России, среди которых – близкие друзья семьи писателя, работавшие в толстовском издательстве «Посредник». Они и стали основателями на участке Угольном сельскохозяйственной коммуны «Жизнь и труд». Среди коммунаров были и выпускники Московского университета, и Ленинградской сельхозакадемии, и потомственные крестьяне. Главное, что объединяло этих людей – возможность работать на земле, свободно

воспитывать своих детей в духе нравственных идей Толстого (любовь ко всему живому).

Дело в том, что в то время Сибирь оставалась едва ли не единственным местом в России, которого не коснулась коллективизация: в самом начале 1930-х годов единоличные крестьянские хозяйства, в том числе и толстовские коммуны, были ликвидированы почти повсеместно.

Первое, чем озаботились переселенцы, обживаясь на новом месте, стало создание своей школы. Учителями стали свои же – толстовцы: Густав и Гюнтер Тюрк, Клементий Красковский, Анна Малород, Евгений Попов, Иван Гуляев, Евгения Литвинова. Как вспоминал впоследствии первый председатель «Жизни и труда» Борис Мазурин, именно на школу возлагались все надежды, «ибо, проникшись идеями добра, имея светлые надежды, человек способен на созидание».

Здание школы было готово уже к осени. Однако сразу приступить к учебе в комфортных условиях детям коммунаров не пришлось. Занятые спешными огородными работами, строительством и абсолютно не готовые к сибирским холодам, толстовцы не успели до первых заморозков обустроить свои собственные дома. Новая школа стала временным пристанищем для сорока четырех человек. Пришлось педагогам и полусотне школьников «бродяжничать» из дома в дом со своим скромным инвентарем: пускали везде охотно, несмотря на неудобства и беспорядок – верных спутников детворы. Потому что все понимали, что самое главное на тот момент, вопреки всем сложностям времени, было образование.

Жить и работать на Кузнецкой земле без постороннего вмешательства пришлось недолго. Вскоре после начала школьных занятий поселок коммунаров посетил местный инспектор народного образования. Власти, по словам визитера, посчитали создание толстовской школы явлением нелегальным и предложили свой вариант – с принятой по всему Союзу программой и с учителями соответствующей подготовки. Коммуна такие условия не приняла: общеобразовательная школа как минимум подразумевала военную подготовку и пионерию, а для толстовцев это было неприемлемо. Наркомпрос пошел навстречу и школа смогла доработать до весны. А с началом следующего учебного года на школу начались новые нападки. Власти хотели,

если не совсем запретить толстовцам собственное обучение, то позволить работать в школе учителям с общепринятыми взглядами. «Жизни и труду» и здесь удалось отстоять свои интересы. Мало того, толстовцы начали учить читать и писать крестьян, примкнувших к коммуне. Для школьников два раза в неделю по вечерам проводились дополнительные чтения, раз в неделю им показывали световые картины по географии и естествознанию. Каждый месяц устраивались литературные вечера с пением, чтением стихов, с докладами и спектаклями. Время от времени учителя-коммунары собирали своих подопечных и ехали в город на экскурсии: посещали мастерские, театры, кино, музей, изучали архитектуру.

Тем временем президиум Сталинского (ныне Новокузнецкого) горсовета постановил «считать совершенно недопустимым существование частной школы, как не входящей в государственную сеть» (постановление №200/ 535). Толстовцев предупредили, что в ситуации «живем, как жили» к ним будут применены определенные меры. А еще коммунарам предписали выделить квартиры новому педагогическому коллективу.

Приверженцы высоких идеалов продолжали сопротивляться. Толстовская школа, благодаря их усилиям, просуществовала до 1936 года. Что стало происходить потом, известно всем. Репрессии. Школа и ее учителя были уничтожены сталинским режимом: 1937 год ознаменован целой серией репрессий против толстовцев; немногим позже коммуна «Жизнь и труд» была полностью переведена на колхозные рельсы...

...- Можете поздравить меня, - рассказывает Вера Алексеева. - Совсем недавно я была реабилитирована. Все это время считалась дочерью врага народа. Когда начались массовые аресты, моего отца, как многих, не обошли стороной. Его обвинили в том, что он диверсант и готовится взорвать Кузнецкий мост, который на момент ареста еще только-только начинали строить.

- Когда похоронили отца, - поддерживает воспоминания другой толстовец, - я нашел в его доме обрывок папиросной бумаги, на котором было описано, за что арестовали целую группу толстовцев. Оказывается, в коммуну пришло распоряжение сдать лошадей в армию. Коммунары постановили: лошадей на военное дело, на насилие не давать. За это и заплатились свободой. Их отпустили спустя годы за

отсутствием состава преступления.

Подобных историй у тех, кто приехал на годовщину «Жизни и труда», десятки. И конечно, чтобы рассказать их во всех подробностях, больше подойдет не газетный материал, а, скорее, отдельная книга. Серия книг. Конечно же, своими силами потомки коммунаров сделать этого не смогут никогда.

- Нам необходим музей, в котором можно было бы собрать и хранить наш архив, - продолжает Борис Гросбейн. - Школьные стены - не совсем подходящее место для такого рода документов. Ну, хорошо, сейчас я слежу за их сохранностью. А что будет дальше, когда меня не станет? Должно быть официальное заведение, о котором должны знать не только мы и не только ученики нашей школы.

Итогом так называемой официальной части встречи стало подписание письма в Министерство культуры РФ с просьбой разрешить музею быть и как-то поспособствовать его созданию.

Толстовцы никогда ни у кого не просили помощи. Вся история «Жизни и труда» говорит о том, что они самостоятельно распространяли свои идеи: сами оснащали школу, сами себя кормили и одевали. Обращение в Минкультуры, можно сказать, первая просьба. И то, просьба, направленная на всеобщее благо. Потому что общество, действительно, не имеет других свидетельств (документальных, в том числе) жизни и деятельности толстовцев в Кузбассе. Как бы странно это ни было, но о толстовцах мало знают, если не сказать, что не знают ничего, на историческом факультете Кемеровского госуниверситета. Нужны ли после этого какие-то комментарии? Причем подобное положение дел - это не результат равнодушия со стороны толстовцев. Тем, что происходило и происходит рядом с нами, мы сами же не интересуемся. Меж тем на материалах, имеющихся в музее новокузнецкой школы, на воспоминаниях очевидцев можно писать научные труды. Кстати, кто-нибудь может вспомнить урок истории в общеобразовательной школе, посвященный толстовцам, живущим в нашей области? А это целый исторический пласт, который стоит изучать. Пока еще есть возможность приглашать на такие уроки людей, знающих о коммуне и первых коммунарах не понаслышке. А в турмаршруты по Кузбассу для школьников, изучающих историю родного края по программе областной администрации, неплохо бы включить и Абашево, и Тальжино - поселки, в которых жили и работали

толстовцы. Хотя бы для того, чтобы современное поколение знало, что было и такое: невозможность мыслить и жить свободно, никому не вреда и ни на кого не влияя; репрессии и аресты, беспочвенные обвинения и расстрелы ни в чем не повинных людей. Может быть, тогда молодежь, еще не определившаяся с тем, кому верить, и не до конца понимающая, что происходит, на многие сегодняшние события взглянула по-другому.

- Нам нужно продолжать дело наших родителей, - говорит Борис Аронович. - Память о первых толстовцах должна быть увековечена достойно. Идеи о мирной братской жизни на земле, о мирном труде, без войн, без насилия должны иметь продолжение.

... 75-летие коммуны стало едва ли не единственным за последние несколько лет поводом встретиться всем, оставшимся в области потомкам толстовцев. Обычно они пересекаются в родительский день или на Троицу на тальжинском кладбище, где похоронены некоторые из основателей «Жизни и труда». Наверное, теперь, вдохновленные идеей создания музея, будут встречаться чаще. Дай Бог, чтобы отправленное толстовцами письмо дошло до министра культуры, и чтобы у власти хватило здравого смысла ответить на него положительно. И, возможно, тогда в то, что и в современных условиях можно мыслить свободно, в то, что и сегодня возможно торжество справедливости, наши современники поверят.

Кемерово – Новокузнецк – Кемерово.

Анна Малород В ЛАГЕРЯХ

Записки учительницы толстовской школы (1930-е гг.)

Проводы



1935, 12 апреля

Вот уже неделя как я из дому, а кажется, что прошло так много времени! Как будто месяц прошел с того времени, как я не видела своих. Снег, выюжно, по дороге к городу нас с Афанасием Наливайко (моим товарищем по несчастью) провожают друзья – пожилые, школьники, дети, - на санях впереди наши пожитки, а мы идем пешком. Но вот настает минута расставания, целуемся со

всеми, кое-кто плачет, но я стараюсь крепиться, и мне на этот раз удастся удержать слезы: «Свой долг нужно выполнять бодро и радостно», - сказала я себе. Вот уже друзья остаются позади, - одна девочка, Раечка Совина, привязчивая, чуткая, «моя доня», как я её назвала, бежит за мной еще немного, но и ее, поцеловав, отправляю назад. Павлуша, мой (муж) и Гуля Тюрк провожают еще немного, но и они, наконец, отстают и вот все уже позади - и коммуна, и друзья, и между нами все больше и больше расстояние... Холодный ветер пронизывает, сердце сжимается от чувства одиночества...

Ночевали мы в нашей коммунальной избушке на берегу Томи. Между взрослыми было четверо учеников, две девочки из четвертого класса – Клава Самойленко и Зина Шилова, и двое мальчиков – Вася Г. и Алеша К. Мальчики от болезни (малярия) несколько присмиревшие, уважительные, со скромными манерами, девочки и вообще скромные, милые, я любовалась на них, не могла налюбоваться, глядела в их ясные, чистые глаза, и сердце мое трепетало от какой-то сладкой боли. Коммуна словно последнюю улыбку послала мне в их лице.

Арест

«Вы арестованы», - сказали нам с Афанасием в лагерях, куда мы пришли, как на распределительный пункт, и дверь за нами закрылась. Прежде всего, нас освидетельствовал врач, нашел нас пригодными к работе, и мы простились с Афанасием, его повели в мужской барак, меня направили в женский...

Женщины, старые и молодые, цветущие, полные - каждую утешаю: «сестрой мне будете, вместе мы сюда вошли, вместе будем и горе делить». Истощенные, желтые, в шелке и в лохмотьях, ходили, сидели, лежали на кроватях, шумели, кричали, бранились самой отборной бранью. Знакомое лицо – восклицание: «А – это вы!» Это моя знакомая по ар. дому – в ночь перед судом, та, что так славно спела мне тогда; оказывается, что ей дали полтора года заключения. «А вот вместе с этой женщиной вымойте себе койку, - обращается ко мне какая-то распорядительная особа, - она тоже новенькая». Я её разглядываю, у неё скромный вид и заплаканные глаза. «И за что я сюда попала?» - спрашивает она, проворно орудуя тряпкой и роняя слезы. «За что же вас судили?» - «Да за сокрытие кражи», - отвечала она и заплакала сильнее. «Ну, не плачьте - пробую я её утешить, - сестрой

мне будете, вместе мы сюда вошли, вместе будем и горе делить».

В конвойке

«Ну, где новенькие? На работу идите, вот с конвоиром, - обращается к нам начальник лагеря. - В конвойку уборщицами». И вот мы шагаем к месту назначения, впереди стрелок, сзади мы... «Бессовестные воровки!» - кричат на нас какие-то ребята. Я призываю себе на помощь смирение, и эти камешки пролетают мимо. Жутко, страшно, совесть остро, пристально всматривается вперед: «Быть уборщицей в конвойке, возможно ли это, не отказаться ли?» «И что за отказом последует?» «Подожди, - говорит разум, - осмотришься прежде». В конвойке, состоящей из двух больших помещений для конвоиров, только что побелили, и нам предстоит мыть залитый известью пол, окна и т.д. Нас пригнали на смену двум-трем женщинам, вымывшим уже часть помещения: бледная старушка показывает нам свои руки, кожа лохмотьями висит у неё на пальцах. «Попортятся и ваши рученьки», - говорит она нам, качая головой. В бараках шум, гам, толкотня, конвоиры все тоже заключенные. «Мои братья, небось, сердцем они тоже не здесь, а там, дома, как и я», - говорю я себе, и совесть моя несколько успокаивается: скрасить, улучшить им несколько жизнь, убрав им помещение - не так уж это и плохо... Часть ночи мы провели на матрацах, на полу в тесной дежурке, где нас конвоиры толкали ногами, а перед утром позвали на кухню, помогать повару. Увидев на столе мясо, я попробовала отказаться от этой работы, но повар заставил меня чистить картошку, резать свеклу, перебирать капусту. Между прочим, он спросил меня о моей судимости, и когда я объяснила, что отбываю срок по 122 статье, т.е. за религиозное преподавание в школе, он как-то свистнул и сказал: «Ну, это за испуг воробья». Обедом мне был кофе с хлебом, в то время как мои товарки угощались супом с мясом.

Целый день затем мы мыли пол, окна, руки стали покрываться ранами, но не приходилось обращать на это внимание, а так как все время приходилось болтаться в воде, то известь следом вымывалась из ран, и это было лучше. К вечеру помещение было вымыто и стало наполняться жильцами. Я сидела в уголку, успокоив, наконец, израненные руки. «И чисто, и тепло, и светло», - слышались вокруг возгласы, и от них на сердце ложилось успокоение.

«Письма, письма получайте!», - закричал дежурный, и толпа конвоиров сгрудилась вокруг него, все предубеждения, страх против этих людей ушли далеко, оставалась одна жалость, и я украдкой вытирала слезы. Ведь у каждого из них дома - мать, жена, дети, от которых они с нетерпением ждут писем, и я вспомнила о своих близких... Закроешь глаза, и все передо мной добрые, разумные спокойные лица и такие милые, милые сердцу... Лучше и не думать. «Ночью промоем полы, а завтра наведемся в избушку», - утешала я себя. Но ночью не было воды, ночью нас заставили помогать в кухне. «Ну, ничего, вымоем днем полы, а вечером уж съезжу в избушку за вещами», - опять говорила я себе. (По окончании работы нас отпускали по делам в город, на базар). Но едва только мы вымыли полы, как нам, всем женщинам, велели собираться в главный лагерь на перерегистрацию. «Ах, когда же я увижу своих? - с тоской спрашивала я себя. - Ну, ничего, перерегистрируемся, тогда уж обязательно в избушку съезжу, хоть ночью». Пришли в главный лагерь, и тут нам сказали, что завтра нас отправят на работу в совхоз за 12 верст отсюда. «Вот тебе и регистрация, - забеспокоилась, загоревала я. - Вот и попала я в избушку, и вещи мои в избушке, и мои не знают, куда меня высылают, и денег у меня только пять рублей, а жалование только через полмесяца будут давать». Как всегда в особенно трудные минуты, я вспомнила о матери и мысленно к ней обратилась, подняв глаза к небу, из которых готовы были брызнуть слезы: «Мамочка, разве ты меня забыла?» А когда я опустила глаза, в толпе заключенных передо мной вырисовалась фигура Славинского. Как я рада была его увидеть, его, которому свободен и вход и выход из лагеря, что невозможно ни вольному (вход), ни заключенному (выход). Я бросилась к нему. Он пообещал съездить в избушку и привезти мне вещи, и передать мою записочку...

Между тем мы разместились на ночь в том же женском бараке, что и в первый раз; те же лица, тот же гам, песни, брань... Ко всему этому женщины были взбодоражены известием, что на другой день их отправят в этап на Дальний Восток.

На утро Слабинский доставил мне из избушки вещи, деньги и хлеб, а на утро, когда нас парами выводили из лагеря, у выхода встретил меня один из друзей и проводил до трамвая. Так приятно и радостно мне это было.словно с коммуной своей я свиделась. «Я знаю тот совхоз, куда вас направляют, и вскоре вас навещу», - простился он



со мной.

В совхозе

Идти было хорошо, полем, то низом, то горою по дороге, которая не совсем еще испортилась, солнышко, тепло, но только тяжело было нести вещи, которые я взяла с собой. (Остальные мои товарки оставили свои вещи в бараке в надежде на подводу). Прошли какое-то небольшое селение, и вот наш совхоз. Поселок этот напомнил мне наш поселок: березовый и сосновый лесок взбирался по горе, внизу ручей весело журчал, разрывая снежный покров. Я вздохнула полной грудью, как птица, почуявшая волю. Жизнь на природе, настоящая работа предстояла мне, и сердце мое несколько повеселело. Квартиру нам отвели хорошую. Высокая комната в только что выстроенном для рабочих бараке, но только холодная, так как обогревает её маленькая железная печурка, для которой очень трудно добывать дрова.

Всех нас пригнали сюда 22 человека, причем мы разделились на две партии – столько по возрасту, сколько и по поведению, – на молодых и старых. Молодые веселые, бранчливые, «гуляющие» – девушки, сидящие большей частью без денег; старшие – жалкие, недовольные всем и всеми, ворчащие, плачущие, жалующиеся старушки; к последней партии присоединилась и я.

Работа тяжелая – таскали назем в парники и землю на носилках, сеяли мокрую или мерзлую землю; ноги иногда промокают, ветер студеный, иногда кружит снег: и в комнате нашей не обогреться. К утру же за ночь в ней так становится холодно, что мы, ложась спать в шубах и валенках (у кого есть), просыпаемся и не спим, а топить нечем, дров нет. Почти половина наших принудниц ушли обратно в городской лагерь, из остальных на работу выходят не более пяти человек: я ещё ни одного дня работы не пропустила, и однажды вечером все мои товарки напустились на меня за то, что я так аккуратно хожу на работу, называя меня «святошей», «богородицей» и т.п. «Знаешь, тебя хотят ночью побить», – сообщила мне потихоньку одна. Я вышла на улицу. Холодно, студено, звездочки закипают в далеком холодном небе; чувство глубокого одиночества охватило меня. Порядочные люди вытолкнули меня из своей среды, и к этому обществу я не подхожу. Как же быть? Идти к начальству, рассказать свое положение и что я хочу работать и что грязь того общества, в которое я попала, мне



невыносима. Но нет, никто не поймет, никто не пожалеет, а если кто и пожалеет, то одинаково не сможет, не осмелится помочь мне, и обратно оттолкнут меня сюда же. Я заплакала, и результаты моих размышлений были следующие: «Вот моя семья и нет у меня другой пока, ее горести и радости должна я делить, ей быть полезной, чем могу». И с этим решением, с этой готовностью вернулась я в избу. В это время из города вернулась бригадирша и привезла распоряжение от начальства всем обязательно выходить на работу, так что меня забыли бить и бранить. А на другой день посетил меня один их коммунаров, привез мне сдобные коржики, конфеты, которые я со всеми стала делить, кто просил у меня денег займы – не отказывала. С готовностью мела и мыла пол в нашей комнате, таскала дрова, читала письма и писала их неграмотным; при этом несколько женщин соберутся в кружок и, вспомнив своих домашних, плачут, и я с ними; читаю по вечерам «Кругом света» о путешествиях, и отношения стали налаживаться.

25 апреля

Вчера с обеда никто не вышел опять на работу, так как с утра шел дождь и очень разгрязнило. Но я пошла как и всегда, по дороге попала в трясину, но вернуться не хотелось. «Что будет, то и будет», – и стала на горе сеять землю через большое решето. Голубое небо широко раскинулось над головой, жаворонки пели свою несмолкаемую песню, какая-то птичка с серебристым оперением, с черной головкой, близко, близко от меня уселась и, казалось, долго и хлопотливо рассказывала мне на своем милом языке, надувая горлышко, вероятно, о том, что с утра был буран, а вот теперь – хорошая погода, что небо голубое, что весна, и что у нее много впереди хлопот. Я прервала свою работу и слушала ее с наслаждением, пока она не улетела, быстро взмахнув своими серебристыми крылышками.

27 апреля

Вчера мне стало что-то так тяжело, перспектива долгого заключения показалась мне такой темной, жизнь среди окружающих меня людей, среди грязи, разврата, лжи, мелких интересов, – такой никчемной, что мне захотелось умереть и чем скорее, тем лучше. Но в обед пришел из коммуны Егор Иванов и свежим ветром пахнуло на меня. «Мы скучаем за тобой, мы хлопочем за тебя, может быть, выручим тебя еще», – сообщил он мне; передал несколько писем и одеяло, присланное Павлушей из дому. «Приходи первого мая, мы тебя встречать

выедем», - сказал он мне на прощанье, и поцеловал, как брат. Посветлело у меня на душе: «Надо, надо жить, хоть страдая, хоть в тюрьме»...

Молодая наша партия по-прежнему не ходит на работу, ходим мы, пожилые, все таскаем навоз и землю в парники, как лошади; вечером приходишь в барак, и на койку скорее. А на молодой половине пляски, смех, песни. Бойкая, тоненькая, белокурая, неглупая и с образованием бригадирша наша сильным контральто поет тюремные песни; песни эти приводят меня к слезам, которые я прячу в подушку. Бесшабашные они, эти девушки, деньги у них никогда не держатся, пропивают они их всюю.

Из письма Павлуши от 17 апреля

Милая Аня! Шлем тебе с Тамарой сердечный привет. Знаем, что тебе трудно и жалко тебя за это, но знаем и то, что ты сумеешь все перенести должным образом и это нас успокаивает. В своих решениях старайся не быть торопливой: хорошенько сначала осматривайся, и в свое время тебя и других осветит истинный свет – свет Разума. У нас, можно сказать, все по-старому, если, конечно, не считать того, что я до сегодня основательно болел, так как простудился через обувь (сапоги), когда провожал тебя... Тамара прежняя, что значит всяко бывает. Каждый день утром готовлю суп на целый день и на два дня картофельники. Герасим Павлович нарисовал меня масляными красками. Ну, всего, всего доброго.

Павлуша.

Посылаю тебе зубную щетку, кусок мыла, спортсменки.

6-го мая. Добытчицы

Совхоз остался позади, но мне все же хочется записать несколько моментов о жизни в нем. Остановилась я на описании партии девиц, веселых, беззаботных, живущих сегодняшним днем, наших «добытчиц», как их называли наши старушки; действительно, только благодаря им постепенно добывали мы койки, матрацы, кипяток, дрова и т.п.; работать они не шли ни по чем, хоть в карцер, хоть в этап: «На работу мы не пойдем, эту работу сроду мы не работали». Так заявили они начальству, но сначала отказывались под самыми разными предложениями: «Дайте нам условия для существования, дайте койки, кипятку,

дров, и тогда уже спрашивайте с нас работы», - говорили они. Интереснее всего было с дровами. Когда их не было, наши добытчицы жгли маты, рубили завалину, а однажды одна притащила лестницу со словами: «Рубай!». Но мои старушки не шелохнулись, боясь, наконец, попасть в передрагу, и в тот день я не топила печь. А ночи стояли холодные, к утру мы совершенно замерзали. Однажды ночью кто-то вошел к нам в комнату: «Хозяйки, айда за дровами!» - сказал он. Я вообразила, что это сосед-рабочий – тоже замерзающий и решивший ночью где-нибудь похитить дров. – «Ну, тебя, еще в передрагу с тобой попадешь», - отвечала я ему. «Ну и замерзайте себе», - заключил помощник коменданта, потому что это был он, а я его с спросонку не узнала – и ушел. Оказывается, за несколько минут до того был у нас в комнате директор и почувствовал холод, отправился с помощником коменданта с выговором: «Ты у меня рабочих поморозишь, сейчас же снабди их дровами».

Директор вообще частенько заглядывал к нам ночью, зажигал спичку и считал, сколько нас на койках. Непомерной толщины, одетый к тому же в шубу, он являл собою несколько комический вид, большого шара, катающегося по совхозу. Найдя какие-либо не порядки, он распекал коменданта, комендант – помощника коменданта и т.д. Начальства вообще всякого много было, которое то и дело заглядывало к нам в комнату, считая своим долгом главным образом наводить порядки. При посещении начальства наши девицы, не желавшие идти на работу, во избежание долгих разговоров, прятались под кровать, или еще куда-нибудь. Постепенно число их таяло. Уйдет в город какая-нибудь, - «домой» - как они называли лагерь заключенных, и не вернется уже обратно: правдами и неправдами уже устроится в городе. Однажды ночью директор досчитался только до семи человек; это было к тому же перед выходными, когда из оставшихся половина ушла погостить в город – и ужаснулся.

Норма выработки

Норма выработки окончательно добила нашу слабую бригаду, выведя из терпения даже моих терпеливых старушек. Работали мы сначала поденно, по силам. Но однажды наше огородное начальство (огородник, табельщик и агрономша) разбили нас на звенья (меня назначили звеньевой к старушкам) и дали нам наряд на пятидневку:

затаскивать навозом парники, причем на каждого человека приходилось выработать три кубических метра в день. Ни возраст наш, ни условия работы (навоз приходилось таскать в гору) не позволяли нам выполнить эту норму полностью. В первый день мы выполнили только 88% и попали на черную доску, красовавшуюся среди огорода. «Стыд и позор – звено Малород», т.е. моему звену. Забеспокоились старушки: «Не сократят нам сроки отбывания работ, а еще прибавят». Я еще около часа таскала носилки, внутренне проверяя себя и приходя к определенному решению, а потом отправилась к начальству: «Не нам стыд и позор за нашу работу, потому что мы трудимся добросовестно и по силам, а вам, что выезжаете на старухах, разве можно старого коня сравнивать с молодым, а у вас одна норма на всех. Возьмите бумажку, я отказываюсь в таком случае быть звеноводитом». Огородники сначала засмеялись, говоря, что на старых только и можно выехать, на молодых далеко не поедешь, а потом пообещали сменить нам работу на более применимую к возрасту. Затем они посоветовались между собой, натянули нашу работу на 95% и переставили нас на красную доску: «Честь и слава звену Малород».

Домой

За две недели моего пребывания в совхозе два раза посетили меня из коммуны, снабжая меня деньгами, сухарями и т.п. Со вторым посетителем я передала обещание побывать в коммуне первого и второго мая, причем, так как 30 апреля – выходной день, то уже 29-го вечером после окончания работы я обещала прибыть в нашу избушку на берегу Томи. «Хоть снег, хоть дождь, все равно буду». Но 29-го огородник и хозяйственник объявили нам, что 30-го мы будем работать. «Опять препятствие». Но на этот раз я решила не сдаваться, к тому же мне было обещано, что кто-нибудь будет ожидать меня в избушке 29-го, чтобы проводить меня домой. И вот мы под всякими предложениями стали отпрашиваться на 30-е домой. Хозяйственник, наконец, согласился с тем условием, чтобы к вечеру 29-го мы полностью выполнили свою норму. Ничего не поделаешь, пришлось поднажать. Надо было удивляться (немудрено, что наше начальство и подсмеивалось над нами), как быстро мы орудовали вилами, как быстро мы бегали с переполненными носилками. Еще не наступил вечер, как норма наша была уже выполнена, - но нет, нас еще заставили возить солому на

мост, а уже пробило пять часов, извещавших об окончании работ. Наконец все было закончено. Я побежала с выполненным нарядом к огороднику: «Теперь мы домой!». «А работать, ведь завтра мы будем работать», - обратилась ко мне агрономша. Но я только взглянула на нее, ничего не ответила ей (огородник стал пояснять, что нас отпускают), и бросилась вниз с горы догонять своих, с неожиданной для себя ловкостью, преодолевая все встречающиеся на пути ручьи и ухабы.

И вот мы идем по дороге в Сталинск, три женщины, шагаем быстро, - и это после целого дня тяжелой, напряженной работы. Но тело не чувствует усталости, окрыленная душой, которая как птица летит домой, к своей стае, все ближе, ближе... Вот мы уже в Сталинске, идем по железнодорожному пути, чисто, тихо, рельсы поблескивают в сумерках; я чувствую себя особенно празднично и радостно, как чувствовали себя, вероятно, все рабочие, отправляющиеся к себе домой на побывку.

Дома

В 11 часов мы с моей попутчицей молодой девушкой Верой (она отрабатывает за своих престарелых отца и мать, обвиненных в подделке хлебных карточек) добираемся, наконец, до избушки на берегу реки... В окне не видно света, наверное, уже спят. Стучу, открывает присматривающий за избушкой дедушка Андрей. Входим в избу. С нар поднимаются М. Он меня поджидал, чтобы проводить домой, он беспокоится, не устала ли я, не хочу ли есть. Но усталости я продолжаю не чувствовать, а есть мне не хочется. Я вся наполнена радостным сознанием, что вот я уже дома, что вокруг милые, родные лица, что милые и близкие глаза так сочувственно и ласково глядят на меня. Все уже спят, кроме нас с М., которому я рассказываю о тех немногих, последних днях моей жизни, в которых так много было пережито.

И вот я уже подъезжаю к нашей коммуне. «Комнатушка, голубушка, родная моя матушка!»... И слезы застилают мне глаза. Все так радостно, приветливо встречают меня. «Тетенька!», - слышится из толпы ребят. Это Тамара. «Сиротинка моя, одной матери лишилась, теперь другой...» И я не могу удержаться от слез, обнимая свою девочку.

Эти полтора дня, что я пробыла дома, пролетели так быстро, как один час. Павлуша ничего не позволял мне делать по дому, сам перестирал

белье, напек пирожков, мне так жаль его стало, ведь он тоже несет тяготу одиночества.

Ребятишки ходили за мной следом, так трогательны, неподдельны, неподкупны были их ласки и внимание. Мы ходили с ними на прогулку по горам, как бывало раньше. Солнце ярко сияло, первая зелень, первые цветы радовали и их, и меня. Как овечки рассыпались они по горам. Именно, как овечки, потому что ни ссор, ни драки не было между ними... Вспомнила я первый год, как постоянно приходилось призывать их к миру и дружбе между собой; годы не прошли даром, жизнь в спокойном, разумном окружении при добром воспитании сказалась на них благотворно. И опять я почувствовала спокойствие, удовлетворение в сердце. Один вечер прошел в пении, на другой собрались ко мне, слушать музыку, а 2-го мая я уже отправилась обратно.

Тяжело было расставаться, хотя я и крепилась, и виду старалась не подавать. Павлуша подбодрял, но и ему, видно было нелегко: долго еще стоял он на дороге и глядел вслед нашей удалявшейся от коммуны группе.

Обратно

На обратном пути в совхоз пришлось перебираться через большое водное пространство широко разлившейся Томи. Был праздник 2-го мая, и многие горожане совершали эту прогулку из удовольствия, вообще всюду сновал народ веселый, нарядный, беспечный. Только последняя часть пути от Сталинска до совхоза (8 км) была спокойна и уединенна, и я воспользовалась этим, чтобы предаться размышлениям: я думала о том, за что я лишена свободы, а именно — за воспитание детей в духе нашего общества, трудового, нравственного, честного, коммунального. Если бы все люди были таковы, то жизнь была бы счастливой. Поэтому ни угрызения совести, ни раскаяния я не чувствовала. Когда-нибудь все люди поймут, что мы ищем той жизни, какова она должна быть, да и теперь уже понимают; но только мы первые ласточки, которые летят, иногда слишком рано и замерзают.

Потом я думала о том обществе несчастных — столько же порочных, куда я попала. Я должна, сколько могу, быть полезной. Затем я тщательно обдумала распорядок своей новой жизни. Солнце закатывалось, золотя горы; тихо было вокруг, тихо было и на сердце.

На производстве

Вошла я в свой барак, подошла к двери в нашу квартиру и нашла её забитой гвоздями. Никого из наших женщин не было. «Ваши ушли обратно на свои старые места», — пояснила мне соседняя старушка. Вот тебе и на! А я-то так славно распланировала свою жизнь в совхозе. Но так как я решила спокойно относиться ко всем внешним переменам, не от меня зависящим, то также решила отнестись и к этой перемене: «Все ко благу...». Правда, не хотелось возвращаться в дымный город из жизни и работы на природе, но ничего не поделаешь, да и то хорошо, что в Сталинске я буду ближе к своей коммуне. Был вечер, и я решила переночевать в совхозе, а уж на утро отправиться в город. «Только как же быть с вещами?» — раздумывала я дальше, ведь вот как я хотела иметь при себе один только узелок, чтобы легко было перебрасываться с места на место, но Павлуша прислал мне одеяло (спасибо ему, впрочем, за это, а то я замерзала), кроме того полмешка сухарей тоже представляли не малую тяжесть. Решила временно оставить одеяло и сухари в совхозе. Гляжу в окошко, Вера направляется в совхоз, тоже возвратившись из дому. На сердце моем становится веселее, я люблю эту девушку, она напоминает мне большую девочку, и столько в ней доброты и радости жизни! Она инстинктивно, как от гибели, сторонится от девушек, прожигающих жизнь, и держится поближе к нам, пожилым, освещая нашу жизнь своей неудержимой жизнерадостностью. Как птица она поет весь день частушки, которые она знает в неисчерпаемом количестве — поет и в отдых, и за работой, при этом ударяя себя по коленям и прихлопывая в ладоши. Она курила раньше, теперь бросила, раз взяла папироску в рот, глянула на меня, увидела, что я смотрю на нее укоризненно, и сказала: «Не велишь? Ну не буду...», — и бросила папиросу прочь от себя. А то скажет бранное слово, невзначай опять на меня посмотрит: «Ну, не буду, не буду больше», — скажет.

Итак, у меня оказалась славная попугайчица, с которой мы и отправились в обратный путь из совхоза. Она нипочем не соглашалась оставить мои одеяло и сухари в совхозе, и, взвалив их себе на плечи, бодро шагала впереди меня. По дороге нам встретился широко разлившийся за ночь ручей, брести через него в обуви — это значило

набрать воды в башмаки и продолжать путь свой с мокрыми ногами. И вот мы разулись и зашагали по студеной воде и подернутой льдом трясине. Я думала, что дело может окончиться простудой, но от дальнейшей быстрой ходьбы ноги согрелись, и все прошло благополучно. Солнышко поднялось выше и пригрело нас и у следующего ручья с холодной, чистой водой мы умылись и позавтракали захваченными сухарями, а часам к 10 утра были уже в городе.

Все женщины были собраны в одной из колоний для принудчиков, и оттуда должны были быть направлены на работы. Отобрали из нас несколько наиболее пожилых женщин и оставили при колонии уборщицами, а остальных назначили на производство в строительный цех. Меня было приписали к партии пожилых, и я, было, успокоилась, но потом на мое место стала молодая, слабая женщина, и меня перевели на производство. Я пробовала возражать и просить оставить меня со старушками, но начальство оставило свое решение в силе: правда, оно предлагало мне остаться при колонии учительницей неграмотных принудчиков, но потом оно само же сняло это предложение, разобравшись, что за учительство-то я и отбываю принудработы.

Итак, на другой день мы отправились на производство – рыть котлованы (глубокие ямы) под фундамент для строящегося здания школы. Земля твердая, мерзлая, а ямы приходится рыть в рост человека, выбрасывая землю наружу, дождь мешал работе, делая землю липкой и тяжелой. Кроме того, мое неумение, непривычка к такой работе, да слабость физическая (не угнаться же мне, сорокалетней за двадцатилетними девушками), приводили к тому, что я отставала от других, и они стали коситься на меня. Все это могло повергнуть меня в уныние, если бы я не решила наперед все переносить терпеливо. Через два дня нас перевели на более простую работу – копать подвал под вновь строящимся зданием гаража и выгаскивать из него землю на носилках. Работа эта земляная вообще считается тяжелой, а женщине тем более неподходящей. Первые дни к вечеру после такой работы я чувствовала себя совершенно разбитой, болело сердце, грудь, спина, ноги, руки; организм протестовал. Потом, делать нечего, стал приспособляться, и теперь, хотя я и устаю к вечеру, но уже не так: аппетит хороший и после работы я бываю способна заниматься еще и другими делами.

Драки

Окружающее меня общество все то же. Та же ругань, иногда драки. Дерутся, конечно, все те же девушки. Я, разумеется, не могу оставаться равнодушной в этих случаях. Один раз отобрала у дерущихся лопату, а в другой раз – кайло, которое они вздумали употребить, как оружие. Но другие в драку не мешаются, а даже забавляются ею, как интересным зрелищем, да и мне не советуют разнимать дерущихся: «Оставь, не лезь, а то и тебе попадет», – предостерегают они меня, – что и случилось однажды, – но об этом впереди. В общем, мне их жаль, и негодовать на них нельзя, как нельзя негодовать на больных. В этих драках выявляется их нездоровая, ненормальная жизнь. Они сами сознают, что жизнь их легкомысленная, бесхозяйственная, с разного рода приключениями – дурна, они упрекают за это друг друга, хотя и сами не лучше, называют друг друга последними именами, и вот из-за этого и получают драки. Мне их жаль, и жалость эта то, чем я единственно могу помочь им, больше нечем. Какой выход дать им из их невозможной жизни – я не придумаю.

После работы

Вечером после работы мы имеем в распоряжении еще три часа, которые не пропадают даром: нашлись две женщины, с которыми я занимаюсь по грамоте, по чтению и письму, в остальное время мы вяжем кружева, шапочки и т.п. – все шесть женщин, шесть обитательниц нашей комнаты, которую называют монастырем, или примерной комнатой, в отличие от других комнат, откуда в это время раздаются шум, песни, брань, или топот пляски, наша комната является собой спокойный, деловой вид, со столом, на котором разложены книги и бумаги, сосредоточенно склоненными над ними головами женщин; остальные сидят и быстро вяжут. Тишина нарушается только Верой, мало интересующейся нашей учебой, мешающей ее смеху, частушкам, болтовне, чириканью молодой, веселой птички, но которая все же старается удерживаться, чтобы не мешать нам, да иногда примчится к нам обительница соседней комнаты, сообщить какую-либо новость, но долго не задерживается: скучно ей...

Всю ночь у нас горит электричество, так полагается, и яркий свет не мешает нам спать, так мы устаем за день. Утром я просыпаюсь

рано, пока все спят, читаю Эпиктета и веду свои записки.

Одинокая птица

*Одинокая, белая птица над морем летит,
Море мутной, холодной водою бурлит,
Ветер грозно и дико шумит,
Одинокая, белая птица над морем летит.
Светлый, ясный, сияющий день у нее позади
Светлый, ясный, сияющий день впереди,
И хоть мечется ветер и буря ревет,
Птица светлой и бодрой надеждой живет.
Грудью борется с бурей и машет крылом,
Острый, пристальный взгляд свой бросает кругом,
Ей не сгнать от бури, не сгнать в волнах:
Сила есть еще в бодрых и смелых крылах!
Одинокое сердце трепещет, дрожит,
Захлестнуто жизни холодной волной,
Без родных, без друзей, одиноко грустит,
Одиноко заплачет порой.
Полно, сердце, не плачь, не тоскуй, не грусти,
Светлых дней еще много у тебя впереди,
И так много любимых тобой тебя ждут,
Так свершай же смелее свой тягостный путь.
От страданий, неволи окрепнет душа,
Воля станет тебе вдвойне хороша,
Будет время тебе еще отдохнуть,
Так смелее свершай же свой тягостный путь.*

Мои сотрудницы

Теперь мне хочется написать несколько небольших характеристик некоторых моих товарок по несчастью. О Вере Вороновой я уже написала более или менее подробно, несколькими словами упомянула об Арише Х., в один день и чуть ли не в один и тот же час попавшей со мной на принудработы: у нее оказался характер сдержанный, молчаливый и очень самостоятельный. Она неустанна в работе и требовательна в этом отношении и к другим. Иногда — и это к ней так не идет — разразится громкой, исполненной недовольства речью по

отношению к оплошавшей в чем-либо подруге, тогда мне ее приходится останавливать: «Что ты кричишь? На что это похоже, если мы еще станем кричать друг на друга?» Она чистоплотна, как кошечка, все на ней беленькое, чистенькое. С ней я занимаюсь по грамоте, и она выказывает хорошие способности: сразу хорошо читает и пишет. На вид она сухонькая, жилистая, и характер ее так же жестковат несколько; собой она недурна, лицо изящное, тонкое, с красивым разрезом рта. На принудработы попала по статье, гласящей: «За сокрытие кражи». По ее словам, ее квартирная хозяйка зарезала свинью, и сама сбежала, и Ариша, принимавшая в этом деле какое-то участие, попала, осудили ее на 6 месяцев.

Второй моей ученицей по грамоте является Паша Усова, женщина лет 38, кроткая и тихая, с чертами характера, которые приносят счастье и ее владельцу, и окружающим его. А, между прочим, судьба ее сложилась очень дурно, благодаря ее мужу, пьянице и вору, который и себе и ей подделал документ, и сам попал за это в заключение и ее довел до тюрьмы. У нее мелкие, приятные черты лица, мягкие белокурые волосы, быстрая и легкая походка. Я с удовольствием наблюдаю, как легко и ловко управляет она со своей работой, ловко вспрыгивает на тележку, на грузовик. Она тоже очень старательная в работе. У нее есть дочь 11 лет, в чужих людях. Об этой девочке она постоянно заботится, пишет ей письма (я ей пишу под диктовку, а потом она сама переписывает крупными буквами). К этой женщине я чувствую себя ближе, чем к другим, и могу сказать, что, если бы она была в нашем обществе, она бы украсила его.

Вера, Ариша, Паша — это типы более или менее положительные, но есть и другие, общение с которыми мало приятно и даже наоборот, способно расстроить и огорчить. В паре со мной на носилках работает Ксения С. Это женщина, возраст которой определить трудно, которая говорит, что ей 35 лет, а на вид ей можно дать все сорок. Она низкого, карликового роста, покрыта от природы по всему телу шишками — жировыми наростами, вообще своей наружностью производит отталкивающее впечатление: не глупа, но безалаберна, говорит обо всем и обо всех все, что думает, начистую, за что ее частенько бьют. На принудработы она попала за торговлю вином. Работала когда-то ткачихой на ткацкой фабрике, причем не брезговала брать, что плохо лежит: шерсть, куски материи и т.п., и преступлением она это

не считает до сих пор, как я не убеждала ее в противном. Доказывала ей также, что торговать вином – это значит, во-первых, разорять людей, затем распространять отраву, но и с этим она не согласна. Лакомка, любит хорошо поесть и постоянно говорит о вкусных вещах, которые когда-то ела. Посещала когда-то монастырь и иногда поет стихи из церковной службы, любит принарядиться из последнего, эгоистична, помочь в чем-либо другому, поделиться ей почти никогда не приходит в голову.

Теперь перейду к молодым девушкам, ведущим веселую, бесшабашную жизнь в пьянке, песнях, танцах и гульне. Мне они казались отталкивающими, в особенности благодаря ругательствам, употребляемым ими на каждом шагу, но потом постепенно я начала обнаруживать в них многие симпатичные, чисто человеческие черты, это, во-первых, поделчивость: нет ничего у одной, чтобы она во всякую минуту не готова была разделить с другой. Пальто, платье, башмаки постоянно переходят с одной на другую, они делятся хлебом, деньгами, сладостями, и когда приходит кризис, то тут они все разом попадают на мель. Нет ни одной из них, которая была бы обеспеченнее деньгами, или сытее, чем другие, которая сохранила бы что-нибудь про запас для себя. Затем искренность, бесхитрость детская, они все наружу. Если кому-нибудь из них приходит в голову что-нибудь скрыть от других, то это делается так неловко, что тотчас же и обнаруживается, к всеобщему удовольствию, служа темой для общего смеха, шуток, или наоборот, брани, выговоров, насмешек. Они беспечны, веселы и ласковы тоже, как дети, и потому, не глядя на многие их недостатки, на их поведение, безусловно, их губящее, я смотрю на них, как на детей, называю их «дети мои», и некоторые из них называют меня «мамочкой». Недостатки же их: безалаберность во всем, привычка взять чужое и не отдать, солгать, лень, стремление приукраситься, принарядиться, распушенность в речах, в отношениях с мужчинами. Вот общая характеристика моих горемычных подружек, которых я боялась и сторонилась вначале и которых я стала жалеть, узнав ближе, и которые, почувствовав это, частенько целуют меня, обращаются ко мне за всякой помощью, и в свою очередь жалеют меня, в чем возможно облегчают мне труд и жизнь (накладывают поменьше земли на носилки, хлопочут, чтобы мне дали более легкий труд, притащили мне матрац на кровать и т.п.). Из них самая ласковая

и сравнительно работающая и честная Даша, с прекрасным цветом лица, с золотистыми выходящими волосами, но с постоянно припухшими глазами и хриплым голосом – последствием ее ненормальной жизни. Другая из них – Деля, по национальности сербиянка, самая красивая из них, но и самая грубая, с трагическим выражением на лице, наиболее эгоистичная, что резко выделяет ее из среды всех ее подруг.

Вера Г. – молоденькая, красивая женщина-цыганка, участница в убийстве одной женщины из-за золота; ругань не сходит с ее губ, - и, вместе с тем, это веселая, живая, подчас ласковая женщина.

Есть и другие, которых я опишу, если придется столкнуться с ними поближе. Пока опишу еще одну. Бараки убирают уборщицы из нас же, принудниц, моют пол, убирают койки, носят рабочим воду. Одна из них живет у нас в комнате, Дуня Т., очень бодрая и живая, пожилая уже женщина, придет с ночной уборки утром, ложится спать, когда мы встаем, и говорит: «Ну, вы теперь не мешайте мне спать, ходите на носках и не разговаривайте, а так машите руками», - повернется к стене, но через минуту снова поворачивается к нам и начинает рассказывать какую-либо историю из нашей своеобразной жизни, бойко и комично.

Бригадир

За короткое время, не более как в течение полутора месяцев, у нас пребывало три женщины-бригадиры, но ни одна из них не удовлетворяла своему назначению. Они то не бывали на работах, то табель не вели, то вообще мало заботились о нуждах своей бригады. Наконец, нам поставили мужчину-бригадира, Володю Д., бывшего машиниста, которого за крушение поезда приговорили к пяти годам. По одутловатому лицу, слезящимся глазам я поняла, что это алкоголик, что и подтвердилось впоследствии, но сначала он показал себя довольно приличным бригадиром: заботился о наших нуждах, торговался с десятниками на работе о замерах и т.п. Потом стал пить, ругаться, и все пошло, как попало, наши женщины стали ворчать и в свою очередь его поругивать. Однако при всей его беспорядочности, он обнаруживал немалое умя, добродушие и смекалки; меня он заметно уважал, ни ругани, ни замечаний я от него не слышала, наоборот, что при мне заругается, он того остановит и на меня мигнет. Вечером

придет к нам в комнату пьяный и, заикаясь, начинает по-отечески с нами разговаривать: «А-ри-ша, ты боль-ная? Не хо-ди зав-тра на рабо-ту, и не ду-май, ми-лая, я те-бе про-гу-ла не за-пи-шу». Потом обращается к нам с Пашей: «Усо-ва и Ма-ло-род у ме-ня труже-ни-цы, безответные и хва-тит, больше не бу-ду пить..., до зав-тра». Когда Володя запутался окончательно в пьянке, в обедах (он брал для себя в столовой по два обеда и по два ужина, а в списках приписывал их другим), в табелях – его сместили, посадили в карцер на десять дней, а на его место назначили другого бригадира.

Пение

В промежутках, т.е. в отдыхе во время работы, мы пели. Девушки поют хорошо, дружно, звучно, хотя вначале я как-то не могла свыкнуться с их пением, слишком резким оно мне казалось, потом несколько привыкла и сама стала с ними петь некоторые песни, которые нашла для себя приемлемыми по смыслу, песни эти: «Бежит бродяга с Сахалина», «Хороша эта ночка», «В воскресенье мать-старушка», «Колодники», «Соловейка», «Лучина», «Сижу за решеткой» и т.д. Усиленно стали приглашать меня в хоровой кружок при лагерях, совместно с мужчинами, но от этого я отказалась, так как не все песни для меня приемлемы, а также возраст мой и усталость после тяжелой работы лишают уже меня известной подвижности в жизни. Относительно пения скажу в заключение, что эти народные, простые и безыскусственные песни, которые мы поем, способны производить большое впечатление, и я впервые оценила народную поэзию; когда мы пели, вокруг нас собирались и слушали другие рабочие, а когда я сама впервые слушала «Бродягу», то только плакала. Но, к сожалению, нам, в конце концов, запретили петь на работе и тем самым лишили нас большого источника радости и утешения.

И мне попало. Товарищеский суд

Однажды на работе, когда мы таскали землю на носилках (между прочим, нужно заметить, что эту скучную и однообразную работу я научилась разнообразить тем, что повторяла про себя стихи, пела, размышляла), так вот, однажды заспорили между собой Ксения С. и Вера-цыганка. Началось, как всегда, с пустяков, с шуток над Ксенией, которую любят поддразнить. Она, как и всегда, некоторое время

молчала, потом вышла из себя, начала отвечать тоже колкостями, и, в конце концов, обозвала Веру проституткой, что считается высшим оскорблением. Вера, как молния, бросилась на Ксению, та быстро подвинулась ко мне и пригнула голову, прячась за моим плечом – удар, и довольно ощутительный, направленный против нее, пришелся мне по носу. На этом драка и закончилась, так как кругом послышался крик возмущения: «Тетю Нюру за что же? С ума ты сошла?». А вечером был товарищеский суд, т.е. судили сами же товарищи – принудчики виновных в происшествии, вспомнили и прежние драки, стали и их разбирать и приговорили: кого к строгому выговору, кого к переводу на другую работу, кого даже к увеличению срока на полмесяца и на месяц. Я на этом суде не была, так как как раз в это время посетил меня Павлуша, да мне и не хотелось на нем быть, потому что невольно самой пришлось пострадать, и таким образом предстояло явиться свидетельницей против виновной, а мне было ее жаль, она так искренно и горестно просила у меня прощения.

Грузовики. Несчастный случай

Мы думали, что нам так уж и оставаться все лето на одной работе: таскать землю на носилках из подвала гаража, тем более, что ее было непочатый край, но оказалось не так. Стало выясняться, что мы на этой работе норм не выполняем, ничего не зарабатываем, а даже должны в столовую производства, а так как подобное положение невыгодно ИТУ, которому, в конце концов, предстояло за нас расплачиваться, то оно решило нас перевести на другую работу. И вот нашу бригаду направили к вокзалу нагружать в грузовики песок, гравий и кирпич; работа эта показалась мне не столько трудной, как беспокойной и суетливой: машина торопила, т.е. шофера, которые спешили сделать как можно больше рейсов за день. Самое же досадное лично для меня было ездить на этих машинах, так как для этого надо было забираться на них с ловкостью кошки, и поскорее, ведь шоферу некогда ждать, я же и в молодости не отличалась ни ловкостью, ни смелостью и тем более теперь, в годах. Подружки мои с готовностью, как какой-нибудь куль, втаскивали и вытаскивали меня из машины, сами, между прочим, находя высшее удовольствие в том, чтобы проехать на этих, по-моему, совсем не совершенных для переезда приспособлениях, немилосердно трясущих и готовых выбросить тебя вон.

С криком и песнями неслись они по городу, привлекая к себе внимание пешеходов.

Мои антипатии против грузовиков, как против чего-то грубого и недоброго, в конце концов, оправдались, один из них поступил с нами как самое грубое и злостное животное. Однажды, когда машина эта приехала к нашей куче песку и ожидала, чтобы мы ее нагрузили, а мы собрались вокруг нее, один из ее боковых бортов, тяжелый, обитый железом, по дороге от тряски соскочивший с крючков, упал и ударил по голове Арину. Она даже не закричала, охнула только и повалилась на землю без сознания. Довольно долго не приходила она в себя, а когда опомнилась, то стала жаловаться на голову и на шею. Сгоряча, будучи верна своей старательности, она не хотела идти ни в больницу, ни домой и взялась за лопату, но силы ее оставили, и она в конце концов поплелась в лагерь. К вечеру начало ее трясти. «Аиньки, плохо мне», - плакалась она. «Все косточки у меня мозжат, и голова разламывается». Всю ночь металась она и стонала в сильном жару, уж мы думали, что она умрет, хотели утром отправить ее в больницу, но не так-то просто было добыть лошадь, так она и пролежала два дня дома, а на третий побрела сама в больницу; там, думали мы, оставят ее на лечение, но опять дело не вышло, и пришлось ей, бедняжке, лечиться дома, среди шума и беспорядка, лежа на голых досках. Пришлось мне отдать ей свой матрац, натирать ей спину, готовить суп. Очевидно, потому, что у неё ослабел организм, с ней после этого несчастного случая приключилась малярия. Нужно однако, отметить, как терпеливо и мужественно переносила эта женщина свои беды, не жалуясь, утром чуть свет поднималась и шла в больницу, верная своей чистоплотности захаживалась стирать себе сама бельё, не разрешая другим сделать это для неё. В конце концов, она поправилась и перевели её на более лёгкую работу, которую она, как и всё, что ни делает, старалась выполнять образцово.

В избушку

Когда мы прибыли в Сталинск из совхоза, у меня явилась мысль, что так как принудчики имеют право жить на вольной квартире, то и я могу жить на берегу в нашей избушке, вместе с дедушкой и бабушкой Блиновыми, живущими в ней за сторожей от коммуны. Но на

первом же собрании принудчиков начальство нам сказал, что на вольных квартирах нам пока жить не разрешается, что начальство должно прежде узнать нас, наше поведение, нашу работу и т. п. Итак, я зажила вместе со всеми в лагерях, на горе, откуда открывается вид далеко кругом на весь Сталинск и на реку, видна была и наша избушка на берегу реки, на которой в это время бушевало половодье, видно мне было, как разливалась вода, близко, близко, подходя к избушке. Каждое утро, выйдя из барака и глянув на избушку, я словно чувствовала себя не такой сиротой, а однажды, увидя, что избушка моя очутилась на островке, а кругом разливалась вода, готовясь залить и её, я заплакала от беспокойства. В выходной день можно было мне посетить её, переночевать в ней. Два раза я доезжала до «Болотной» (предместье города) на трамвае, а дальше вода, заливавшая и Болотную, и трамвайный путь не пускала меня к своим и я, огорченная, побродила вдоль нового озера, возвратилась в лагерь, где мои бедные подруги с искренним сочувствием встречали меня. Недолгое время спустя в нашу комнату с шумным выражением недовольства и огорчения возвратилась и Вера Воронова, которой по причине того же наводнения не удалось попасть домой через реку. Обе мы с ней с таким нетерпением ожидали выходного дня, и два раза нас обеих постигало такое разочарование. Наводнения такого давно уже не было, два раза в течение этой весны река выходила из берегов по причине таяния снега и разливалась по широкой равнине почти вплоть до города, заливая прибрежные строения и весь пригород - Болотное. Люди со всеми пожитками и скотом спасались в городе. Это было большое бедствие, представляющее тревожную и печальную картину. В одну из своих поездок к Болотной, мне пришлось наблюдать, как люди и пешком и на трамвае бежали в город толпою, со скарбом своим: детьми, коровами и проч. Взрослые были бледны, расстроены, имея убитый вид, дети - грязны, неряшливы, кричали, плакали, старики плелись с покорным, каким-то тупым видом.

Весь трамвай, на котором я возвращалась в город, был загружен вещами самыми разнообразными: корзинами, узлами, швейными машинами и пр. За вещи в трамвае деньги не брались, а только за пассажиров. Суeta в трамвае была немалая, какой-то мальчик промеж моих ног залез под лавку. «Не говори, тетя», - так и проехал незамеченным. Какая-то молодая женщина тщетно силилась продвинуть в

проход трамвая целую плетеную детскую коляску, что ей, однако, не удавалась. Тщетно кондуктор уговаривал ее оставить это намерение. «На что тебе коляска? Ты ребенка спасай, а не коляску». «Да я и ребенка спасаю, вон он у матери,- жалобно отвечала молодая женщина, указывая на растерявшуюся старушку с хилым ребенком. - Он ведь без коляски не может спать». Наконец, коляска поместилась на груди других вещей на площадке трамвая. Большая суматоха получилась при высадке из трамвая в городе, когда стали вытаскивать вещи; я взялась помочь одной старушке вытащить чемодан, и когда я передала его обратно ей, руки мои оказались в крови, видно, она еще ранее изрезала свои руки о железную ручку чемодана. Картина эта так на меня повлияла, что я забыла о своем личном огорчении, т.е. о том, что наводнение и мне помешало попасть в избушку и там свидеться со своими.

Наконец, на третий выходной мне удалось попасть в избушку. Только что спала вода, и я, так сказать, обновляла путь к берегу в числе нескольких других путешественников по трамвайной линии, которую сильно попортила вода. В нескольких местах она размыла насыпь и шла под рельсами и шпалами, прикрепленными к рельсам и дрожащими в воздухе. На реке Обушке вода далеко разлилась из-под моста вокруг, так что образовался другой мост из этих рельс и шпал. Сердце несколько замирало, когда пришлось пробираться по этому непрочному, дрожащему мосту над бурлившей под ним водой, но стремление сильнее страха, и вот я в нашей хатке.

Бедная бабушка, перенесшая наводнение, - вода бушевала под окнами и затопляла сени, а дедушка в это время был в городе, отрезанный водой от избушки, - бедная бабушка заболела. Только двоих старичков и застала я в хатке, поговорила с ними, отвела душу, переночевала, захватила продуктов и на другой день была уже в лагере.

Под следующий выходной я снова собиралась в избушку, но в этот день случились два события, перебившие мое намерение, это, во-первых, несчастье с Аришей, заставившее всех нас сильно беспокоиться за ее жизнь, и, во-вторых, освобождение Веры Вороновой. Однажды после работы она отправилась в группу (старый лагерь для заключенных) узнавать о дне освобождения. По ее расчетам, ей оставалось отбывать работы до срока еще два месяца, и вдруг она узнала, что день ее освобождения наступает через два дня по случаю сокращения срока, благодаря ее хорошей работе. Вся сияющая вернулась она к нам, и все мы

были взволнованы - каждый по-своему - ее новостью. Я плакала от радостного ей сочувствия, кое-кто плакал о том, что им еще долго оставаться отбывать работы, плакал о свободе, о своих милых близких, которых еще долго им не придется увидеть, а так как счастье направляет человека несколько на эгоистический лад, то Вера, из окружающего особенно не примечая, быстро собрала свои пожитки и полетела домой.

Тем временем надвинулась ночь, и я не попала в тот вечер в избушку, а на другой день я сходила в нее только на часок и застала опять одних дедушку и бабушку. Кое-кто из коммуны был в ней, но уехал утром, а мне так хотелось с кем-нибудь повидаться. Наконец, стихия успокоилась, вода ушла, трамвайный путь наладили в два дня, и я решила привести в исполнение давно жившее во мне намерение переселиться в избушку. Нужно отметить, что во всё время моего пребывания в лагере друзья мои не забывали меня, часто посещали, помогая деньгами, продуктами, только наводнение несколько перебило это сообщение...

Итак, однажды утром я собрала свои вещи и, сообщив Володе бригадиру о своём решении перейти на вольную квартиру и не встретив с его стороны возражения, вышла со своим мешочком в коридор, намереваясь после работы не возвращаться в лагерь. Но дело обстояло не так просто: по коридору шёл Попов, помощник начальника, который, завидев меня и осведомившись, в чём дело, решительно сказал, что никому сейчас не разрешается жить дома, во всяком случае я должна спроситься о том у главного начальника 8-й колонии, а пока я должна оставить вещи и идти на работу. За его спиной я видела сочувственный взгляд Володи. «Все уже ушли на работу, дверь заперли и ключ унесли», - заявил он. Не берясь проверять точности его слов и недоумённо поглядев на Попова, который также недоумённо глядел на меня, повторяя только: «Иди на работу скорее». Я как была, с мешком, быстро вылетела из лагеря и, оглядываясь, не следует ли за мной Попов, напростец, через вскопанную под огород чью-то землю, под колочей проволокой, порвав об нее пальто, помчалась к 8-й колонии, к начальству. Боязнь, что Попов опередит меня, боязнь опоздать на работу подгоняли меня сильнее всякого кнута.

А начальник у нас был новый, меня еще не знавший, потому я была очень рада, не застав его в конторе, дежурный же и хозяйственник, с которыми я уже имела дело, без всякого труда дали мне разрешение. Я чувствовала себя очень счастливой и благодарной судьбе.

Когда после работы возвращалась к себе домой на берег в хатку-избушку, полем, зеленеющим и сияющим в лучах ласкового солнца, через речку Обушку, под ликующее пение птиц, в хатку, где ожидала встретить милые, близкие лица, с сочувствием и лаской меня встречающие. Здесь приютилась я в уголку, на нарах под окошечком, куда каждое утро заглядывало ко мне восходящее солнце, образуя золотую дорогу на поверхности спокойной глади реки. Вместе с его восходом спешила вставать и я, боясь опоздать на работу.

Придя с работы, я с наслаждением мылась в реке и остаток дня проводила в том, что помогала бабушке по хозяйству (бабушку на время отпустили домой), штопала, шила, отдыхала, а вечером у нас составлялся славный хор. В десять дней раз, через выходной, посещал меня Павлуша, и мне трогательно было особое ко мне внимание, которое дома, благодаря привычке, упускалось из обращения. Мне жаль становилось его, одинокого, похудевшего, с поседевшей головой, я называла его «бедный мой старичок», а он сердился притворно: «Какой я старик, да и ты не старуха». А меня уже часто называют бабушкой, - волосы у меня за этот год сильно поседел, а четыре года назад я приехала сюда в Сибирь без единого седого волоса.

Избушка – это домик, сделанный коммуной на берегу реки Томи в Новокузнецке (Сталинск), где останавливались коммунары, завозили сбываемые продукты.

Шляханов

Однажды вечером на стройке, когда я вместе с другими несла камни на носилках, я вдруг увидела в нескольких шагах от себя статную, высокую фигуру Шляханова, а он, как заведующий ГорОНО приехал посмотреть строительство школы. «Вот он, главный виновник и причина моего здесь пребывания», - пронеслось у меня в голове. Я постаралась обойти его, и он меня на этот раз не заметил. На другое утро он снова был на стройке и на этот раз видел меня, я видела, как он издали с задумчивым и серьезным видом смотрел в мою сторону, я же с носилками приблизилась к нему и, будучи в трех-четыре шагах от него, смотрела выше его головы, по сторонам, но только не на него. Что меня заставляло так поступать, я и сама не пойму, может быть, это было нехорошо? Но я не могла иначе. Был ли это стыд, скромность, гордость? Не знаю. Во всяком случае - не злоба. Злобы нет. А стыд

одно время я чувствовала сильный, потом немного успокоилась. Один знакомый нам кучер, подошедший к Шляханову, сказал: «Что же вы своего просвещенца заставляете носить камни?» На это он что-то невнятно ответил. Так мне этот короткий разговор передавал потом кучер, бывший случайно на нашей работе.

Нравы. Каменщик

Вся публика на стройке, т.е. рабочие вольнонаемные, вербованные и И.Т.У. (т.е. от нашего исправительного учреждения) отличаются чрезвычайно свободными, граничащими с распущенностью, нравами: вольные шутки и непристойные слова и такое же обращение между мужчинами и женщинами. Словно в липкой и грязной воде купаешься. К нам с Пашей, с которой я в паре, тоже вздумали было приставать с двусмысленными шутками, да мы отделялись или молчанием, или непонятливостью: «Не знаем, мол, или не понимаем». Так мы в стороне от всех и держались. Из толпы каменщиков, грубых и циничных, хотя и знатоков своего дела, все же выделялся один — высокий, смуглый брюнет с серыми, мечтательными глазами и изящным ртом. Когда однажды пошел ливень, он, остановившись у окна столовой, куда мы скрылись, счастливо улыбался и, подобно настоящему сыну земли, говорил: «Как хорошо, как нужен дождь, как пойдет теперь все расти!» В другой раз, подойдя к растущему возле стройки дереву со свежееобдранной корой, он стал возмущаться: «Кто это сделал? Ведь это может погубить дерево! А ведь дерево так же трудно вырастить, как и ребенка!» Он и на нас с Пашей обратил внимание: «Надо мне с этими женщинами побеседовать. Вы что, из одного села, что так походите друг на друга, а на других не похожи?» Но побеседовать нам так и не удалось. Нужно сказать, что такая важная и ответственная работа, как кладка дома, невольно облагораживает человека, и этот каменщик внушал мне особенное уважение, ему я и посвятила следующее свое стихотворение.

Каменщик

*Каменщик, каменщик, крепкие руки,
Твердый лоб, высокий рост,
Каменщик, твой важен пост.*

*Ты строишь и поешь о том,
 Что строишь дом
 Для новых поколений,
 Которые тебя переживут,
 Цня и помня труд
 Строителей, разумных, добрых, смелых.
 Я вижу тебя в лесах,
 Высоко на дрожащих досках,
 Ближе к небу, чем к земле,
 С отвагой светлой на челе,
 С опасностью для жизни,
 Ты строишь и поешь о том,
 Что строишь дом
 для новых лучших поколений.
 Я вам пою, строители,
 Я вам пою, всем тем,
 Кто жертвуя собой и всем,
 Что в жизни дорого и мило,
 С отвагой и любовью
 Слагают своды,
 Куют и строят новый строй...
 Строй мирного труда,
 И братства и свободы!*

Директор

Высокий, несколько сутулый, средних лет человек, довольно полный, с бледным, мягкого выражения, лицом, в белых брезентовых башмаках, белой фуражке, директор Горстроя А., часто появлялся у нас на работе. Мы с некоторой опасливостью, как к главному начальствующему лицу, относились к нему, старались обойти его подальше, и напрасно, как потом мы в том убедились, и вот по какому случаю. Несколько дней подряд товарки мои, таскавшие камни на носилках, не вырабатывали нормы. Беря обеды в столовой производства, задолжали. Голодные, сердитые женщины работали как-нибудь, часто бросали работу и садились, чтобы бранью и жалобами отвести душу. Такое поведение не укрылось от зоркого глаза директора и однажды утром, когда мы бросили работу и присели, он подошел к нам со

словами: «Что это вы так лениво работаете?» «Как же нам работать по-другому, если мы уже два дня не ели?» - отвечала одна из нас, бойкая молоденькая девушка. Узнав, как и почему это произошло, директор рассердился: «Разве можно, чтобы люди, таскающие камни, не ели?» И, позвав заведующего столовой, велел кормить нас в обед и ужин. Кроме того, он пообещал распорядиться в конторе, чтобы нам и деньгами выдавали авансом. Затем он стал расспрашивать кое-кого из нас, кто и за что отбывает принудработы. «А вы за что отбываете?» - обратился он ко мне. Я коротко объяснила свое дело. Он слушал внимательно. На другой день нам выдали по 10 рублей авансом, а директор стал совсем не страшный, а милый и близкий всем человек. Дней через пять, когда я лазила под лесами, собирая целые кирпичи и складывая их в кучу, он подошел ко мне. Была ночь, мы работали в ночную смену с 6 вечера до 3 часов утра, и моросил дождь, подружки мои работали поодаль и возле нас не было никого. «Как живёте? Как чувствуете себя?» - спросил он. «Ничего, спасибо», - отвечала я. «Тяжело вам здесь?» - продолжал спрашивать он. Я хотела было тоже ответить «Ничего», - этим ничего не говорящим словом, но, сообразив, что это будет неправда, сказала: «Тяжело, да не мне одной, всем нам, заключённым, тяжело в неволе, без семьи, за тяжёлым трудом». Он помолчал, потом стал что-то перебирать в руках и вдруг сунул мне в карман халата бумажные деньги. Я отстранилась и проговорила: «Зачем это?» Но это было в первое мгновенье. Затем я смирила себя и сказала: «Спасибо». «Не говорите никому», - сказал он и отошел, а я вспомнила историю Льва Николаевича о старушке и пяточке, и успокоилась совсем. На другой день после этого случая нам всем опять, - на этот раз неожиданно, так как и прежние деньги мои подружки, наученные горьким опытом, не все истратили, - выдали по 10 рублей авансу. Больше со мной директор не разговаривал, только, придя на работу, всегда предупредительно со мной здоровался, в то время, как мелкие начальствующие лица, бегая с портфелями, ни на кого из «малых мира сего» и не взирали даже.

Работа ночью

В течение одиннадцати суток мы работали на стройке ночью. Сначала нам понравилось такое положение, так как было не жарко работать. Смена наша начиналась с 6 вечера и заканчивалась к трем

часам утра. С 9 часов вечера зажигалось электричество, освещая нашу работу; уличный шум постепенно утихал, на небе загорались звезды, и наступала какая-то особенная, торжественная тишина.

В эти часы мне почему-то вспоминалась, - может быть, благодаря контрасту, - моя молодость, когда мы с подружками после учения и приготовив уроки, отправлялись в городской сад слушать музыку. Веселые, беспечные, принаряженные, в такой же веселой, нарядной толпе, бродили мы по аллее сада, при ярком электрическом свете в торжественной, таинственной тишине ночи.

Теперь же в грязном халате, среди грязных, оборванных рабочих, под шум висящей в воздухе ругани, ходили мы взад и вперед, сгибаясь под тяжестью носилок: с камнем, песком, с гравием, с известью, с кирпичом. К тому же наступила ненастная погода. Днем, бывало, солнышко светит, а к вечеру как по заказу соберутся тучи, и начинает лить или моросить дождь. Под ливнем мы не работали, но когда он прекращался, и шел мелкий дождик, мы продолжали работать, шлепая и скользя ногами по грязи, с риском упасть в глубокие котлованы. Одежда намокала, становилось холодно, руки деревене-ли, а в голове, нуждающейся в ночном сне, прекращались всякие мысли, кроме одной: как бы не соскользнуть с шатких досок, пере-ложенных через котлованы, и не упасть вниз.

Итак, работа ночью перестала нам нравиться. К тому же дневной, короткий, беспокойный сон не давал нам достаточного отдыха, и вот мы решили, что мы не совы и ночные мыши, чтобы жить ночью, и стали проситься снова работать днем; но начальству стройки было удобно, что наша бригада ИТУ (между прочим, признанная за добросовестно-исполнительную бригаду) работает ночью, и когда настала третья пятидневка, нас снова заставили работать ночью. Тогда женщины решительно забунтовали. «В таком случае, работайте две смены подряд; проработали ночью, работайте без перерыва и в день, только тогда вы заступите на дневную смену». Так предложили нам, и мы согласились работать через силу, но все же добились своего, стали работать днем. После того меня еще долго днем клонило ко сну, никак не могла отоспаться. Тяжелое это было время, и все же в течение его я только один раз поддалась унынию: ночью, промокнув от непрерывно моросящего дождя, продрогнув и устав, присела я за кучи кирпича и поплакала одинокими, неслышными слезами.

Болезнь

И все же, как я ни старалась крепиться, как ни внушала себе, что из этого испытания я должна выйти здоровой, с неповрежденными телом и душой, в конце концов я сдалась. Это случилось ровно через два месяца, как меня взяли. У меня стали болеть спина и грудь, но главным образом спина, под лопаткой у позвоночника; сначала я не обращала внимание на эти боли, но в конце концов они усилились до того, что я не могла ни повернуться, ни вздохнуть, ни поднять чего-нибудь мало-мальски тяжелого, не говоря уже о носилках, их я поднимала с внутренним стоном и считала, сколько раз мне оставалось до вечера; острая, режущая боль в спине сопровождала каждое мое движение. Несколько дней так продолжалось, и я с нетерпением ожидала выходного, чтобы отдохнуть немного и поправиться, но пришел выходной, и у нас назначили воскресник. Проработала я и воскресник, причем он прошел горячее, чем обыкновенные дни; ввиду не-достачи рабочих и меня, как это и раньше часто случалось, перебрасывали с одной работы на другую. Случалось это потому, что я самая пожилая и слабая из рабочих, и в пару со мной становились неохотно, а также и потому, вероятно, что при этих перебросках я не возражала и сейчас же переходила с одной работы на другую.

Итак, в этот день я с утра сеяла лопатой кокс, причем бригадирша, женщина молодая, здоровая, краснощекая с грубоватым лицом и голосом, время от времени на меня покрикивала и поторапливала. Схватит лопату и быстро, быстро станет швырять на сетку: «Вот так надо, вот так надо!» Я и сама знала, что так надо, да так можно проработать полчаса, ну час подряд, а дальше не сможешь. Потом у одной подносчицы к каменщикам что-то случилось с шеей, и она пошла в больницу, а меня перебросили на ее место. После обеда меня снова поставили на кокс, а когда его оказалось достаточно засеяно, бригадирша бросила мне в руки носилки с известью: «Носи!», и я стала подносить к громыхающей и лязгающей машине известь, цемент и сеяный кокс.

Однажды я поскользнулась и упала возле машины, больно ударившись рукой о железную ее часть, некогда было обратить внимание на ушиб, я только присела, схватившись за руку, и потом снова ухватила за носилки, а опухоль от этого удара на кости уже месяц, как не проходит. К вечеру я совершенно обессилела и решила, что завтра мне во что

бы то ни стало надо идти в амбулаторию. В конце работы нам всем дали по шесть рублей за воскресник, и, кроме того, по 8-10 рублей премиальных тем из нас, кто работал с каменщиками подносчиками кирпичей. Мне, несшей разные работы, премии не вышло. «Вот моя премия», - горько сказала я, имея ввиду больную спину.

В амбулатории

Низенькие, небольшие комнатки, лесенки, узкие коридорчики и множество дверей, в которых легко заблудиться, что и происходило кое с кем из публики, к общему удовольствию и развлечению остальных, и масса народу, ожидающего в очередях у окошка. Мне посчастливилось попасть к врачу в первый же день. Это была брюнетка, крупная, высокая, полная, с красивым, продолговатым, греческого типа лицом, с отпечатком мягкосердечия, которое не замедлилось выказаться в ее отношении ко мне. То, что я работала в И.Т.У., работая тяжелую физическую работу, я, слабая, пожилая женщина, учительница по профессии, произвело на неё особое впечатление. Во всё время моего у неё лечения она очень внимательно и сочувственно ко мне относилась. С первого взгляда на мою спину, она сказала: «вам, конечно нельзя работать тяжёлую физическую работу, у вас искривление позвоночного столба». На почве этого прирожденного недостатка, благодаря тяжелой работе, главным образом, носке камней, земли и т.п. произошло осложнение нервно-мышечного характера.

Эта женщина-врач послала меня к хирургу, хирург – на врачебно-рабочую комиссию. Я думала, что с врачебно-рабочей комиссии дело затянется на несколько дней, но оно, что называется, «спеклось» в два часа. Записалось нас человек пятьдесят, поставили нас у дверей приемной в очередь, и буквально в два часа (с 8 до 10 утра) пропустили через осмотр врачей. Один выслушивал грудь, другой – сердце, третий смотрел в глаза, руки, ноги, четвертый делал общее заключение. «Во всяком случае, результата-то придется ожидать дня два», - решила я, но тут и ошиблась: результаты комиссии нам стали известны через полчаса после осмотра. Я получила на руки справку и вот ее содержание: «К тяжелой физической работе не годна, может исполнять только самую легкую работу. Необходимо перевести на нефизическую работу».

Две недели я лечила свою больную спину электричеством и втиранием, через каждые два дня являлась к своей милой женщине-врачу,

которая писала мне продолжение бюллетеня. С этим бюллетенем я шла на место работы, показывала его своему начальству и спокойно отправлялась проживать в избушку. Это был самый светлый период из времени моего заключения. Я поправлялась телом, отдыхала душой, милые, близкие лица окружали меня, навестил Павлуша и пожил два дня, по вечерам мы иногда пели, дедушка и бабушка трогательно обо мне заботились. Каждый день я ходила в амбулаторию на электричество. Электрический покой представлял собой две комнаты с красивыми блестящими машинами, белыми ширмами, белыми койками, белыми занавесками на окнах. Больные ожидали в приемной – спокойной комнате с голубыми стенами. Об этом лечении электричеством у меня осталось тоже очень приятное воспоминание; в голубой приемной я спокойно (так как больных было немного, и они не шумели) читала биографии великих людей, Гете, Вольтера, Гумбольдта и др.

Заведовала электрическим лечением средних лет женщина-врач, армянка, с очень красивым лицом, изящная и вместе с тем ласковая и простая, очень напоминавшая одну подругу моих молодых лет, а потому особенно мне милая: помогала ей хорошенькая беленькая девушка с наивным простеньким личиком, в промежутках между работой усердно плетшая белое кружево. Лечение мое состояло в том, что меня клали на белую койку, обнажали мне спину и подвешенную с потолка большую электрическую лампу направляли на больной бок. Вставляли в эту лампу синее стекло и тело мое, и койка, и стена – все окрашивалось в синий цвет: затем спину мою начинало припекать, так, как у моря, на песочке, и я вспоминала мое детство и лето на берегу Черного моря, и наше беззаботное купанье, и игры на песке. Приятная дремота овладевала мною – ровно до тех пор, пока девушка не тушила лампу. Одеваясь, я наблюдала, как лечили других больных электричеством: вот пронзительно кричала трехлетняя девочка, которую насильно укладывали на койку, чтобы полечить ножку. Вот в кресле старушка, а над головой ее спущена лампа, в виде чашки, и к этой чашке дыбом поднялись волосы женщины.

Наконец, лечение мое окончилось, и хотя спина у меня еще побаливала, женщина-врач моя сказала мне, что она пройдет болеть постепенно, и вот я снова отправилась в лагерь со справкой, полученной от врачебной комиссии.

Наблюдком

Прочитав мою справку, начальник нашей колонии (человек добрый, мягкий, от которого никто дурного слова не слышал, тоже из заключенных) посоветовал мне подать заявление в наблюдком, с просьбой или освободить меня совсем по болезни, или отправиться отбывать наказание на более легких работах в коммуне нашей, приложив к этому заявлению заявление от коммуны с просьбой о том же. Сообщила я о том моим друзьям, и мне так и сделали.

Наблюдательная комиссия собиралась два раза в месяц: 4-го и 19-го числа при лагерях 1 группы для заключенных. Составляется она из судьи, прокурора, секретаря и еще нескольких лиц из начальства. Дело было к вечеру. Нас, несколько лиц в числе 15-17 человек, дела которых разбирались наблюдкомом, позвали в здание клуба. На эстраду поставили стол, покрыли его красным сукном, и за него уселась комиссия, а мы расположились на скамьях перед эстрадой. Начали нас вызывать по фамилиям, вызываемый должен был выходить вплотную к эстраде; тут секретарь быстро прочитывал его заявление. Судьи, средних лет худая женщина с курчавыми, короткими волосами, по виду еврейка, предлагала несколько вопросов, например: за что судился, сколько времени отбывает, - затем члены комиссии в полголоса переговариваются между собою в течение 3-5 минут и после того судья громко выносила заключение комиссии, или «освободить» - если заключенному оставалось мало срока до конца отбывания, или «сделать зачет на столько-то процентов /100-50-25/. Многих в этот день освободили, кому оставалось 2-3 месяца до конца срока, «сделав зачет», т.е., благодаря хорошему поведению и отношению к труду, прибавив к проработанным трудовым дням еще некоторое количество дней, например, кто проработал 10 месяцев и ему сделали зачет на 25%, то считается, что он отбыл как бы уже год.

Вызвали и меня и прочли мою просьбу, заявление от коммуны, справку о болезни, все бегло, скоро, спросили, как я заболела, и на заявлении перевести меня на работу в коммуну ответили, что этого никак невозможно, так как в деле моем оговорено, что принудработы я должна отбывать вне коммуны. Пошептались между собой, и судья сказала: «Перевести на более легкую работу уборщицей и сделать зачет на 25%». Зачет мне был сделан благодаря хорошей характеристике

нашего последнего бригадира по работе, приблизительно следующего содержания: «К работе относилась очень добросовестно и всемерно влияла в хорошую сторону на окружающих в смысле труддисциплины».

Я имела предчувствие в эти последние дни, что меня не отпустят домой, что мое положение даже ухудшится, так как другого дела в лагере, как быть уборщицей, не предвиделось, а с этой работой связывалась обязательная жизнь в лагере. Кончалась моя жизнь на берегу реки, почти на воле, среди милых, близких людей; я прощалась с милым местом, с рекой, с тополевой рощей на том берегу реки, и плакала, пряча от других свои слезы. Однажды, впрочем, поплакала вместе с бабушкой, которая, очевидно, тоже привыкла ко мне. И вот наступило утро расставания, бабушка и несколько ребятишек проводили меня к трамваю и мы простились со слезами.

Уборщица

И вот меня назначили убирать и мыть барак на 80 человек принудчиков. Барак большой, да и еще больше других в лагере, благодаря пристройке. Когда я в первый раз пришла его мыть и глянула вдоль него, мне стало жутко: как же я его вымою? Мыла я его, мыла, лазала под койками, перетрясала обувь и онучи, и разную рухлядь рабочих, и когда, наконец, часов через восемь я его вымыла, мне показалось, что наступил светлый праздник. Когда пришли рабочие с работы, я стала носить им воду: для питья, для умывания, для чая, я увидела, в чем соль моей новой работы, именно в этом таскании воды: ведер 50-60 пришлось натаскивать воды в день. Сначала я носила воду на руках, но вскоре пальцы у меня заболели и распухли, тогда я наvertела на ручки ведер тряпки, стало легче, но вскоре заболели руки у кисти; тут посетил меня Павлуша и, увидев мою беду, сделал мне коромысло, примитивное, правда: палка с двумя подвешенными крюками для ведер; оно натерло мне шею, получилась опухоль и ссадины, но все же носить воду стало легче.

Рабочие моего барака работали так: одну пятидневку днем с 8 часов утра и до 4-х часов дня, другую пятидневку с 4-х часов дня и до 12 часов ночи, и третью с полуночи до 8 утра. Порядок дня, а вместе с ним и необходимого ночного отдыха постоянно нарушался; после ночной работы я не высыпалась, к тому же ночью трудно работать вообще: с середины ночи начинает одолевать

сон, начинаешь засыпать буквально на ходу, а если сядешь отдохнуть, то заснешь определенно, а за дверью тут как тут оперативник (милиционер): «Дневальный, не спи!». Раз два за ночь прибежит он в барак глянуть, все ли в порядке? Да, вероятно, столько же раз заглянет в окна. Заснуть – то, впрочем, и некогда как следует, потому что тогда не успеешь вымыть пол, а утром надо натаскать воду к приходу рабочих, носишь ее, носишь, сама в полусне, как деревянная после бессонной ночи, и добравшись, наконец, до постели, валишься на нее и спишь, несмотря на окружающие крик, песни, смех, ссоры моих квартиранток.

Квартирные условия

Квартирные условия наши в первое время, как я перешла жить из избышки на берегу в лагерь, были тяжелы. Поместили нас, около двадцати человек женщин, в одну комнату, не особенно большую, так что койки тесно стояли одна от другой. Нам, пожилым женщинам, никакого не было покоя от молодых, которые все свое свободное время проводили в пении, плясках, или в ссорах, доходивших до драк. И днем, и ночью часов до двух в комнате стоял шум, крик, беготня... Кроме того, каждый день у нас случались пропажи, иногда очень серьезные: однажды был унесен целый чемодан с вещами.

После пропажи обыкновенно поднималась страшная брань, часто после того дело доходило до драки. Большею частью вора не могли найти и пропавшей вещи, хотя почти всегда подозрения падали на одну девушку, которую звали Зинкой, здоровую, рослую с рябым лицом, с черными глазами, глядевшими исподлобья. Она отличалась определенными воровскими наклонностями: будучи в лагере, ухитрялась воровать на стороне, до работы рано утром пойдет, принесет картофелю, огурцов у кого-то с огорода, а так как я иногда делилась с нею хлебом и прочим, то однажды она предложила мне огромный огурец, от которого я, однако, отказалась. Раз два она была поймана в более серьезной краже, и приходила к нам в общежитие избитая и с растерзанным платьем. Койка этой девушки находилась около моей, и потому мне ближе, чем другим приходилось общаться с этой девушкой. У меня она не брала ничего без спросу, хотя я и не запирала свои вещи, но зато без всякого стеснения просила у меня хлеба или денег: за деньгами, впрочем, обращалась редко, за хлебом же зачастую, в чем я ей не

отказывала. В конце концов у меня в этом хаосе пропал байковый платок из тумбочки, которую мне с тех пор, по примеру прочих, пришлось тоже запирать. Подобные квартирные условия были, конечно, тяжелы, и вместе с тяжелыми условиями работы вскоре отразились на моем здоровье.

В бараке. Лапти. Вода

Когда я начинала работать в бараке, я с некоторой опаской поглядывала на рабочих: все не все, но все же большинство из них сдавались (казались) мне ворами, хулиганами и т. п. Но познакомившись с ними, я увидела, что они почти все добрые, простые люди, и понемногу я привыкла к ним и стала жалеть их. Между собой они никогда серьезно не ссорились, тем более не дрались, а о воровстве в бараках и речи не было: мыло, одежда, хлеб – все лежало у них не запертое, на виду, никто ничего не трогал. Нужно заметить, что лагерь И.Т.У. тем и отличается от лагерей заключения, что в него помещают людей более благонадежных, за небольшие провинности, на короткие сроки. Работу они несли очень тяжелую: нагружали чурки в вагоны, т.е. чугунные болванки в 2,3,4 и 5 пудов весом. Довольно часто, в особенности в ночное время, случались с ними на работе несчастия: нередко возвращались они с работы хромые, с пораненными пальцами на руках, с перевязанными глазами. Осознавая всю тяжесть их работы, я старалась им услужить не из страха, но по совести, из жалости к ним.

Однажды вечером пронесся по лагерю слух, что на другой день, по случаю починки водопроводных труб, воды не будет, и чтобы уборщицы с вечера запаслись водой для своих барачков. Но я при всем желании не могла этого сделать, так как у меня была посуда только на десять ведер воды (2 бачка), а этого количества воды могло хватить с натяжкой только на полдня. И вот я забеспокоилась. Я обратилась к ним: «Товарищи, завтра воды не будет, извольте, возвращаясь с работы, умыться на производстве, а когда будете уходить на работу, всю, какая у вас есть, посуду выставляйте на тумбочки, я ее поналиваю водой».

Всю ночь я мыла пол, а когда до рассвета осталось часа два, я принялась за задуманное дело: начала таскать из водопровода воду и наливать ею всю имеющуюся у рабочих посуду – бутылки, кастрюли, крынки, стаканы, кувшины, кружки, заняло это у меня не менее

двух часов, и когда я, наконец, оглянулась на свою работу, то барак мой представлял необыкновенное и забавное зрелище с тумбочками, уставленными различного рода посудой – бутылками, кастрюлями, горшками, ведрами. «Как в универмаге», – смеялись вернувшиеся с работы рабочие. «Ну, и хозяйка у нас заботливая!»

Из работы в этом бараке мне хочется описать еще один маленький забавный случай. Нашим рабочим в виде спецовки выдавали на ноги “чуни”, т.е. веревочные лапти. Когда лапти эти изнашивались, то рабочие выкидывали их прямо на улицу, возле барака (целая куча их валялась возле двери): изгрязненные, намокшие от дождя, они представляли собой некрасивое зрелище, при взгляде на которое я приходила в смущение, так как на моей обязанности было убирать не только в бараке, но и вокруг барака. И вот, однажды, когда я убирала сор вокруг барака, появился тряпичник с тележкой: поглядев на мою грудку лаптей, он сказал мне: «Эти лапти вам не нужны, отдайте их мне, за это я вам дам пачку иголок». «Возьми их даром», – сказал сидевший возле двери и сапожничавший рабочий. – «Нет, зачем? Иголки всегда пригодятся вам же», – возразила я и получила пачку иголок. Вечером, когда рабочие пришли с работы, я каждому из них дала по иголке, говоря: – «Вот спасибо человеку, что лапти наши прибрал, да ещё и иголок дал».

Уныние. Дома

От бессонных ночей, от непривычной, тяжелой работой, здоровье моё стало расшатываться, тело моё постоянно было как разбитое, руки и ноги ломило, и больно их было сгибать в суставах, голова постоянно была усталая и тяжёлая и так медленно, сонно копошились в ней мысли. Вместе с физическим недомоганием, душа тоже стало недомогать, часто стали приходиться ко мне минуты упадка, уныния. В одну из таких минут посетили меня двое моих друзей из коммуны. Пришли они вечером, когда я, вернувшись с работы, лежала в полудремоте в постели; я не сумела побороть сразу ни своей усталости, ни своей удрученности, и поэтому не так приветливо, как следует, встретила и обошлась с ними, и разговор как-то не клеился, хотя много было чего рассказать и спросить. Они принесли мне меду, печенье, клубники. Когда они ушли, припадок тоски стал у меня настолько острым, что, если бы никого не было в комнате, я выплакалась бы

свободу; но это было невозможно, комната была полна пришедших с работы женщин и девушек. Принесенные подарки не радовали меня. «Ничего мне этого не нужно, только бы воля!» – плакала душа и искала выход, и выход нашёлся. Я сложила печенье на одну тарелку, клубнику – на другую, налила в чашку меду и поставила все это на стол, где стояло ведро с кипятком для чая. «Вот это к чаю, угощайтесь». На удивленные их возгласы я дала объяснение: «Ведь я сегодня именинница». «Разве?» – послышались недоверчивые возражения. «Ну да, раз я получила подарки, значит, я – именинница, кушайте на здоровье».

На кровати лежала избитая Зинка с опухшим лицом, черный глазок ее наблюдал окружающее; я подложила ей несколько печений и клубники: «Ешь»... Клава, полная, красивая девушка, добродушная и грубоватая вместе с тем, пьяная, с раскрасневшимся лицом и заплаканными глазами, под села ко мне и стала изливаться свою душу; и не было у меня отвращения к ним, одна только жалость и к ним, и к себе, жалость до слез...

Отчаяние

Это было в выходной день. Я бродила в Сталинске по магазинам, намереваясь, справившись с покупками, отправиться в избушку на берегу. На душе было так тоскливо, как никогда. Я не могла удержать слез, невольно катившихся у меня из глаз. Иду и плачу, и так как стыдно показывать слезы людям, то закрываю лицо платком. Дурные мысли стали приходиться в голову: «Зайти в аптеку, купить валериановых капель, выпить все сразу и заснуть навсегда» или: «Вот идет трамвай, лечь на рельсы, и мигом конец» или: «Может быть, мне предпринять голодовку. Лечь и перестать принимать пищу, как делают индусские женщины, когда поведение мужа огорчает их, они или умирают, или муж изменяет свое поведение. Но хватит ли у меня сил выдержать голодовку? Не захочется ли мне жить, несмотря ни на что? Нет, наверное, не выдержу. Люди более твердой воли не выдерживали...»

Наконец, я почти громко стала взывать: «Мама, мамочка, помоги мне!» Так я делала всегда в самые тяжелые минуты жизни. В этом имени матери воплощается для меня как бесконечная, самоотверженная любовь моей незабвенной, любящей, разумной, доброй матери, так и вообще божественное милосердие, разлитое в мире и проявляющееся во всех существах.

В это время плач ребенка, громкий, неудержимый привлек мое внимание. На мосту стояла девочка с забинтованной ногой, она громко кричала: «Мама, мама!» и плакала. Я подошла к ней и стала расспрашивать, о чем она плачет. Она сквозь слезы отвечала, что мать ушла и не взяла ее с собой. Я начала ее убеждать не плакать, говоря, что мать знает, что делает, что девочка с больной ножкой не поспела бы за матерью, стала убеждать ее вернуться домой. Но плач не прекращался. Тогда я достала две конфетки из присланных для Тамары, и дала девочке. Плач умолк, девочка поспешно спрятала конфетки и пошла, прихрамывая и опираясь на костыль, очевидно, по направлению к своему дому, а я пошла своей дорогой. Слезы снова полились у меня из глаз, снова я стала звать: «Мама, мамочка, помоги мне!»

Дома

Когда я в этот день пришла в избушку, я никого в ней не застала, все отправились домой в коммуны, куда в этот день приехал из заключения Савва, сроком на одни сутки. «Вот человек издалека приехал в коммуны, тем более мне стыдно не посетить ее», - и сердце мое рванулось домой, а так как в моем распоряжении тоже были одни сутки, ввиду выходного, то это было сделать просто, т.е. отправиться в коммуны хотя бы на одну ночь. Но как идти одной эти пятнадцать километров до коммуны?...

«Идемте, я провожу вас до полпути», - предложил мне один из коммунаров, только что пришедший в избушку из коммуны. И вот мы идем, идем быстро, без отдыха дорогой в коммуны. Кругом цветы, трава, деревья, но я ни на что не обращаю внимания, с душой, устремленной домой, в коммуны, я быстро прохожу остальную половину пути сама.

И вот передо мной наша коммуна, вся, потонувшая в зелени и цветах. Кругом хат подсолнечники, мак в полном цвету, все блестит, сияет в лучах заходящего солнца, дети с радостными приветствиями бегут мне навстречу, друзья ласково встречают меня. А вот и наш домик, маленький, красивый домик с одним большим окном, из которого выглядывает улыбающееся лицо Павлуши. Он встречает меня на пороге, на котором я сажусь, прежде, чем войти в дом, взволнованная радостью. Толпа ребят обступает меня, каждый из них спешит сообщить новое, чего я не знаю. Тамара близко прижимается ко мне...

Вечером мы все собрались в столовой коммуны, здесь и Савва Блинов. Он подробно рассказывает о своей жизни в заключении, рассказывает и я; перед нами улыбающиеся, сочувственные лица друзей; затем мы хором поем.

Ночью я отдыхаю на мягкой постели, после жесткой лагерной (где приходится спать на досках, прикрыв их только одеждой). Утром я еще раз люблюсь на мою дорогую коммуны, сияющую от росы, мирную и тихую, где не видно излишней суеты, не слышно бранных слов, где, мне кажется, все мне улыбается с приветом, и милые лица друзей, и горы, и реки, и цветы, и солнце как будто бы радостней светит. Ведь существует же такой чудесный уголок, как наша коммуна! Тяжелый труд, лишения, одиночество... ведь это все временное, все это пройдет, и я снова вернусь сюда...

Сразу же после завтрака мы с Саввой Блиновым стали собираться в город, вместе с возами, нагруженными сеном.

Толпа друзей и ребяташек вышли за коммуны нас проводить. Вот мы все дальше и дальше от коммуны: меня посадили на высокий воз с сеном, откуда я разговариваю с провожающими. Взрослые уже повернули и пошли назад к коммуне, а ребяташки все ещё бегут за возами и вместе с ними Тамара, но вот и они начинают отставать, вот и они повернули назад. Одна Тамара бежит ещё некоторое время по дороге, прихрамывая своей больной ножкой; ей не хочется возвращаться назад, но и вперёд бежать бесцельно, к тому же я кричу ей: «Вернись, вернись домой, Тамара!». Тогда улыбка исчезает с её лица, она кривится от плача, она садится на дороге и горько плачет. Услышав её плач, старшие девочки возвращаются назад, уговаривают и поднимают за руки. Это картинка запечатлелась у меня в памяти: я нажила себе такую же рваную дочку, какой когда-то была сама по отношению к своей матери. Бедное дитя, судьба во второй раз лишает ее матери и так рано, так незаслуженно заставляет страдать её маленькое сердечко.

Помощь Павлуши

И вот я снова в лагере. Снова каждые сутки работаю 12 часов в бараке, то в дневную, то в ночную смену. На душе у меня словно легче, но физически все так же тяжело, все так же я чувствую себя разбитой, чувствую, что силы мои всё уходят. И тут ко мне на помощь

пришел Павлуша. Обеспокоенный моими рассказами о своём положении, он поспешил сам прийти ко мне в лагерь и посмотреть на мою работу. Это было в ночную смену - самую тяжелую - с 10 вечера до 8 утра. Павлуша решил помочь мне и самому на деле убедиться, какова моя работа. Итак, мы запаслись тряпками, вениками, и когда обе кадки были заполнены мною водой, принялись за работу. Вытерли окна, тумбочки, аккуратно вымели пол, все это проделывал он на одной половине барака, я – на другой. На душе моей покой и облегчение были необыкновенные: я знала, что я все успею сделать спокойно и не торопясь, все как следует. Как-то торжественно шла на работу в ночной тишине, с большой признательностью в сердце к моему другу, пришедшему разделить со мной мой труд, мою ношу, становящуюся мне непосильной.

Мы начали нашу работу вечером, когда было еще светло, а кончили утром, когда взошло солнышко. Ночью приходило начальство и удивленно посмотрело на нашу работу, но ничего не нашло возможным возразить. Подходил и говорил с Павлушей сапожник из моего барака, не ходивший со всеми рабочими на работу, тот самый, который еще раньше откуда-то узнал о нашей коммуне и не раз говорил мне: «Ваша коммуна первейшая в Сталинском районе».

Утром, после того, как мы привели наш барак в полный порядок, в такой, в какой я одна только хотела, но никогда не успевала привести, и вытерев стекла окон с наружной стороны, спокойная, удовлетворенная, и меньше, чем всегда, уставшая, принесла кипятку из кипятилки, и мы с Павлушей стали пить чай. Мой друг, с жалостью на меня глядя, стал говорить, что труд этот для меня непосилен, что он очень устал, вымыв полбарака, и каково же мне мыть целый барак и каждый день, и притом еще носить воду... В тот же день виделись мы с начальником, и это же самое он сказал ему, и не в тоне возмущения, а с самым трогательным соболезнованием ко мне, ссылаясь, главным образом, на мою болезнь, подтвержденную справкой от врачебной комиссии. И просьба его подействовала: на другой же день меня перевели на более легкую работу в кипятилку. С чувством самой глубокой признательности провожала я Павлушу: «Никогда я тебе этого не забуду», - со слезами благодарности сказала я ему.

На кипятилке

И вот я в новой должности на кипятилке. Кипятилка представляет собой большое строение, предназначавшееся раньше для столовой, теперь же в ней и днем, и ночью кипятят воду для рабочих в шести больших котлах. Моя работа состоит в том, чтобы мыть каждый день одну большую комнату, где находятся котлы, и четыре поменьше: в одной из них живут сторожа, другая называется уборной, хотя уборной здесь никакой нет, а просто кипятильщики в ней моются после работы, заходя в большой котел. В третьей комнате находится кран от водопровода, где берут холодную воду, и четвертая комната пустая, но проходная, так что и ее приходится мыть. Затем есть при кипятилке сени с улицы, которые после каждого дождя заливаются стоками воды и грязи, бегущими с гор; с сенями этими больше всего было у меня возни. Кроме мытья полов, на моей обязанности было белить большую печь, в которую были вделаны 7 котлов, что занимало у меня около двух часов каждый день. Но все же эта работа была гораздо более легкой по сравнению с прежней: не нужно было таскать по 40-50 ведер воды в день на гору, не нужно было лазать под койками, от чего болела спина, не нужно было полсуток сторожить барак, не отходя, чтобы что-нибудь не было украдено у рабочих; здесь, отработав 8-9 часов, я была свободна, что позволяло мне чаще посещать избушку и ночевать в ней. Кроме того, я могла когда угодно что-нибудь сварить себе в жарко топившихся печах, что я широко использовала, как для себя, так и для своих подруг-уборщиц и когда угодно могла помыться в котле в уборной...

Я чувствовала, как постепенно стала оживать, поправляться, к тому же из коммуны прислали мне мёду и масла; я делилась этими продуктами с подругами, потому что иначе бы меня мучила совесть, и поэтому они у меня быстро вышли, но всё же пользу принесли.

Одно меня удручало в кипятилке: постоянная ругань, чуть ли не драки между тремя кипятильщиками и рабочими, приходившими за кипятком. Причиной раздора был кипяток, которым рабочие пользовались не только для чая, но и для того, чтобы сварить есть, для стирки и мытья, и которого поэтому не хватало. Кипятильщики же давали кипяток только для чая, для других же надобностей с большим трудом, да и то только по выбору. Хозяином кипятилки был человек лет 50-ти, хромым на одну ногу, белокурый, с длинными усами, только он их завивал

кольцами, с голубыми глазами, которые у него как-то по-рачьи выпячивались, когда он кипятился и ругался. Вообще, он характером своим напоминал тот кипяток, который кипятил. Дело своё он выполнял рьяно и толково, в печах у него всегда ярко пылал огонь, в котлах, из которых валил густой пар, бушевала кипящая вода, чего нельзя было сказать про его других двух заместителей, у которых печи частенько заглохли и которые поили рабочих недокипячённой водой. Но зато и доставалось от него рабочим больше, чем от других, он ругал их самыми отборными словами, кричал на них, рычал, и, если бы не боялся последствий, то и бил бы их, во всяком случае, несколько раз замахивался.

Когда я пришла в кипятилку с новым своим назначением и сказала: «Ну, вот, принимайте новую хозяйку», - он ухмыльнулся, поводя своими длинными усами, и сказал: «Ну, теперь мы над вами натешимся». - «Нет, не натешитесь», - спокойно возразила я. Дело в том, что я его не боялась, я знала, что он меня уважает.

Дело было так: когда я только что вступила в должность по обслуживанию барака рабочих и во второй или в третий раз пришла в кипятилку за кипятком, второй кипятильщик, маленький черный человечек, сказал: «Кипяток берешь? Смотри, чтобы это было только для чая, смотри, чтобы это не было для стирки». Тогда старший кипятильщик ему возразил: «Нет, эта женщина не станет обманывать, эта женщина прекрасная, я ее с первого взгляда понял». С тех пор он не переставал мне оказывать знаки особого уважения и, благодаря его такому отношению, я всегда, и не только я, но и мои подружки-уборщицы могли сварить себе еду в печах на кипятильнике. За все время моей работы на кипятилке ни одного грубого слова я от него не слыхала; называл он меня «Хозяйюшкой», а я его по имени и отчеству — Яковом Васильевичем. Однажды он даже чуть не подрался из-за меня с одним рабочим, оставившим грязные следы на полу, который я только что вымыла. После того он целый час сидел у себя в комнате на постели, молча сопя, пыхтя и поводя усами, куда я пришла и попыталась его успокоить, говоря, что пусть будет лучше пол запачкан, пусть лучше я подотру его во второй раз, но что не надо так расстраиваться и затевать такой переполох.

Кроме этой ругани, которая постоянно висела в воздухе и отравляла мое пребывание в кипятилке, было еще одно обстоятельство, меня постоянно смущавшее. Это то, что кипятильщики, отказывая в горячей воде своим рабочим, ведрами давали ее вольным гражданам,

платившим им за это картофелем, мукой, молоком. Знали это рабочие, но почему-то не доносили об этом начальству, знала и я — но доносить на кого бы то ни было - не в моих правилах, ограничивалась я тем, что сама не наливала кипятку никому из вольных, разве какой-нибудь старушке, и то безвозмездно. Яков Васильевич неоднократно пробовал передо мной оправдываться, дескать: «Надо же пожалеть бедных людей, которым негде вскипятить воду», или: «Невозможно ведь просуществовать на 60 рублей жалованья», и т.п. На все эти объяснения я молчала. Однако, не встречая с моей стороны сочувствия, он не сердился на меня, видимо, совесть его внутри самого упрекала за такие дела. Странно и радостно было мне замечать в этом грубом, испорченном жизнью человеке, постоянную предупредительность и вежливость ко мне, в человеке, который по отношению к другим женщинам позволял себе и вольное обращение, и грубые шутки.

Котлы потухли

И вот однажды, когда я пришла утром на свою работу, он протянул мне бумажку: «Наге, хозяйюшка, прочтите!» И лицо его и вся фигура в эту минуту представляли вид необычный: в обыкновенное время они были исполнены сознания собственного достоинства, теперь же они были полны радостной растерянности. Бумажка эта гласила об его освобождении после четырех с половиной лет принудработ. «Я ожидал освобождения через несколько месяцев, а оно уже пришло!» «Хозяйюшка, пожалуйста могарыч пить», - позвал он меня через час в свою комнату, где за столом, на котором красовалась бутылка водки, сидела веселая компания из остальных кипятильщиков и еще нескольких рабочих. «Вы же знаете, что я не пью», - отвечала я ему...

В результате пира, печи, оставленные без внимания, потухли, и котлы перестали кипеть. Рабочие остались без чая, но я не услышала от них ни одного возгласа недовольства. Товарищ выходил на волю, это было общей радостью, в ней не должно быть места какому-либо недовольствию из-за какого-то чая. На другой день, утром, когда я заглянула в комнату кипятильщиков, чтобы поздороваться с ними, Яков Васильевич вдруг вынул из кармана красное яблоко и подал его мне: «Скушайте, хозяйюшка». Я посмотрела на него, на яблоко и отвечала: «Нет, оно слишком дорого стоит, вы за него, вероятно, заплатили не меньше рубля, кушайте сами», - и повернулась к дверям, но

тотчас же его внутреннее состояние представилось мне ясно, выразилось в опечаленном и сконфуженном его лице. «Ну, дайте мне кусочек, я попробую», - сказала я ему. Он поспешно отрезал половину яблока и подал его мне. И до сих пор, как вспомню я этот случай, так мне и стыдно становится – как я сразу не могла понять движение души этого человека. Он хотел как-нибудь поделиться со мной своей радостью и, если я не могла принять участия в их вечеринке, то этим яблоком он хотел доставить мне действительно уже невинное удовольствие, а я этого не могла понять сразу. Через несколько дней он уехал. Почти разом с ним освободился и другой кипятильщик. На их место поставили двух смиренных рабочих, которые не шумели, не ругались, а один из них даже стал отваживать вольных, приходивших за водой, не взирая на их подачки. Рабочие вздохнули вольнее, набирая более свободно кипятков в котелки и ведра для различных своих надобностей. Атмосфера в кипятилке очистилась, но вскоре мне и самой пришлось «вычиститься» (как говорят на лагерном языке) из кипятилки.

Однажды в выходной день я поздно вечером возвращалась из избушки в лагерь. Солнце уже совсем закатилось, сумерки надвигались быстро; Сталинск, который оставался позади меня, когда я поднималась в гору, по направлению к своим лагерям, начал весь сиять огнями, но в загородной улочке и в пустыре, который отделял город от лагерей, было так темно, что трудно было что-нибудь различить в нескольких шагах от себя. Но я давно уже пережила то время, когда темнота и одиночество казались мне жуткими, лагерная жизнь совершенно отучила меня от боязни, и, ни о чем не беспокоясь, шла я своей дорогой с мешком за плечами. В этом мешке было чистое белье, которое я перестирала в избушке, и провизия: картофель, капуста, огурцы и т.п. Он был большим и увесистым. В пустырях росло много дикой полыни, которую мы, уборщицы, употребляли на веники. «Дай-ка нарву полыни на завтра для веников», - пришла мне в голову мысль; и, оставив и мешок на траве, принялась ломать полынь. Откуда ни возьмись, какой-то человек хватил мой мешок и давай бежать. Я за ним вместе с нарванной охапкой полыни. Он – по направлению лагерей, я за ним, думая про себя: «Принудчик тоже, видно. В какой барак забежит, а я вслед за ним. Тут уж ему некуда деться, придется мешок вернуть». Это он и сам, вероятно, сообразил, потому что вдруг упал на траву, лежит и мешок под голову положил. Я к

нему: «Чудак, зачем вздумал шутить со мной, отдай мой мешок!» Мне и в голову тогда не приходило, что он серьезно хочет обокрасть меня и страха я никакого не испытывала.

«Ты что? Разве принудчица?», - спросил он и, получив утвердительный ответ, сказал: «Так и ты раба. Ну на, возьми», - с этими словами подал мне мешок. Я пошла с ним к лагерю, давая себе слово никогда так поздно больше не возвращаться.

Скарлатина

С самого начала лета над коммуной повисла тяжелая туча: тяжелое испытание для многих ее членов – детей и их родителей. Это была скарлатина, распространившаяся с небывалой быстротой и поразившая многих, чуть ли не половину детей коммуны; по двое, по трое привозили их в Сталинск в больницу, и уже было три смертных случая, когда я узнала о том, что заболела скарлатиной моя Тамара. Павлуша решил не отправлять ее в больницу: сообщая о ее болезни, он писал мне, что болезнь ее проходит в легкой форме. Но это мало успокаивало меня. В сердце моем туго натянулась та струна любви, которая связывала меня с этой девочкой, и оно, не переставая, болело о ней. Вставала в глазах дорога и она – одинокая девочка, бегущая за телегой, на которой меня увозили из коммуны, и ее горькие слезы и отчаяние, с каким она опустилась на пыльную дорогу... Два раза – сирота. И я решила во что бы то ни стало побывать дома, тем более, что Павлуша не мог всего себя посвятить уходу за ней, ввиду усиленных полевых работ. Обратилась я с просьбой об отпуске к начальству, сначала к доброму старичку дежурному, исправляющему должность секретаря начальника. «Вас отпустят обязательно, только достаньте справку о болезни вашей девочки», - сказал он мне.

Три дня прошло еще, покуда пришла желаемая справка, наконец, мне привезли эту бумажку, и я отправилась со своей просьбой к начальнику нашей колонны. Начальник этот недавно только сменил прежнего доброго, справедливого человека, которого все мы уважали; теперешнего начальника, молодого, энергичного, с быстрым взглядом живых черных глаз, быстрыми движениями, все боялись, называли его «политиканом». Он не любил долго разговаривать, и все у него делалось «по-военному», как он сам выражался, - «скоро и строго». Наша комната, где проживало нас шесть человек женщин, которых,

как более пожилых и степенных, снова отделили от молодых, приходилась рядом с комнатой начальства, и через тонкую перегородку, а, главным образом, через отдушину в стене, постоянно к нам залетал его распорядительный, не допускающий возражения голос. Ничего не было удивительного в том, что этот человек не пошел навстречу моей просьбе, а когда я продолжала настаивать, отправил меня к самому главному начальнику в главный лагерь. «Имейте дело со старшим начальником, а я не хочу за вас отвечать», - сказал он мне. Дали мне препроводительную записку, дали пропуск. (Старшее начальство находится в главном лагере для заключенных, куда без особого пропуска нельзя никому входить). И с этими бумажками я отправилась в главный лагерь.

Главный начальник был в отпуске, его замещал некто Макаров. Об этом человеке принудчики и заключенные были хорошего мнения. «Не бойтесь, смело к нему идите, это добрый мужик, и насквозь человека видит, только плянет кому в глаза, сейчас же и определит, чего человек стоит...». «Так-то так, а все же страшно», - подумала я, однако все же более или менее смело я к нему отправилась. Макаров стоял во дворе лагеря и беседовал с двумя военными, приехавшими из Края. У одного из этих военных было энергичное лицо и смелый взгляд. Он твердо, жестко что-то приказывал Макарову, который представлял собою человека, напротив, мешковатого, в штатской тужурке, с мягкими чертами лица и со спокойным невеселым взглядом темно-голубых глаз. Когда представители уехали на автомобиле, Макаров с двумя своими помощниками ушел к себе в кабинет и два часа просидел так, никого к себе не пуская. Я терпеливо ожидала его в канцелярии, куда выходила дверь из кабинета. Секретарь его, выслушав мое дело, сказал, что сейчас отпусков никому не дают. «У одного заключенного умерла жена, дети остались, и то его не отпустили определить детей», - объяснил он мне. Но я не унывала и продолжала ожидать у дверей кабинета. Наконец, вышел Макаров, и когда я к нему обратилась со своей просьбой, он ответил: «Я сегодня не принимаю». «Но мое дело не терпит, и потом это всего несколько слов», - настаивала я. Он пыгливо посмотрел на меня, а я не опустила перед ним глаз, из которых готовы были полииться слезы, и... остановился, и, выслушав меня, объяснил, что теперь отпуска прекращены, и он не может мне дать официального отпуска, но если мой ближайший начальник мне доверяет, то может отпустить меня дня на

два, на три домой без особого на то разрешения.

Когда я передала эти слова моему начальнику, тот вскипятился: «Да отпусти вас, так вы вместо того, чтобы через три дня, через месяц вернетесь, или совсем не вернетесь, были такие случаи, а я за вас отвечай», - и скрепил свои слова отборным словечком. «Если бы я хотела побывать дома ради своего удовольствия, я не стала бы настаивать, но ведь ребенок болен, я должна узнать, что с ним». И с этими словами я заплакала. Тогда несколько присутствующих членов правления нашего лагеря — хозяйственник, массовик и еще какие-то зароптали: «Да что ты боишься? Отпусти женщину, придет ведь». Некуда было деться начальнику и, сердито поглядев на меня, он отпустил меня на три дня: «Ровно, чтобы через три дня была обратно». Так сила долга перед взятым на свое попечение ребенком преодолела, наконец, препятствия и пробила брешь в окружающих меня стенах.

Все эти хлопоты я преодолела сама, больная, не евши более суток (что-то случилось с желудком, и я назначила ему пост), с сильною болью в голове. Я так ослабела, что по временам боялась, что мне станет дурно, но какая-то сила меня поддерживала и укрепляла ровно до тех пор, пока, окончательно выбившись из сил, я не очутилась у себя дома. Здесь я убедилась, что, как и сообщал мне Павлуша, Тамара больная в легкой степени, и Павлуша стал уже выпускать ее на воздух, но мы уговорились, что он не будет этого делать до тех пор, пока покажется и сойдет сыпь. Кое-что и другое в уходе за нею мы обдумали вместе, и я несколько успокоилась...

Тамара была очень бледна и худая, но ласкова и весела, как всегда, я же не могла в это посещение быть с нею, да и со всеми друзьями, достаточно внимательна, так как сама болела желудком, испортившимся, вероятно, от сухой лагерной пищи, и три дня, которые была дома, почти все пролежала. Кроме того, навестить друзей мешала мне зараза скарлатины в моем доме, и потому я твердо решила не входить ни в какой дом, чтобы не разнести ее. Да и все в коммуне были удручены эпидемией, и потому это мое посещение коммуны было грустным, невеселым. По возвращении моем в лагерь, меня тоже встретили невеселые события, сыгравшие, однако, впоследствии счастливую роль в моей судьбе, что совершенно оправдывает мысль Льва Толстого: «Очень часто бывает все спасено именно тогда, когда думается, что все потеряно».

Перемена работы

В тот день, когда мне предстояло вернуться в лагерь, с утра шел дождь, и такой сильный, что двинуться из коммуны пешком, как я намеревалась, нельзя было и думать, ехать же никто не ехал, и я очутилась в весьма затруднительном положении. Ясно было, что в лагерь, если я и попаду, то только к вечеру, а не к 11 часам дня, как я предполагала, день будет пропущен, и обещание мое вернуться ровно через три дня будет нарушено.

Наконец, часам к 10 погода несколько прояснилась, по крайней мере, перестал идти дождь. Из коммуны на тележке выезжал в Сталинск дезинфектор по скарлатине, которого попросили прихватить и меня. И вот уже к трем часам дня прибыла я в лагерь, опоздала на полдня, и уже с утра на мое место уборщицы в кипятнике поставили другую особу, именно ту, что, как принято говорить, в третий раз за мое пребывание в лагерях, «становилась мне поперек дороги»; в первый раз, когда ее вместо меня поставили уборщицей, а меня послали на производство, во второй раз, когда меня назначили в дневной барак, где работать было гораздо тяжелее. И вот, в третий раз, очутилась она на моем месте, которого я добивалась.

Это молодая еще женщина Д., собой недурна, неглупая, всегда почти веселая и умеющая развеселить других. Часто одевшись то парнем, то медведем, то старухой, она выделывала такие шутки, что принудчики катились со смеху, и это все при самой тяжелой, сложившейся для нее судьбе: первый муж ее оставил, второй, пьяница, отбивал вместе с ней принудработы в наших лагерях, постоянно ругал ее и бил, и, однако, жизнь свою она продолжала вести легкомысленно, так, что ее уже в лагерях судили за распущенность нравов. Своей дурной жизнью она так расшатала свое здоровье, что к тяжелым физическим работам стала непригодна, об этом у нее была справка от врача. На основании этой справки и получила она мое место, которое я занимала согласно такому же свидетельству от врачебной комиссии о моей нетрудоспособности к тяжелой физической работе. Но начальство на этот раз решило оказать ей предпочтение, а меня наказать за опоздание, переведя на более тяжелую работу. Кроме того, оно надеялось, что таким образом Д., наконец, возьмется за работу, так как до сих пор оно не могло добиться от нее никакого толку в этом отношении. Любимой

ее поговоркой относительно работы было: «На мне далеко не уедешь, где сядешь, там и слезешь». И верная этому изречению, на производстве не работала, под разными предлогами, будучи уборщицей, устраивалась так, что полы мыла через два-три дня, а полагалось каждый день, воду рабочие у нее носили себе сами... Начальник мой, как и можно было предвидеть, ни в какие объяснения не захотел со мной пускаться, а добрый старичок дежурный - и тот с улыбкой заметил: «Это вам повышение, ведь кипятник убрать - пустое дело - это как раз для Д., а вот барак - и ответственно и трудно».

Новый барак

Нечего делать - пошла я в мой новый барак: большой, большой и грязный, так как несколько дней в нем уже не мылось. Сердце у меня замерло, а тут еще посыпались замечания со стороны рабочих: «На что нам такую уборщицу! Нам бы молоденькую, с нею хоть повеселишься». «Да и эта еще не старая». «Какое там не старая, старая уж». «Неподходящая нам» и т.п. Но предаваться горьким размышлениям по поводу случившегося мне некогда было, надо было приниматься за работу. Отыскала я свое коромысло, которое, несмотря на свое несовершенство, наперебой оспаривалось уборщицами друг у друга, и снова стала таскать воду в барак, от чего снова появились боли в спине. Время стояло дождливое, только что вымоешь барак, а рабочие сейчас же снова наносят полно грязи; кроме того, крыша барака текла, как решето. Сухих мест в нем было меньше, чем мокрых: койки, одеяла, одежда - все промокло, а с пола, прежде чем мыть его, приходилось собрать несколько ведер воды, собиравшихся в более низких местах его. Я бродила в этой воде и грязи, тщетно борясь за сухость и чистоту, сама до половины мокрая, с руками и лицом в грязи, которую я не успевала вытирать. Рабочие, которых теперь я не боялась, искренно меня жалели. «Да бросьте вы эту каторжную работу, однако мы сейчас же все загрязним», - говорили они мне, но я старалась столько же по принуждению, столько и из жалости к этим обездоленным людям, старалась хоть немного скрасить их убогое жилище.

Бригадир этого барака, человек восточного типа, не то армянин, не то грузин, по имени Алава, представлял собой довольно необыкновенную личность: высокий, крупный, с отпущенными по-казацки усами и мягким спокойным взглядом больших черных глаз,

этот человек с первой встречи внушал к себе симпатию и уважение. Утром, когда я приходила в барак, и все рабочие еще спали, он бодрствовал – читал или писал на своем сундучке (бывший учитель). На рабочих он не кричал никогда; как только они начинали просыпаться и собираться на работу, он ходил между койками и протяжно, с восточным акцентом приговаривал: «Ну, кто не пойдет на работу, ну кто не хочет идти на работу?» Если таковые оказывались, то подходил к ним и говорил: «А почему не идешь? Болен? Ну, не лежи, сейчас же иди в больницу, нельзя лежать, надо идти к врачу». Это уж такой порядок был по пословице: «Москва слезам не верит», – т.е. прежде запасись бумажкой от врача, и тогда уже можно болеть и лежать. Что значит добрые люди, и этот Алава действительно был добрый человек, никто от него грубого слова не слышал. Хорошо он и ко мне относился, и в бараке была спокойная атмосфера, а не раздраженная, как, например, в первом бараке, где я работала, и где бригадир выпивал, кричал и ругался.

Условия моей работы были особенно тяжелы благодаря продолжительному периоду дождей, заливавших мой барак водой и грязью. Силы мои снова стали подтачиваться, к тому же мне приходилось вставать очень рано для того, чтобы, пока еще спали рабочие, нанести им воды в умывальник и для чая, а так как в нашей комнате часов не было, то я, боясь проспать, просыпалась почти в полночь и не спала до утра, все время поглядывая в окно, когда начнет алеть на востоке заря, или же шла в коридор и смотрела через замочную скважину в комнату начальства на стенные часы. Подружки мои, уборщицы, узнав о моей повадке, прозвали меня «петухом» и, попросив меня с вечера разбудить их утром в нужное время, спокойно спали себе до утра. Это ночное время у меня не пропадало даром: я читала, вела записки при ярком свете электричества, не потухавшего всю ночь. Но все же недосыпание это дурно отзывалось на здоровье. Кроме того, болел желудок от сухой пищи (варить некогда, да и негде теперь было, приходилось довольствоваться одним хлебом). Барак отнимал у меня чуть ли не все сутки. Когда кончалась уборка и мытье пола, то я должна была еще и сторожить его, некогда было съездить в избушку, некогда было сходить за овощами на базар; иногда в лагерь приходили женщины и продавали молоко, но оно определенно было пополам с водой, а деньги за него приходилось платить большие, так что мы его и покупать перестали.

Смирение. Покаяние

Казалось, отчаяние должно было овладеть мной, ожесточение, озлобление против людей и обстоятельств, так мучительно, незаслуженно мучительно, на первый взгляд, для меня сложившихся. Но вдруг – неожиданно даже для меня самой, покой и просветление вошли мне в душу, которые дали мне силы перенести этот последний этап моего испытания и которые – я уверена – поспособствовали его окончанию, т.е. моему освобождению. Меня осенили мысли, что не за любовь, не за правду я тут страдаю, как я думала прежде, а за грехи свои, за те ошибки, которых я так много совершила в течение своей жизни. «Мало мне года наказания за все то дурное, что я совершила за свои 40 лет. Надо три года», – стала говорить я себе. И стала я пересматривать свою жизнь прошедшую, все больше и больше находя в ней дурного: как в молодости жила, так мало думала о человеческих страданиях и горе, сама занималась легким, чистым трудом, ненужным тем людям, которые меня кормили и одевали и для этого из сил выбивались; как зачастую небрежна и равнодушна была к людям, нуждавшимся в духовной и материальной поддержке с моей стороны; как не умела ценить то общество, в котором жила последнее время, и живя в котором, должна была радоваться неперестающей радостью, так как оно ценно своим добрым, чистым, трезвым, нравственным поведением. Под влиянием этих мыслей смягчилось мое сердце, смягчилось, а не ожесточилось... Ношу ли воду на коромысле, от чего ноет спина, говорю себе: «Так тебе и надо, мало тебе еще»; вытаскиваю ли ведрами грязь и воду из барака, сама грязная и промокшая, опять то же самое говорю себе: «Так тебе и надо». Вот вечером бегу с работы, шлепая по грязи на базар за хлебом, а уже поздно, и лавка заперта, опять то же самое себе приговариваю. Покричит ли начальство на меня, я и на него без всякого недовольства погляжу: «Что же? Заслужила. Не теперь, так раньше». И так легко и даже радостно станет у меня на душе: «Грехи свои искупаю». И к рабочим, и к своим подругам я ничего, кроме жалости не чувствовала.

Ариша освобождается

Прошло уже полгода, как я вступила в лагерь. В один день и почти в один час вступила туда же и Ариша Ж. А так как она была приговорена на полгода, то наступил день ее освобождения. За все

время нашего отбывания принудработ, судьба нас с ней почти не разлучала: вместе работали в совхозе, потом на производстве; обе на производстве получили повреждения: я – спины, она – головы, когда ее ударило бортом автомашины; жили мы почти все время в одной комнате. Она мне нравилась своей скромностью, трудолюбием и особенно чистоплотностью: платочек на ней, кофточка, наволочка на подушке, покрывало на постели – все всегда сияло белизной, что так бросалось в глаза среди лагерной грязи и неряшества. Все жили как-нибудь, как на постоялом дворе, и все усилия со стороны начальства, и все его меры к тому, чтобы придать нашим квартирам уютный, жилой вид, оставались тщетными.

Аришу часто навещал ее муж, работающий где-то в тайге, на лесных промыслах, строгий, худой, бледный человек, не устаивавший поговорить с нами, вероятно, считая нас страшными преступниками. В противоположность моего Павлуши, который с моими товарками внимательно и вежливо обращался. Только меня да Аришу посещали наши мужья, и когда они приходили, то это было радостно для всех женщин. «Иди, иди, – сообщали они мне. – К тебе твой старичок пришел». И всячески старались оказывать ему внимание. Совсем другое отношение встречали посетители наших женщин, которые не приходились им мужьями; к этим гостям они относились подозрительно, насмешливо, называя их дурным прозвищем, общепринятым в лагерях.

Интересно отметить отрицательное отношение к случайным связям со стороны этих женщин, которые сами с головой были погружены в эту жизнь, без семьи, без детей, без сознания долга, полную приключений самого низкого разбора. Это обстоятельство указывает, с одной стороны, как им самим, в конце концов, солоно и горько приходится от этой бешающей жизни, с другой стороны, на то, что даже в самой развращенной душе живет Высшее Сознание, что есть другая жизнь – чистая, честная, верная своему долгу. И радуются они, и светятся их лица улыбкой и сочувствием, когда увидят проявление такой здоровой и нормальной жизни. Уйдет Павлуша, они грустят вместе со мной; кто-нибудь из них с задумчивым видом и грустными глазами обязательно скажет что-нибудь вроде этого: «Вот пришел человек, пожалел, тоску разогнал, есть кому пожаловаться, а уж ко мне никто не придет, никому не нужна, хоть пропадай». И хотя у Ариши муж был суровый, неласковый, «гордый», как его у нас называли, но и его уважали, и ему были рады, хотя, чувствуя его

суровость, не обращались к нему с таким доверием, как к Павлуше, а держались как-то стороной.

Ариша к концу своего отбывания поправилась, пополнела, порозовела, часто в комнате раздавались ее веселые восклицания и смех. Она, по-видимому, оживала душой в ожидании скорого освобождения. Накануне своего отъезда она, укладывая свои вещи, добралась до узелка с солью, так, с килограмм весом. Повертев в руках, она передала его мне: «На, возьми, Нюра, и чтоб тебе после меня вскоре освободиться». Я засмеялась в ответ на ее пожелание: «Чудо это будет, ведь мне еще полгода здесь быть»... «А тогда мне!» – воскликнула Настя-хохотушка. И всем нам стало весело. Вообще, в тот вечер всем было весело, как и всегда перед чьим бы то ни было освобождением. «Прощай, Ариша, прощай, сестричка!» На другой день она уехала на лодке вверх по Томи в тайгу, как птичка на волю в лес улетела...

Николаевна

Описывая своих подруг по несчастью, я забыла изобразить одну старушку «кулачку», как ее у нас называли, по отчеству Николаевна. Ей 54 года, она когда-то, видно, была красива собою, и теперь она еще держится прямо, но ее лицо с беззубым ртом носит печать такого измождения, что порой становится страшно за нее. Она имеет степенную походку и называет всех по отчеству и любит, чтобы и ее также называли. Невозможно без сострадания смотреть на нее. Крестьянка по происхождению, она вот уже три года отбывает принудработы, и впереди у нее еще семь лет отбывания, так как она приговорена к десяти годам срочной высылки с принудработами, вместе с мужем и сыном, за подделку документа с кулацкого на бедняцкий и проживание по нему. Муж уже умер за это время, а она вот продолжает работать в лагерях. Ее у нас не особенно любят, потому что она раздражительна, озлоблена или жалуется, или ходит с окаменевшим от страдания лицом. Кроме того, она мало поделчива и, имея в запасе деньги, благодаря своей бережливости и трудолюбию (она стирает рабочим белье за известную плату), если дает кому займы, то только под залог: платя, платка или еще чего-нибудь. Поэтому название «кулачка» все более за ней укрепляется. Она и ко мне вначале относилась очень недоверчиво, молчала или сухо обращалась со мной, и во мне она словно еще одного своего врага увидела, так как весь свет казался ей враждебно к ней настроенным.

Однажды во время побелки, когда мы с Пашей белили нашу комнату, а она была на работе, затерялось ее письмо с адресом, из комнаты выносила и перетрясала я, потому она рассердилась, главным образом, на меня. Она разразилась горькими слезами: «Вы все меня ненавидите, вы все мне назло хотите сделать, за то, что я кулачка», - тому подобные слова срывались с ее губ. Мне было очень больно, так как наоборот, ничего кроме жалости я к ней не испытывала. «Да нет же, Николаевна, - старалась я ее успокоить, - я совершенно не думала причинять вам зло, мне самой жаль, что так получилось, и я постараюсь найти это письмо». И действительно, порывшись в выметенном сору, я нашла это письмо и с радостью отнесла к ней в барак, где она работала.

Мало помалу отношение ее ко мне изменилось, в особенности после того, как я написала заявление о ней Калинину, в форме письма, где излагалась наша жизнь женщин-заключенных, вообще страдающих не столько от лишения свободы или работы, сколько от разлуки со своей семьей, с детьми, где обрисовывалась судьба Николаевны, горькая и трудная, и к этому была приложена просьба отпустить ее к ее детям, колхозникам. Под этой просьбой подписались все женщины нашей комнаты. Ответа на это письмо она стала ждать с нетерпением, и в ее безжизненных глазах стала появляться надежда. Ведь человек не может жить без надежды на избавление от несчастья, и эта несчастная женщина стала жить этой надеждой...

Когда, освободившись из лагеря, я захотела попроведовать Николаевну (приблизительно через полгода после отправления этого письма), то уже не застала ее в лагерях. Она освободилась и уехала на родину к своим детям. Никого из прежних женщин в лагерях я не встретила, не могла узнать, откуда же ей пришло освобождение, от Калинина или от другого источника. Но это я уже забежала вперед. С тех пор, как я для нее написала это письмо, она стала с доверием относиться ко мне, даже заботиться обо мне стала: однажды, когда я заболела и через силу мыла свою кипятилку, она пришла со своей тряпкой и, настояв на том, чтобы я легла в постель, сама вымыла весь пол, и это без всякой просьбы с моей стороны. Она приносила нам что-нибудь поесть (она как-то все успевала), и о нас с Пашей позаботится, и мало помалу у нас образовалась маленькая семья из трех человек - Николаевны, Паши и меня. Мы как сестры заботились друг о друге, и жуткое чувство одиночества и заброшенности, такое страшное в обстановке лагеря, где все собрались

люди чужие друг другу, оставило и Николаевну, как оставило и нас с Пашей, которая иногда повторяла теперь: «Никогда я на воле не найду такой подруги как Анна Степановна...» Милая, добрая, кроткая женщина, ее тихий образ, кроткое, милое, нежное лицо, обрамленное золотистыми мягкими волосами, ее незлобивая душа, готовность всем помочь, поделиться последним, ее неиссякаемое усердие, всегда мне будут памятны, они так скрасили мне мое пребывание в лагерях, да и не мне только одной...

Ариша освободилась, кончался и Пашин срок, какие-то десять дней оставались ей до окончания срока и, хотя я этому радовалась вместе с ней, но и мне жаль было с ней расставаться. Одна за другой женщины, как птички на волю, разлетались из душевной клетки, только одна Николаевна оставалась, провожая нас, и конца не видела еще своему сроку.

Еще характеристики

В последнее время моего пребывания в лагере, кроме нас: Паши, Николаевны и меня, в одной комнате с нами жила еще Настя-хохлушка, как ее называли за ее украинскую речь, молодая женщина, отбывающая наказание за то, что зарезала свою корову, которая уже взята была на учет в колхозе; муж ее услан на Дальний Восток, трое детей где-то у бабушки, но, живая по природе, она унывает редко, хотя если уж и плачет, то плачет бурно. У нее звонкий, пронзительный голос, слова не успевают слетать с ее губ, как бы наскакивая одно на другое, в комнате и коридоре ее только и слышно. «Чистое наказание, эта Настя», - говорит о ней степенная Николаевна. У нее прекрасные, густые волосы цвета спелого колоса, с которыми она, причесываясь, не справляется, так они длинные, густы и тяжелы, кончает она зачастую тем, что распускает их и так и ходит, как осыпанная золотом. Ведет она себя хорошо, возмущается легким поведением и бранчивостью молодых девушек, и очень неглупа, учится в ликбезе и часто с карандашом и тетрадь в руках сосредоточенно высчитывает задачи; когда их мало задают, она просит, чтобы я еще задала и с увлечением принимается их решать.

А вот Маруся, наша женская староста - полная, белокурая молодая женщина, с симпатичным лицом, спокойная, положительная, единственная из всех нас, которая говорит: «Мне в лагере лучше живется, чем дома с мужем жилось». Муж пил и бил ее, и, наконец, за подделку документов, которые он подделывал всем, кто к нему за этим обращался,

попал в долгосрочное заключение, а ее за сокрытие дел мужа приговорили к одному году принудработ. Со своими светлыми льняными волосами она очень миловидна, одевается чисто и красиво, постель ее не в пример остальным – мягко постлана и красиво - «как дома». Здесь же, в заключении, она нашла себе и друга, одного из начальствующих лиц, но за это ее как-то не осуждают. Это благодушный, полный, молодой еще человек, женатый также. Когда он, окончив свой срок, уехал, и она проводила его, вернувшись с вокзала, села на постель и пела. Всю душу свою она вкладывала в это пение, звучащее неподдельным горем, тоскою о милом, пела она полным, низким, звучным голосом и откуда у нее слова брались простые, но так много говорящие. В первый раз я не осудила такую любовь. Рассудок, разум осуждал, а сердце понимало и прощало.

Надя

Эта женщина прибыла к нам в лагерь в самое последнее время моего пребывания в нем. По ее рассказам, на принудработы попала она за то, что держала у себя в доме беспаспортную сестренку. Из всех женщин, которых я встретила в лагерях, она мне показалась самой достойной, исключая Пашу, которую я полюбила за ее тихую, кроткую, добрую душу, что я считаю самым главным талантом – доброту, и если человек обладает только им и не имеет больше никаких талантов, то я считаю, что он уже близкий к идеалу человека совершенного. У Нади же я иногда подмечала некоторую сухость души, хотя и в самой незначительной мере. Во всем остальном она была полна достоинств. У нее продолговатое розовое личико, очень миловидное, в особенности когда она спит, полуоткрыв слегка рот, показывая ряд маленьких, белых зубов. У нее вышитые полотенца, прошивы на наволоках, кружева на рубашках, все своего собственного рукоделия, всегда опрятная, всегда вежливая. Она окончила всего две группы, но без всякого затруднения пишет письма всем, кто ее попросит, при этом обладает даром сочинительства; быстро бегают карандаш в ее руках по бумаге, фразы выходят такие круглые, ласковые. «Что это ты все пишешь?», - недоуменно спросит, наконец, корреспондент, давно переставший диктовать. Она, улыбаясь, прочтет все, как нужно, к обоюдному удовольствию, и про цветы, и про птичек, и про любящие, страдающие сердца, все, что прибавит от себя уж...

Раз посетил её муж - полный, добродушный, молчаливый человек, и раза два приезжал сын, лет 12 мальчик, привозил ей продукты. Они живут неподалеку от Сталинска. Но однажды все же она мне не понравилась, это когда у Паши пропало 30 рублей, которые она собрала себе на дорогу, и я предложила женщинам помочь ей в складчину. Надя вдруг сжала губы, вспомнив какую-то невнимательность к ней со стороны Паши, отказала в помощи ей.

Вот и все почти образы, более или менее ярко оставшиеся в моем воспоминании о лагерях. Теперь я подошла к заключительному акту моего пребывания в лагерях, - к моему из него освобождению.

Освобождение. Комиссия

Последним толчком к приближению конца, мне кажется, послужило следующее событие. Однажды, когда я только что вымыла одну половину барака и принималась за другую, в барак вошло несколько человек, санитарная комиссия из главного лагеря. «Уборщица! – позвал меня один из них. - Разве это промытый пол? Вы только грязь растерли. Вымытый пол должен быть белый, а у вас он черный». - «Это потому, что он еще не высох, высохнет – побелеет», - отвечала я. - «Кому вы говорите, разве я не знаю?» - рассердился он. Я стала оправдываться: «Возможно, что он и не домыт до чиста, но я и не в силах сделать это по своему здоровью. У меня есть справка от врача о болезни». - «Какие могут быть рассуждения, снять, да и только», - заключил один из членов комиссии.

Вслед за тем они ушли, слезы полились у меня из глаз. «Снимут! Но куда же поставят? Обрати разве пошлют на производство, как послали одну старушку, которая, как и я, не угодила своим полом? И когда же, наконец, окончатся мои мучения? Мама, мама моя, помоги же мне!», - как всегда в трудную минуту, обратилась я к маме, как ребенок, когда ушибается, то кричит «Мама!», хотя её и нет вблизи. И эта вера в материнское милосердие, разлитое во всем мире, снова укрепила меня и поддержала и ободрила мою душу. «Будь, что будет!»

В то же время я решила больше старания приложить к мытью пола: ведь, в конце концов, пол мною действительно никогда не бывал домыт до чиста: с одной стороны, у меня в самом деле было для этого мало сил и здоровья, с другой стороны, не было ни умения, ни привычки. Но ведь всё, что ни делаешь, нужно делать хорошо, нужно делать как можно лучше, и если не умеешь чего, то нужно научиться делать хорошо,

прилагая к тому все возможные средства и усилия. Эти мысли свои я начала приводить в исполнение: достала щётку с проволочной щетиной, и пол у меня действительно забелел....

Но мыла я его долго, мыла целый день, и в то время, как мои подруги, вымывши свои бараки, занялись своими делами или отдыхали, я домывала только половину барака. И хозяйственник был этим не доволен, и ближайший мой старший начальник, который, вероятно, получив от комиссии за меня выговор, через несколько дней позвал меня и велел идти к начальнику колонны мыть ночной барак. Причину, почему он снимает меня со своего барака, он не объяснил. Сердце во мне упало. Я чувствовала, что ночная работа, с ночным бодрствованием, без достаточного отдыха днём, окончательно добьют моё здоровье, и потому я попробовала было возразить, но начальник крикнул на меня: «Ну, не возражать, а по-военному раз, два! Иди, куда тебя посылают...» Он всем говорил «ты», не считаясь ни с возрастом, ни с полом, хотя был мальчиком передо мною.

Я пошла к начальнику 9-й колонны, тихому, молчаливому человеку, долженствующему быть теперь моим ближайшим начальником. Он с видимым сожалением посмотрел на меня и сказал, что он «подумает». Я пришла в свою комнату и в изнеможении легла на постель. «Послушай, о тебе говорят», - прошептала Настя-хохлушка, приставив ухо к отдушине в комнату начальства. Говорит начальник 9-й колонны нашему: «Что ты посылаешь ко мне эту слабосильную женщину, с ночным бараком она и вовсе не справится». Ну, а наш начальник с ним не соглашается.

«До коих ты пор ты будешь мучиться, Степановна, бери свою справку о болезни, иди к прокурору, хлопочи, чтобы тебя освободили», - с такими словами обратилась ко мне Николаевна. Я еще немного подумала и решила начать хлопоты об освобождении, но прежде через свое начальство, а тогда уже через прокурора. Взяла справку о болезни и снова пошла к строгому начальнику. «Товарищ начальник, - обратилась я к нему, - до сих пор я не отказывалась от работы, и хоть через силу, но работала, так как считаю, что даром хлеб есть нельзя, но чувствую, что работа, которую вы мне предлагаете, мне не под силу уж по моему здоровью, вот и справка о моей болезни, прочтите и посоветуйте мне по-человечески, что мне делать?» Он молча взял справку, прочел, отвернулся к окну и думал некоторое время.

«Вот что, - по-своему резко и коротко заговорил он. - Мы никого не хотим угробить. По этой справке нет для тебя у нас работы. Иди завтра к старшему начальнику, пусть он тобой распоряжается, как знает, я дам тебе сопроводительную записку».

Тревожно спала я в эту ночь, снились мне беспорядочные сны, среди них один только запомнился мне ясно: приснился мне наш старичок-дежурный по лагерям, иначе сказать секретарь, который занимал эту должность с самого начала моего вступления в лагерь. Он меня знал, и я его знала и уважала за спокойный, добрый и весёлый нрав. Что-то истинно благородное и детски бесхитростное, несколько беспомощное, как бы растерявшееся в этом жестоком мире было в его характере. Приснился он мне розовый, улыбающийся, с распушившимися вокруг головы, как у Шопенгауэра, седыми волосами, и вообще он лицом похож на портрет Шопенгауэра. Говорит он мне будто что-то, а что - не пойму... Проснувшись я и думаю: зачем это он мне приснился? Никогда я почти ничего с ним не имела, никогда не разговаривала, не думала о нем даже, а тут приснился...

Утром начальник мой дал мне следующую сопроводительную записку старшему начальнику: «Малород Анна, согласно с имеющимися у нее врачебными данными, отстраняется от всякой работы, посылаю ее в ваше распоряжение». Я пробовала возражать против слова «отстраняется», прося заменить его словом «непригодна», так как выходит, что я сама «отстраняюсь» от работы, но он на меня крикнул: «Ты с ума сошла! Выдумываешь!» И я с тяжестью в сердце отправилась в главный лагерь. Прочитав эту сопроводительную записку, дежурный у ворот отобрал у меня пропуск: «А как же я назад выйду?» - спросила я. «А как начальник отпустит, так выйдешь», - отвечал он.

Я ожидала увидеть добродушного и грустного Макарова, который отпускал меня домой, но на его месте сидел приехавший из отпуска Костырев, которого замещал Макаров, и я с опаской поглядела на этого тоже невеселого человека, к тому же с суровыми чертами лица. Но он, узнав, в чем дело, сказал просто: «Подавайте на освобождение в наблюдкомиссию, справьтесь в комнате №4». Однако в этой комнате мне сказали, что наблюдкомиссия освобождать никого не может, что для этого нужно обращаться в суд или к прокурору.

Не с радостью в сердце вернулась я к себе в лагерь. А когда я сказала об этих результатах своему начальнику, он, сердито на меня

глядя, сказал: «Это уж наше дело, кого провести через наблюдкомиссию, и заявления писать не надо, мы уж знаем, что с тобой делать, а теперь иди, работай!»

Глянула я на него только и ничего не сказала. «Куда идти работать? Сам же снял с работы, в моём бараке другая убирает, полная, здоровая девица». Потом говорит: «Знаю, что с тобой делать». И я догадывалась, о чём он вёл речь: дело в том, что через несколько дней нас, всех женщин, кроме уборщиц, собирались отправить в какой-то совхоз на уборку овощей. А погода стояла уже холодная, в луже замерзала вода. Эту ночь я совсем не спала. В середине ночи постучали и велели Паше идти в коридор на ночное дежурство, но Паша только перевернулась на другой бок, а я, укрыв её ещё своим одеялом, сказал: «Спи, я пойду за тебя, мне всё равно не спится», - надела пальто и вышла в коридор. Здесь пробыла я до утра, раздумывая над тем, как быть? Смириться и до конца нести своё испытание, поехавши в совхоз на уборку, или продолжать хлопоты. «Нет, есть же в людях справедливость и милосердие. Да и какая я преступница? Да и больна, действительно больна. Нет, не надо терять доверия ни к богу, ни к людям». И решила продолжать хлопоты, прежде всего, как мне советовали, пойдя к прокурору, а потом, если нужно будет, в нарсуд. И будь, что будет. Выхлопочусь - хорошо, не удастся - что же делать. Ни унывать, ни падать духом нельзя. Буду до конца нести свой крест.

Тут пришёл мне на ум старичок-дежурный, и я решила пойти к нему за советом и помощью, недаром же он мне приснился. Утром на другой день я пошла к нему. Рассказала ему, в чём дело и что начальник сердитый что-то, посылает на работу, а сам снял с работы, и что мне теперь делать? Он очень участливо ко мне отнёсся, сказал, что с начальником он переговорил обо мне, обнадежил, что хлопоты мои увенчаются успехом, и пообещал во всякое время дать обо мне хорошую характеристику.

И вот я, напутствуемая добрыми пожеланиями женщин, которые во все время моих хлопот об освобождении принимали во мне самое тёплое участие, отправилась к прокурору. Самого прокурора не было, принимал его заместитель. Не меньше двух часов прождала я в очереди у его двери, а отпустил он меня за пять минут; даже не почитав до конца моё заявление и попросив объяснить моё дело на словах, он отправил меня в нарсуд. И вот я пришла, откуда вышла: к главному народному судье г. Сталинска Марченко, осудившему меня. Всего несколько минут оставалось до конца его приема, и все же он меня принял. Полгода я его не видела с

самого дня суда, а также и он меня, но по глазам его я заметила, что он меня узнал.

«Вы меня знаете», - сказала я, здороваясь с ним. «Да, - ответил он, - в чем дело?», и, прочитав мое заявление, сказал: «Достаньте заявление от вашего колхоза и вместе с вашим заявлением и со справкой о болезни подайте нам, и мы вас отпустим доканчивать ваш срок в вашем совхозе». «Так просто, так скоро!», - подумала я. Сильная радость охватила мое сердце, но я виду не показала этому человеку, вершителю так многих судеб, так гордо и важно державшему свою львиную голову с золотистой гривой волос. . .

Когда я вернулась в лагерь, то прежде всего отправилась к дежурному; он только что получил из дому от жены печальное известие: какое именно, он не сказал, но глаза его были печальны, а лицо расстроено. Он мне сообщил, что с начальником он уже переговорил, и они решили помочь мне освободиться; вслед за этим он сел к столу и написал мне прекрасную характеристику, в которой говорилось о моем «безукоризненном поведении, дисциплинированности и весьма добросовестном отношении к работе».

Когда я пришла к своему начальнику, то застала его вместе с хозяйственным, обсуждающим список, кого нужно провести через наблюдкомиссию. Взглянув на меня далеко не прежним (благодаря дежурному) суровым взглядом, он сказал: «Вот эту тетеньку нам тоже нужно провести через наблюдкомиссию». Тут я объяснила ему, что меня уже освобождают через нарсуд, что поэтому пусть на мое место в списке заключенных, проводимых через наблюдкомиссию, поставят другую, например, Сергодееву Ксению. Начальник, услышав эту фамилию, сильно выпругался, сказав, что об этой особе он совсем не намерен хлопотать, а мне сказал: «Ну, организуй, хлопочи».

И вот я отправилась в наш домик над рекой. Здесь я прожила два дня в ожидании от коммуны необходимого заявления. Домик наш в это время был как полная чаша, до тридцати человек коммунаров в нем жило, так что спали и на нарах, и на полу до самой двери, а ребятишки гнездились под нарами. Здесь же я услышала очень горькое для меня известие о том, что конфисковали мое пианино вместе с вещами Павлуши, за неуплату им мясopоставки. Это известие так ударило меня по сердцу, такая чисто физическая боль пронзила его, что я почти без памяти пролежала весь вечер в уголку на нарах. Никакой мысли не было у меня в голове, все окружающее куда-то далеко ушло от меня, ничего не чувствовала я, кроме сильной боли в груди - в сердце или в душе - не знаю. И эту

ночь, как и прошлую в лагерях, не спала я опять. Только по утрам мне немного удалось собрать свои мысли. Музыка, на которую я убила, если не половину, то во всяком случае третью часть своей прошедшей жизни, очень дорога мне, но это все же не самое главное в моей жизни. Главное – это служение Богу и людям и нравственное самоусовершенствование. А что у меня может отнять эту цель моей жизни, кто мне может помешать в стремлении к ней? Никто и ничто. И потом, это ведь не даром, что меня освобождают именно в тот момент, когда Павлушу постигло несчастье, когда они с Тamarой очутились в таком беспомощном положении, без хлеба, без одежды. Мое дело – помочь им теперь. В таком духе встала я рано утром, в таком духе я написала ему записку домой, стараясь ободрить, утешить его. Вслед за тем радостное чувство освобождения взяло верх над горем, которое трудно было бы перенести в другое время.

Вот я со всеми необходимыми документами снова у судьи Марченко. Прочитал он мою характеристику, и лицо его сделалось веселым, раза два он даже пробовал пошутить со мной над чем-то, но я оставалась непроницаемой. «Не до шуток мышке с кошкой». «Все в исправности, приходите теперь через два дня», – сказал он, взяв мои бумажки. «Судья, нельзя ли скорее, – попросила я, – ведь я и так уж несколько дней болтаюсь без дела». «А ну, приходите через два часа, принесите только справку о проработанных вами трудоднях для оформления».

И вот наконец в моих руках большой лист, на котором написано: «Именем Федеративной Социалистической Республики, в закрытом судебном заседании в присутствии таких-то заседателей, ходатайство Малород Анны удовлетворить, разрешить ей отбывать принудработы при колхозе «Жизнь и Труд», согласно справке о болезни и заявления от колхоза».

Мне все еще не верится, что я на свободе, и долго еще после этого жило во мне это, я считаю, болезненное чувство – чувство преследования, все мне казалось, что за мною следом идет конвоир...

Получив освобождение, я отправилась в лагерь за вещами. Помня то, как многие из принудчиков уходили из лагеря, не простившись со своими товарищами по несчастью, распространяя свое отвращение к месту своего наказания на людей, и как мне

при этом бывало больно, я решила проститься со всеми своими лагерными знакомыми в этот тяжелый период моей жизни. Я рада была уйти из лагеря, но людей мне было жаль, к некоторым я успела привязаться, как к Паше, к Николаевне, других уважала, как старичка дежурного, в остальных видела жалких, страдающих людей, и во всех – человеческую душу, с глубоко заложенным сознанием добра и справедливости, несмотря на всю исковерканность их жизни. Дежурному, милому старичку я сказала на прощание: «Пожелала бы я вам счастья, но вы и так будете счастливы за свое доброе сердце», и от души поблагодарила его за его участие ко мне; ему самому оставалось еще около месяца отбывать принудработы. К начальнику своему я тоже не питала зла. Невольно своею рьяностью и он помог моему освобождению. Не будь он так строг и дай мне работу полегче, я и до сих пор была бы в лагерях. Однако этой мысли я ему не высказала. Ведь строгость и рьяность часто могут переходить в жестокость; сказала только ему: «Вот, все складывалось как нельзя хуже, а вышло хорошо». А он вдруг озадачил совершенно неожиданным пожеланием: «С богом, счастливый путь». Вот тебе и жестокий, суровый человек, каким его все считают! Зная, что я человек религиозный, он, по-видимому, этим своим пожеланием хотел мне доставить удовольствие. Я ему за это окончательно все простила.

С Пашей распростилась я как с очень близким человеком; она мне подарила кружево, самую мою связанную в лагерях, а я – гребенку и головной платок. Ей самой оставалось лишь несколько дней до срока. Она искренно за меня радовалась, рады были и другие мои товарки, и Надя, и Настя-хохлушка, и Маруся староста. Только с Николаевной прощаться было тяжело – семь страшных лет оставалось у нее впереди. Какое слово надежды, какое пожелание я могла ей сказать, кроме пожелания великого, почти нечеловеческого терпения? Мысль о том, что немного спустя и она получит освобождение, не приходила тогда мне в голову.

Простилась с Клавой, простилась с кипятыльщиками. И вслед за тем покинула лагерь с чувством радости, которое, однако, умерялось мыслью: мне-то вот хорошо, а эти вот несчастные еще тут остаются, и многие надолго...

МОИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПОСЛЕЛАГЕРНОЙ ПОРЫ
(для музыкального сопровождения)

* * *

Не проходите равнодушно мимо –
Цветов, деревьев и ручья,
Лесов, где льется песня соловья, -
Не проходите равнодушно мимо.
Быть может, завтра вас уже не будет,
Или мороз всю красоту погубит.
Скует ручей, деревья облетят,
Цветы увянут, птицы улетят.
А ты, мой бедный друг, все мимо проходил,
О чем же думал ты? Куда спешил?
Чего так страстно добивался?
Несчастливым ты, как был, несчастным и остался.
Не проходите равнодушно мимо –
Цветов, деревьев и ручья,
Лесов, где льется песня соловья...
Не проходите равнодушно мимо.
Май 1944г.

Песня мира

Я слышу песню на горе,
Кто это там поет?
Кто из кровавой страшной мглы
Нас ввысь с тобой зовет?
О чем поешь ты, человек
В наш грозный бурный век?
Средь стонов, воплей, в шуме битв
Не слышно пения молитв.
Там, где струится кровь ручьем,
Там вянут нежные цветы,
Где раздается грохот битв, -
Там гибнут светлые мечты.
Но там, высоко над горой, -
Пылает яркая заря, -

Там песню мира слышу я,
Прекрасней песни соловья.
Там разоспался свежий луг,
И вижу я цветы вокруг.
Там солнце мира уж встает,
Вперед же на гору, вперед.
С надеждой светлою, друзья, -
Пусть светит ясная заря,
Довольно бурь, довольно гроз, -
Не надо больше мук и слез.

Крестьянка

Носила я белые платья когда-то,
Была я артисткой, играла сонаты,
И тысячный зал мне, затихнув, внимал.
Теперь я крестьянка, в мозолях все руки,
И грязное платье меня облекает,
Оно не духами, а потом воняет.
Однажды на рынке я хлеб продавала,
И тот, кто его у меня покупал, -
«Крестьянка ты, милая», с лаской сказал.
И если б меня он княгиней назвал,
Он меньше бы радости в сердце мне дал.
Крестьянка! Какое великое слово!
На это призванье сменить я готова,
Всю роскошь, и славу, и праздность свободную,
На долго крестьянскую, долю народную!

* * *

Будьте бодры и всегда молитесь!
Враг лукавый ведь не спит.
Силою господней облекитесь,
И возьмите веры щит.
Жди, молись! Ещё немного -
Скоро наш господь придет,
Он того возьмет с собою,
Кто его с молитвой ждет.

В этом мире людям нет спасенья
 Суета, раздор кругом,
 Только в Боге мы находим утешенье
 Он зовет нас в Отчий дом,
 Не заботься же о жизни тленной,
 Не забудь, что все в ней пыли прах.
 Думай лишь о красоте нетленной,
 О ее святых дарах.

* * *

Только ты один всегда со мной
 Спаситель мой дорогой.
 Нет мужа нет семьи,
 Детей нет у меня,
 Нет братьев, нет сестер,
 Не знаю, где родня,
 Только ты один всегда со мной,
 Спаситель мой дорогой.
 В беде не оставляешь
 В нужде помогаешь,
 И в горе утешая –
 Надежду посылаешь...
 Только ты один всегда со мной,
 Спаситель мой дорогой...

Март 1945г.

* * *

Мы были молоды, когда
 Друг друга повстречали,
 Ты был красив, да и меня
 Пригожей называли.
 Тебе я руку подала,
 Доверившись навек,
 Увы, я думала тогда:
 Ты честный человек.

Ты много лет меня любил,
 Как мать ты мною дорожил.
 Увы, я думала тогда,
 Что будет так всегда.

 Но дни счастливые бегут,
 Как быстрая река,
 Вот в волосах уж седина,
 Дрожит моя рука...

Но где же, где же ты, мой друг,
 Где милый мой супруг?
 Увы другую полюбя,
 Оставил он меня...

 Увы, прошла моя весна,
 Пришла холодная зима,
 Бушует вьюга за окном.
 А я тоскую все о нем.

Увы, на склоне дряхлых лет
 Ни друга, ни опоры – нет.

Апрель.

* * *

В разлуке с мужем жить одна
 Судьбою я обречена, -
 И ждать из года в год,
 Что он придет.
 Когда же он, как странник бедный,
 Измученный, уставший, бледный,
 К порогу дома подойдет,
 Ему никто не скажет так:
 «Твоя жена здесь не живет;
 Она тебе уж не верна,
 В страну другую, с милым другом –
 Уехала она».
 И от холодного порога
 Он выйдет снова на дорогу
 С разбитым сердцем и душой,
 С печальной мыслию одной:

«Куда ж, куда теперь идти
И где приюта мне найти?»
О, нет! Не будет так! Когда
К порогу дома своего
Усталый путник подойдет,
Его жена дверь распахнет
И скажет: «Я тебя ждала!»
Прекрасная картина!
Она мне силы придает
Из года в год
Ждать мужа терпеливо.

Май.

* * *

Господь мой учитель,
Руководитель,
Отец мой родной,
И друг дорогой.
Куда б он ни послал меня,
Там и семья моя,
И где бы ни жила я
Там и любовь моя.
Мне с господом нигде
Не страшно никогда.
Мне с господом легко.
И радостно всегда.

* * *

Господь мне крест свой дал,
Велел его нести,
И путь свой указал,
Сказал, как им идти.
Прекрасно все вокруг
И пташечки поют,
Но силы нет идти
И очи слезы льют.

Сбиваюсь часто я
И падаю в пути,
О Боже, дай мне сил
Мой снова путь найти.
Смущаюсь часто я
И злобствую душой,
О Боже, дай мне сил –
Любовь дай мне, покой.

Ропщу и плачу я,
Коль станут обижать,
О Боже, дай мне сил –
Обиды всем прощать.
Еще немного дней
Осталось крест нести.
О Боже, дай мне сил –
Его до цели донести.

Июль 1945г.

* * *

Зачем суетиться,
Зачем торопиться,
Так мало осталось жить,
Зачем же к могиле спешить?
Впряглись мы в телегу труда,
Покоя нам нет никогда,
Стремимся вперед, все вперед,
А смерть так внезапно придет!
И жизнью своей недовольны,
И смертного часа страшась,
Закроем глаза мы навеки
В последний наш час.
А жизнь дана нам для счастья,
Для радости, мира дана,
Взгляни же какой красотою
Жизнь наша полна.
Вот яркое солнце блистает
И тихо плывут облака,

Вот ясные звезды сияют,
И плещет волною река.
 Цветы благоухают
 И рощи шумят.
В них резвые порхают пташки,
Их песни немолчно звенят.

Зачем же торопиться,
Зачем суетиться,
Так мало осталось нам жить,
Зачем же к могиле спешить?

Сентябрь 1945г.

* * *

Господь меня ведет
Ему вверяюсь я,
Меня ведь любит Он,
Как мать свое дитя.
 Иду ли по холмам
 Дорожкой луговой,
 И солнышко блистает
 Вверху над головой.
Вот мать моя, и сестры,
И милая родня –
Ласкают и жалеют,
И радуют меня.
 Когда в сиротской доле
 Брожу по свету я,
 Никто не пожалеет,
 Не радуется.
Господь ведет меня,
Ему вверяюсь я.
Меня ведь любит Он,
Как мать свое дитя.
 Вот друг мой дорогой,
 И с ним я не страшусь
 И тучи грозовой -
 Лишь о душе пекусь!

Иду, иду, господь,
Иду с тобою я,
Завет любви святой
В душе своей храня.

Октябрь.

Огонь любви (1946 год)

Господь в груди моей зажжет
Огонь своей любви,
И хоть в борьбе я изнемог –
Он силы укрепил мои.

Припев: Любовь святая,

 Твой чудный свет
 Дает нам силы жить
 Среди тяжких бед.

Господь мне в душу дал покой
И радость светлую свою,
И хоть в отчаянии я был,
Он душу оживил мою.

 Среди обид, среди тревог
 Он помогает мне хранить
 Со всеми мир, и как друзей
 Врагов своих любить.

И злобы тьма не угасит
Любви великой свет,
Ведь в этой жизни ничего
Ее дороже – нет.

Припев: Любовь святая,

 Твой чудный свет
 Дает нам силы жить
 Среди тяжких бед.

Январь.

* * *

Благослови, Господь, мой путь,
Хоть труден он порой,
Но Ты, Господь, Спаситель мой,
Веди меня с собой.

Встречаю много я невзгод
И тягостей в пути,
Но Ты, Господь, Спаситель мой,
Поможешь мне идти.

О дай мне в жизни уголок,
Где б я нашла покой,
Где б я, Господь, Спаситель мой,
Жила бы лишь с Тобой.

Но если буду до конца
Обижена судьбой,
Дай помнить мне, Спаситель мой, -
Хранима я Тобой!

Когда ж устану в жизни я,
В скитальческой судьбе,
То Ты, Господь, Спаситель мой,
Возьми меня к Себе.

Май.

Два цветка

Цветок любви судьба когда-то
Мне, улыбаясь, подарила;
Его краса меня пленила,
Его пьянящий аромат
Немало лет меня сопровождал,
Я тщательно его хранила...
Но все ж пришла пора, и он увял.
Напрасно я его своим дыханьем,
Своей слезой старалась оживить.
Увы! Его уж не могла я воскресить.
И он опал...
Его сухие лепестки я сберегаю,
И часто горькою слезой их орошаю.
Но вот на жизненном пути,
Где так печально было мне идти,
Тоскливо, одиноко...,
Я неожиданно нашла цветок иной,

Блистал он чудной белизной
И нежный аромат его
Наполнил грудь мою.
К нему склонилась я, чтобы его сорвать,
Но тут судьба, как мать
С ее безмерной добротой –
Сказала мне: «Не рви его
И не стремись им обладать
Лишь для себя одной.
Но в трудную минуту
К нему, прикинувши душой,
Найдешь себе ты утешенье,
В страданиях тяжких облегчение, -
И радость чистую.
Цветочек этот – дружба.
Храни его, имея на примете,
Нет ничего его прекраснее на свете!

Июль 1946 года

Я хочу, Господь, с Тобой пребыть
каждый миг,
Помоги, чтоб я учение твое
вполне постиг,
Помоги мне не пленяться
мира красотой,
Лишь душа б моя сияла
светлой белизной;
Помоги мне быть спокойным
в суете,
Терпеливым, кротким, добрым
во вражде,
С благодушием обиды
все сносить,
Ближних, дальних, злых и добрых –
всех любить.
Длинная и трудная дорога
впереди

С Тобой, Господь, не страшно
мне идти.
Посылаешь Ты мне с неба
чудный луч,
Светит он мне на пути –
меж черных туч.
1947 год, сентябрь

Домой

Из мира скорби, суеты,
Из мира злобы и вражды
Отец меня зовет домой,
К своей отчизне неземной.
Иду, Господь, Спаситель мой,
Всем сердцем, разумом, душой,
Твоей я воле предаюсь,
Болезни, смерти не боюсь.
Иду, Господь, иду к Тебе,
Конец греху, конец борьбе,
Как путник, радуюсь душой,
Завидев берег свой родной.
Февраль

На жизненном пути

На жизненном пути, который я свершала
Счастливо, беззаботно, – меня гроза застала.
И гром гремел, и молния сверкала,
И буря страшная меня волной хлестала.
Но вот меж черных туч
Блеснул мне чудный луч,
Во мрак он свет пролил
И путь мне осветил.
К Кресту прижалась я, ища себе спасенья,
Ведь Тот, кто на Кресте, за нас принял мученье.

Из адских волн страстей Он душу мою спас,
Он подарил мне Веру и дал мне все в тот час!
Гляжу вперед теперь бесстрашно –
Мне буря жизни не опасна!

Счастливое сердце

О, дай мне счастливое сердце, Отец,
Ведь близок, ах близок уж жизни конец.
А я все в томлении, а я все в борьбе,
Не знаю покоя в печальной судьбе.
О, дай мне счастливое сердце, Отец!
В печали, иль в радости, ночью и днем,
Дай помнить лишь только, Отец мой, о том,
Чтоб сердце счастливым могла я хранить,
И счастье, лишь счастье кругом всем дарить.
О, дай мне счастливое сердце, Отец!
Труды иль заботы отступят вокруг,
Иль злоба людская взволнует мой дух.
Дай сердцем счастливым мне все побеждать,
И счастье, лишь счастье кругом всем давать.
О, дай мне счастливое сердце, Отец!
Счастливое сердце полно ведь терпением,
И кротостью нежной и тихим смирением,
Чтоб светом любви нас всех озарить,
И счастье, лишь счастье кругом всем дарить.
О, дай мне счастливое сердце, Отец!
Июль 1947г.

* * *

О, Боже мой, не дай мне быть жестокой с теми,
Которые ко мне жестоки!
И слезы печали, и вздохи тоски
Дай потопить мне в любви бесконечной,
В истине вечной...

Март 1948г.

Елка

Эта елочка была маленькой –
Как сажал ее друг мой миленький.
К ней склоняясь, целовала я
Ее веточки серебристые.

Но прошли года, елка выросла,
Поднимаю к ней я головушку,
И печальную думу думушку
Говорю я ей – неизбывную:

«Вот прошли года, нету милого,
Нет ни весточки, ни словечушка,
Лишь качается ель ветвистая,
Память прошлого, невозвратного».

* * *

О, Боже! Дай мне быть счастливой,
Хоть сердце ранено мое,
Хоть все покинут, все оставят, -
Не бросишь ты дитя свое.

Пусть одинока я, и в жизни -
Померкли радости огни,
Твою мне радость дай, и светом
Все озаряй - часы и дни.

Когда тоской душа сожмется,
Твоею благостной рукой
Сними с меня ее оковы;
Пошли мне радость и покой.

Апрель

*Рукопись подготовлена к печати Борисом
Гросбейном, техническое редактирование
Тамары Семеновой.
(начало см. «ГС» №№ 1,3)*

Борис Гросбейн
МОИ ВСТРЕЧИ С АННОЙ СТЕПАНОВНОЙ
МАЛОРОД



1958 год. Зима. Поселок Тальжино Кемеровской области. Я -
второклассник Тальжинской начальной школы. Мои родители -
колхозники.

Желая приобщить сына к прекрасному миру музыки, мама
привела меня в клуб колхоза «Жизнь и труд» в музыкаль-
ный кружок, которым руководила Анна Степановна Мало-
род, маленькая, сгорбленная пожилая учительница музыки.
Работала она, конечно, не за плату, а по призванию: у неё
учились всего три мальчика и одна девочка - они не имели
дома никаких музыкальных инструментов.

Анна Степановна нарисовала каждому на плотной белой
бумаге клавиатуру и принялась учить музыкальной грамоте
«всухую». А в нашем клубе, только что построенном на сред-
ства колхоза, было хорошее пианино.

И вот мы по очереди садились за инструмент рядом с учи-
тельницей и робко ударяли по клавишам, ведя счет целым,
половинным и четвертным нотам.

- Нельзя говорить «елки-палки», - укоряет меня Анна Сте-
пановна, когда я беру неверную ноту и невольно чертыха-
юсь.

Когда наша учительница сама садилась за пианино, - ста-
новила удивительно красивой. Исполняла произведения
Бетховена, Моцарта или Чайковского, очень хорошо пела.

*Носила я белые платья когда-то,
Была я артисткой, играла сонаты,
И тысячный зал мне, затихнув, внимал...*

Блестящая выпускница Краснодарского музыкального учи-
лища, юная Аня Данько вышла замуж за Павла Леонтьевича
Малорода. Вместе пошли они по жизни, увлеченные идеями
Л.Н.Толстого о крестьянской жизни без частной собственности.

Идея коммуны всецело захватила их.

Погиб в 1937 году в сибирском ГУЛАГе Павел Леонтьевич, испытала на себе ужасы репрессий и Анна Степановна, - она работала заведующей школой в толстовской коммуне «Жизнь и труд». Пережила разгром коммуны, лихолетье войны, а в 1948 году с оставшимися в живых бывшими коммунарами переселилась на новые земли, на левобережье реки Томи — в Тальжино.

Я хорошо помню ее, - эту святую женщину. Мягкая, добрая, с приятными манерами и голосом, похожим на журчащий ручеек. Пристроилась она счетоводом в колхозной конторе, старела, болела, но гордо и спокойно несла свой крест, стремилась быть полезной людям.

*Господь мне крест свой дал,
Велел его нести,
И путь свой указал, как по нему идти...*

Обиженная властями, изменой второго мужа, постоянными разборками в колхозной конторе, она ни на кого не обижалась. Кроткая, отзывчивая на чужую беду, Анна Степановна через всю жизнь пронесла христианские идеалы, ни разу не поступившись ими, не изменив им.

Жила, смело ступая «сквозь страсти с улыбкой и любовью», - как сказано в ее поэтической формуле.

В молодости стойко держалась в рядах толстовского движения, а в старости, пережив множество утрат, продолжала дарить людям теплоту души и безграничную любовь.

*Любовь святая,
Твой чудный свет
Дает нам силы
На жизнь средь бед.*

Анна Степановна находила поэзию в самых простых вещах: уроженка юга, она любила неброскую сибирскую природу, восход солнца, цветы, птиц и домашних животных. Любила принимать гостей в своей маленькой светелке.

Зимним вечером соберутся мои отец и мать навестить Анну Степановну, что-нибудь возьмут ей из гостинцев: то яблочек, то варенья к чаю, или бутылку ароматного самодельного подсолнечного масла, присланного из Украины мамиными сестрами. Анна Степановна вскипятит воду, заварит чай, порежет мелко-мелко яблоко, и все это настаивается в больших фарфоровых кружках, чуть остынет, пока льется неторопливая беседа, читаются письма из Москвы и других мест от друзей, единомышленников, затем начинается чайная церемония с сахаром, сушками, сухариками. За окном мороз, а в комнате пахнет яблоками. Начинают резать лимон, - сок этого экзотического плода стекает по ножу на блюдце, кислый вкус и сказочный аромат обволакивает рот. Настоящий праздник! А иногда бывали и московские конфетки, присланные братьями Алексеевыми с московской улицы Большая Пироговская, где останавливались тальжинцы, изредка бывавшие в столице. Анна Степановна любила такие вечера, неожиданных гостей. С моей мамой они пели дуэтом под аккомпанемент гитары песни, сочиненные хозяйкой дома. Я в это время рассматривал альбомы с открытками, акварельные рисунки, самодельные, в четверть тетради, книжечки стихов, обложки которых Анна Степановна украшала цветами, нарисованными акварельными красками.

Домой мы возвращались часов в десять вечера. Луна, звезды, морозно, тихо. Хорошо! Поистине, «ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездой говорит», - знаменитое лермонтовское стихотворение, особенно любимое толстовцами, положено на музыку и исполняется Анной Степановной на наших вечерних посиделках.

Сколько же талантов имела Малород А.С.! Музыкант, поэт, художник, а главное, - трепетная душа ее несла всем умиротворение, внутреннее озарение, желание жить и в меру возможности трудиться. Многие до сих пор помнят ее напутствие: «Вы, друзья, трудитесь, но не пекитесь». То есть работайте для души, а не для тела, тем более, не для наживания богатства.

Мне так нравилась игра Анны Степановны на гитаре, что я попросил маму: «Поговори с ней, может быть, она меня поучит». Анна Степановна согласилась. И вот я три раза в неделю хожу с нотами в дом к своей любимой учительнице, и мы разучиваем

известную крестьянскую песенку:

*Что ты спишь, мужичок,
Ведь весна на дворе,
Ведь соседи твои
Работают давно.
Встань, проснись, оглянись...*

Я довольно быстро разучил мелодию, правда, пальцы мои не всегда слушались меня и мою учительницу. Конечно, музыкального дарования у меня не было, но петь я полюбил на всю жизнь. Недолго продолжались наши с ней занятия, но в памяти моей они по сей день.

Мне было странно и интересно наблюдать, как в зимний солнечный день Анна Степановна объявит паузу в уроке, сядет напротив окна под солнечные лучи, прикроет глаза и сидит неподвижно несколько минут. Я сижу тихо, не шелохнувшись, гляжу на ее лицо, озаренное солнцем, и кажется, что морщинки разглаживаются под действием солнечного тепла. Теперь я думаю: а, может быть, это она сама озаряла дивным светом нравственных прозрений все окружающее. Я нахожу подтверждение своим догадкам сегодня, будучи в зрелом возрасте, когда читаю ее стихи, личные дневники за 1935, 1948-1968 годы, последние записи сделаны Анной Степановной незадолго до смерти.

Как жаль, что в ранней молодости очень много времени потрачено на глупости, а не на общение с теми последователями Л.Н. Толстого, среди которых вырос. Бесспорно, они оказывали на нас незаметно, исподволь огромное влияние. Мощная положительная энергия, исходившая от Анны Степановны Малород, моей мамы Галины Авдеевны Гросбейн, Бориса Васильевича Мазурина, Петра Ивановича Литвинова, Аненкова Герасима Павловича, моего отца Гросбейна Арона Герасимовича, братьев Алексеевых - Льва Александровича и Сергея Александровича, Литвиновой Евгении Павловны, их нравственные опоры и установки имели, вне всякого сомнения, определяющее значение в нашем становлении как личностей и граждан.

2006 год.

Мои встречи с Анной Степановной Малород

ОБРАЩЕНИЕ ПОТОМКОВ КОММУНАРОВ-ТОЛСТОВЦЕВ В МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемый господин Министр!



9.04.06г. в «Мемориальном музее духовной и материальной культуры друзей и последователей Л.Н. Толстого в Кузбассе» в средней общеобразовательной школе № 96 г. Новокузнецка, работающей по всероссийскому эксперименту – учебным планам, программам и концепции «Школа Л.Н. Толстого», во многом унаследовавшей идеи и принципы толстовской школы 30-х годов коммуны «Жизнь и труд», располагавшейся по берегам реки Томи на месте современного поселка Абашево, Орджоникидзевский район г. Новокузнецка, в те годы Кузнецкого района, собрались на традиционную встречу потомки бывших коммунаров, чтобы повести серьезный разговор на тему 75-летия образования толстовской коммуны «Жизнь и труд» в апреле 1931 года.

Дети коммунаров, которым сегодня самим уже от 55 до 80 лет, съехались в свой музей из разных мест Кузбасса: Междуреченска, Мысков, Белово, Новокузнецка, из Абашева и Тальжино. Многие давно не виделись друг с другом. Встреча носила непринужденный, можно сказать, семейный характер. Заинтересованно и живо обсуждались следующие вопросы:

Издание мемуаров крестьян-толстовцев в кемеровском альманахе «Голоса Сибири» в 2005-2006 гг.

Вспоминали дети коммуны о местах, где прошли их детство и юность, о том, где, чей дом стоял, в каком месте поселка была школа.

Самый важный вопрос встречи – об открытии самостоятельного (не в школе) историко-литературного мемориального толстовского музея в г. Новокузнецке в преддверии 180-летия со дня рождения Л.Н. Толстого как просветительского и воспитывающего духовность и нравственность учреждения – обсуждался бурно.

В результате было выработано обращение в Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации с просьбой оказать организационную помощь в открытии самостоятельного музея. Подписали документ единодушно.

Суть обращения состоит в следующем.

Обращение потомков коммунаров...

Сегодня нам, детям коммунаров, уже немало лет, возраст, как говорится, переходный. Мы пенсионеры. И вот перед уходом в вечность мы готовы духовное и материальное наследие наших отцов и дедов сделать общественным достоянием. Мы могли бы сосредоточить в будущем музее такие уникальные материалы:

1. Книжные раритеты – дореволюционные издания толстовских произведений Сытина, «Посредника», московских журналов толстовского направления 10-х - 20-х гг.

2. Около десяти тысяч листов рукописей и писем друзей и последователей Л.Н.Толстого, В.Г. Черткова, И.И. Горбунова-Посадова, П.И. Бирюкова, мемуары наших родителей, стихи и проза, имеющих, на наш взгляд, не только познавательное, но и воспитательное значение.

3. Несколько сотен редких фотографий, запечатлевших как отдельных людей, так и группы, работающих в полях, на огородах, производящих высококачественную сельхозпродукцию для себя и для страны: в 20 км от коммуны «ЖИЗНЬ И ТРУД» строился гигант кузбасской индустрии – Кузнецкий металлургический комбинат, который прославил В.Маяковский в стихотворении «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка» - «Мы в сотню солнц мартенами воспламеним Сибирь»... Но мало кто знает, что Сибирь была воспламенена и духовным влиянием Л.Н.Толстого!

По словам А.М. Горького, «Толстой – это целый мир». Действительно, сегодня весь мир обращается не столько к художественному, сколько к этическому наследию Льва Толстого. А это – 9/10 его творчества.

Историей сибирской толстовской коммуны «Жизнь и труд» заинтересовались японцы. В 1998 году ректор Токийского университета «Сёва Дзёси» Кусуо Хитоми прислал своих специалистов в Новокузнецк специально для изучения устройства и уклада коммунарской жизни последователей Л.Н. Толстого. Экспозиция школьного музея привлекла японских ученых настолько, что часть наших подлинников и копий выставлялась в Японии, в городе Токио в 2000 году. Выставка проходила на базе университета Сёва Дзёси под девизом «Лев Толстой – 2000. Воскресение!!!», о чем свидетельствует каталог, изданный

на русском и японском языках. Названный университет активно проводил в своих программах и учебных планах толстовскую педагогику, правда, в японском варианте. Более десяти тысяч японцев оставили в книге отзывов свои восторженные впечатления. Они-то хорошо знают русского писателя, педагога и мыслителя. Только роман «Воскресение» был переведен в Японии семь раз разными переводчиками, и все семь переводов изданы! И стали достоянием островного государства. А как эффективно внедрили у себя японцы современный проект профессора В.Б.Ремизова «Школа Л.Н.Толстого»? Это отдельная педагогическая поэма.

Побывал у нас ведущий славист США, специалист по Л.Толстому и Н.Лескову профессор Индианского университета Вильям Эджертон, беседовал с живыми ещё в начале 90-х годов стариками-коммунарами. Он перевел на английский язык книгу «Воспоминания крестьян-толстовцев в 10-х – 30-х гг. (Москва, «Книга», 1989г.) для американских читателей, и, что интересно для Америки, издание разошлось моментально. Школьный музей несколько лет состоял в корреспондентских связях с В. Эджертоном. Какой интерес к Толстому за рубежом!

А мы? Кроме названий романов «Война и мир», «Анна Каренина» и двух-трех детских рассказов, пожалуй, ничего не знаем о нравственных трактатах нашего великого философа.

Мы располагаем этими материалами, их влиянием на целый пласт культуры русского народа, пласт еще не исследованный.

Для этого и нужен самостоятельный музей в Новокузнецке, в котором будет идти живая просветительская и воспитательная работа, потому что история толстовского движения в нашем крае, как и по всей России, в 30-90-х годах XX века прекрасна в своем величии и трагизме.

Причем не столько в географическом плане, сколько в разрешении сущности того этноконфессионального сплава, который «варился в сибирском котле». Идеи Л.Н. Толстого объединили здесь и московскую интеллигенцию и личных друзей Л.Н. Толстого, и толстовцев, и малёванцев, и добролюбовцев, и субботников, и атеистов, и анархистов, и простых православных тружеников-крестьян, для которых философские взгляды Л.Н. Толстого на братскую, правильно устроенную жизнь на земле без насилия и зла, стали путеводителем в сложном житейском мире.

Сотни семей из центральной полосы России, Урала, Украины, Поволжья, Кавказа, снявшись с обжитых мест, спасаясь от голода и так называемой коллективизации, а фактически избегая раскрестьянивания,

устремилась сюда, в Кузбасс, в неизведанные края, воспользовавшись постановлением Президиума ВЦИК СССР от 28 февраля 1930 года (протокол 41, параграф 5, о «переселении толстовских коммун и артелей»).

В апреле 1931г. первые добровольные переселенцы стали съезжаться на пустынный, незаселенный дотол берег реки Томи, на отведенный им властями земельный участок.

Ровно через год коммунары насчитывали в своих рядах полторы тысячи душ, «дышавших единым дыхом», в едином порыве пытавшиеся жить по совести, без «моё».

Кто были эти люди, - каждый из них, - это целый мир. Центральные издательства: «Книга» (Москва, 1989 год), журнал «Новый мир», Центраучфильм, телеканал «Культура», региональные журналы и средства массовой информации опубликовали большое количество материалов, которые можно отнести к теме «Л.Н. Толстой и Сибирь».

Но это лишь малая часть того духовного и материального наследия, которым располагает «Мемориальный музей друзей и последователей Льва Толстого в Кузбассе», по сути, музей коммуны «Жизнь и Труд». Его на общественных началах организовал потомок коммунаров, директор школы № 96 Борис Гроссбейн с группой наших энтузиастов. А сколько еще уникальных материалов находится в наших частных собраниях:

А) переписка с толстоведами США, Канады, Японии, России, Белоруссии: В. Эджертон, Питер Брук, Кусо Хитоми, Ломунов, Шифман, В.Б.Ремизов, В.Н.Черепица и др.;

Б) переписка с современными русскими писателями 30-90-х годов XX века. Среди них Евгений Евтушенко, Сергей Подколков, Леонид Леонов, Давид Кугультинов, Николай Атаров, Григорий Медынский, Ю.Феофанов, Т. Тэсс и многие другие;

В) переписка с известными учеными – востоковедами (Амусин, Свенцицкая) – по проблематике Кумранских находок, связанных с рукописями Мертвого моря, с знаменитым кардиологом Н.Амосовым – по мировоззренческим вопросам;

Г) переписка с редакциями газет «Правда», «Известия», журналов «Наука и жизнь», «Наука и религия», журналистами Кемеровских газет и радио;

Д) переписка с музеями Л.Н. Толстого («Музей-усадьба Ясная Поляна», ГМТ), музей религии и атеизма в городе Ленинграде.

Общеинтересны такие малоизвестные страницы истории коммунаров, как их зарубежные корреспондентские связи с французскими писателями Роменом Ролланом и Анатолем Франсом, духоборами Канады (русские сектанты, с помощью Л.Н.Толстого переселившиеся в Канаду), некоторые из них лично участвовали в жизни коммуны, русские американцы помогали сельхозинвентарем, инструментами. Болгарские крестьяне-толстовцы снабжали наших лучшими семенами ягодных и овощных культур.

Японцы в 30-е годы на языке эсперанто интересовались жизнью русских единомышленников Л.Н.Толстого, они создавали свои коммуны.

Одна такая коммуна, подобная нашей, до сих пор процветает на окраине города Киото под названием «Единственный огонь» (Любовь).

А наша пережила страшные репрессии и разгром. За 2 года с 1937 по 1938 очаг разумно устроенной жизни, крепкий экономически, с современной точки зрения, был уничтожен властями, ушли в небытие братские, дружественные отношения людей, построивших жизнь без «моё» сейчас, а не откладывая на будущее. Достижения толстовцев в овощеводстве, молочном-товарном хозяйстве, коневодстве до сих пор остаются непревзойденными. Так, например, коммунары доставляли в столовые великой стройки КМК так нужные в питании рабочих, особенно в Сибири, ранние овощи из своей теплицы: огурцы и помидоры, иностранные специалисты не садились за стол без капусты с огорода «Жизни и труда», так боялись цинги.

Что касается их огромного духовного наследия, то оно ещё робкими шагами идет к своему читателю, слушателю и зрителю. Эти материалы собраны в видеофильмы, слайдфильмы, слайды, диафильмы, записаны на аудионосителях.

Уважаемый господин Министр, помогите нам организационно и материально открыть самостоятельный историко-литературный мемориальный музей в г. Новокузнецке. Не преследуя никаких материальных выгод, думаем, что в условиях большого города такой музей принесет много пользы обучающимся школьникам, студенческой молодежи, широкой общественности в формировании духовности, любви к родине, земледельческому труду и экологическому мышлению.

Музей станет учреждением, воспитывающим высокую нравственность, о чем неоднократно говорит в последнее время Президент России В.В. Путин. Мы сможем воспитывать ненависть ко



лжи, несправедливости, неравноправию, будем учить любви к истине, к России.

С уважением, дети бывших коммунаров

Рыбак Е.В., Шипилов Н.П., Шипилов В.А., Каретников Ю.Л., Каретников Е.Л., Шилов Л.А., Шилова Л.А. (Малород), Чубукова Е.Е. (Баранова – Яровая), Ахметишина М.А. (Совина), Никитина Е.И. (Драгуновская), Сыроваткин И.О. (Чекменёв), Комарова М.А. (Попова), Кожухарь Т.И. (Котляр), Яким В.Ю. (Егудина), Москвичёва Н.П. (Литвинова), Чаткин М.А., Юминова В. Л. (Алексеева), Носкова В.А. (Верле), Тетенова Т.П. (Литвинова), Гросбейн И.А., Гросбейн Б.А.

От составителей

Опубликованные в этой рубрике стихи Анны Малород, которые отнюдь не являются шедевром поэзии, мы приводим лишь потому, что они отражают в своей безыскусности простодушный внутренний мир автора, проникнутый все терпением и кротостью. Более того – строфы рассчитаны на музыкальное сопровождение, это своего рода «романсы» для коллективного пения в кругу друзей-коммунаров, продолжавших жить по толстовским заветам – в непротвлении злу (вспомним кроткую терпеливость Малород в лагере для «исправления легких проступков» – в ее случае, вероятно, недостаточно атеистические речения в школе, ведь она учительница), в простоте и бесхитростном образе жизни, в надежде на помощь Всевышнего. Искренность музыкального исполнения этих строк искупала их несовершенство.

Может показаться странным, что лагерь, в котором пребывала Малород, довольно «щадящий»: позволено посещение родственников и побывки в семье. А ее семья – горсточка коммунаров, живущих неподалеку.

Однако – 60 ведер воды, которые слабая и больная женщина должна натаскать ежедневно в барак, на уборку которого уходит целый день, а вечером в него возвращаются лагерники в обуви, измазанной жидкой грязью! И так – каждый день...

Каковы же были условия труда в «настоящих» лагерях, догадываться не приходится: листаем «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына.

Сибирь - Казахстан



Мэри Кушникова
ПЕСНИ ПЕСКОВ

В ПОИСКАХ КРАЯ ЗЕМЛИ



Испокон веков, за уральскими хребтами, за морем Каспийским, у подножий Памира, подпирающего собой небесный свод, плавно опускаясь к благодатным рощам Персии, лежал, покоясь под ярким солнцем, загадочный край, пленявший воображение полководцев, путешественников и ученых.

И в то время как походом собирались сюда великие завоеватели полулегендарных времен; в то время как предприимчивые франкские и венецейские купцы и дипломаты готовились в дальний и нелегкий путь — «в сказочный восток»; в то время как грозные рескрипты писали на берегу туманной Невы; в то время как потоком из многих дальних стран устремлялись сюда ученые и путешественники, — под ярким солнцем, под знойным ветром лежала степь...

Мгновениями неслись над ней века, чередуя в беге своем пылающие летние дни и седые зимние сумерки, когда степь соединяется с небом, и сплошная пелена серого сумрака обволакивает весь мир.

Под сенью веков лежала степь, а за нею барханы, и сухо шелестели пески под рукой ветра, и вились маленькими и большими вихрями, и голосом времени пели колдовские песни. Оттого колдовские — что слышать их может лишь тот, кто в ладу с равновесным законом жизни и смерти, и тот, у кого сердце и разум приемлют вечный круговорот времен, и не воздвигают непреодолимых преград между веками.

Влекущи игры песков и чарующи зыби барханов для того, кто в сердце своем презрел хронологию дат и на свой страх и риск пытается решить главное в мире соотношение — между непреходящим смыслом вещей и переменчивыми его покровами, между стержнем и выющейся вокруг него каруселью.

Многое может услышать такой человек в тиши барханов, следя за неутомимой, мудрой, неумолимой игрой песков, перебирающей тысячелетия.

Нелегко услышать голоса степи. Еще труднее облечь в слова шелест пустыни.

Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности.

Владимир Сергеевич Соловьев

Читатель! Не отбрасывай эту рукопись в раздражении, если местами тебе покажется нарушенной стройная связность дат – трудно без запинки перебрать за несколько мгновений зарождение, расцвет и гибель могучих цивилизаций, но не легче повествовать и о бытовании хотя бы одного человека среди своего племени-народа.

Не сверяй прочитанное здесь с учебниками истории и трудами прославленных ученых-специалистов.

Напрасны были бы такие сопоставления, оттого что автор отнюдь не льстил себя надеждой изумить читателя каким-либо «научным взрывом» в области истории или этнографии, а лишь с великим смирением пытался передать то небольшое, что удалось ему услышать в степи.

Итак, читатель, прости великодушно попытку автора облечь видения в слова. Тем более такая попытка, возможно, также опасна и невыполнима, как поиски края земли, в которые пустился без малого две тысячи лет назад великий завоеватель Александр, облаченный в рогатый шлем. О рогатом шлеме автор узнал, что называется, из уст в уста, от акына Жумахана, который очень хорошо помнил знаменитого полководца, причем называл его накоротке Искандер Зулькарнай, что означает «двурогий», – такой уж у него был шлем.

Читатель, не сомневайся, старик Жумахан не лгал, утверждая, что достоверно знает подробности похода двурогого Александра, в том, что касается степи и барханов; потому что и сейчас, когда акын Жумахан уже много лет как выпал из поля зрения автора, тем не менее ему, автору, не раз довелось убедиться в справедливости слов акына, поскольку иные, даже маловажные подробности его рассказов встречались автору в таких глубокопочтимых источниках, в коих и сомневаться-то не пристало.

Так что, хорошо понимая физическую невозможность сосуществования старого Жумахана и Искандера Зулькарнай в одном временном отрезке, автору все-таки приходится считаться с тем, что акын Жумахан, не умевший читать и писать, никак не мог с упомянутыми источниками ознакомиться.

И остается лишь предполагать, что за вечерними чаепитиями старика посещали и, может, посещают по сю пору его родичи во многих коленах, как бы отматывая время вспять, и, передавая из рук в руки пиалы с янтарным чаем, обмениваются воспоминаниями и новостями,

несколько себя не стесняя хронологическими несоответствиями. Последуем же и мы за ними.

КРАЙ ДИВНЫЙ, ГДЕ ЖЕНЫ ПРЕКРАСНЫ И ГРОЗНЫ...

Ветеран. – Шел год 324 до дня рождения Исы-праведника. Как всякий полководец, отличающийся воинскими доблестями и недостойными деяниями, прославленный в веках Александр, правитель Македонский, направил взор свой к востоку, и войска его наводнили край, лежащий по ту сторону Понта Евксинского и моря Каспанейского, и разлились по степи и пескам, и направили тяжкие свои стопы к цветущим берегам Инда.

Много чудес встретили иноземцы в благодатном, но и суровом краю, где сами достоинства преувеличены настолько, что превращаются во враждебные для человека силы. Синева неба синее чересчур, равно чересчур долго не рождаются на ней облака летом. Все здесь необычно, и потому не нравилось пришельцам и их страшило. Кованным шагом прошли они по степи и не вслушивались в сказы поющих песков, и много лет спустя седые ветераны в который раз рассказывали внукам необыкновенные истории о горе Каспинус, которая находилась около страны Индов, а от нее начинается Каспанейское море, «а между горой и морем великим наш господин и повелитель Александр – да пребудет над памятью его благословение богов, – встретил в той стране солнечной два племени, Гог и Магог, кои жили как звери жестокие, а в голод ели даже гнусное и скверное – комаров, мышей, кошек и змей. И потому запер их Александр меж гор северных, и горы сомкнулись, а в день страшного суда нечистые эти народы выйдут из своих узилищ на устрашение всего сущего».

Впрочем, про племена Гог и Магог, едящих змей и комаров, равно как и про устрашение всего сущего, и про страшный суд, вряд ли мог рассказывать любознательным внукам седой ветеран, побывавший в персидских походах. Это уже добавил от себя сладкоречивый автор дивной книги «Лусидариус сиречь златый бисер», равно как и составители «Славянского сборника» в XVII веке, – а до того времени тысячи дней и ночей ветер перебирал песчинки в дивном краю, поразившем старого воина.

Зато ветеран не раз божился за кружкой кислого дешевого вина, что сам видел в далекой той стране «людей дивных, жены коих долго-власы, с очами как звезды», равно как и «человеков с песьей головой и человек, кои от пояса люди, а от пупа кони, нарекаются они именем «исполины». И еще пленял воображение слушателей подвыпивший старый воин рассказами о «девице Горгоне, лицом и персями прекрасной, у коей на главе вместо волос змеи, а лик ее оттого притягателен и страшен».

Афин, Ахыни, или... Акын. – И, конечно, рассказывал он о необыкновенной встрече своей с неким старцем, назвавшим себя сказителем, хотя он не только сказывал, но и пел, а имя его было трудно выговариваемое и необычное, под стать всему тому краю... – сейчас, сейчас он постарается вспомнить. Что-то вроде Умаянос, а, может, Умаханос, но может быть и не так. Соплеменники же его обращались к старцу, называя словом, похожим Афин, а, может, Ахин, сейчас уже не вспомнить...

Да, так вот, встретился как-то этот старик на пути доблестных Александровых войск в некоем месте, обильном пропастями, в ущелье широком и глубоком. И рос там густой лес, названный Анафией, и увидели там усталые воины цветущие деревья, и деревья, на коих обильно рдели яблоки. Около яблонь чужеземцев молча встретили люди могучие, опоясанные кожами. Не было у них ни копей, ни стрел, но ясно, что лучше обойти их с миром, ибо решимость видна во всей их повадке и ясно было, что готовы биться без стрел и без копей. Далее же «подошли мы к некоей реке, – рассказывал участник славных персидских походов, – и росли возле той реки деревья, и сок их был сладкий и приятный, а запах словно у персидского перца. И повелел Александр рубить деревья и губками собирать их сок. Тут-то неизвестно откуда возник некий старик. Встал перед господином нашим Александром и не то заговорил, не то запел на странном, гортанном наречии. И первое чудо свершилось пред нами. Ибо, не зная того наречия, мы поняли слово в слово все, что старик нам рассказал. А рассказал он следующее.

Хозяин. – «Чужеземцы, не уподобляйтесь неразумному человеку, который, послушавшись неразумного совета своей неразумной жены, нарушил запрет, чтимый нашим народом много веков. Он не пожелал вспомнить про некий заветный день, называемый «день хозяина» –

а такой день приходится на каждую весну и на каждую осень, – и пошел на берег реки с острым ножом, чтобы срезать побольше гибких ветвей тех деревьев, что стоят перед вами. И звали этого человека Аман, и был он человек глухой, ибо ни разу не слышал, как растет трава. Он не понимал также, о чем поет ветер, но был домовитый хозяин, и хорошо ухоженный его скот славился на много и много дней пути. Жена сказала ему, что кормушка любимого его коня давно истерлась и что не худо бы сплести новую из ветвей прибрежных деревьев, именуемых тобылга.

При первом ударе из свежего пореза на ветке потекли слезы. Аман их не заметил, потому что он был не только глух, но и слеп. При втором – ветки застонали. Но Аман был глух! При третьем – старческий голос обратился к этому хозяйственному человеку:

– Сынок, – сказал он, – пощади меня. Сегодня мой день. Завтра я переселюсь в другой куст, тогда и руби себе на доброе здоровье и плети сколько хочешь плетней и кормушек.

– Я тебя не вижу, старик, – сказал Аман, – и раз я тебя не вижу, значит, тебя нет.

– Я «зеленый хозяин», – взмолился невидимый старец, – твой дед, наверное, рассказывал тебе обо мне, только ты забыл!

– Не помню, – бурчал домовитый Аман, продолжая рубить нежные ветви, – разве упомнишь все, что говорят старики!

– Аман, ты отрубил мою седую бороду и руки, которые вырастили все деревья в нашем краю. Край наш во многих местах безводен, и земля тверда и неподатлива. Мне стоило немалых трудов, чтобы зазеленели и зацвели на ней пастбища, цветы и деревья. Неужели твой дед не говорил тебе, как суха и тверда наша земля?

– Не помню, ничего не помню! – ворчал Аман, орудуя ножом. – Когда я сам стану старцем, никогда не буду попусту болтать с молодежью!

– Речи твои дерзки, сердце жестоко, а память, как у ветреной девушки! – ответил невидимый старец. – Ты забыл заветы своей земли и забыл, как почитается старость. Мне жаль тебя. Я помогу тебе сдерживать неразумные слова.

– То-то! – сказал Аман, собрал срубленные ветки, заткнул за пояс нож и пошел домой. Он сложил ветки у порога и хотел позвать жену. Но язык его стал твердым и толстым. Он потрогал его пальцами.

Язык превратился в деревянный пенек. С этого дня до самого последнего вздоха Аман не сказал больше ни слова.

— Сегодня «день зеленого хозяина», чужеземцы! — смиренно сказал странный сказитель. — Послушайтесь моего совета и уходите с миром от этой реки и не троньте ветвей тех деревьев, что здесь растут.

Но господин наш Александр был упрям и крут нравом и не послушал сказителя. И еще раз повелел рубить те деревья и собирать их сок и утолять им жажду.

И тогда мы увидели второе чудо. Внезапно собиравшие сок были избиты невидимыми духами или бесами, что обитали в самих деревьях. И были слышны крики избиваемых и видны раны на их плечах, а кто бьет — не было видно.

И тогда свершилось третье чудо. Из чаши донесся до нас чей-то голос. И слова, сказанные им, были непонятны для нас, и все-таки все мы уразумели, что голос оповестил рубивших: «Не смейте ни рубить, ни сок добывать! Если же вы не перестанете, то станут все воины немymi!».

И только тогда приказал Александр, чтобы деревья не трогали, а губки, которые уже впитали сок срубленных веток, выбросили в воды реки.

И ушли мы от этого дивного места, а сказитель шел с нами, то исчезал, то появлялся, и вскоре все мы с ним подружились как со своим».

Наверное, участник персидских походов все это рассказывал не так. Может быть, иные нашел слова, чтобы передать удивительный случай, когда повстречался ему на пути старый сказитель, которого обитатели того края называли странным именем Афин, или Ахын. Или — может быть, Акын? Ветеран так и не мог точно припомнить. Немало, немало позабыл он из того, что видел в те далекие годы, но многое еще помнил и охотно рассказывал по вечерам, сидя у очага.

А пески в то время, — за много дней и ночей конского лета от того мирного очага, — вихрились малыми и большими вихрями, и по степи в самом деле неслись удалые всадники, как бы сросшиеся с конем, и на плоской равнине казались они исполинами. И слагали стихи и песни искусные поэты солнечной той страны в честь дев, лик коих сверкал белизной подобно луне, в обрамлении тридцати трех косиц, заплетенных сразу же после мытья волос — с кислым молоком и утиным

желтком. И походили косицы на змей, и были девы грозны своей красотой и неприступной гордостью...

ВСТРЕЧА В ТАЛАССКОЙ БАНЕ

Чужеземец. — Когда в 431 году после рождения сына божьего Иисуса Христа в городе Эфессе состоялся Вселенский собор, на котором темпераментные проповедники спорили о сущности и догмах христианской веры, когда анафеме предавали окаянное учение Нестора, когда скромный, — с виду даже робкий, — рыжеватый не то бродяга, не то пророк, родом из Назарета, давно покоился в песчаной палестинской земле — если, конечно, не вознесся в небеса, как о том все упорнее толковали церковники, — он никак не мог бы представить, что без малого через полтысячелетия его, казалось бы, беспомощные и незамысловатые истины станут возбуждать вселенские страсти. И менее всех о последствиях церковного раскола размышлял некий сказитель из тюркского каганата, имя же его было непроизносимо для византийского изысканного наречия. Сказитель этот — Афин, Акин, а, может быть, Акын — кочуя по степи, иногда останавливался в больших и просвещенных городах, иногда выезжал на большие айтысы, где чаще всего одерживал блистательные победы, повествуя о множестве вещей, которые довелось ему увидеть за долгую его жизнь. И встречал он на своем пути кочевников, и гостил у земледельцев, и воспел тучные пастбища и многоголовые стада, равно как и цветущие города, пышно сияющие в оазисах. И немало бы удивился Акын, если бы в то время мог заглянуть на полторы тысячи лет вперед и прочесть в некой книге, именуемой «Туркестанский край» такие слова: «Сады, дома, великолепные здания и произведения искусства не нужны и непонятны для кочевников, как непонятна и не нужна вся оседлая культура. Если бы кочевники могли, они весь мир бы обратили в пастбище».

Немало бы удивился, и еще более бы позабавился подобным утверждением этот старый сказитель из тюрков, по имени Жумахан, особенно в тот день, когда в 570 году встретил в великолепной бане города Таласа чужеземца, который сидел в небольшом помещении перед комнатой, где располагались бассейны для охлаждения тела.

Чужеземец явно чувствовал себя стесненно — он с любопытством осматривал стены, украшенные вычурными голубыми, оранжевыми

и синими витками фантастических стеблей и листьев. Особенно же внимательно чужестранец осматривал лепные тюльпаны, опущенные чашечкой вниз, которые как бы зависли над каждой полкой. Босой ногой он водил по полу из обожженного кирпича. Его явно удивляло, почему кирпич и плитка теплые, ибо он не мог и подозревать, что под полом проходят особые трубы, пропускавшие согретый воздух и отапливавшие баню.

Старик подошел к чужеземцу и предложил позвать банщика. Он старался изъясняться более жестами, нежели словами, так как считал, что иноземец вряд ли понимает его язык. Почему он подумал, что этот человек иноземец? Во-первых, оттого, что он наготу свою небрежно прикрывал льняным платом, накинутым на манер римского плаща, тогда как никакой набедренной повязки, которую каждому мало-мальски порядочному человеку полагалось надевать в бане, на чужеземце старик не заметил. А также на шее у него, на массивной серебряной цепочке висел известный всему Востоку амулет – две перекрещенные палочки и под ними – рыба. В остальном иноземца вполне можно было принять за тюрка, – черные густые волосы, черные глаза, темно-оливковый цвет кожи, тонкие щиколотки и запястья, – ничто не отличало его от жителей Таласа!

К удивлению старика, чужеземец ответил на привычном наречии, – смеси согдийского и парского, – которое было в ходу от Давани (Фергана) до Амьти (Парфия). Оказалось, что в этих краях он находится в составе посольства, причем не случайно, а с некоей миссией, и зовут его Зенон, и прибыл он из Византии. Да, да, вот уже второй год, как он не видел своей родины, а в сущности, что заставляло его скитаться по этим чуждым ему краям? Нет, пусть этот почтенный старик не удивляется, ведь каждому известно, что жизнь состоит отнюдь не из удовольствий, и большинство людей живут не так, как того хотят сами, а как велят там (при этом Зенон выразительно поднял к куполообразному потолку большой палец правой руки и вздохнул).

Слышал ли старик о несторианцах? Ах, даже со многими был в дружбе? Зачем эта миссия ему, Зенону? Старик ошибается. Ему, Зенону, все это не нужно. Это императору византийскому Юстину II нужно. Впрочем, и ему тоже – не очень. Ибо вовсе не несторианские монахи волновали Византийского императора. Пусть их себе строят свои обители и церкви в Таласе и в пригороде его Мирке, и в Персии, и

хоть по всему Семиречью, надо же и им тоже где-нибудь селиться после изгнания из Византии – не оттого послан сюда Зенон, проделав неблизкий путь через Кавказ и направляясь к самому Алтаю. Нет, вовсе не оттого, – но об этом не в бане говорить. Не место и не время...

Из бани Зенон и Жумахан вышли вместе. Зенон посчитал за небольшую удачу встречу с человеком местным, пожилым, многоопытным, учтивым и, видимо, искушенным в разнообразных делах. В чужом краю – без покровителя из местных – плохо! Он-то знал, зачем прислан в этот полусказочный край. Его, как и императора Юстина, действительно мало трогали ереси несторианцев. Куда более тревожный интерес пробуждали в Константинополе упорные слухи о завоевании тюркских племен, о новообразовавшемся тюркском каганате, который тянется от Великого океана до Понта Евксинского – Черного моря, о загадочных братьях Тумынь и Истеми, стоящих во главе могущественной, незаметно выросшей державы, подпирющей Византию с востока самым невыгодным образом. Для этого случая стоило вспомнить о несторианцах, которые вот уж не менее сотни лет благополучно селились в этих краях, и побеседовать об их судьбе с тюркским Каганом Дизабулом. Ну, может быть, не столь об их судьбе, сколь о том, как богат новый Рим, и как дорого ценит свой покой...

Посольство остановилось в Таласе, вскоре Каган обещал принять греческих дипломатов у себя в ставке. Когда? Ну, это уж смотря по обстоятельствам. Пока же – посольство бродило по городу, немало дивясь тому, что вовсе не один Константинополь способен поразить воображение путешественника.

Талас оказался большим, хорошо укрепленным городом, утопающим в садах, посреди города протекала полноводная и щедрая река Толас. От нее по городу шел отменно устроенный водопровод. На базаре торговали диковинными товарами купцы из многих стран.

– Да, почтенный мой господин, – восторженно твердил Зенон, – поистине немного дано знать человеку о краях даже близлежащих, если сам он в них не побывал. Ибо я первый бы рассмеялся, если бы мне рассказали еще два года назад, что сегодня я буду мыть свое тело и умащать маслами в столь роскошно украшенной, а, главное, благоустроенной, бане. Ты сам понимаешь, что византийца, да еще уроженца Константинополя, удивить роскошью нелегко, но клянусь своим крестом – я поражен увиденным. Неужели и дворец Кагана не

уступает по красоте нашим дворцам? Ведь я видел здесь отлично укрепленные стены, хорошие мостовые, богатый базар, и даже стеклянные сосуды, подобные китайским.

- Не думаю, чтобы в ставке Кагана ты увидел что-либо привычное для твоего глаза, - улыбнулся старик. Встреча у нас с тобой получилась кстати. Я ведь как раз и собираюсь в ставку по случаю приема вашего посольства. Я должен выступить на состязании.

- Ты рыцарь? - спросил грек.

- Нет, я певец.

- Разве ты оскопленный? - удивился Зенон.

- Зачем же? - усмехнулся старик. - Только истый мужчина может слагать стихи и петь их пред себе подобными, ибо стихи о любви, войне, дружбе и ненависти могут рождаться только у испытавшего все это. Разве ваши мужчины не слагают песен?

- Слагают. Но больше церковные. У скопцов же голос чище и звонче. Многие посвящают себя Господу нашему и в его славу слагают свои песни и поют их, будучи чистыми и свободными от похоти.

Старик пригласил византийца в свой дом. Дом был просторен, с большим покоем посредине. По белым гладко оштукатуренным стенам висели алые круги и гирлянды из листьев. Потолок поддерживали деревянные балки искусной резьбы. Из среднего покоя три двери вели в соседние жилые комнаты. Похоже было, что старик - знатный горожанин и располагает немалым состоянием.

- Я не живу здесь постоянно. Но бываю наездами, так что мне удобно содержать здесь собственное жилище, - сказал хозяин дома.

Войдя, он взял из настенной ниши светильник из обожженной глины - высокий, конусообразный, с чашечкой, похожей на цветок, и зажег в нем фитиль. От стены взял стоявший на ребре круглый низенький столик, тоже из обожженной глины, и поставил его посреди комнаты. Полива столешницы расписана была искусно белой, зеленой и желтой вязью рисунка с диковинными надписями, и византиец опять-таки выразил свое восхищение искусством, которое не ожидал здесь встретить.

- Но почему? - удивился старик.

- Видишь ли, - ответил грек, - ваша держава как-то уж очень неожиданно о себе заявила. А до этого что вы были? Кочевники, да и только...

- Ну, ты меня насмешил! - вздохнул старик. - Разве наименование державы является первичным, а кроющееся в ней бытие людей - вторично, или наоборот? Эта наша держава могла и не возникнуть вовсе, или возникнуть раньше, или намного позже, но города наши Тароз и Суяб, Ленард и Алтуи, Толхиз и Мирке, и Кула, и многие другие покоились и будут покоиться под солнцем и луной много столетий. И кузнец, ювелир, гончар и кожевники трудились и будут трудиться в них. И стада наши наводняли и будут наводнять пастбища, и земледельцы будут выращивать пшеницу и просо, сады и виноградники, как бы этот край не называли до и после нас.

- Не обижайся, - сказал грек, - я человек прямой и скажу, как думаю. По моему разумению, раз вы верите в идолов, значит, вы дикие люди, какие бы у вас здесь ни строили города и крепости, ибо все это от лукавого - и суета сует, и соблазн. Красота ваших городов лишена благодати, ибо поклоняетесь идолам.

Хворь. - Старик не стал спорить с гостем, тем более заметил у того лихорадочный блеск в глазах и на щеках зловещую желтоватую бледность.

- Ты немощен? - спросил старик.

И грек рассказал ему, что издавна страдает тяжелой хворью, что одолевает его временами, особенно же если он выезжает из города в город и часто меняет местожительства. Грека сильно знобило, старик уложил его на стеганое одеяло и накрыл двумя другими. Ему было очень не по себе. Привел в дом чужеземца, который тяжело болен, и может даже умереть, а его ожидают в ставке Кагана, - нет, право, и на этот раз, слишком большая жажда общения с людьми сильно его подвела. Чужеземца надо вылечить. Хотя бы до завтра ничего с ним не случилось, чтобы успеть разыскать его товарищей по посольству и сдать его с рук на руки.

По правилу следовало сейчас же позвать баксу, чтобы удостоверить факт болезни чужестранца. Сам Жумахан в силу баксы не верил. У него были собственные взгляды на многие происходящие в мире вещи, он выработал их за долгие столетия и руководствовался своими взглядами, но сам никому их не навязывал. А потому все сделал по правилу, чтобы, если что с чужеземцем случится, не нажить неприятностей. Вышел в сад, подошел к дувалу и тихонько позвал соседа. Сосед уже спал на квадратной деревянной кровати под

миндальным деревом, но ответил Жумахану с уважением, не обиделся, что тот его разбудил, и охотно согласился сходить на окраину города за баксой. И на самом деле вскоре привел, и не одного, а двух баксы, - как никак, речь шла о знатном чужеземце, члене посольства, лишняя предусмотрительность не помешает...

Когда в дом Жумахана явились двое щупленьких с жиденькими бородками старцев, чужеземец стонал и метался, он бредил, выкрикивая непонятные слова и порываясь куда-то бежать.

Старцы неспеша развязали большие узлы, которые принесли с собой, и потребовали, чтобы Жумахан развел огонь в очаге, несмотря на жару. Вскоре в очаге, углубленном в стену, запылало яркое пламя. По стенам заплясали тени. Один из старцев подошел к очагу и сперва заунывно, а потом все больше воодушевляясь, запел-запричитал:

*Зубы оскалившее пламя,
О ста головах породившая нас мать,
На золе почиваешь,
На белую пыль голову преклоняешь,
Ты мать нас кормящая,
Под землей плод родящая,
Матушка наша, кровавое племя,
Ты сама дочь небес,
Тебя породивших и
Силой наделивших,
Так что ты мерзлоту
Растопляешь,
Пищу приготовляешь,
Сырое варишь,
Мертвое сживаешь,
Болезнь исцеляешь.*

- Ты алтаец? – спросил Жумахан.

- Почему ты узнал? – удивились баксы.

- Я когда-то странствовал вдоль Памира. Там я слышал похожую песню. Ты принес с собой кобыз, или подать тебе сала?

- Подай сала, - сказал один из старцев, и пока Жумахан отрезал кусок курдючного сала, он водрузил в углу комнаты шест, привязал к

нему рядно, смоченное жиром, и зажег факел, после чего облачился в белые одеяния. Затем он бросил в огонь кусочек сала и объявил:

- Огонь посинел, черная кровь преодолагает алую. Больному худо.

Накалив железный брусок, он посыпал на него бараньего сала, и когда оно зашипело, вздохнул:

- Душа чужеземца стонет в муках, ему очень худо. Подай мне твой кобыз, Жумахан.

Бакса уселся в уголке и тихонько заиграл. Потом – все громче, слегка покачиваясь, покачивание перешло в конвульсии, у рта появилась пена, голос перешел в пронзительный крик. Он звал духов добра и отгонял духов зла: «Кулега-кит, Куллерга-кит, - кричал он. – Уходи в болото, беги в пустыню», - заклинал он болезнь. Бакса побледнел и чело его покрылось обильной испариной. В это время второй старец бросился к Зенону, стал около него на колени, обнюхал лицо, лизнул щеку, сплюнул, куснул за ухо, так что проступила кровь, опять сплюнул и, наконец, выхватив нож, занес над больным. Жумахан бросился к кудеснику. Но тот повалился около ложа и забился в судорогах. Придя в себя, сообщил, что пот больного не соленый, а горький, потому что у того разлилась по телу желчь; что кровь его обожгла губы, стало быть, огонь жизни в теле больного горит ярким пламенем и не близок к угасанию, так что больной обязательно выздоровеет. Он лично готов девять дней подряд приходить в этот дом вместе со своим другом, если, конечно, ежедневно будет заколот молодой барашек, шкура которого необходима, чтобы обернуть ею голову больного во время заклинания.

А на завтра они изготовят двенадцать кукол из красных и черных лоскутков, и каждый вечер, возвращаясь из этого дома, будут оставлять на проезжей дороге по одной. Так, чтобы ее всякий заметил. Куклы подберут прохожие и вместе с ними – огненную лихорадку и черную желчь, от которых происходят все болезни, перейдут к другим людям, а их подопечный, чужеземец из посольства, выздоровеет.

А теперь им пора. Они прогнали злых духов и обязали добрых подежурить около больного до утра, пока не развеются злые ночные чары. На том Жумахан их и выпроводил, отказавшись от повторных посещений, и решил взяться за дело сам.

Он сел около молодого грека и всматривался в его лицо. И вместо того, чтобы размышлять о том, какой хворью он болеет, судя по

мельчайшим признакам, которые внимательно искал в его лице, старик ловил себя на том, что думает вовсе не о болезни чужеземца, а опять про то, что лицо его ничем не отличается от привычных для него, Жумахана, лиц переселенцев из Константинополя, христиан-несторианцев, необрезанных и обрезанных, потому что, в конце концов, даже они сами только по привычке носили свой талисман из перекрещенных деревянных палочек, а в остальном жили точно так же, как и тюрки из Таласа. Жумахан думал, что тяжелые деревянные кресты, которые мотались у них на шее и явно мешали им при работе, так что они их откидывали на спину, - свидетельствуют уже не о вере этих людей и не об идолопоклонстве, а о заложенной в каждого человека чрезвычайной цепкости ко всему, что касается его родины и истоков его происхождения.

Сам Жумахан за многие столетия своей жизни считал, что это благо и уважал в людях такую цепкость, а потому к несторианцам относился дружелюбно - впрочем, как и все тюрки - но с покровительственным сочувствием. Его смешило то, что они, поклоняющиеся деревянным и глиняным палкам или - редко - серебряной рыбе, подвешенной на шею, называют идолопоклонниками тюрков, верования которых беспредметны, неосознаны, расплывчаты и вплетены в саму плоть вселенной - в небо и землю, огонь и воду, солнце и травы...

Но, - об этом довольно. Все-таки у чужеземца, похоже, объявилась опасная лихорадка осенних и весенних месяцев. Дни жаркие, ночи холодные - непривычному человеку тяжело. А этот, наверное, еще и накопил на базаре дынь и персиков и переел, как все приезжие...

Старик осмотрел лицо и тело больного. Нет, страшных белых пятен бухарской болезни макком на нем не видно, и зубы у него в порядке, волосы густы и мягки. Нет, это не проказа. Да и бузой из черного овса вряд ли он опивался, чтобы заболеть этой хворью. Не такой человек. Этот мог пить добрые вина...

Затем Жумахан провел рукой по суставам больного, по всему его телу. Нигде никаких припухлостей, никаких гнойников. Значит, это не ришта. Плоский длинный белесый червь, если уж войдет в человеческую плоть, то такого немого сразу узнаешь. Он и худеет, и кожа у него подобна пергаменту, и пьет воду без усталости, оттого что во рту сохнет, и тогда только гляди в оба - не упустит минуту, когда ришта

подбирается изнутри поближе к коже. Удачный надрез, искусный нажим и червь выходит целиком. Если, конечно, он один. Жумахан знал перса, у которого в теле было более ста червей. Он мучился всю жизнь и умер в страшных муках.

Нет - это не ришта. Похоже, что у чужеземца болотная хворь и тут уж без настоящего лечения не обойтись.

Наутро чужеземец проснулся и застонал. Жумахан подал ему питье.

- У тебя так часто бывает? - спросил старец. - И давно ли?

- Это еще с тех пор, как я жил в Персии, - вздохнул юноша. - Спасибо тебе. Ты обучен врачеванию?

- Нет, я не лекарь. Но я прожил долгую жизнь и сразу узнаю, например, «хворь иноверцев», которая выражается в том, что человеку все немило, он есть не желает, ни к какой работе у него душа не лежит. Спит и спит такой человек. Ни на что не жалуется, а только спит. А потом, глядишь, умирает. Я думаю, это случается от тоски по родным местам, или по близким людям. Тут уж ничем не поможешь. Или, если у больного из зрачков начинают расти волосы - это я сразу могу распознать и сам такой волос вырву с корнем, и глаз промою настоем травы с «хрустального источника»...

Рассказывая все это, Жумахан неторопливо и сноровисто отыскивал в деревянном ларе с травами наиболее полезные для Зенона, из глиняных пузырьков в китайскую фаянсовую пиалу наливал - по каплям - снадобья, что-то размешивал, растирал, кипятил...

К вечеру Зенона вновь охватила хворь и он почти в беспамятстве глотал нестерпимо горький отвар и запивал гранатовым соком и вновь впадал в тяжкий сон. И так - много ночей и дней. Дней, когда старик, уловив на лице юноши проблеск интереса к себе, заводил степенную беседу.

Однажды, проснувшись, чужеземец вздохнул и с трудом потянулся. Болели все мышцы. Он ослабел и говорил с трудом, но с интересом слушал старика, и в который раз удивлялся тому, что тюрков в Византии все еще продолжают по привычке считать варварами.

- А почему, в сущности? - размышлял он, подремывая под мерный голос старика, - оттого, что они не приняли креста? Поклоняются пламени? Живут непонятно и как-то неопределенно - не кочевники, не торговцы, не землепашцы? Но так ли это? А как же Талас? И другие их города? Но почему наряду с этим войлочные дома за чертой

города, где в непостижимой, жутко отдающей, роскоши живут их Каганы? Впрочем, - жутко? А великолепная история великолепного Нового Рима со сменами императоров, ядами, ударами кинжала из-за мраморного портика? Иконоборство? Изгнание несторианцев? И варварская их ересь с тяжелым, дубовым крестом на шее...

- Почему ты пожалел меня, старик? – спросил Зенон Жумахана. – Я иной веры и иных обычаев и никакой тебе корысти от меня нет. Или ты ожидаешь от меня платы?

- Удивительный ты человек, чужеземец! – усмехнулся старик. – Или ваш, в сущности, недавно умерший учитель не слыл терпимым, или его учение в вашей новой столице иное, чем у христиан, нашедших у нас вторую родину? Или у вас все покупается и все продается за деньги? Возможно, ты долго общался с персами? Они любят деньги. Шелк, камень и деньги...

- А вы? Что вы цените большего всего? Вы, кей-саки, царские саки, вы же воины, или я ошибаюсь, что само слово кейпчак – это царский воин? Вы, наверное, больше всего цените оружие? Или невольниц?

- Мы? – усмехнулся старец. – Я думаю, что более всего мы ценим барханы. Ты рассмотрел барханы? Я думаю, мы более всего ценим зыбкость песка и отсутствие границ. Но – не граней. Мы не любим заранее намечать границы своим поступкам. Действия обусловлены обстоятельствами. Поэтому разум должен быть быстр и гибок. Для этого опять-таки не годятся никакие границы, вроде ваших заповедей. Мы не могли бы придерживаться заповедей.

- Но во что-то должны же вы верить?

- И верим. То есть, я лично ни во что, кроме непрерывности времени и связи между всем сущим не верю. Но народ мой, - он верит во множество простых, красивых и добрых понятий. Впрочем, их такое множество, что все и не перескажешь. Потому что край наш обширен и племен в нем - тьма. У каждого же свои особые верования, потому что определяются они тем, живут ли люди у гор или у реки, в степи или в городе, в пустыне или в цветущей долине. Но тебе наскучил, наверное, разговор? Питье твое остыло. Если не станешь пить исправно отвар – не скоро поднимешься.

Зенон попил, по телу разлился покой, приятная истома. Он закрыл глаза, но спать не хотелось.

- Так ты певец? – спросил он. – Или сказочник?

- У нас это нераздельное искусство.

- Расскажи о ваших племенах. Расскажи, во что же вы все-таки верите. Почему вам легко умирать, если не верите в загробную жизнь. Почему легко приобретаете и легко теряете, почему крепки в дружбе и зыбки в союзах, почему нежны ваши песни, а сами вы жестокосердны, как барсы, когда стоите у стен покоренного города, так что мы лет уже сто постоянно откупаемся от вас, чтобы не подходили к Новому Риму...

- Ты успокойся, - сказал старик. – Вопросы твои как у дитяти, не обижайся! Разве есть люди, которые либо добры, либо злы, либо мягки духом, либо жестокосердны? Все – сплетение добра и зла, огня и пепла, сияния и мрака. И мы не лучше других. И ты, и твои единоверцы таковы же. Иначе, разве стали бы вы во имя вашего Добра изгонять и истреблять себе подобных и навязывать им ваше Добро, хотя их Добро, в общем, ничем существенным от вашего не отличается. И такова ли уж разница между вами и нами, если изгнанные вами живут среди нас как свои, и иудеи, коих вы считаете виновными в гибели вашего бога, тоже живут среди нас, и все они дружны между собой, и только медные звезды или кресты над воротами домов отличают их друг от друга. И, похоже, меньше различий между ними, а также между ими и нами, кейпчаками, чем между вами и теми, кого ваше Добро отринуло...

Они проговорили весь день. Собственно, Зенон лежал с закрытыми глазами и голос старца шелестел у него над изголовьем, и впервые за два года узнал он о том, что существует шесть видов духов: шайтаны или демоны; джинны – всемогущие, исполнительные и изменчивые духи, иногда добрые, иногда злые; альбести – прекрасные и сластолюбивые дьяволицы, совокупляющиеся с сынами земли, доводя их до смерти от любовного истощения; аджинех – демоны богачей, живущие только во дворцах и невидимые днем, но зато устраивающие по ночам шумные оргии в развалинах; дивы – злые духи, постоянно воюющие с прелестными добрыми духами пери. Иногда дивы влюбляются в пери, но, едва насытив похоть, пожирают своих влюбленных...

- Вот, оказывается, какова вера тюрок! – подумал Зенон. - И они все же держатся за нее и отказываются признать нашу...

- Но что же придает вам силу в войне и мире? – спросил грек. – Ведь ваши духи всего лишь демоны, бесы. А где же верховная, всемогущая сила, на которую вы опираетесь, разве вам не хотелось бы столь же уверенно глядеть на жизненные стези и на свой смертный час, как мы, над которыми Христос простирает свои покровы?

- Христос? – усмехнулся старик, - а ты уверен, что он – был?

- Как ты можешь сомневаться? – испуганно прошептал Зенон, как бы боясь вслух помянуть крамольные речи старика.

- Я не сомневаюсь, я просто сопоставляю многое услышанное о нем, - спокойно и веско покачал головой Жумахан. – Ты никогда не слышал: «казах хабармен», что значит – кей-сак жив слухами. Степь обширна и владения наши не имеют границ. Так что мы свободно гоним свои стада и табуны окрест и к нам тоже может приехать и прийти любой путник, хоть на ханском коне, хоть с посохом в руках. И у каждого в запасе новости. Слухи. Известия. Все, что он видел, и слышал, и передумал в пути. А мы, тюрки - народ общительный. Вести мигом разлетаются по степи. Мне немало довелось узнать, что говорят о твоём боге. Скажи, - вдруг прервал он сам себя, - ты никогда не думал, откуда взялся такой неудобный и даже бессмысленный обычай изгнанных вами несторианцев носить тяжёлые деревянные кресты на шее. Вот вы же, например, обходитесь куда более удобными, причем, как я не раз видел, - из серебра или даже из чистого золота. Ну, кто победнее, - у того крестик из обожженной глины, но все равно легкий и необременительный. А у несторианцев – тяжёлый. Понимаешь, - он им все время мешает. И они либо носят его, кляня внутри себя, просто потому, что так положено, или причиной тому очень живучее предание. Память о чем-то, связанном не со смертью вашего бога, а с его жизнью.

- Не пойму, куда ты клонишь! – удивился Зенон. – Кто же не знает, что тяжёлый крест несторианцы носят нам в укор: вот, мол, какие они праведные, как чтут Христа, не то что мы, которые, якобы, погрязли в роскоши и пороках. Но, может, ты – несторианец и тоже веришь, что Христос был сыном человеческим, а уж потом стал мессией?

Ересь. – Я не несторианец, а старый сказитель, много чего на своём веку передумавший, так что я ничего не утверждаю, - вновь умкнулся Жумахан, - только суждения разные в ходу. И ты вспомни, не доводилось ли и тебе что либо подобное слышать. Многие считают, что

Иса из Назарета был весьма высокородным юношей из иудеев, прямым потомком великого царя Дауда. И семейство его участвовало в очередном иудейском восстании против римлян, не мне напоминать тебе, ученому, хоть и молодому человеку, что восстаний таких до рождения Исы было не счесть. . . Представь себе, что его отца, братьев казнили. Распяли на крестах, поставленных вдоль дороги, как это делали римляне. А мальчика кто-то спас. Мальчика не вовсе маленького – звезду, ясли, волхвов, все это можно было и потом придумать, - а подростка. И появляется в храме отрок. На диво многознающий и пыгливый умом, изыскается не только по арамейски, но и на эллинском, и на латыни. И ставит в тупик храмовых иудейских мудрецов. Все в смятении – такой необыкновенно одаренный юноша. А он – просто из высокородной семьи. Может, даже обучался у эллинов. Или жил при доме у его родителей воспитатель-эллин. Допустим, образованный раб. Я сам знавал таких.

И тут среди всеобщего смятения появляются старый столяр с молоденькой красавицей женой, видят мальчика, устремляются к нему, забирают, уводят с собой. А не могло быть и так, что встреча с ним была заранее назначена в храме и что они спешили на эту встречу, поскольку имели такое поручение: укрыть у себя отрока и выдать за своего сына, дабы спасти от римлян законного царя Иудей?

А хочешь, расскажу и другой слух, какой до меня дошел. Вначале все то же: восстание, кресты на дорогах. Мужчины высокородной семьи, потомки царя Давида, казнены. Молоденькая беременная женщина по имени Мариам, охваченная ужасом, убегает за черту Иерусалима в пески, в пустыню. Скитается, питаясь кореньями. Гроза в Иерусалиме утихает, она возвращается, и, по отечески сжалившись над ней, престарелый ремесленник берет ее под свое крыло и уводит в Вифлеем. От знакомых глаз подальше. Что было потом – ты знаешь.

- А кресты, деревянные кресты причем! – торопил Зенон, самому себе вопреки, внимая богохульным речам старика.

- Погоди, дойдем и до крестов. Мальчик растет и его мать, также как и приемный отец, иудей, с младых ногтей обучают его преданиям его рода. Он узнает про многие восстания, всколыхнувшие не единожды блистательный Иерусалимский храм, узнает и про казнь родичей. Представь себе, что для наглядности и убедительности его ведут к череде крестов вдоль дороги, на которых в мирные дни висят

казненные. Мальчик растет. Сходится со сверстниками, иудеями же. У многих в семьях насчитывают не одного - не двух распятых на крестах. За участие в восстании. Или просто за то - что иудеи. Долго ли найти вину у слабого при желании сильного...

И вот уже по улицам Назарета, где укрылся столяр Юсуф со своим семейством, расхаживают отроки, давшие обет носить на шее крест. Да не крестик, а именно настоящий деревянный - и немалый - крест. Пусть денно и ночно, при ходьбе и еде напоминает, что на крестах распяты были отцы и братья...

- Но их ведь могли схватить римляне!

- А они их и схватили. Вернее, самого главного, зачинщика, Ису. Только много позже, потому что отроки выросли, обучались ремеслу, обзаводились семьями и все реже надевали свои кресты, а то и вовсе о них забывали. Многие перестали водить знакомство с Исой, а немногие все-таки по старой привычке ходили за ним по пятам. Как он пленил их мудростью мысли и плавностью речи в отрочестве, так и остались они в плену его могучего разума и кроткой души. Впрочем, такой ли уж кроткой? Это он сказал, кажется, «Я принес вам не мир, а меч», или я ошибаюсь?

- Ты знаешь заветы Христа? - ошеломленно спросил Зенон. - Но ты не так понял, я объясню...

- Не трудись, сын мой. Слово «меч» произнесено. Стало быть, оно известно человеку, который его произнес, а, значит, гнездилося в его сознании. Но ты хотел послушать о деревянных крестах на шее? Ну так представь себе, что Иса, уже став из отрока мужем, свой крест так и не снимал. А в Иудее только-только воцарился, пусть шаткий и обманчивый, но мир с римлянами. А по улицам городов и из селений в селение бродит ватага уже немолодых людей. Уже не отроков, коим многое прощается, во главе с Исой, у которого на шее вызывающе висит, чуть не пригибая голову к земле, тяжелый деревянный крест. Для памяти. Иудеи в смятении, - что скажут римляне? Не начнут ли вновь распря и казни? Не лучше ли подсказать римлянам, что есть, де, такой человек... И находится, причем даже среди самых близких товарищей Исы, некто... И вот перед римлянами, - заметь, гордыми своей властью, уверенными многими победами в своей незаблещенности, так и не наученными предшествующими восстаниями, что Восток - нешуточная загадка, и оружием, бывает, - неподвластен, - заметь,

перед римлянами предстает Иса, с ясным взором и высоким челом мудреца, с кроткой улыбкой на губах - сильному духом кротость пристала именно от силы - а на шее у него крест. «Скудный разумом, не иначе», - решают римляне и выдают его иудеям. Забирайте, мол, потому что для нас он нестрашен. Для римлян, может, и не страшен, а для иудеев, - как посмотреть. А вдруг не Пилат, пресыщенный победами, а потому не охотник доказывать свое всевластие по пустякам, а другой римский наместник станет завтра править Иудеей - все мы под куполом неба и не знаем своего срока и часа, что тогда? А вдруг вместо этого правителя, равнодушного к торжеству по мелочам, явится другой - помоложе, алчный до славы и богатства, только что вкусивший от власти и неуверенный в ней? Разве не захочется ему выслужиться перед пославшим его Римом? Захочется. А для этого лучше всего - случись в Иудее еще одно восстание, которое бы он усмирил. Ну - пусть не восстание. Пусть смута, и чтобы был главарь, которого можно привезти в Рим и пустить на битву со львом в цирке. Такое торжество! И доведись появиться в Иудее такому наместнику, этот Иса с его вызывающим крестом на шее - находка. А за ним сколько еще окажется на арене иудеев..., а сколько на крестах вдоль дороги... Нет, от Исы лучше избавиться. Показать свое почтение к римлянам и полное повиновение. И вот уж трусливые, да и справедливо напуганные, иудеи гудят у дворцовой стены наместника: «Распни его, распни!» И Иса бредет к месту казни. И все-таки на шее у него - вызывающе болтается, почти что волочась по земле, его тяжелый деревянный крест, потому что избитый Иса часто падает на колени и стражи под мышки волокут его по пыльной дороге...

- Ты читал наши заветы? Святых апостолов Марка, Матфея, Луку и Иоана? - изумился Зенон. - У них так и сказано, что Христос нес свой крест, и кто-то из учеников его пожалел, и Христос дал ему крест, и он нес вместо него. Но речь-то идет о кресте, на котором его потом распяли?

- Я не умею читать и писать, - сказал Жумахан, - но я умею слушать, а услышанное увидеть внутренним взором. Вот скажи мне, а про других преступников, которых распяли рядом с вашим богом, сказано, что они несли на себе кресты?

- Нет, про это нигде ничего не написано! - изумился Зенон, вдруг представив себе, что на самом деле все очень могло именно так и

быть, и вновь заподозрив, а не скрытый ли несторианец этот загадочный старец.

- Вот видишь! – удовлетворенно улыбнулся Жумахан. - Я так думаю, ваши изгнанники-несторианцы в память о том крамольном кресте и носят теперь свои. Так что, по-моему, они скорее иудеи в душе, чем христиане, и не ладят с вами, потому что вы скорее римляне, чем греки, вы – часть и наследие Рима на нашем Востоке. Между вами и вашими изгнанниками старая кровавая распря, которая тянется к крестам вдоль дорог со времен Иудейских восстаний.

Старик умолк, а Зенон, хорошо обученный каноническим Евангелиям святых апостолов, вдруг вспомнил, что на допросе у Понтиуса Пилатуса на вопрос: «Ты царь иудейский?» Иисус ответил: «Ты это сказал!» То есть отрицал какие-либо притязания на власть в Иудее. А на дощечке, прибитой к кресту, все же стояла надпись - «царь иудейский». Значит, кому-то понадобилось, чтобы римляне увидели, что иудеи требовали казни именно такого человека, который мог претендовать на царскую власть, а, стало быть, на свержение римского владычества...

Он поделился своей мыслью с Жумаханом, а также вдруг возникшими у него сомнениями:

- Если Христос был высокороден, разве он не мог на самом деле думать о царском престоле Иудеи, чтобы, овладев страной, привести весь народ ее к стопам господя нашего? – спросил он, внутренне содрогаясь от пахивающего несторианством собственного суждения.

Но старик лишь усмехнулся.

- Что значит царская власть для сильного духом и богатого разумом? Он сильнее любого владыки и тем ему опасен. И если бы тогдашний римский наместник был более прозорлив и не так самонадеян, как иные делают к старости, охмелев от многих побед, он бы не оказал милости Исе и не сказал бы иудеям, что не видит на нем никакой вины. Он бы содрогнулся, почуяв могущество духа Исы, не подвластное ни крестам, ни мечам... Ио Иса как раз и задумал подорвать власть Римлян, только знакомым для них оружием, - парением души высоко над земными бедами и страстями. И над границами царств.

- Так почему же вы не хотите принять нашу веру, раз среди тюрок идет молва обо всем, что ты рассказывал мне, и раз вы, турки, считаете, что Христос был могущественнее Понтиуса Пилатуса и

не подвластен ни оружию, ни казни? Разве же он не могущественный сын божий?

Сыны неба. – Вот ты сам себе и ответил! – возразил Жумахан. Именно – сын божий. Но – не бог. А разве вы, византийцы, не называете бога «Отче наш»? И, значит, любой человек – сын божий. Видишь ли, никакое божество не может быть сильнее человека. Я имею в виду человека со зрячей душой и светлым разумом. Сильнее только Небо и Солнце на нем, Луна и звезды на нем, и облака, плывущие по небесному своду. И потому мы, турки, не можем чтить превыше всего сынов человеческих, даже если они именуются божьими, потому что мы и есть сыны неба, и когда кончается наше земное странствие, возвращаемся в небесное лоно со всем, что нам дорого: конем, слугами, оружием и походной чашой. Я тебе говорил – мы не терпим границ и не можем носить на себе тавро. Потому что ваш крест тоже тавро вашего бога на теле каждого из вас. Мы – сыны неба и чтим то, что неосяземо и всевластно нас окружает и в чем все сплетено нить к нити. То есть степь и барханы, и небо над ними, и солнце на нем.

- И все-таки вы язычники. И, если верите в неосяземости, значит, верите в ничто? – не сдавался Зенон.

- Почему же? Мы еще верим в лобную кость.

- Вот вы и есть язычники!

- Я расскажу тебе предание, которое бытует в степи не одну сотню лет. Была у некоего знатного человека дочь. Он выдал ее замуж. И вскоре она осталась вдовой. Второй и третий ее брак закончились столь же печально.

- Моя дочь – колдунья и дьяволица-альбести, пожирающая в похоти своих мужей! – сокрушался отец и повелел убить свою дочь.

Но явился к нему мудрец и стал его уговаривать: «не твори греха, господин мой, сжался над своей дочерью, это не она, а лобная кость всему виною».

Отец мудреца не послушал и женщину казнили, отрубив ей голову. И тогда мудрец велел принести медный котел с водой и опустил в него отрубленную голову. Сутки кипел котел над огнем, после чего мудрец извлек череп женщины и на лобной кости ее отец прочел письмена, которые гласили: «Три венца, три гроба и казнь». Вот так, сын мой, у каждого на лобной кости свои письмена, и, пожалуй, это самая наша сильная и сокровенная вера. Ибо в земном странствии

мы властны во всем, и лишь в одном бессильны: изменить письма на своем челе. И каждый наш шаг только добавляет к тем письмам новую черту и углубляет их начертание. Однако близится вечер, жара спала. Я провожу тебя на базар. Там, наверняка, ищут тебя твои товарищи по путешествию и беспокоятся о тебе.

Поддерживая Зенона то за плечи, то под руку, Жумахан проводил его на базар и в самом деле сдал с рук на руки товарищам его по дипломатической миссии. Расстались они друзьями, хотя ничуть и ни в чем не переубедившись. И все-таки переполненные благодарности за все новое, что услышали из уст друг друга...

Предвестия. – Жумахан вернулся в свой просторный, прохладный дом, опустился на стеганные одеяла, громоздившиеся на низком помосте, закрыл глаза. Ему надо было готовиться к состязанию певцов в ставке Кагана. Он уже сейчас чувствовал то необъяснимое волнение, какое охватывало его всякий раз задолго до состязания. Он никогда бы никому в том не признался, но иной раз, в то время как он полулежал так, закрыв глаза, перед очами его души не только проносились вереницы лиц и событий, но он слышал голоса людей, смех и рыдания, он приподнимался высоко над городом и как бы парил над ним...

И сейчас он тоже видел отдаленное селение из прошлых своих жизней, белую юрту, около которой суетились люди, возвещающая рождение младенца. И нарекли его Туленды, то есть Заплачено Сполна...

Он видел прекрасную луноликую девушку, которая хлестнула по лицу юношу, что опустился перед ней на колени...

Хлестнула, а потом поцеловала в губы долгим поцелуем на виду у односельчан.

- Заплачено Сполна, Заплачено Сполна, - шептал старик, заглядывая в будущее свое на много веков. – Мотки алого шелка заготовлены. Тюльпаны расцвели в селении...

Когда византийская миссия вернулась в Константинополь, Зенон охотно рассказывал о своей поездке, о дивной стране, в которой побывал, и о не менее дивных ее людях. Некоторым он рассказывал о старом сказителе, с которым повстречался в бане и который спас его чуть не от смерти. И как потом встретил сказителя в ставке кагана и сказитель победил всех остальных. О чем он пел? О, престранную, не то песню, не то сказ, - он, Зенон, мало что понял впрямую, ему пересказал

содержание толмач, - только речь шла о некоем юноше и о своенравной девушке, которую он любил. И будто на лобной кости у обоих начертано было «любовь и смерть», а также «заплачено сполна». И что эта любовь длилась тысячу лет, из века в век, и всякий раз злоеющие письма проступали на небосклоне несчастной этой любви...

И лишь очень немногим византиец Зенон рассказал о своей странной беседе со сказителем Жумаханом, тюрком, который считает, что крест – божье тавро на человеке, а потому для вольнолюбивых тюрков неприемлем, потому что тюрки не то гордо, не то высокомерно считают себя прямыми небесными сынами, так что, возможно, Византии нелегко придется строить отношения со столь независимыми соседями, которые к тому же отрицают всяческие границы – для стран и поступков. О такой своей не вполне безопасной беседе сообщил Зенон лишь очень немногим. О беседе про господ нашего и сына господнего Иисуса Христа и про то, что, де, распря меж Византией и несторианцами всего лишь отголосок римско-иудейских кровавых дел, ведущих к череде крестов на дорогах...

РОЖДЕНИЕ ТУЛЕНДЫ

Придворный астролог Хайям. – Прошло еще немало веков. И много сладкозвучных стихов написал к той поре на полях трактатов, изумляющих глубиной познаний, загадочный Хайям – Умар ибн Ибрахим Хайем Нешопури, придворный астролог, мудрец, скептик, мечтатель, и в стихах своих прославил дев солнечного края и звездный свод над ними и порожденные этим краем розы, тюльпаны и гиацинты, и виноградную лозу воспел он, и труд гончара воспел он, и в ученых трудах своих немало добрых слов сказал об обитателях этого края и об их обычаях, о которых знал многое сам, а многое прочел у высокочтимого им Аристотеля.

Хайям любил животных и особенно нравились ему кони, и о них он писал особо, и сказал:

«Благо написано на челе коня, ибо он царь всех пасущихся четвероногих, и это не мои слова, а Пророка, мир ему! Сегодня же никакой народ не знает этого лучше тюрков, потому что они день и ночь занимаются конем, и потому что они владеют миром».

Хайям был справедлив и знал, что наряду с арабами, если не миром, то большей его частью, владеют тюрки, земля коих, впоследствии названная Туркестан, имела границы, зыбкие как пески, и не сла на себе столько народностей и племен и столько цветущих городов, что, право, уж трудно было сказать, кто у кого в подчинении, арабы ли у аджамцев (как Хайям именовал тюрков), или наоборот.

Богаты мудростью и сведущи во всем, что касается скотоводства, особенно же коневодства, были тюрки. Тридцать девять пород коней вывели они. И все эти породы с большой обстоятельностью описал в своей «Новогодней книге» — «Новрузнома» мудрец и мечтатель Хайям.

И написал также рубаи, порожденные его разумом и душой, возможно, после некоего праздника, на который был приглашен в качестве почетного гостя одним из своих приятелей-кипчаков, по поводу рождения первенца.

Франкские башмачки. — Ибо в тот год, 1118-й по отсчету ромеев, в белой юрте хана Орынбая родился мальчик. Это было событием важным, коему предшествовало немало тревожных в родне самого хана и во всем его небольшом селении.

От первой и старшей жены у Орынбая сыновей не было. Когда ему перевалило за пятьдесят, он был еще крепок и прямо сидел в седле, и как поговаривали, самолично, «для смеху», недавно участвовал в одной барымте¹. В эту пору вторая жена его, Хорлан, семнадцати лет отроду, сообщила через первую жену, байбише Минкуль, что близится ее час, и что с благоволения неба надеется она подарить досточтимому своему супругу Орынбаю сына и наследника его рода.

Хайям хорошо знал Орынбая и ему нравилась Хорлан. И так как был он очень терпимым, то нисколько не удивился такому на первый взгляд противоестественному сочетанию инея с розой, седого облака с алой зарей. И подумал, что славный получится росток от этой буйной любви, от которой вновь вскипала кровь притихшего было Орынбая. Он стал готовиться в путь и собирал подарки. Традиционные — ковры и чапаны из китайского шелка для друга своего Орынбая, и другие «от своей души», — отличное детское седло, арчак, с высокими луками — каждая из них раздвоена, и на выступающих отверстиях для страховки — палочки, а вместо стремян — глубокие мешочки для ножек малютки. Подушку для седла, чепрак, стремяна-мешочки, все

Хайям заказал наилучшего качества, богато украшенное серебряными накладками и вышивкой шелками и золотой нитью. Также для прекрасной Хорлан припас Омар ларчик с благовониями и заморские франкские башмачки с вделанными в острые носки зеркальцами.

Хайям любил и умел делать подарки, обладая сердцем щедрым и отменным вкусом.

Однако, приближаясь к аулу — с полсотни юрт из бурого и белого войлока, — он понял, что происходит неладное.

Тревожное оживление царило в селении, торопливо пробегали от юрты к юрте женщины, куда-то на полном скаку мчались всадники.

Роды проходили в парадной юрте, большой, 18-ти локтей по кругу, из белого войлока. Издали желтел и алел плетением свитый гарусом чий^{1а}, повешенный у входа.

Хайям смешался и спросил у мальчика, бритоголового, с пучком косичкой на виске (на счастье!), не случилось ли чего в этом благословенном доме, и мальчик ответил: «там порча!» и убежал. Хайям остановился в недоумении, но тут к нему вышел сам Орынбай, три раза прижал к сердцу и тяжело вздохнул.

— Плоха она, — сказал Орынбай. — Все шло как положено. Ее вели к комнате, и по тесьме она ходила исправно, и держалась за нее, когда начались сильные боли. Только тесьму к кереге² привязали слабо, так что она стала, было, на колени, и держалась за нее, а Ажар и Гаухар, мои нерадивые дочери, держали ее под руки, и Ажар руками давила на живот, а коленом упиралась ей в поясницу, все как положено. Тесьма оборвалась, и она, свет души моей, упала навзничь...

— Я пройду к ней, — сказал Хайям-лекарь.

— Не иди. Это против закона, — сказал Орынбай. — Да и не к чему. Все шло как положено. Когда кто заходил туда, никто не забывал трижды провести подолом по ее животу, и все говорили «Тшик» — изыди. Но, как видишь... черная звезда стоит над моим домом.

— Я все же пройду к ней, — вновь предложил Хайям.

— Не иди, брат мой и друг, там сейчас баксы³. Он сказал, без коня не обойтись.

Из юрты вывели Хорлан. На ней были замшевые чембары⁴, алое широкое платье, а бледное узкое личико показалось Хайяму голубоватым, и он с изумлением подумал, что юная мать уйдет из этого аула навсегда, а старый Орынбай останется здесь, и ничто не может

изменить этой величайшей несправедливости, ибо неисповедимы пути жизни и смерти. Тем временем Хорлан усадили на лошадь впереди коренастого юркого джигита, и он поскакал во весь опор, а за ним, с гиканием и криками – чуть не все селение.

Черная звезда. – Орынбай присел на корточки в тени и Хайям, сидящий тут же на подостланном стеганном курпе⁵, видел, как внешне невозмутимый пожилой человек лихорадочно потирает большой палец правой руки указательным. Из-за юрты вышел сухонький небольшого роста старик. В руке он держал кобыз⁶.

- Орке, - сказал он, - я принес свой кобыз – вдруг понадобится, когда ее привезут обратно, - и тоже присел на корточки.

К ним подошла первая жена Орынбая, мать Ажар и Гаухар. На лице ее под видимой скорью Хайям читал торжество.

- Чем бы ни кончилось, - сказала Минкуль, - а мои дочери делали свое дело по закону, и ты, господин мой, приготовил для них платья бирюзовой парчи, которые все равно должен им отдать!

- Не понимаю, не понимаю, - твердил Орынбай, - я велел выпнать всех посторонних женщин. Я велел уйти даже дочерям. Ты одна там оставалась, я знаю. Ты стояла за пологом. Это ты все подстроила. Всю жизнь в тебе шайтан сидел. Это ты не дала свету очей моих подарить наследника нашему роду! Ты – мыстан, ты дурная женщина – гнездо порчи!

- А ты, глава этого дома, несправедлив, и мне очень обидно, что ты приписываешь мне ту силу, коей мне, увы, как раз и не достает! И вообще я не понимаю, в чем ты можешь кого-либо упрекать! – возмутилась Минкуль. – Мужчины сидели в юрте, а около юрты юноши кричали и хлестали камчей⁷ по стенам. Если бы во мне сидел шайтан, от такого шума он бы выскочил и умчался куда подальше...

- Орынбай, ровесник мой, - спросил Хайям, - поможет ли ей такая скачка? Напрасно ты не дал мне войти к ней.

- Теперь я уж ничего не знаю, - вздохнул Орынбай. – Многим помогало. Что ты скажешь, Жуке? – обратился он к сухонькому старику.

- Что тут скажешь! – вздохнул тот. – Иногда скачка помогает. Правда, некоторые не выдерживают и умирают. Только ты не сердись, чужеземец, - обратился он к Хайяму, - я много о тебе слышал, ты мудрый человек, а потому ты, наверное, поймешь, почему Орке не хотел,

чтобы ты вошел к ней и почему и скачки, и все прочее должно идти своим чередом. Ибо таков наш обычай, и женщины наши рожали так наших мужчин, и племя наше приумножалось в веках, значит, на том благословение свыше.

Когда Хорлан привезли домой, она была без чувств. Ее внесли в юрту и тогда Хайям подошел к ней и взял ее руку, и услышал, что жизнь течет в ней скудным ручейком. Но тут подскочил баксы, потер ей руками виски и, похлопывая по щекам, приговаривал:

«Ты только не дремли, дщерь моя. Произнеси трижды имя Аллаха и он снимет с чрева твоего бремя и заклятие. Только не спи. Не спи – не дремли!»

Хорлан молчала и глаза ее узенькой полоской чуть мерцали из-под опущенных век. Орынбай велел призвать кузнеца, и тот приволок наковальню и стучал по ней молотом изо всех сил, и даже подносил к лицу Хорлан кусочек раскаленного железа, а баксы все твердил:

- Только глаза не закрывай, главное, не закрывай глаза, не дремли!

Кобыз Жумахана. – И тут оба не выдержали – сухонький старик Жумахан и прославленный Хайям-лекарь. Жумахан вошел в юрту, сел в углу и взялся за кобыз. Хайям же оттолкнул баксу, оттолкнул Орынбая, и первую его жену, и дочерей ее, и подошел к Хорлан, став на колени у изголовья. Потом он все сделал так, как велит мудрый отец исцеления Ибн Сина⁸, и Хорлан произвела на свет крупного мальчика.

Пока Хайям трудился около ложа роженицы, Жумаханов кобыз человеческим голосом выводил мудрую и печальную песнь о жизни и смерти и впоследствии Хайям, вспоминая об этом страшном часе, мог бы поклясться, что явственно слышал такие слова:

*На зеленых коврах хорасанских полей
Вырастают тюльпаны из крови царей,
Вырастают фиалки из праха красавиц,
Из пленительных родинок между бровей.*

Кузнецу и баксы подарили по халату, Хорлан полулежала на подушках под атласным в разводах бухарским покрывалом, поверх которого положили изумрудного шелка курпе – Хорлан сильно знобило.

Над ее головой на веревке висели священные книги, чтобы отогнать шайтана, мужчины вышли из юрты и сидели в холодке.

У юрты уже кололи барана, в котле булькали правый окорок, печенка, курдюк, хребет и шея, а остальное мясо убрали, чтобы сжигать в последующие три дня во ублажение рока.

Мальчика вымыли в первой пене, которую сняли с сурпы⁹ из праздничного котла, а к пуповине приложили кусочек черного мыла «сабын». По совету Хайяма поверх наложили еще тоненький слой курдючного сала и забинтовали. Все было сделано по закону, насчитывающему многие столетия, и теперь всем надлежало радоваться и забыть о перенесенных испытаниях.

Однако, Хайям был невесел и спросил у Орынбая:

- Орке, кто этот старик? Его присутствие страшит меня, словно преступника – свидетель обвинения. По-моему, он колдун.

- Да нет-же, ровесник, - убогатворенно улыбнулся счастливый Орынбай, - это просто очень старый акын¹⁰, которого даже мой дед помнил стариком. Кажется, молодым его никто никогда не видел. У него есть свои странности, говорят, - кобыз у него и впрямь заговоренный, но он добрый старик, хотя и чудаковат.

В это время Хорлан поили по совету Хайяма сурпой с присыпкой из корицы, имбиря, сарбуги и джемджемилля, пытались вызвать у нее испарину, но знобило ее все сильнее, и вскоре первая жена Орынбая вышла из юрты и молча встала около сидящих на корточках мужчин. Прежде чем сказаны были традиционные слова о том, что «некая женщина удостоилась побывать в окрестностях Мекки», Хайям уже знал, что Хорлан ушла из этого дома в неведомые дали, потому что прежде, чем Минкуль заговорила, глаза его встретились с глазами Жумахана и он явственно увидел в его зрачках словно бы отражение черно-белого жгута горя и радостей, из которых сплетена человеческая жизнь.

И в то время как маленький мальчик лежал в кошмном желобке с завязками, чтобы не вывалиться, у третьей, а потому малопочитаемой жены Орынбая, которая только что разрешилась девочкой и по закону должна была три дня кормить новорожденного, а призванный мулла кроил из белой тонкой ташкентской ткани ахрет¹¹ из семи полотнищ, в то время как женщины уныло несли к юрте новые кумганы и казаны для воды, Хайям стал около муллы и видел его проворные руки, сшивающие саван, и видел белый лоскуток, повязанный в знак траура на носике

кумгана, но начисто не слышал слов Корана, которые бормотал мулла во время обмывания, а вновь слышал человеческий голос Жумаханова кобыза и ничуть не удивился, когда вдруг увидел старика рядом с собой.

- О чем ты думаешь? – спросил тот Хайяма.

- Ни о чем и обо всем, чего не уместить в словах, - сказал Хайям.

- Ты, конечно, думаешь сейчас о звездной дали, о вечности песка, о безвременной смерти этой женщины. ... - невесело усмехнулся Жумахан. – Ты непозволительно молод! И я вот что скажу тебе:

Веселись! Невеселые сходят с ума.

Светит вечными звездами вечная тьма.

*Как привыкнуть к тому, что из мыслящей плоти
Кирпичи изготовят и сложат дома?*

А дома все-таки сложат. Из нее, из тебя, из меня. И это будут добротные нужные людям дома, так что никто из нас не уйдет из этого мира бесследно.

Черно-белый жгут. – Хорлан, спеленутую в семь полотнищ и перевязанную, как тючек, поверх головы, по поясу и под ступнями, вынесли из юрты головой вперед и проделали с ней все, что велит закон, после чего все же возликовали, что мальчик родился, он был здоров, орал во все горло, когда его мазали мазью и мыли через день соленой водой, и через три дня его торжественно переложили в зыбку, в честь чего снова кололи барана и снова пригласили муллу.

Хайям собирался было уехать, в Нишапуре ждали дела, но Орынбай непременно бы обиделся, и потому он решил остаться и по просьбе своего друга дать мальчику имя. Все очень удивились, когда знатный чужеземец сказал, что хотел бы, чтобы мальчика звали Марджан. Никто не понял, почему это взбрело на ум человеку, слышшему мудрецом, дать мальчику имя, приличествующее девочке, ибо никто не знал, что на дне курджуна этого почетного гостя лежали завернутые в китайский платок башмачки, вышитые кораллом, что означает «марджан», с зеркальцами вделанными в носки. Тем не менее, когда к Хайяму подошел Жумахан и сказал, что, по его мнению, Орынбай дорогой ценой выкупил у судьбы наследника своего рода, Хайям вздохнул и ответил, что, пожалуй, самое подходящее имя для новорожденного будет «Тулленды», что означает «Заплачено сполна». Так мальчика и называли.

Несмотря на траур, по поводу рождения мальчика состоялась маленькая байга. И состязались в беге трехлетние лошадки, куланы, и боролись не только полуаны, силачи, но для потехи сражались и женщины, и состязались в потешном беге на четверть версты. Призом служил аршин голубой тонкой бязи, но, несмотря на скромность подарка, женщины были довольны, ибо радовал их не приз, а удовольствие, которое они всем доставили.

После этой не очень-то веселой байги¹² Хайям подошел к зыбке, плетеной из тальника, под зеленым пологом, перекинутым через прут. На постельке из верблюжьего подшерстка, нежного как пух, лежал Туленды. У низеньких ножек его первого ложа Хайям сложил свой подарок – седло, щедро украшенное серебром.

Потом он принял из рук хозяина глиняный кувшин с кумысом, отпил и содрогнулся оттого, что ему почудилось, что край кувшина теплый и влажный, как нежные уста, и в ту же минуту он вновь услышал человеческий голос кобыза, потому что Жумахан решил почтить его на прощанье песней. Песня была удалая и все-таки грустная, какая-то в ней слышалась отчаянная, жутковатая веселость. Хайям не знал, о чем поет кобыз Жумахана, и все-таки, спустя много лет, вспомнив об этой своей поездке, мог бы поклясться, что явственно слышал слова:

*Всяк усердствует слишком, кричит: «это я!».
В кошельке золотишком бренчит: «это я!».
Но едва лишь успеет наладить делишки -
Смерть в окно хвастунишке стучит: «это я!».*

- кои и написал на полях рукописи о беге светил по небу.

Путь к горшечнику. – По пути в Нишапур Хайям много думал о вечном круговороте времен и о странном старике с говорящим кобызом, а вернувшись домой, написал такие слова:

*Долго ль будешь, мудрец, у рассудка в плену?
Век наш краток – не больше ариина в длину.
Скоро станешь ты глиняным винным кувшином,
Так что пей – привыкай постепенно к вину!*

И еще через некоторое время, хотя Хайям никогда больше не видел мальчика, которому дал имя, он вдруг опять вспомнил о нем, и очень живо представил себе, как Орынбай устроил той, когда Туленды впервые засмеялся, а потом тусаун-теседы, то есть праздник разрезанной шерстяной нити, которая связывает ноги ребенка...

Вот поставили у ног мальчика пиалу с курдюком. Вот разрезали шерстяную верёвочку, вот выбросили из юрты эти символические путы, и Туленды начал ходить. Отныне путь в жизнь для него открыт...

...Хорлан же сколько уж лет лежит под своим скромным надгробием колпы-тас и, конечно же, не видела, как ее юный джигит в три года первый раз сел на коня, и никогда ничего не увидит, решительного ничего, потому что утешительные доктрины, согласно которым живой земной мир овеваем миром таких же живых, но невидимых нам ушедших с этой земли, - ничто иное, как лекарство от страха. От самого страшного страха смерти, потому что страшнее ее на самом деле ничего нет. Ибо:

*Не станет нас, а миру хоть бы что!
Исчезнет след, а миру хоть бы что!
Нас не было, а он сиял. И будет!
Исчезнем мы, а миру хоть бы что!*

И эти придуманные им слова Хайям тоже записал много лет спустя на полях одной своей рукописи, ничего общего со стихами не имеющей.

НИСПРОВЕРЖЕНИЕ ЗАПРЕТОВ



Серги. – Над Исфаханом вился тонкий и стойкий аромат цветущего миндаля. Как всегда в эту пору, сумерки опустились внезапно. Только что солнце жарко золотило воду в арыках, зажигало блески на расшитых перламутром и жемчугом тюбетейках, алело на сине-зеленой мозаике минарета, и вдруг – как черту провели. Пали сумерки. Повеяло прохладой, даже холодком. Запели маленькие водяные лягушки в траве около арыков. У воды собралась с тамбором молодежь, - девчушки, которым нечего еще было прятать под чадрой, и юноши с ломкими голосами. На корточках у дувалов сидели старики и

беседовали неторопливо о городских происшествиях.

За мостом в чайхане зажгли масляную плошку. На квадратной кровати, поставленной над арыком, молча и чинно пили зеленый чай мужчины. Один играл на домбре. Быстро темнело.

* * *

У самых ворот дворцового сада Омара поджидала девушка. Она приподняла краешек чадры – сверкнул лучистый зеленовато-янтарный зрачок – прищурила длинные, подкрашенные басмой ресницы.

- Она велела, чтобы ты пришел, - сказала девушка.

- Скажи, что я не выполнил обещания, - ответил Омар.

- Она велела быть тебе непременно, - повторила посланница.

И он пошел. Высокий, сухощавый, в парадном лиловом чапане, который развевался от быстрой ходьбы, он шел к ней. Не хотел, а шел. Ненавидел, но шел. Боготворил и шел.

А она встретила его, - как всегда, - спокойно, достойно, чуть насмешливо. Она была знатной женщиной и всегда это помнила, и знала, что допуская – нет, не допуская, а зазывая к себе его, всего лишь придворного астролога, совершает вдвойне недозволенное, против женской стыдливости и против своего величия. И именно такое кощунство ей нравилось и еще больше ее распаляло.

- Ты принес серьги, Хайям? – спросила она.

- Я ничего тебе не принес. Разве ты продажная женщина, что, идя к тебе, мужчина должен запастись подарком?

- Нет, но мне нужны серьги, которые ты не купишь, а украдешь. Слышишь, - украдешь, а не купишь! Ты знаешь какие. С бирюзой и сканью. Ты пойдешь к своей Зульфие и проведешь с нею ночь и унесешь ее серьги, а я стану надевать их всякий раз, как буду тебя ждать.

- Зачем тебе, о, госпожа моя, краденные драгоценности? Хошечь, я принесу тебе ларец из сандала с зеркальцем из серебра, вделанным в крышку. Я купил его у заезжего грека, и, покупая, думал о тебе.

Она рассмеялась. Блестящий, круто завитой локон вздрогнул над маленьким розовым ухом.

- Ах, как же ты непонятлив, мудрый мой господин Хайям, - сказала она, - когда ты идешь к Зульфие, ты кладешь у ее порога кубок или браслеты, и все это ты покупаешь за деньги. Неужели ты хочешь и мне, как Зульфие, положить у порога ларец?

- Ты хочешь, чтобы я преступил черту для тебя? – спросил Омар гневно и радостно, страшась своего бессилия и радуясь, что от него она требует невозможного.

- Я хочу испытать, хватит ли мудрости у мудрого отступить от мудрости ради любви. Ведь ты же не веришь в букву Корана, мой Хайям? Ведь мы-то с тобой знаем, что ты слишком умен, чтобы вторить реву оскорбленных ослов!

Он ушел разгневанный, счастливый, растерянный, бессильный. Она была правительницей из дома Селджуков и ей не нужны были серьги с бирюзой и сканью. Ей, чужестранке, не терпящей узды, бесовски умной, ни во что не верящей, ничем не дорожащей, ей нужно было, чтобы он украл. Преступил заповедь и украл. Потому что ни она, ни он не верили в прописанные Кораном заповеди, и давно самым сладостным образом совместно нарушали одну из краеугольнейших. А теперь она ему мстила. За стишки, которые он сочинил из ревности:

*Глаза Туркан-Хатун, красивейшие в мире,
Добыче стали чьей? Гулямов и юнцов!*

Она была великой правительницей, но и не лишенной тщеславия женщиной. Она любила присутствовать на пирах и самую чуточку заигрывала со своими гулямами. Политики ради. А теперь ей понадобились серьги. Украсть серьги у городской девки, которую каждый мог нанять на ночь за две таньги! При всем бесовском уме, дальше этого ее фантазия не шла. Что ж, если ей нужно до конца преступить то, о чем орут со всех минаретов и бубнят во всех медресе, тогда извольте!..

Он пошел к Зульфие и провел с нею ночь, и наутро попросил у нее на память серьги, которые сам же подарил, а взамен отдал ей маленький дорожный прибор: складные вилку и ложечку из чистого золота, скупое украшенные куфической надписью с пожеланием всевозможных благ тому, кто этим прибором воспользуется.

И пошел, - чего не делал уже давно, - на утренний намаз в одну из мечетей, где его не знали. За небольшую плату взял у старца-привратника чуть поблекший смировский коврик и опустил на мягкую упругую ткань.

В мечети в столь ранний час почти никого не было, так что, просто-яв положенное время на молебном коврике и свершив положенное

число поклонов, он неторопливо скатал коврик и направился к воротам, но не вышел, а подождал, пока привратник проковылял с кумганом в руке к водоему. Тогда только Хайям, держа под мышкой скатанный коврик, быстро прошмыгнул через ворота.

Вечером он пришел к госпоже своей Туркан и молча подал ей серьги, и они вновь, в который раз преступили многократно нарушенную ими заповедь, но он ничего не сказал ей о моленном коврике, потому что ничего не собирался ей доказывать, а с самим собою вел спор беспрестанный и тяжкий, и на этот раз в споре победил сам себя, потому что, как он и думал, небеса не обрушились, нет! И он с наслаждением выпался на украденном коврике, а впоследствии еще много лет пользовался им, пока тот не истерся, так что Хайям стал подумывать, не стащить ли ему еще один в той же мечети.

В те дни, возвратившись однажды от прекрасной Туркан, он написал такое четверостишие:

*Вплетен мой пыл вот в эти завитки,
Вот эти губы — розы лепестки,
В вине румянец щек. А эти серьги?
Укоры совести моей: они легки!*

А через несколько лет после случая с ковриком, вспоминая свой нечестивый поход в мечеть и глядя на порядком потускневший и потерявшийся коврик, Хайям, усмехнувшись, написал такие слова:

*Вхожу в мечеть в час поздний и глухой,
Не в жажде чуда я, и не с мальбой.
Когда-то коврик я стянул отсюда...
А он истерся... Надо бы другой.*

ИСКУПЛЕНИЕ

Путь к Мекке. — Когда повелительница сердца Хайямова и владычица обширной и сверкающей, как жемчужина, страны Селджуков вернулась с пира, где на правах регентши пятилетнего сына сидела среди мужчин, и выше их, на помосте (на франкский манер), в прозрачной, скорее символической чадре, она

почувствовала себя дурно. Хлопнув в ладоши, позвала девушку.

- Иди за ним, - сказала госпожа Туркан, и девушка взглянула на нее и ужаснулась, потому что чело ее покрылось испариной, глаза ввалились, а щеки пожелтели, как старая кость. Губы же были сини.

Оттого быстрее серны мчалась девушка по дворцовому саду, и некстати встретив стражу у боковых ворот, торопливо показала пропускной перстень, который на всякий случай с собой захватила, и быстрее лани мчалась по улицам Исфахана, и дробно стучала кулачками в покрытые искусной резьбой ворота Хайямова жилища.

Он вышел к ней, в просторных кожаных башмаках на босу ногу, в белых коротких шальварах и накинутом на плечи выцветшем чапане в мелкий цветочек. Видно, он встал с постели.

- Она умирает, - сказала девушка, - иди!

Было в голосе девушки повеление, послушаться коего не мог Хайям-врач и еще менее Хайям-влюбленный, хотя накануне клялся, и госпоже своей и самому себе, что никогда больше нога его не ступит в сады Шахристана, пока правительница не вышвырнет из дворца предприимчивых молодчиков из ее личной гвардии.

...Он сидел около госпожи своей и возлюбленной, держал ее руку в своей и слышал, как ручей ее жизни убывает с каждым вздохом.

- Кто налил тебе питье? — спросил он.

- Бабур-бек. А рядом с ним сидел ТОТ. Ты знаешь кто, - прохрипела она. — Ты думаешь, он дал мне яд? Говори правду.

Он любил ее, и уже знал, что спасти ее невозможно, и еще знал, что мужеством она была непревзойденной как среди женщин, так и среди многих мужчин, а потому сказал ей:

- Любимая госпожа моя, лепесток чайной розы. Распорядись своими владениями и распорядись моей жизнью, ибо без тебя дни мои оскудеют и дело рук моих и разума зачахнет.

- Сколько отмерено мне жизни, старый безбожник? — попыталась она усмехнуться. — Ну же, ведь я много лет исправно платила тебе немалые деньги за гороскопы!

...Он целовал ее руки, припал к коленям, пытался согреть своим дыханием холодеющие пальцы маленьких ног, с ногтями и ступнями, окрашенными хной.

- Один час, гибкая лоза, может и меньше, - простонал он, - говори. Говори же!

- Хайям, я испытываю боли в животе. Судорога сводит мои члены. То же было и у мужа моего, Малика. Но я еще могу говорить. Слушай: ты будешь в опале. Тутуш, мой деверь, все рассчитал. Когда меня не станет, тебя будут клевать. И коршуны и воробьи. С коршунами справишься. С воробьями – хуже. Их много и они безрассудны. Действия глупца трудно предвидеть. Если править будет Маликов ублюдок, мой пасынок Санджар, - проклятие ему! – он не простит тебе пророчества, когда он болел и ты сказал «безнадежен», а он на грех выжил. Если править будет другой Маликов детеныш, Баркьярук, - помни, за ним стоит ТОТ. Я давно поняла. Это они убрали Малика. Я им мешала – и со мной они справились... Поддай молока. Мне тяжело. Поддай капель для утоления боли. Мандрагоры подай... Постой... Теперь легче. Обсерваторию они тебе строить не дадут. Баркьярук читает по складам, Санджар не пишет-не читает. Они станут орать молитвы и потихоньку бесчестить скифских жен. Племя мужчин перевелось. У власти будут скудные разумом. Малик был не светоч ума. Но он был воистину вождем. С ним ушла и сила и слава этого царства. Если бы Махмуд, мой сын от него, выжил, он помог бы тебе. Он привык относиться к тебе с уважением. Но они уберут и его, я знаю. Сделай все, что они потребуют, но дострой обсерваторию. Да не рассеется по ветру сделанное тобой. И в сердце своем нареки детище свое «Убежищем»... Хайям, закрой мне рот ладонью. Мне больно. Я не хочу кричать, закрой мне рот слышишь? Я не могу более владеть собой.

Хайям нагнулся к ней. Он лег рядом и обнял ее. Он лег на нее, грудь к груди, живот к животу и бедра к бедрам, и ртом своим закрыл ее губы, так что стонов никто не слышал, а когда она совсем успокоилась и он почувствовал, что щеки и лоб ее холодеют, Хайям встал и хотел уйти. Но пошатнулся и упал на тигровую шкуру около ложа, и там застала его утром девушка – наперсница его любви, и не совладала со страхом, и закричала так, что на зов ее сбежалась чуть не вся челядь.

И обвинили Хайяма в отравлении, и долго пришлось ему доказывать свою невиновность. Однако, как его госпожа и предвидела, от должности астролога его отстранили. Партия Баркьярука, равно как и партия Санджара, - Маликовых отпрысков, - ликовали. Чужеземка, кипчачка, язычница, - и как только они не называли ее! – была мертва,

и все, что с ней связано, подлежало истреблению.

К власти пришел Баркьярук. Старый недоброжелатель Хайяма, завистник Бабур-бер и неизменно стоящий за ним шейх Хасан Саббах, которого многие обвиняли в отравлении Малик-шаха, а Туркан из страха и презрения даже по имени не звала, а обозначала – ТОТ, потребовали, чтобы на Хайяма наложили запрет, так что все его сторонились, как зачумленного. А в Мерви только что начатое новое крыло его великолепной обсерватории стояло, беспорядочно воздев к небу недостроенные стены.

Прошло сорок дней, и пошел он к месту успокоения своей госпожи и возлюбленной, и долго сидел там, следя, как юркие золотистые ящерицы снуют в песке, и много нежных и трепетных слов шептал Хайям и верил, что она, там, под ним, все слышала и, наверное, усмехалась, потому что скупа была на слова, но сколь щедра на расточаемое ему счастье! Уходя, он попрощался с ней, назвав, как привык за долгие годы, лепестком чайной розы и гибкой лозой, и твердо обещал, что достроит обсерваторию, даже если ему придется для этого везти на себе в мечеть старого осла Бабур-бека.

Вернувшись домой, он разыскал свои заметки, расчеты и сметы, связанные с постройкой, но вскоре задумался и на полях написал:

*Я побывал на самом дне глубин,
Взлетел к Сатурну. Нет таких кручин,
Таких сетей, чтоб я не мог распутать...
Есть темный узел смерти. Он один.*

И написал еще такие слова:

*Бог создал звезды, голубую даль,
Но превзошел себя, создав печаль.
Расстопчет смерть волос душистый бархат,
Набьет землею рот. И ей не жаль.*

Везти на себе в мечеть кого бы то ни было Хайяму не пришлось, но как-то вечером явился к нему сам Тутуш, деверь усопшей Туркан. С некоторых пор он сблизился с молодым султаном. Тутуша вновь стали побаиваться. Многоопытный политик поздоровался с Хайямом, взяв

обеими ладонями его руку, и сказал:

- Да снизойдет мир на дом твой, мудрый учитель наш Хайям!

Он долго говорил о дворцовых делах, и Хайям с интересом слушал, потому что давно не бывал во дворце и временами надолго уезжал из Исфахана. Он хорошо понимал, что Тутуш пришел не просто с визитом, но знал, что о цели прихода скажет лишь уходя, и в самом деле, почти у самой двери Тутуш сказал как бы невзначай:

- Ты, как я знаю, много вложил труда в воздвигнутое тобой творение, Хайям? Как прискорбно видеть сорняки, растущие из щелей недостроенных стен!

Хайям насторожился. Он достаточно долго дышал воздухом Шах-ристана, чтобы не уловить мгновенное колебание беседы.

- Руми считают, - продолжал Тутуш, - что пастуху во стократ милее заблудшая, но вернувшаяся овца, даже если несть овцам числа. А как ты считаешь, Хайям, - ведь ты человек мудрый?

- Ты льстишь мне, достопочтенный господин, спрашивая моего мнения в вопросах богословия, в коих ты являешься последним рубежом. Однако, скажу лишь, что для того, чтобы овца могла вернуться, она должна точно знать, в каком месте ждет ее стадо, и желает ли сам пастух ее возвращения.

- Ты поистине мудрый человек, мой Хайям, - вздохнул Тутуш-хан. - Итак, в вопросах богословия мы с тобой сошлись. Я думаю, что в вопросе о дополнительных затратах, которые потребует начатая тобой постройка, мы тоже сойдемся. Да, чуть было не забыл! - вернулся он от двери. - Я хочу попросить тебя о дружеской услуге. Я думаю, это будет необременительно для тебя. Видишь ли, один мой ныне удостоенный близости Аллаха друг подарил мне четки. Нет, они ничем не примечательны. Обыкновенные четки из шишек Ливанского кедра. Но я очень дорожил этой дружбой. Так что, если ты надумал бы совершить паломничество в Мекку, - а по моему мнению, тебе уже давно следовало предпринять такое путешествие, ибо и годы твои, и сан, и мудрость того требуют, - так вот, в этом случае, я попросил бы тебя приложить эти четки к Каабе, дабы я мог передать их своему потомству с благословением.

На том Тутуш и удалился, а Хайям долго еще сидел над своими метрами и вот какие слова написал он на полях тех страниц, ничего общего со стихами не имеющих:

*С той горсточкой невежд, что нашим миром правит,
И выше всех людей себя по званию ставит,
Не ссорься. Ведь того, кто не осел, тотчас
Они крамольником, еретиком ославят.*

И еще написал он в ту ночь такие слова:

*Ты к людям нынешним не очень сердцем льни.
Подальше от людей быть лучше в эти дни.
Глаза свои открой на самых близких,
Увидишь с ужасом: тебе враги они.*

Написав же, уснул сном крепким и тяжким, как смерть, а наутро стал собираться в путь.

ТАИНСТВЕННОЕ ЧУДО

Пора любви. - Когда он вернулся в Нишапур, то нашел дверь на запоре, окна забитыми деревянными щитами - все в точности, как и оставил, когда уходил. Он отпер дверь, освободил окна, проверил, все ли в доме цело, и вышел в сад, чтобы через дувалы поблагодарить соседей справа и слева, за то, что те пригласили за домом. Сорвал по дороге цветущую веточку урюка, засунул себе за ухо под край тюбетейки и снова вошел в дом. Немного постоял посреди полупустой комнаты со стрельчатыми нишами в стенах, провел пальцем по чеканному блюду, прислоненному к стене, и бронза жарко засверкала из-под пыли. Из ниши взял серебряную чашу - подарок Малик-шаха, покойного его покровителя - и потянулся за кумганом. Взяв же его с высокой полки, усмехнулся, поболтал, ничего в нем, конечно, не обнаружив. Перед отъездом там оставалось немного вина. Вино высохло. Хайям решил пойти за водой, и с кумганом в руке направился к двери, и на пути обо что-то споткнулся. Он нагнулся, стер пыль с небольшого предмета и увидел ларчик из сандалового дерева с серебряным зеркалом, вделанным в крышку. И все вспомнил. Ныне мертвую, прекрасную и бесовски умную госпожу свою и правительницу этой раздираемой распрями страны, а также Зульфию, городскую девку, с которой так покойно было говорить о

вещах простых и добрых, как хлеб. Госпожа его любила пряные вина и искушена была в тонкостях острой беседы. Она легко слагала злые шуточные стишки. Это было у нее в крови, от предков ее, от степи, от песен кипчакских песков. Она постоянно подтрунивала над Хайямом, оттого что он был очень воздержан в питии, называла его рабом Корана и нарочно посылала ему в подарок изысканные, дорогие вина. Он же стыдился признаться ей, что издавна страдал недугом желудка, который не позволял ему воздать должное вину — дару небес!

Все это вспомнил сейчас Хайям и пожал плечами, и усмехнулся, от того, что представил себе, как удивились бы друзья и противники, которые считали его забудыгой и пьяницей, если бы знали, что вовсе не дар небес — вино сирийских виноградников — славит он в стихах своих, где столько прекрасных слов сказано о кубках, янтарно-пенном даре забвения и о розовых лепестках, падающих в чаши. И еще усмехнулся оттого, что равно друзья и противники станут гнушаться им сейчас, каждый по-своему: друзья оттого, что считают, будто скопцы с султанского подворья сломили его и искусили покоем и почестями, а враги — оттого что верят, будто бы он «убоялся, когда почуял угрозу своей крови и надел узду на язык свой и помыслы».

Сосед справа стоял у своего дувала и поманил Хайяма к себе.

- Почтенный сосед мой, поистине знаком свыше считаю я ваше возвращение. Ибо не знаю врачевателя искуснее вас, занявшего место славного Ибн-Сины. Племянница моя Рэхия вот уже второй месяц болеет злым недугом и, главное, по городу пошла молва, что нутро ее осквернено нечистью, а разум помутился.

- Я осмотрю ее вечером, сосед, как только соберусь с силами после долгого пути.

...Он увидел ее вечером. Она ничуть не походила на больную. Сидела у водоема и перебирала рис. Когда он подошел к девушке, она посмотрела на него, не пытаясь закрыть лица, и сказала:

- Господин мой и учитель, у вас усталый вид. Лицо ваше как у человека, который пошел за кувшином за два селения, чтобы набрать воды, а родник иссяк. Может быть, ваш путь был бесплодным?»

Хайям удивился ее словам, и еще удивился, что никогда не видел ее раньше. Столько лет прожил тут — а не видел. И спросил:

- Почему я не видел тебя раньше, дочь моя?

- Я приехала сюда из Отрара только недавно, потому что родители мои умерли. Мой дядя говорит, что мне никогда не удастся выйти замуж. Я ведь хожу по городу с открытым лицом. Небо не одарило меня красотой, которая слепит взор, и прятать мне нечего. Впрочем, если бы мое лицо сияло подобно луне, я все равно не стала бы его прятать. В наших краях говорят, что красивый девичий лик возвращает умирающему старцу силу и здоровье. Я так и сказала своему дяде.

- И он что же? — любопытствовал Хайям.

- Он сказал, что мне придется отвыкать от многих обычаев нашего края, потому что женщинам у нас дана непозволительная свобода, и что он только на то и рассчитывает, что в этом городе меня еще мало кто знает, и потому здесь я еще могу надеяться... Даже несмотря на то, что мне уже двадцать лет, то есть возраст мой таков, что у многих моих сверстниц подол полон младенцев.

- Ты чувствуешь себя обделенной, дочь моя? И если так, то в чем? В отсутствии ли прелести лица, или в отсутствии младенцев у подола?

- Я не чувствую себя обделенной ни в чем. Видишь ли, господин мой и учитель, я не могу выйти замуж просто оттого, что так положено женщинам, и рожать детей оттого, что это закон жизни. Я так всем и говорила. И многие, что прельстились состоянием, которое досталось мне от родителей, после таких моих слов от меня отвернулись. Полюбить же кого-либо мне так до сих пор и не удалось, потому что мужчины вокруг меня богаты платьем, стройны станом, однако скудны умом и темны сердцем. Но почему ты слушаешь меня так долго? Я не наскучила тебе? Ты, кажется, нисколько не возмущаешься тем, что я говорю с тобой сидя, с открытым лицом, и о вещах, о коих девушке рассуждать не подобает? Правда, слабоумным многое прощают, и ко мне оттого все очень милостивы, но все же...

- Твой дядя говорил мне о злом недуге, мучающем тебя, — прервал ее Хайям, — не расскажешь ли мне о своих страданиях, чтобы я мог попытаться их излечить?

- Я не чувствую страдания, — только нежелание разговаривать с родичами. С тобой я говорю без неприязни. Может быть, я еще с ними не свылась, а им непривычными кажутся обычаи и поведение, никого на моей родине не удивлявшие.

Он смотрел на нее и видел нечто, до сих пор ему недоступное. Он видел в ее лице и в самой природе вокруг нее некую игру, которая то янтарем зажигала глаза, то сизой поволокой покрывала веки, то блестящей сверкала в белизне крупных зубов, то ноздри туповатого короткого носа приводила в трепет, словно у порывистой мухортой кобылицы, то лепестками гранатового цвета осыпала ее голову, и Рэхия сухошавой в перстнях рукой отряхивала с лица лепесток. Была ли она красива? Наверное, нет. Некрасива? Хайям никогда этого не узнал. Потому что была она блистательна, переменчива, непривычна — притягивала к себе и отгалкивала сладкой и запретной жутью.

Голос ее был как колдовская песнь, шелестел сухо и чуть хрипло, и Хайям подумал, что на ее родине так поют пески под рукой ветра.

- Может быть, она и в самом деле слабоумная, - усумнился он в страхе, - порой такие люди обладают особой силой и прелестью, и это делает их неприкосновенными и даже возвышает в глазах окружающих.

Но тут же отогнал от себя эту мысль, потому что девушка встала, и, отряхнув подол атласного в разводах платья, сказала:

- А ну его, рис! По-моему, я все перебрала. Да он и был чистый, настоящий ханский рис. Они просто ищут, чем бы меня занять, чтобы я меньше думала. Они боятся, что я стану читать книги. Дядя говорит — в них есть недозволенное для женского ума. Я не знаю, велят ли столичные обычаи возводить скудость ума в добродетель, только в этом городе столько запретов, что нужна недюжинная память, чтобы все их запомнить.

Уходя, Хайям сказал соседу, что по его мнению Рэхия вполне здорова, что на ней лежит непостижимая благодать и пусть ее оставят в покое. Если бы он был вдвое моложе, то уплатил бы за нее небывалый калым, и еще почитал бы себя счастливым и вором.

Сосед пожал плечами и назавтра вся округа знала, что почтенный Омар ибн Ибрагим Хайям вернулся из Мекки еще непостижимее, чем туда отправился, а Хайям сидел у себя в саду под цветущим урюком и перебирал старые бумаги, но думал о Рэхии, и вдруг на полях страницы, где говорилось о делении вещей в природе, написал:

*Таинственное чудо: «ты во мне».
Оно во тьме дано, как светоч, мне.*

*Брожу за ним и вечно спотыкаюсь:
Само слепое наше: «ты во мне».*

И еще написал он, сидя под цветущим деревом урюка, такие слова:

*Я стар. Любовь к тебе — дурман.
С утра вином из фиников я пьян.
Где роза дней? Ощипана жестоко.
Ушиблен я любовью, жизнью — пьян!*

ОСВОБОЖДЕНИЕ



Тюльпан. — Так что же ты увидел в Мекке? — спросит, возможно, любопытный читатель.

- В Мекке? Что можно увидеть в Мекке? — пожмет плечами Хайям. — Стоит храм. Огромный. Темный. Вделан в него камень. Самый обыкновенный, какие иногда с неба падают. Я подошел, приложил к нему четки, как обещал. Знаешь ли, собрат, крутом вздохи, стоны, причитания, - душа моя содрогнулась и разум померк. Я как будто ждал чуда или же просветления. Как будто гром набата ожидал я, и голос должен был оповестить: «Человече, ты сподобился. Теперь ты избранный и развернется перед тобой сокровенная истина!» Значит, я еще верил. Сидела где-то в глубинах мыслей моих неподвластная мне точка — и верила. Провел я ладонью по камню. Ладонь запылилась. Пыль — обыкновенная. И никакого голоса. Ушел я, и заторопился домой, потому что совершил все, что себе назначил, и теперь ждало меня дело моей жизни - я должен был достроить, как обещал госпоже моей, Туркан, обсерваторию в Мерви. По дороге я ни о чем другом и не помышлял.

Но однажды ночью, лежа лицом к звездам, я сложил в уме своем четверостишие, которое долго сам себе не прощал. И были то следующие стихи:

*Как жутко звездной ночью... Сам не свой
Дрожишь, затерян в бездне мировой!
А звезды в буйном головокруженьи
Несутся мимо. В вечность, по кривой.*

- Вот видишь, вот видишь, - забеспокоится любитель «Рубаи», - значит, и такое было?

- Да, было. Я сам в этом признался. Но потом я увидел, что ошибся, и устыдился мгновенной слабости духа. Я ведь говорил про Рэхию? Когда она переселилась ко мне, я все еще опасался немного, что если пойду к усыпальнице моей госпожи, то там вновь меня обуяет вихрь сомнений и ужаса. Но я пошел. Сел около плиты, а из травы ко мне тянется тюльпан. Дикий, маленький, неказистый. Я сидел и изо всех сил старался думать о лежащей здесь женщине. Но не мог. Я не чувствовал, что она здесь. Тюльпан – это я видел. А ее – нет. Не было ее. Я ощутил, что свободен, и пошел домой, к Рэхии, но по пути зашел на рынок к знакомому гончару, потому что было очень жарко, и попросил у него напиток. Он усмехнулся и сказал: «Тебе, небось, вина налить?» А я ответил, покривив душой, как привык, после возвращения из Мекки: «Нет, мне нельзя пить вино, равно как и тебе, ибо оба мы мусульмане. Подай мне воды, мастер!» Он подал, и я напился из глиняного кувшина, и поверишь ли, друг мой и ровесник, край кувшина был теплый и влажный, и приник к моим губам, и – словно годы разверзлись и уста госпожи моей Туркан коснулись меня с нежностью и укором. «Ты на самом деле считаешь, что меня нет, старый безбожник?» – явственно услышал я у самого уха ее чарующий, чуть хрипловатый голос...

И придя в свой дом, я написал такие слова:

*Над зеркалом ручья дрожит цветок.
В нем женский прах. Знакомый стебелек.
Не мни тюльпанов зелени прибрежной –
И в них румянец нежный. И урек.*

И прочитал их Рэхии, ожидая, что она удивится моим мыслям о жизни и смерти. Но она нисколько не удивилась, а сказала:

- Знай же, глава этого дома, там, откуда я родом, стоит стена. Когда-то это была крепость. И правил тем краем могущественный султан. Я любила ходить к этой стене. На ней постоянно сидел гриф. Старый, с седой головой, плешивый. Когда я была маленькой, я всегда думала, что он и есть султан. И что сейчас затрубят, и выведут коней, оседланных для охоты. Я рассказала про грифа своей сестре,

но она меня высмеяла, и потом меня долго к стене не пускали...

Но самое удивительное было ночью. Когда Рэхия уснула у меня на плече, и я тоже стал засыпать, около нашего ложа оказалась моя госпожа с тюльпаном в руке, и еще какая-то незнакомая девушка, которая сказала: «Хочешь, я еще раз поцелую тебя, Хайям?» Потом же явился султан, у которого на рукавице сидел гриф, держащий в когтях череп. Потом я уснул, но во сне все время знал, что знакомый гончар стоит около моего изголовья, и слышал, как он вертит свой круг. Вскоре после этой ночи я отправился в Мервь, и, сидя в своей обсерватории, вдруг снова услышал, как поскрипывает круг гончара, и помимо моей воли рука моя написала на полях страницы «Тракта о бытии и должностовании» такие слова:

*Поденщик воду из кувшина пьет, -
ему должно быть вовсе невдомек,
Что из сердец везиров тот кувшин,
что гордый шахский в нем зрачок.*

Взглянув же на сверкающую чашу небес за окном, написал совсем иное:

*Монастырей, мечетей, синагог,
И в них трусишек много видел бог.
Но нет в сердцах, освобожденных солнцем,
Дурных семян – невольничьих тревог.*

ПОЦЕЛУЙ



Закат. – Когда почтенный стареющий венецианец, в прошлом дипломат и видный политический деятель, Иосафат Барбаро, задумал написать свои мемуары, он менее всего представлял себе, что прошлое так цепко держит в плену каждого, у кого есть прошлое.

Барбаро был человеком эрудированным и писал грамотно, отличным почерком, неторопливо округляя буквы хорошо отточенным пером.

Вот этот отличный почерк и подвел его более всего. Оттого что писал он неспеша, то пока тщательно выводил «Здесь начинается

речь о виденном и слышанном мною, Иосафатом Барбаро, гражданином Венеции в двух совершенных мною путешествиях...», то, сам того не замечая, успел унести с сердцем и разумом в далекие годы, и тут-то и началось непостижимое волшебство, некогда им изведенное.

Он услышал человеческий голос дивного инструмента, именуемого кобыз. Услышал так, словно кобыз был тут же в комнате. И вдруг увидел перед собою сухонького старика, лунолицую девушку, некий дальний аул в степи Дешт-и-Кипчак...

Он бросился писать. Снял с руки перстень, с которым не расставался полжизни, и поглядел на изящную арабскую вязь, высеченную на огромном рубине...

...И мчались, мчались низкорослые степные коньки.

Барбаро был много наслышан о необычной игре Кыз-Куу, когда парень догоняет девушку верхом, а всадница награждает его ударами плети, именуемой камчей, и пытается отогнать, но если уж парень победит... Право на поцелуй, вот что выигрывает такой всадник. Барбаро очень хотелось самому увидеть такую игру еще оттого, что он смолоду зачитывался дивными книгами историков древности, и по его, Барбаро, соображениям, именно там, где по сей день в чести мужественная и поэтичная игра Кыз-Куу, как раз и должны были обитать загадочные сакские амазонки, о которых говорят древние. Весьма вероятно, что и сейчас не перевелось там племя сказочных воительниц... Qui lo sa, qui lo sa?¹³ - улыбался мечтательно молодой венецианец Иосафат Барбаро в те далекие времена.

Так вот и получилось, что во время второго своего пребывания в Тане, Иосафат, или Юсуф, как величали его обитатели «Тартарии», охотно принял приглашение одного знатного человека, с которым издавна вел торговые дела. Тот отлично разбирался в конях, и Иосафат доставлял ему бирюзу, китайский шелк, ташкентские тонкие ткани и разные специи, которыми запасался в Каффе, а взамен брал у него коней. Великолепные арабские скакуны, равно как и выносливые степные лошади, незаменимые для бега на большом расстоянии, несмотря на неказистую свою внешность, высоко ценились во многих странах, а Барбаро никогда не пренебрегал выгодной сделкой.

Находясь в гостях у своего друга, в небольшом ауле, что расположен неподалеку от невзрачного озера, Иосафат присутствовал на празднике, где видел такую джигитовку, какая не снилась в Европе

самым отчаянным смельчакам, и увидел, наконец, рыцарственную игру Кыз-Куу. Игра его поразила. И все его поразило: то, что расстояние, которое должна была пройти состязающаяся пара, определялось необычным и выразительным «пока молоко вскипит» – как подсчитал Барбаро, это примерно 3-4 «шахрым» (километров), что опять-таки означало не «сухое» понятие, а тождественно было «расстоянию окрика»; специально выбранные для этой игры кони, которые выкладывали всю свою силу бега на первых же десяти-пятнадцати минутах состязания, – впрочем, ровно столько и требовалось для этой игры; то, что никаких амазонок он здесь не встретил, а увидел очень нарядных, очень возбужденных и высокомерных девушек в шароварах, заправленных в изящнейшие сапожки, шитые серебром, на высоком каблучке, на манер испанских, но куда изящней; то, что зрители переживали краткие мгновения состязания с азартом, поразившим его, уроженца страны, где азарт и шумное выражение эмоций не в диковинку.

Амазонка. – По договоренности между собой, сперва парень догонял девушку до намеченной точки, потом она гналась за ним. Всаднице предоставлялись все привилегии. Вооруженная камчей, она лихо расправлялась со своим партнером, независимо от того, кто кого догонял. Если он ее, – то на полном скаку всадница оборачивалась и камча безжалостно вилась вокруг лица и плеч парня, если юноша догоняла девушку – камча «ласкала» его спину. Удары были нешуточные, и опять же Барбаро изумляла выдержка всадников. Похоже было, что ни одна мышца, ни один волосок, ни пяточек кожи ни разу не дрогнули у отважных юношей.

Особенно отметил Барбаро одного. Рослый, с длинными почти по плечи волосами, повязанными белым платком, опять же на испанский манер, – чтобы в глаза не лезли-не мешали, с лицом цвета старой слоновой кости, юноша этот изумил Барбаро благородством осанки.

Он догнал всадницу, на бегу обнял ее и поцеловал. Толпа загудела. Как узнал Барбаро, поступок был не по правилам. «Право на поцелуй» – это одно дело, сам же поцелуй – вовсе другое. Приз, выигранный в таком состязании, был вообще чисто символическим. Целовать девушку прилюдно не полагалось. Но девушка, видно, обиженной себя не чувствовала, и когда спешила, – потрепала по холке своего конька и поцеловала его в белую звездочку на лбу. Юноша

подошел к ней и сказал, что теперь хотел бы получить от нее добровольный «выкуп» за одержанную победу. Девушка рассмеялась, высоко закинув голову, и сказала:

- Хорошо. Сейчас я ударю тебя камчей и ты добровольно примешь этот удар. Если да, то и я заплачу поцелуем по доброй воле.

Юноша вздрогнул, помолчал, и сказал:

- Будь по-твоему. Имя мое – «Заплачено сполна!»

- Встань на колени, - сказала девушка. – Ты высок ростом и мне не сподручно дотянуться камчей до твоего лица.

Она стояла перед юношей, маленькая, тоненькая, похожая на японскую куколку-богиню, каких привозили в Венецию мореходы, прибывшие из весьма, весьма отдаленных стран.

Заплачено сполна. – Все молча слушали словесный поединок, а Барбаро понимал каждое слово, потому что долго жил среди степняков и вел с ними оживленные торговые дела.

Юноша опустился на колени, девушка хлестнула его камчей по лицу, но не больно, как бы в знак того, что подчиняет его себе, а потом нагнулась к нему и поцеловала в губы.

Толпа опять загудела. Кто смеялся, кто вздыхал с облегчением, кто громко осуждал юношу, кто – девушку. Слышались угрожающие возгласы. Где-то у кого-то сбили с головы малахай. Кто-то утирал о гриву коня кровавую ссадину на губе. По всему было видно, что странный любовный поединок, который наблюдал Барбаро, неведомым для него образом запрагивал многих из присутствующих и мог привести к настоящей схватке.

- Ох, и бедовая же девчонка эта Рабига, не сдобровать ей! - слышались возгласы.

Около Барбаро стоял старик, сухонький, с пронзительными странно-матовыми глазами, оттого казавшимися неестественно темными – как два провала.

- Уплачено сполна. Уплачено сполна с самого начала, - сказал старик, и тут же к нему обратились несколько стоящих рядом зрителей.

- Спой, Жуке. Спой, право! Подвиг заслуживает песни.

Никто не стал объяснять, что именно считать подвигом, то ли победу девушки над парнем, то ли победу, одержанную джигитом над самим собой во имя любви. Но старик все понял. Ему подали кобыз и он запел. Слова он сочинял на ходу, и Барбаро в который раз изумился той неподражаемой легкости, с которой народы степи, импровизируя,

слагают стихи и песни на любой случай жизни.

Старик пел о победе джигита над гордостью, о победе всех тех, кто привык дорогой ценой платить за миг счастья, и еще пел о блистательном безрассудстве, доступном лишь мудрым и сильным духом.

Дурман. – А Барбаро хотелось лишь одного. Поближе познакомиться с победителем, а вернее, с победительницей этого истинно рыцарственного поединка. Он решил, что столь своенравная девушка, возможно, примет от него в подарок некий заветный перстень с крупным баласом, который совсем недавно он мог обменять в Тане на любую из несовершеннолетних невольниц своего торгового корреспондента, коммерцияря Кацадахута, - тот очень позавидовал Барбаро, когда властелин Таны Узун-Хан преподнес чужеземцу столь ценный дар.

После увиденной им игры Барбаро пребывал как в чад. Он видел нахмуренные тонкие брови Рабиги, которым напрочь противоречила тень улыбки, блуждающая около пухлого детского рта. Он видел, как побледнел юноша, когда Рабига подставила ему щеку для поцелуя, а потом раздумала и сама поцеловала его в губы.

Да, Иосафат Барбаро готов был отдать перстень с баласом за то, чтобы поцеловать в щеку эту девушку, осадившую коня на полном скаку, не хуже, чем это сделал бы он сам, Барбаро, в дни своей юности.

Пока он размышлял, стоя у плетня, к нему подошел тот старик-певец, которого он заметил еще вначале праздника, а с ним – юноша, счастливцев, победивший прирожденную победительницу Рабигу.

- Ты, кажется, скучаешь, чужестранец? – приветливо обратился к нему старик. – Не пристало нам видеть омраченное скукой лицо столь почтенного гостя. Тем более, я знаю, ты у нас почти что родной человек, ведь ты долго странствовал в наших краях, не правда ли? А эту игру ты видишь впервые?

- Впервые! – признался Барбаро. - И мне она очень понравилась, а еще более поразила мое воображение девушка в изумрудном платье и алом казике¹⁴. Она поцеловала своего коня в белую звездочку на лбу. Не познакомишь ли ты меня с ней поближе, старик?

Старик усмехнулся:

- Ты вот у кого спроси разрешения на знакомство. Позволь представить тебе победителя в состязании, а моего родственника и подопечного Туленды. По-моему, этот юноша не зря носит такое знаменательное имя. Он действительно за все в жизни готов платить сполна,

и клянусь памятью человека, давшего ему это имя лет полтора-стому назад, - он еще много веков будет дорогой ценой платить за все дорогое, а недорогим дорожить не станет, как и пристало мудрому и сильному мужчине и джигиту.

Барбаро удивился словам старика, но не подал виду, что удивлен, - старикам свойственны причуды, и в этом он, Барбаро, не видел зла. Возможно, в их словах скрыта непостижимая мудрость. Но, может быть, это просто пустые слова, рожденные меркнувшим рассудком.

Длань рока. - Отважный отрок, - обратился к Туленды почтенный гость, - можно мне поближе поглядеть в прекрасные глаза твоей возлюбленной? Я вижу, женщины не закрывают лица в вашем краю, и се благо, ибо что еще так радует и волнует сердце человека, как лик прекрасной и высокородной девицы!

- Я не властен над этой девушкой, - ответил Туленды. - Я думаю, никто не властен над ней, я даже полагаю, что вряд ли кто-либо сумеет по доброй воле покорить себе ее гордое сердце. Каждый раз, когда я встречаю ее, мне чудится, что рок занес над нею свою длань, ибо нет доброты в ее взгляде.

На том юноша и удалился, а старый сказитель пригласил Барбаро в свою юрту, усадил за низенький круглый стол, на стеганное одеяло - курпе, и взял в руки кобыз.

Такой инструмент Барбаро хорошо знал, он слышал игру на кобызе искуснейших виртуозов во время своего пребывания в Тане и Каффе, а также и в здешних степях, но сейчас почувствовал какое-то неизъяснимое беспокойство, и вспомнил, что кто-то во время праздника, указав на старика, сказал: «Старый Жумахан все жив-здоров! Интересно, кто его когда молодым видел!» А собеседник ответил: «Тише. Он все чувствует, старый кудесник. Лучше не говори о нем всуе. Жумахан за достарханом сидит, кобыз на стене висит. Жумахан за версту у приятеля кумыс пьет, а кобыз на стене сам играет. Вот как!»

- Хочешь, я расскажу тебе историю о некоей луноликой девушке, сердце которой было тверже камня. Я сожалею, что здесь нет подопечного моего, Туленды. Ему полезно было бы послушать эту историю. Но, впрочем, может быть, и лучше, что его здесь нет. Всякой печали свой час, его же час еще впереди. Итак, слушай.

Как ты сам видел, недалеко от нашего аула есть малюсенькое озерце и старики зовут его Ак-ку кули, что значит лебединое озеро.

Никаких лебедей там, конечно, не водится, и никто во всей округе никогда их там не видел. Однако, не спеши с выводами, чужестранец.

Идут чередой века, черно-белым жгутом выются ночи и дни над степью, горы превращаются в песчаные моря, и ветер шелестит в барханах, листая книгу жизни. Мельчают и высыхают озера, дремлют в степи мертвые города, и среди песков расцветают новые сады. Все преходяще, все изменчиво под солнцем, незыблемы лишь любовь и смерть.

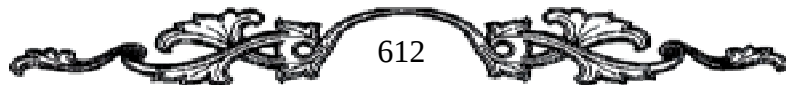
Ты спросишь, почему в этой большой луже нет лебедей, а зовется она по сей день лебединым озером. А я так отвечу тебе: это *ты* лебедей не видишь! На самом деле все знают, что весной и осенью над озером слышны их голоса. И лебедей на озере Ак-ку кули не видит только слепой. Ибо я видел их, вижу и сейчас, и очень помню, как однажды сидел на берегу большого синего озера, каким была тогда эта лужа, и видел там двух дружных лебедей, которыми долго любовался. Потом я много месяцев странствовал по степи, а когда вернулся в эти края, лебедей уже не было. Я имею в виду, что видеть их мог уже не каждый. Я спросил у жителей аула, что случилось с птицами и услышал историю о влюбленных, что тайно встречались на этом берегу. Почему тайно? Девушка с детства была обещана другому. Но что такое в подобном деле обещания и зарок, если не сказали своего слова те, для кого заготавливают впрок будущее!

Продавец предлагает коровий рог и говорит: «Эти красивые пуговицы искусной резьбы стоят барана». Человек удивляется и говорит: «Какие пуговицы? Это же рог!» А продавец отвечает: «Но из него можно сделать прекрасные пуговицы, и потому этому рогу нет цены!»

Так и с зарокami родителей.

Родичи Рабиги уговорились с родичами Казбека обо всем - определили размер калыма, назначили срок свадьбы - и только одного не смогли предвидеть заранее: расцветет ли волшебный цветок, именуемый любовью, меж обрученными с колыбели. А цветок не расцвел и девушка полюбила другого, и тайно приходила со старшей своей невесткой на берег озера, чтобы там встретиться с избранником своего сердца, Туленды. Как звали девушку? Рабига, конечно. Ты, наверное, и сам догадался.

И на рассвете возвращались они в аул, и никто не знал, о чем шептались эти двое на берегу синего озера, по которому величаво



плыли дружные лебеди.

Однако, издавна известно, что любовь и смерть бродят по просторам земли стремя к стремени, и кони их, белый и черный, пьют из одного родника светлую влагу радости и горькую горечь слез.

Минули дни счастья, настала пора потерь. Однажды ночью не трое стояли у синих вод Ак-ку куля, а четверо. Четвертому имя было мщение, ибо, оповещенный соплеменниками, к озеру пришел и обманутый жених. Обманутый вдвойне, пришел он к этому злему месту, ибо и ему тоже многое обещали звездные глаза Рабиги, сверкавшие из-под стрелчатых ресниц. И обещали, и выполняли обещанное, ибо никого не любя, девушка с каменным сердцем дарила своей красотой, взглядом, улыбкой, серебряным перезвоном подвесок, тех, кто глядел на нее или с ней заговаривал, точно так, как щедрое солнце дарит теплом и светом серую землю, лежащую далеко внизу.

Но Казбек не задумывался о щедрости солнца, а потому вполне оправданными были и гнев и ревность его, и на хорошо взрыхленной почве взошли ростки ненависти в его сердце.

Всю ночь простоял он в камышовых зарослях и до дна испил горькую чашу обиды, и ни слова не пропустил из того, что говорили друг другу Рабига и Туленды.

Казбек хотел и мог убить девушку, но он любил ее, и рука, устремленная к ней, дрогнула, а самопал хоть и выстрелил, но жертвой стал лебедь. Влюбленные услышали выстрел, крик раненой птицы, всполох вспугнутых крыльев, и Рабига заторопилась.

- Пора мне, - сказала она, - сердце мое в тревоге.

Легки шаги девушки-лани, но быстрее идет иноходец, понукаемый рукой джигита, если управляют ею любовь и месть. Когда Рабига подошла к аулу, судьба ее, предначертанная старейшинами рода, вошла в намеченное русло.

Туленды переждал немного в камышах и пошел в аул другой дорогой. Зеленватой мглой висел над степью неприветный осенний рассвет. Седыми ключьями висел туман. Туленды шел все быстрее. Недоброе чудилось ему в каждой привычной кочке и в каждом кусте. Он ждал беды, и когда к ногам его с неба упала большая белая птица и забила в предсмертной муке, он почти не удивился, а нагнулся к ней, помертвев от дурного предчувствия. Узнав лебедя, он вскрикнул и помчался к озеру. Знал: если птица бросилась оземь, значит, осиротела,



потеряв друга, и неспроста был давеча выстрел в камышах. На берегу лежал второй лебедь. Он был мертв.

Со всех ног побежал Туленды к аулу. Понял: в последний свой час птица остерегала его и предупредила о нависшей над ним беде.

На дороге Туленды увидел дымящийся конский помет и маленький шитый серебром башмачок – кебис.

В ауле же узнал, как умчал Рабигу жених, и представил себе, как вошла она в его дом не в радости, а в позоре – как женщина, которую везли за спиной джигита. И еще узнал, что не будет ему, Туленды, прощения за то, что нарушил запрет и полюбил чужую невесту. И что одни женихи шепчутся, будто «слишком уж много воли взял себе сын бия», а другие, «что иной раз благородная борзая на черную кость позарится», и Туленды прекрасно понимал, что в злорадном шипении роль благородной борзой отводили не Рабиге, дочери пришлого человека. Третьи усмехались и утверждали, что «такого парня любая бийкем даже в драной козьей шкуре учует».

Разговоров было много, а Туленды бродил у синего озера и вспоминал лебедей и завидовал их судьбе, когда думал о длинной череде безрадостных дней и серой веренице годов, которые предстояло ему прожить без жемчужины его сердца, гордой и нежной девушки Рабиги.

Ты хочешь узнать, Юсуф, что стало потом с Туленды и как сложилась судьба Казбека и Рабиги? Ты вправе думать, чужестранец, что все они утешились, как сумели, и свили свои гнезда, а в них вывели потомков, потомки коих удивляются сегодня, почему маленькое мутное озеро называется лебединым. Ты вправе думать, что эти три человека, связанные черным узлом, не утешились никогда, и что судьба их сложилась самым неожиданным образом. Как бы ты не прикидывал, ты ошибёшься, и все-таки будешь прав, равно как и все, кто не видит лебедей в озере Ак-ку кули. Не оттого, что их нет, а оттого, что видеть их дано не каждому.

Детство, рассчитанное на века. – Старик умолк, и голос кобыза оборвался на нестерпимо высоком рыдающем вопле. В юрте стало тихо. Старик и Барбаро молчали.

- Ты так рассказывал эту историю, акын, - вздохнул Барбаро, - словно тебе известно еще нечто такое, чем ты не можешь, или не хотел поделиться со мной. И еще так, - словно ты сам много веков назад видел и слышал все, о чем поведал мне сейчас. И почему ты назвал

тех несчастливых влюбленных именами Туленды и Рабиги? Или в словах твоих загаился скрытый смысл?

- Ты задал мне столько вопросов, Юсуф-чужестранец, что на все враз не ответишь. Да, мне известен конец печальной истории Рабиги. Если хочешь, я поведу тебя на склон холма здесь неподалеку, и ты увидишь след ее алого свадебного платья. Ибо действо, управляемое роком и начатое на берегу известного тебе озера, завершится на склоне соседнего холма. Что касается многих веков, прошедших с тех пор, и того, был ли я свидетелем этого несчастного действия, позволю не ответить тебе. Ты можешь не поверить моим словам, а недоверие к сединам равно опозорит и тебя и меня. Впрочем, сам ты, наверное, не подозреваешь, что тоже далеко не молод, ибо возраст твой исчисляется не десятилетиями, а веками, если, как я слышал, ты способен перечислить на память семь поколений твоих предков, стоящих за твоими плечами в дни радости и в дни скорби, особенно же в дни, когда предстоит тебе принять крутые решения. Ну, а почему я назвал тех двоих именами Туленды и Рабиги?.. Знаешь, лучше я вот что скажу тебе. Оставайся в нашем ауле еще неделю и ты увидишь, как мой подопечный Туленды зашлет сватов к одной девушке, которую он не любит, и, может быть, не полюбит никогда, но ведь из коровьего рока действительно могут получиться иной раз превосходные пуговицы, не правда ли?

Когда они вышли из юрты, Иосафат Барбаро чувствовал себя разбитым. Словно только что побывал в стране теней. Словно только что проснулся от колдовского сна, длившегося века.

- А как же свадебное платье Рабиги? – спросил он.

- Пойдем, - ответил старик и повел его к одному холму.

Никакого платья Барбаро там не увидел, но на склоне алели и рдели тюльпаны. Сотни, тысячи, целое поле.

- Ну и что же? – спросил Барбаро.

- Прости, чужеземец, - вздохнул акын. – Я стар и устал, а это уж совсем другая история, и я расскажу ее, конечно, если не тебе, то кому-нибудь иному, в нужный час, когда отдохну.

- Может быть, вечером? – спросил Барбаро.

- Не думаю, - ответил старик, - я ведь отдыхаю подолгу, пока наберусь сил для новой песни. Иногда на это уходит десяток-другой годов, иногда и полвека, а то и больше. Пойдем, однако, я хочу показать

тебе девушку Жумагуль, о которой уже говорил тебе.

Барбаро молча последовал за стариком, и когда в селении встретил Туленды, ему стало не по себе, словно он случайно узнал о нем нечто сокровенное, чего ему знать было не положено.

Как Барбаро и обещал Жумахану, он прогостил в его юрте неделю и очень был удивлен, когда старик сказал ему как-то вечером:

- Вот видишь, я был прав. Завтра у нас состоится сватовство и ты увидишь и услышишь много такого, что тебе надолго запомнится. Станок наготове, нити свиты в клубки. Алое платье Рабиги вьется над аулом.

- Но разве Туленды сватается к Рабиге? – удивился Барбаро. - Ты ведь назвал иное имя.

- Это совсем не важно, - невесело усмехнулся старик. – Я сказал: алый шелк разматывается с клубков, станок стучит, а челнок проворно снует в руке предопределения.

Барбаро пожал плечами, он решил, что все-таки в речах стариков больше пустой плевелы, нежели полноценного зерна мудрости.

Вечером Барбаро действительно довелось увидеть много необыкновенного. Поскольку отец Туленды считал Жумахана самым близким человеком своего рода, то и попросил быть сватом, именуемым «жаучи».

Как подобало по обычаю, Жумахан выпустил чембары с одной ноги поверх сапога, с другой – впустил в сапог, сел на коня и отправился к отцу девушки Жумагуль. Выполняя этот странный ритуал, старик все время снисходительно улыбался, словно участвовал в заранее обусловленной игре, а на вопрос Барбаро, зачем ему понадобилось выпустить чембар из одного сапога, ответил, что будто бы для того, чтобы отец невесты был снисходительным и не отказался от предлагаемого ему родства.

Отец Жумагуль был человеком не менее знатным, чем отец Туленды и потому действительно весьма снисходительно принял старика Жумахана и сказал ему, пусть, де, пожалуют главные сваты для окончательного разговора.

Вечером Жумахан сообщил Барбаро, что послезавтра, в среду – среда и четверг счастливые дни – главные сваты, «бас куда», отправятся вместе с ним в дом невесты, и пригласил Барбаро, как почетного гостя, тоже участвовать в сватовстве. Барбаро охотно согласился, и

в среду, вместе с Жумаханом и еще десятью джигитами, одетыми в нарядные атласные и бархатные чапаны, - на Жумахане был черный бархатный чапан, что несколько удивило Барбаро, привыкшего считать черный цвет траурным, - верхом последовал в аул невесты. Аул находился у подножья холма и парадную юрту родителей невесты, специально выставленную ради этого случая, все увидели еще издали, а когда вошли в нее, Барбаро изумился, насколько изыскано было убранство этого дома внутри. Плетеный остов, кереге, покрыли роскошными коврами, которые Барбаро видел еще в Каффе. Он купил там за немалые деньги эти диковинные бархатные и суконные ковры-покрывала, украшенные вырезанными накладными узорами из той же ткани, так что узоры «входили» друг в друга, словно сцепленные пальцы рук. Он полагал, что в Венеции украсит ими собственное жилище, а также с хорошей прибылью перепродает близким знакомым.

И вообще, войдя в эту парадную юрту, Барбаро в который раз подумал про себя, как глубоко ошибаются те, кто считают, что кочевые народы степи в чем-либо отстали от народов, населяющих большие и богатые города родной его Италии. Он вспомнил виденные им города кочевников, «огромные и красивейшие города» (он так и записал в своих мемуарах «города», то есть *città*¹⁵, а никак не какие-нибудь убогие станы), хотя и временно разбиваемые в степи, причем не защищенные никакими стенами...

* * *

...Иосафато Барбаро давно перестал писать. Он задумался. Вспомнил разговор с одним кипчакским купцом, встреченным некогда в Тане. Оба они стояли перед большой надворотной башней, которая славилась как одно из наиболее примечательных сооружений Таны. Барбаро спросил кипчака, нравится ли ему башня, и тот спокойно ответил, что башни строит только тот, кто боится. «Qui ha paura fa torre»¹⁶ – так записал Барбаро в своих мемуарах и еще раз подумал, что кипчак был совершенно прав. Степь широка, привольна, безопасна, гостеприимна, и, пожалуй, нет укрытия надежнее самой степи...

Коровий рог. - ...Обилие китайских шелков в парадной юрте поразило Барбаро. Столько парчи, манлыка, затканного серебром, столько вышивок гарусом и шелком он видел лишь в немногих домах Венеции. Даже края полотенец, висящих у дверей, рядом с драгоценной

чеканки кумганами, были расшиты гарусом и украшены атласными лентами.

Сватов посадили в передний угол за низенький стол, на привычные для Барбаро атласные стеганные курпе, и повели приличествующую для данного случая беседу о здоровье семьи, о скоте, о делах аула. Пили кумыс, закусывали бараньим мясом и конскими колбасами казы. Пригласили певцов. Певцы были из разных аулов и городов и состязание их, айтыс, длилось долго. Все они восхваляли сватов и Барбаро услышал много лестных строк, сложенных в честь друга его Жумахана. Его сравнивали с величественной горой, о которую разбиваются волны невзгод; с грозным боевым слоном, решающим исход битвы между станами богадуров в старинных сказах; с летящим иноходцем сравнивали вольный полет острой мысли старого акына. Отец невесты одарил певцов, и одарил щедро. Поистине, он был знатным вельможей и ему не подобало скупиться.

На следующий день отец Жумагуль пригласил всех в свою юрту, где познакомил сватов с первой, «главной» своей женой, но сама Жумагуль не показывалась. После угощения Жумахан повел речь о деле, объявив, что все они желали бы породниться с хозяином. Хозяин любезно ответил: «У нас и у вас равно царит обилие в доме, и состояния, коими мы владеем, можно считать равно выдающимися в нашем крае. Я думаю, что и калым в подобном случае должен быть достойным положения, которое занимают оба наших рода».

Так как обе стороны не только обладали равным состоянием, но были равно заинтересованы в этом браке, то переговоры о калыме тянулись недолго. Уговорились на том, что отец Туленды отдаст за Жумагуль сто отборных кобылиц «байтал». Впрочем, по желанию ее отца, вместо каждой пятерки кобылиц он может получить верблюда, или иноходца среднего бега. А, может быть, двух скаковых коней-бегунцов? Или, может быть, он желал бы получить больше верблюдов? Отец Жумагуль ответил, что достаточно богат, чтобы не придавать особенного значения подобным «тонкостям» договора, и объявил, каково будет приданное невесты. Изумленные сваты ответили, что почтут за приятную обязанность вручить отцу невесты еще и личный подарок – арабскую кольчугу из наилучшей стали с накладками из серебра и золота, а также двух беркутов, прославленных по всех округе во время травли лисиц.

Вечером в юрту хозяина прибыли его друзья и соседи по аулу. На стол подали баранью грудинку «тостык», срезанную с кожей и шерстью, паленую и жареную над огнем, политую крепчайшим рассолом и нарезанную на длинные узенькие полоски. Отец Жумагуль объявил, что теперь все они свидетели состоявшегося соглашения, сообщил условия переговоров и пригласил всех угоститься бараниной. Все взяли по кусочку, а остальной тостык роздали всем гостям, многие из коих в юрте уже не умещались, а сидели на лужайке около входа.

Шуткам и потешным проделкам не было конца, и Барбаро очень смеялся, когда оказалось, что пока сидели за угощением, бойкие девушки и молодые женщины, вооружившись иглами и нитками, успели пришить чапаны гостей к курпе, на которых те сидели. Когда Барбаро попытался встать, то беспомощно потянулся и довольно неловко шлепнулся на место. Другие тоже барахтались, отдирая полы чапанов от сиденья.

Затем Барбаро очень понравилось состязание девушек со сватами, опять же в импровизации песен, коими обе стороны вовсе не безобидно потчивали друг друга. Один из сватов – молодой и ладный джигит – отказался от состязания, сославшись на нездоровье. Его высмеяли, женщины окружили его, тормозили, нарядили в женское платье и даже водрузили на голову жаулук, высокий и нарядный убор, полагавшийся только замужним женщинам. Потешаясь над мнимым нездоровьем джигита, они хохотали и, низко кланяясь ему, утешали: «Не огорчайся, беременная наша сватья! Это тягостное состояние, но ведь всем женщинам оно знакомо и скоро разрешится как положено, и ты подаришь нам здорового, а, главное, сговорчивого джигита!»

Прошел еще день и на следующее утро отец Жумагуль, собрав в своей юрте всех сватов, роздал им почетные подарки, сообразуясь с их возрастом и положением, во всем советуясь со старшим сватом Жумаханом. Пятнадцать байтал он назначил отцу Туленды, который на обряде не присутствовал, так как в это время участвовал в важном съезде племен далеко от тех мест.

Уезжая из аула, Барбаро чуть не упал с лошади, когда пытался вставить ногу в стремя. По обычаю степняков он садился на лошадь с левой стороны, а стремя оказалось спрятанным под седло. Это опять-таки девушки подшутили над сватами.

Перстень. – Через несколько дней, вернувшись в аул Жумахана, Барбаро встретил прекрасную Рабигу. Она была весела и приветлива, юноши и девушки так и вились около нее стаей. На светлом ее лице не отражалось ничего, кроме беспечной радости, но Иосафату Барбаро вдруг почудилось, что на челе ее печать смерти. «Рука злого рока», – вспомнил он слова Туленды, и еще вспомнил, как один знакомый монах и лекарь из Венеции рассказывал ему, что есть люди, от рождения отмеченные провидением. Удел их – бури страстей и бремя необычных для спокойного и надежного человека страданий и бед. Добро и зло соткано воедино в подобных людях, и так искусно и загадочно это плетение, что порою уходят века, пока кто-либо с полной достоверностью скажет о таком человеке: «он был хорош», или же «он был плох».

Однако, какова бы ни была Рабига, а Иосафат Барбаро, побывав не раз в обширных краях, нанесенных на карты-портоланы под названием «Тартария», еще ни разу не испытывал такого необъяснимого дурмана, в который повергал его один вид этой девушки.

Он здраво рассудил, что если все женщины на свете в общем схожи друг с другом по нраву, то за несколько лихорадочной веселостью Рабиги скрывается большая обида, а обиду женщины легче всего лечить дарами. К тому же он вспомнил рассказанное Жумаханом и усмотрел в этом благоприятный для себя намек. Глаза, которые много обещают, иной раз обещают вполне выполнимые вещи...

Итак, он подошел к Рабиге и обратился к ней по-татарски, вернее, на том наречии, которое одинаково понимали в Крыму, за Аральским морем, и здесь, на берегу мутного озера. Он сказал девушке, что восхищен ее умением держаться в седле, что знал страны, где чужеземцев встречают самые красивые девушки селения или города и приветствуют гостя поцелуем, а в других странах хозяйки дома подавали ему, Барбаро, питье, подобное жидкому огню по своей крепости, и подавая, трижды целовали гостя в щеки и в уста. Так не желает ли Рабига попотчевать его кумысом, сопроводив угощение таким же милым обрядом? А уж он в долгу не останется.

Он показал ей перстень с баласом и сообщил, что получил его в подарок от Узун Хана. Чтобы позабавить ее, рассказал, как находчиво и деликатно подчеркнул хан свою щедрость. Показав Барбаро выгоченный в виде оливы рубин неправдоподобной величины, он спросил

венецианца, какова, по его мнению, ценность этого камня. Он спрашивает его об этом, ибо не знает человека более искушенного во всем, что касается драгоценных камней, чем венецианец Иосафат Барбаро, именитый купец и сердечный друг Узун Хана. И Барбаро по совести ответил: «Господин, я никогда не видывал подобного чуда, и думаю, нет другого камня, который мог бы сравниться с этим. Если бы я осмелился определить его цену, а камень имел бы язык и мог бы заговорить, то, конечно бы, посмеялся над моей самонадеянностью и прежде всего спросил бы, встречал ли я когда-либо драгоценность, ему подобную. И чтобы не прослыть лжецом, я бы ответил отрицательно». Узун Хан рассмеялся и спросил, что из этого следует, а Барбаро ответил: «Я полагаю, что этому камню нет цены. Вернее, его нельзя оценить золотом. Может быть, он стоит целого города. Или – поцелуя красавицы».

- Или истинной дружбы! – воскликнул Узун Хан и вложил рубин в руку Барбаро.

- А теперь, - сказал Иосафат, - я решил обменять дар дружбы на поцелуй красавицы.

Рабига поняла, нахмурила тонкие брови и около ее детского чуть припухлого рта не было и тени улыбки.

- Юсуф, - сказала она, - ты ведь у нас как свой, сам знаешь. И негоже обижать гостя. Но, право же, ты забыл о своих сединах, и еще ты забыл, когда тебе было двадцать, посвататься к шестидесятилетней старухе!

Потом кто-то ее окликнул, она громко и радостно рассмеялась и стремительно от него ушла, а он с замиранием сердца слышал нежное позвякивание серебряных подвесок на ее браслетах.

Вечером в аул приехали родичи Жумагуль вместе с ее отцом и опять был пир. Туленды сидел за отдельным столом, с молодежью. Он был приветлив, в меру весел, хотя и очень бледен.

- Удивляешься? – спросил Жумахан, сидевший рядом с Барбаро. – Напрасно! Все в порядке вещей. Продавец предложил свой рог, покупателю рог понравился, договорились о цене, далее все пойдет своим чередом. Возможно, в конце этой истории на холме зацветут тюльпаны.

Иосафат уже не удивлялся загадочным речам старика. Он привык, что в этих краях многое удивляет непривычного человека, так

что он вовсе удивляться перестал. И лишь вернувшись в свои родные места, вспоминает увиденное, и рассказывает обо всем друзьям и родственникам, а сам потихоньку сомневается: а было ли все это на самом деле?

Так что немудрено, если иной раз родные и друзья не верят таким рассказам, и тогда случается нечто вроде того, что было не так уж давно с небезызвестным «господином миллионом», Марко Поло, соплеменником его самого, Иосафата Барбаро, - того объявили умалишенным.

Пока он размышлял, пир шел своим чередом, за столом обсуждали будущее традиционное свидание Туленды со своей невестой, так называемое «калымдык уйнамак», намечали девять его провожатых, «косчи», много говорили о том, какие подарки он повезет с собой. Подарков требовалось немало и каждый имел свое особое назначение. Во-первых, жених должен привезти с собой «илиу» – то есть лошадь, верблюда, корову и несколько чапанов для родственников невесты. Затем следовали два второстепенных подарка «жиртыс», как бы в уплату за свидание с невестой и за то, что ее отдадут жениху. Для этого случая надлежало запастись девятью отрезами белой ткани «даба» и иными ценными товарами, так что Барбаро в уме прикидывал, что бы он мог предложить Туленды из своих торговых запасов. Венецианцу очень понравились выразительные и потешные названия, какими наделялись свадебные подарки. «Кыз-качар» означало «за увод девушки» (девять кусков шелка по аршину каждый), «кызку-чаткар» – «за объятие невесты» – опять же три или четыре аршина шелка, «кампыр ульде» – «старуха умерла», что вовсе поразило Барбаро, смутно ассоциируясь с устранением какой-то назойливой, соглядатайствующей старухи, - вроде испанской ворчливой и алчной дуэньи. Еще ему очень понравился подарок, именуемый «ит-ыр-ын-гыр», то есть «чтобы собака не ворчала», а также подарки «за уборку постели», «за то, чтобы поднять завесу, скрывающую невесту», «за свидание жениха и невесты в постели», «за то, чтобы жениху передали зов невесты». На все это требовалось много бархата, тонкой белой дабы, яркого сукна, алого атласа, и тут же за столом Барбаро удалось заключить значительную сделку. Он очень жалел, что не может больше оставаться в ауле, он спешил в Тану, а потому не увидит торжественного въезда Туленды в аул невесты и всех необычных и красочных обрядов, которые, наверное, этому сопутствуют и о которых



стоило бы потом рассказать у себя в Венеции.

Наутро он собрался в путь. Жумахан и Туленды проводили его верхом до околицы. Иосафат знал, что никогда больше их не увидит, но отъезжая, опять почувствовал незримые нити, которыми старик как бы оплетал его, и подумал, что если бы был помоложе, то, наверное, вскоре опять бы проделал далекий путь в эти края.

* * *

Внезапно Иосафату вспомнился названный его сын Ахмет, которого по старинному обычаю «отдал» ему друг, татарин Эдельмуг еще во время первого путешествия в Тану. И о том, как довольно недавно он узнал, что Ахмет стал важным сановником. В свое время Барбаро куда меньше задумывался о сути вещей и о загадочных и неразрывных связях между всем сущим, а потому названного своего сына так никогда больше не видел. А теперь ему приходилось иногда вести дела именно с помощью сановника Ахмета, которому он стыдился напомнить о существующей между ними связи.

«Кто бы мог подумать, что спустя тридцать пять лет, при крайней отдаленности обеих стран, встретятся вновь татарин и венецианец», – неторопливо записал Иосафат на плотном кремовом листе, на мгновение отринув видения. Пока он тщательно выводил буквы, вспомнил еще, как в 1455 году, на складе одного виноторговца, на Риальто, вдруг увидел двух невольников-татар, встреченных много лет назад в Каффе. Один был прислужником у того самого коммеркиария Кацадахута, который так завидовал Иосафатову рубину. Кто бы мог подумать тогда, что человек, приближенный к столь могущественному сановнику, ведающему налогами чуть не целой страны, окажется на Риальто, в подвале, в окопах... Барбаро освободил обоих невольников и с почестями отправил за свой счет в Тану, снабдив на дорогу всем необходимым и немалыми деньгами.

Поистине, сердце его прикипело к этой загадочной и влекущей стране. Видимо, поговорка, гласившая, что тот, кто попил воды из арыка, обязательно к нему вернется, не так уж необоснованна. «Расставаясь с кем-либо в предположении не возвращаться в те края, не следует забывать об оставшихся там друзьях, как будто никогда более не придется свидеться. Тысячи случайностей могут произойти, так что вновь придется с ними повстречаться, и очень может быть, что



тот, кто в силе, попросит помощи у того, кто был слаб и не в почете, безызвестный же человек может оказаться вознесенным на вершины славы и власти...» – задумчиво записал Барбаро на плотном кремовом листе.

Что-то в этом роде говорил, помнится, также и «господин миллион», которого все, в конце концов, посчитали помешанным, но прощали его странности из-за того, что к слову «господин» приросло слово «миллион».

Недосказанная история. – ...Пока Жумахан и Туленды молча сопровождали его, Барбаро еще ни о чем подобном не думал, а только чувствовал, что расстанется с этим краем неохотно и понимал, что потом часто будет о нем вспоминать, и как многие другие, наверное, не раз вознамерится вновь его посетить, но потянутся вереницей года, а с ними седины и недуги, и так останется в душе его некая несбыточная мечта...

Иосафат никогда больше не вернулся на берег лебединого озера. И никогда не услышал историю о свадебном платье Рабиги и об алых тюльпанах, полыхающих на склоне холма, потому что Жумахан так и не досказал ее венецианцу.

Что вовсе на значит, будто она осталась недосказанной.

Правда, Жумахан долго отдыхал и набирался сил, прежде чем почтил своим вниманием одного знатного путешественника, прибывшего волею судеб в эти края из далекой «столицы мира» – славного города Парижа. Парижанин и присутствовал на свадьбе Туленды с девушкой Жумагуль, на голове которой свадебный саукеле, украшенный совиными перьями, казался краденным. Но об этом речь позже. Потому что жизнь джигита состоит не из одних игр, поцелуев и свадеб, а вплетена тонкой нитью в причудливый узор, коим оборачивается нередко судьба степного края, что покоится под солнцем и ветром...

СВАДЬБА



Ангел с увядшей розой. – Господин де Риэнель проводил врача до двери спальни. Оставшись наедине, он уже не пытался скрыть охватившее его беспокойство и даже страх. Он хорошо помнил, как долго и мучительно умирала его сестренка.

Поездка в Петербург действительно была опрометчивой прихотью, и если бы не настояния закадычного его друга, молодого князя Вереницкого, Робер, при своем слабом здоровье, никогда бы не отважился отправиться на берега туманной Невы.

Впрочем, если уж говорить вовсе начистоту, видимо, дружба и не была здесь решающим фактором, и даже наверняка не была, потому что Вереницкий проиграл Роберу такую баснословную сумму во время своего пребывания в Париже, что Робер считал куда более надежным поехать в Петербург на правах друга, нежели ожидать – довольно эмпирически – уплаты долга при следующем приезде Вереницкого в Париж. Приезд этот мог затянуться надолго, князя только что срочно вызвали на родину в связи с болезнью тетушки, воспитанником и наследником которой тот считался. А болезнь, как известно, вещь загадочная и может тянуться бесконечно, или, наоборот, смерчем пронестись над человеком, так что он и опомниться не успеет – сразу очутится в фамильном склепе.

... «Очень, очень загадочная штука – болезнь», – вздохнул Робер.

Итак – чахотка. Вполне однозначный диагноз. Зачаточная форма, все еще поправимо, надо ехать на кумыс. Нет, вообразить себе только, специально за тридевять земель ехать в нелепой русской *kibitka*¹⁷, чтобы пить кобылье молоко! *Fi donc!*¹⁸

Однако фамильный склеп с печальным ангелом, держащим в руке увядшую розу, предстал перед Робером столь явственно, что в Петербургских салонах еще только-только поговаривали про «*се раувге Robert*»¹⁹ и про его «*malheureuse maladie de poitrine*»²⁰, как он уже успел встретиться со своим надменным кузеном, бароном Жоржем Мейендорфом, полковником генерального штаба, любимцем российского двора. Робер не любил Жоржа, считал его педантом, чинушей, сухарем и карьеристом, хотя и отдавал должное интереснейшим письмам, которые тот изредка посылал родне из далекой и загадочной *Tartarie*²¹. По письмам похоже было, что Жорж эту неведомую землю исколесил вдоль и поперек, находясь в составе посольства господина де Негри, отправленного в Бухару, в связи с тем, что «Россия все сделала, чтобы предотвратить насилия и грабеж, ареной которых так часто оказываются пустыни Туркестана. Опыт показал, что только сила является языком, коим надлежит объясняться с Киргизами», и потому он, барон Жорж де Мейендорф, в составе названной миссии и

в сопровождении 500 человек войска, 400 лошадей, 2 пушек, 15 войлочных юрт и нескольких бочек водки, не говоря о разной провизии и аммуниции, отправился в 1820 году «устанавливать мир и благоденствие в раздираемой распрями степи». Из писем его было ясно, что «несколько взводов выносливых пехотинцев», подкрепленных небольшим числом всадников, несколькими верблюдами и парой пушек, легко справятся с многотысячными ордами степных варваров. Роберу письма нравились, потому что похожи были на столь модные дневники путешествий и на приключенческие романы. Однако, к кузену Жоржу он не питал симпатии и, попав в Петербург, лишь мельком с ним виделся на каком-то рауте, а с родственным визитом ни за что бы к нему не пошел, если бы не тревожащий воображение печальный ангел с увядшей розой в руке...

Итак, Робер поспешно переговорил с Жоржем, тот вызвал к себе поляка Лалевича, давнишнего друга семьи Мейендорф, а, вернее, очень отдаленного ее родственника, и строго спросил у него, когда же, наконец, тот намерен отбыть в Оренбург, где ему, Лалевичу, быть надлежало безвыездно. Пусть Лалевич не забывает, что только благодаря связям самого Жоржа ему удастся негласно бывать в Петербурге, но что такие самовольства в конце концов для всех плохо кончатся. Пусть-ка немедленно отбудет в Оренбург, а чтобы не скучно было, захватит с собой кузена Робера. Да, да, того самого, с которым Лалевичу приходилось встречаться в Париже и Вене. Они с ним были дружны? Что ж, тем лучше. Роберу нужно полечиться, пусть Лалевич позаботится о достойном жилье и, главное, о кумысе для больного.

Этим участие Жоржа в судьбе парижского родственника исчерпалось, и все были очень довольны. Жорж отбыл родственную повинность, Лалевич легко отделался за очередную «самоволку», а Робер, вновь встретившись с другом, охотно поехал с ним пить этот проклятый кумыс.

За последние годы о Лалевиче Робер знал лишь то, что он попал в опалу, в Петербурге бывать ему запрещено, но что он появляется там нелегально, изредка опираясь на родство с обласканным при дворе Жоржем. Вообще же Лалевичу строжайше было предписано находиться в Оренбурге, где он выполнял какую-то синекуру, – перепись скота, налогов, населения, – Робер толком не знал, равно как и не знал, отчего это на баловня судьбы Лалевича свалилась беда – ссылка в

полулегендарную «Tartarie», на самом «bout du monde»²². Впрочем, поговаривали о каких-то стишках, о масонской ложе... но, боже мой, кто в эти времена не стремился попасть в масоны, если считал себя мало-мальски порядочным человеком! – размышлял Робер, обдумывая предстоящую поездку.

Кумыс и кадрили. – Все сделалось мгновенно. Через два месяца Робер уже был своим человеком в Оренбурге, он отваживался на далекие переезды как верхом, так и в пресловутой «kibitka», которая, впрочем, ему очень понравилась, а кумыс он описывал в письмах матери так восторженно, как вряд ли отзывался о лучших сортах шампанского. Впрочем, в этом он лгал. Кумыс ему не нравился. Он не мог привыкнуть к запаху и кислинке кобыльего молока, но с одной стороны надо же было – *que diable!*²³ – дать почувствовать парижанам, что такое экзотика, а с другой – поддержать мнение кузена Жоржа, который в одном из своих писем пространно писал, что «наиболее распространенным напитком у киргизов, обитающих в Тартарии, является кобылье молоко, перебродившее на кислом коровьем молоке. Летом киргизы употребляют такие количества кумыса, что отказываются порою от любой другой пищи. И не зря. Похоже, что кумыс очень полезен и сильно насыщает. Вот и господин Левшин, много попутешествовавший по этим краям, приводит в пример несколько человек, страдавших болезнью легких, которые полностью исцелились, исключительно с помощью кумыса. Вот что писал кузен Жорж в своих письмах, и не мог Робер опровергать столь выгодную для его собственной болезни версию!

Из Парижа ему писали ответные письма и с любопытством спрашивали, какие люди обитают в этих пустынях, какие там звери, какие растения, каковы обычаи, и правда ли, что там водятся колдуны и что восточные «charmes»²⁴ действительно так таинственны и всесильны, как утверждает «*se cher George*»²⁵, который писал о повериях и обрядах этих народов уж вовсе необычные вещи!

И Робер писал, что «charmes» и колдуны – вздор, а в Оренбурге на балах танцуют давно вышедшую из моды «quadrille blanche»²⁶, причем в допотопных платьях...

Кумыс он ездил пить к знакомому Лалевича, казаху, который жил недалеко от города. Ездил через каждые 2-3 дня и привозил с собой запас кумыса в кожаном казахском мешке – турсук. Робер мог бы

преспокойно посылать за кумысом своего камердинера Гастона, который свободно болтал по-русски – его дед побывал в 12-м году в России, а после окончания войны привез оттуда жену – Гастон всегда сопровождал своего хозяина в поездках и тоже вполне освоился в этих краях. Но Роберу была приятна езда верхом, он чувствовал небывалый прилив сил и все чаще навещался к знакомым Лалевича. Тут он, кстати, и увидел, как из кумыса готовят пьянящий напиток, о чем написал в Париж, очень довольный, что кузен Жорж упустил эту интересную деталь местного быта.

«Кумыс наливают в чугунный котел, который закрывают шкурой только что забитого барана. Поверх шкуры накладывают глину и оставляют только маленькое отверстие, через которое выходит конец железной трубки, погруженной в котел. Свободный конец трубки опускают в другой, пустой котел, который также тщательно закрывают, как и первый. Затем разжигают огонь и кумыс в чугунном котле закипает. Пар проходит через трубку, попадает в пустой холодный котел и там превращается в мутную и кислую жидкость, которую я сам не пробовал, но слышал, что вкус ее очень приятный. Что касается ее пьянящих свойств, то скотина Гастон упился до такой степени после двух небольших чашек, что я вез его обратно чуть не на себе!» – сообщил Робер матери.

Всякий раз, когда Робер приезжал в этот гостеприимный дом, его поили крепко заваренным чаем с комковым сахаром и медом по русскому обычаю, а иногда чаем особого приготовления, который нравился ему куда больше кумыса.

«Калмыцкий чай, а я именно о нем говорю, – сообщил Робер в очередном письме, – известен также под названием плиточного чая и изготавливается в северном Китае из листиков дикорастущего деревца, похожего на дику южную вишню. Итак, сперва листики ошпаривают кипятком. Затем их увлажняют сывороткой, отделяющейся из бараньей крови, лепят из этой массы небольшие «кирпичики», или большие плитки и, заложив в специальные формы, сушат в чуть теплой печи. Этот так называемый калмыцкий чай употребляют малосостоятельные люди, но, узнав, что он мне пришелся по вкусу, мои новые друзья угощают меня именно этим сортом. Я видел, как заваривают такой чай. Сперва отламывают кусочек плитки, размельчают и хорошенько кипятят в медной посуде, залив предварительно холодной водой. Весь

секрет в том, что сперва в воде растворяют кусочек «кужира» – это род соли, который образуется в степи вследствие выветривания почвы и состоит из смеси каустической соды и сульфата едкого натра. В тщательно вскипяченный чай бросают сливочное масло, немного бараньего сала и щепотку муки. Получается напиток, напоминающий по цвету кофе с молоком. Мои друзья утверждают, что всем приезжающим в эти края из Европы такой чай кажется невкусным, кислым и даже противным, но народы Средней Азии предпочитают именно его. Я вполне с ними согласен. А сейчас я вас удивлю. Оказывается, наш дорогой Жорж, хотя и побывал в Хиве, но вовсе не заметил, что хивинцы очень любят разные специи и добавляют в чай шарики душистого перца и гвоздику. Но это бы ничего. Жорж, который так вникал в тонкости быта народов степи, никогда ничего не писал о том, что киргизы и прочие народы этих краев часто пьют вместо чая настой из смеси листьев нескольких растений. Не претендуя на ученость, я записал латинские названия этих растений, узнав их у местного грамотея – учителя словесности, человека, попавшего в Оренбург, видно, по причине тех же обстоятельств, что бедный Лалевич. Итак, шлю рецепт:

Saxifraga crassifolia
Tamarisc germanica
Potentilla rupestris et fruticosa
Glycyrrhiza hirsuta
Polipodium fragrans

Ко всему этому добавляют листики и корешки особого растения, которое называется sangvisorba. Предоставляю вам, мои дорогие, обратиться к знакомым ботаникам и, попивая этот экзотический чай, расшифровывать предложенный мною ребус. Но предупреждаю, я сам его не пробовал, а здесь его пьют только бедняки, которым не хватает средств, чтобы купить плиточный китайский чай, так что будьте осторожны!»

Восточные charmes²⁷. – Однажды, в доме своих казахских друзей Робер познакомился с неким «презанным» стариком (он так и написал в письме), который слыл сказителем и певцом, и про которого болтали, будто он именно и знает те таинственные «charmes», коими

испокон веков славился Восток. Робер был о нем наслышан и представлял себе его таким Али-Баба в тяжелой зеленой чалме и парчовом халате. Но – ничего подобного!

Жумахан оказался совершенно непримечательным стариком в стеганом бархатном одеянии, именуемом «charap»²⁸, правда, отороченным не больше не меньше, чем блестящей коричневой норкой, «du vtaie vison, mon cher!»²⁹ – писал Робер другу своему Вереницкому в Петербург.

Жумахан поздоровался с Робером учтиво, но не встав с места. Он сидел на высоком резном кресле – у казахских друзей Робера вся обстановка была наилучшего качества. Хотя и далеко не по последней моде, но вполне европейская, на уровне хороших светских стандартов, – отмечал про себя Робер, всегда поражаясь необычной добротности всего убранства этого дома, словно рассчитанного на сто поколений вперед!

Жумахан спросил у Робера (через Гастона), давно ли он, Робер, болен – видно, ему рассказали, что Робер приезжает сюда пить кумыс с лечебной целью. Все же Робер спросил старика (опять же через Гастона), как это старик догадался о его болезни. Но тот только усмехнулся.

– Он спросил, ваше сиятельство, – бойко перевел Гастон, – до какого поколения можете вы проследить своих предков, страдавших этой болезнью, и часто ли роднились ваши предки между собой. Он очень свободно говорит по-русски! – изумился Гастон. – И еще он сказал, что как-то видел в степи барона Жоржа и что он очень на вас похож, так не приходите ли вы ему родственником.

Так и завязалась (через Гастона) оживленная беседа между Робером и стариком. На вопрос, сколько ему лет, старик ответил, что память человеческая – самое сильное и самое слабое из всего сущего под солнцем, а потому он не может назвать своего возраста. Он помнит себя с таких давних пор, что точно вспомнить число зим и весен, сменивших друг друга за долгую его жизнь, он просто не в силах.

Говоря, он глядел Роберу прямо в лицо, и Робер ощутил странное оцепенение и почему-то увидел оранжево-бурую равнину, а над ней мутноватое серо-желтое марево, и услышал сухой шелест, и понял, что видит пустыню.

Старик отвел глаза от лица Робера и рассмеялся. Морщинки у глаз пошли у него добрыми густыми лучиками.

- Послушай, сын мой, - сказал он Роберу. - Не верь тому лекарю, что сделал тебя мертвецом, объявив тебе, что человек смертен. Знаешь что? Поедем со мной в один аул, тут неподалеку. Скоро у нас свадьба. Я думаю, тебе будет интересно побывать у нас.

- А как же лечение? - спросил Робер.

- Ну, это смотря, что ты называешь лечением? - усмехнулся старик. - И еще вот что я тебе скажу. Если ты никогда не видел крови на песке, ненависти мужчины, мести женщины, если ты никогда не слышал, как поют пески и как шелестят по ночам голоса тех, что покоятся в гробницах, - ты вечно будешь ощущать себя смертным и никогда не вылечишься от недуга. Так что я очень советую тебе принять мое приглашение. К тому же у нас вдоволь кумыса, вечера пахнут полынью, и как раз самая пора, когда начинают цвести тюльпаны на склонах холмов. Возможно также, что ты окажешься свидетелем одной небезынтересной истории, которая началась очень давно. Я думаю, лет четыреста, если не более, тому назад. Так что сейчас как раз самое время ей разрешиться, - слово в слово перевел Гастон.

- Он не сумасшедший? - спросил Робер, торопливо добавив: - «Это не перевод!»

- Нет, я говорю тебе чистую правду, - лукаво улыбнулся старик, словно свободно читал в душе Робера и потешался над его сомнениями. - Как ты стар, сын мой! О, провидение, как ты непозволительно стар! - усмехнулся он. - Ты ничему не веришь, кроме того, что ты смертен, смертен, смертен! Тебе не скучно жить, все время пребывая в уверенности близкой кончины? Сколько ты считаешь прожить?

- Ну, мне хотелось бы прожить хотя бы еще... - Робер быстро прикинул в уме, на сколько блистательной жизни в Париже хватило бы ему собственного состояния и того, на которое он мог твердо рассчитывать после смерти двух своих бездетных кузенов, и более или менее уверенно ответил, - ...лет пятьдесят.

- И всего-то? - рассмеялся старик. - Ну и стар же ты, ох как же ты стар, если уже сейчас так устал от жизни, что тебе за глаза хватит жалкой полсотни лет! Нет, конечно же, тебе надо принять мое приглашение, иначе твой Петербургский лекарь слишком зазнается, поверив в непогрешимость своей мудрости!

Робер и сам не знал, как это получилось, но он действительно очутился в ауле старого Жумахана. Что он там видел, он описал впоследствии в очень обстоятельных мемуарах, которые любезно предоставил одному маститому парижскому ученому, специалисту по Востоку, и тот присовокупил небольшую часть его наблюдений к точным, сухим, мало благожелательным реляциям кузена Жоржа де Мейендорфа, участника экспедиции 1820 года в закаспийские степи, Хиву и Бухару. В результате маститый ученый составил обширный и ценный труд, в который вошли также записи многих русских ученых, путешественников и царских сановников, так что в «Истории Тартарии» справедливо вынесена благодарность «господам Левшину, Муравьеву, Ханикову, Назарову и другим». Под названием же «Тартария» автор этого труда подразумевал, как он и сообщает в тексте, «весь обширный край, что начинается за Уралом и за Каспийским морем и тянется далеко к Востоку...»

Однако, описания эти доступны каждому, и потому нет нужды повторять здесь то, что писал маститый ученый, опираясь на записи Жоржа де Мейендорфа в 40-х годах позапрошлого века.

Не об этом пели и поют пески в том просторном крае. Не эти скупые и часто неточные данные занесены рукою времен на обширных скрижалях степи.

Попросив степь поласковее, можно, пожалуй, услышать, как она на свой лад расскажет о заболевшем чахоткой парижанине Робере, принявшем приглашение одного диковинного старика, память о коем равно хранится по сей день у развалин древнего Отрара, у звонкой реки Лепсы и у Балхашского озера, а также у Ак-Мечети, что ныне именуется Кызыл-Ордой, и еще во многих иных городах и селениях, и у многих рек, холмов и озер, и чуть не по всему краю, лежащему за Уральским хребтом и за морем Каспийским.

Итак, Робер прибыл в аул на берегу речки Лепсы и как-то поутру услышал некую песнь, которую поет река только для избранных. И когда рассказал об этом старику Жумахану, тот ответил ему:

- Это ты услышал звенящую душу Лепсы. Ликуй! По-моему, петербургскому лекарю стоило бы беспокоиться о своем дальнейшем благополучии. В твоём случае он ошибся. По-моему, исцеление твоё близко.

В таких примерно словах передал Гастон речи старика Роберу, и от себя с уверенностью добавил: «Он, ваше сиятельство, вещий

старик. Если уж говорит, что выздоровеете, значит, чувствует, что от вас земель не пахнет. А то если кому вскоре суждено помереть, так от того обязательно земель несет. Это моя бабка всегда говорила».

- А тюльпаны, - спросил Робер у старика, - ты обещал показать тюльпаны, ты же сказал, что и они тоже входят в программу лечения.

- Тюльпанам еще не время цвести — события пока не созрели, сперва будет свадьба, а потом уж ее последствия. Терпение, сын мой, терпение. Помни, торопиться тебе не к чему, ведь, в сущности, ты бессмертен.

Робер и действительно никуда не торопился. В ауле ему нравилось. Как и писал кузен Жорж, многое казалось здесь необычным, но Робер никак не испытывал ту скрытую и высокомерную раздраженность, которая угадывалась в холодных, беспристрастных записках барона.

Свадьба, о которой поминал старик, состоялась вскоре. Поскольку Робер ни с кем в ауле не был близко знаком, то старик Жумахан заранее показал ему жениха, которого назвал своим подопечным и сообщил его имя, Туленды, пояснив, что оно означает - «Заплачено сполна».

Степной Вертер. — Юноша очень Жоржу понравился. Он был сдержан, слегка высокомерен, как бы настороже, движения его были гибки и непринужденны. Робер не понимал, что говорит Туленды (тот говорил на казахском, в котором Гастон был также несведущ, как и его хозяин), - но голос юноши показался Роберу приятным, а также показалось ему, что во всем облике Туленды было нечто загадочное, скрытая печаль, разочарованность, словом, что-то, роднившее его с героями романов, которыми зачитывались последние двадцать лет все столицы Европы.

- Вертер-не Вертер, - оценивал юношу Робер, - Чайльд Гарольд? Нет, право, что за странные мысли приходят мне в голову нынче! — изумился он. — Это все старик. Когда он рядом, черт знает, какая нелепица приходит на ум!

Вскоре старик показал ему невесту Туленды, девушку Жумагуль из соседнего аула, и при виде ее Робер отчасти согласился с Жоржем, который писал, что «киргизские женщины лишены какого-либо обаяния, они черноволосы, с очень узким разрезом глаз, с очень выступающими скулами». А взглянув в глаза девушки Жумагуль, он мысленно

добавил к оценке кузена Жоржа, что «глаза у киргизок не только очень блестящи и задорны, но, порою, горит в них недобрый и злоедающий огонек».

Старик показал Роберу еще одну девушку. Впрочем, он мог бы ее и не показывать. Робер и так бы безошибочно ее заметил. Нет, кузен Жорж очень, очень ошибался, когда писал, что киргизские женщины вовсе не привлекательны! У этой девушки Робер не увидел бровей и ресниц, окрашенных сурмой, серебряного колечка, продетого в ноздрю, ногтей, окрашенных рыжеватой хной. Нет, никаких косметических ухищрений, о которых писал Жорж, этой девушке не требовалось. Она походила на дивную перс, изображенную на персидской миниатюре, вделанной в перламутровый браслет матери Робера. И лучше бы старик не показывал ему эту девушку. Тем более, что все получилось потом так печально. Но это уже случилось позднее. После свадьбы.

Свадьба была необыкновенная и все, что Робер увидел, казалось ему сказочным представлением, и он все время очень радовался, что некогда, вопреки предостережениям матери, взял себе в камердинеры расторопного Гастона «se demi-russe»³⁰, который теперь так отлично переводил ему на французский все, что опять-таки переводил с казахского на русский старик Жумахан.

Однако, все по порядку.

Перед свадьбой старик сообщил Роберу («как программу перед спектаклем», - подумал Робер) подоплеку этой свадьбы.

С помощью неумолимого толмача Гастона, Робер узнал, что Туленды — удалой джигит и обладает всеми восемью добродетелями «сегыз кырлы, бер серлы», которые составляют восемь граней рыцарственной души. К тому же он сын бия Орынбая и наследный владелец тысячного табуна отборных коней. Что не мешало ему издавна, чуть не с самого детства глубоко и безнадежно любить своеюравную красавицу Рабигу, которую Робер давеча видел. У Рабиги, помимо множества бесспорных качеств, было два существенных недостатка: гордое и недоброе сердце, а также плохое происхождение. Впрочем, недостатки эти, по мнению Жумахана, находились в самой тесной и естественной связи между собой. Будь Рабига дочерью хана, возможно, ей ни к чему была бы столь непомерная гордость и столь безумное своеобразие, ибо не было бы нужды огорчивать себя такой

колочей изгородью высокомерия «от каждого всякого и на каждом шагу» – присовокупил от себя Гастон, и еще добавил ряд собственных соображений относительно того, что бедной девушке везде и всегда приходится пуще всего беречь единственное достояние – гордость и девичью честь. А также преследовать единую цель – удачно выйти замуж!

Так или иначе, но Туленды безнадежно любил Рабигу. Безнадежно оттого, что ни на какую мимолетную благосклонность со стороны столь гордой девушки он не мог рассчитывать, а жениться на ней... Как мог он жениться на этой девушке, когда она была дочерью человека прошлого, который долго прожил в ауле, но так и остался пришлым – «керме», и не пустил глубоких корней на берегу звонкой Лепсы.

Любила ли Рабига наследника тысячного табуна отборных коней, обладавшего всеми рыцарственными добродетелями? Вот уж о чем никто ничего не мог сказать наверняка. Да и какое это имело значение, если еще при рождении Туленды высокомерный Орынбай рассудил все по-своему. Он твердо знал, что когда наступит пора женить сына, свадьба в ауле будет греметь не менее чем полмесяца, но отнюдь не Рабигу видел он в своем воображении, в расшитом золотом и украшенном совиными перьями свадебном саукеле, рядом с сыном своим Туленды, а девушку Жумагуль из богатого и знатного рода. Ибо был Орынбай человеком «дение коныз»³¹, а к старости, потеряв свою любимую молодую жену, умершую при родах Туленды, и вовсе стал как навозный жук – всю свою жизнь катил перед собой невидимый и тяжкий шарик условностей и бессмысленного скопидомства. Нет, не Рабигу, и даже не Жумагуль видел он рядом со своим сыном Туленды, а двенадцатистворчатую юрту, знаменитую во всей округе отару и арабских скакунов отца невесты.

Все это нисколько Робера не удивило и казалось ему в порядке вещей, скорее удивил бы его обратный ход событий.

- Испокоен веков свадьбы устраивают родители, а рождаются не жены с мужьями, а состояние с состоянием! – вздохнул толмачествующий Гастон. - Все точно как у нас, даже скучно, ваше сиятельство, право!

По мнению Жоржа тоже выходило, что и здесь браки устраиваются совершенно по тем же канонам, что и в Париже, и ему было даже досадно, что в ауле, расположенном «на краю земли», все идет так ужасающе «comme il faut»³².

Степные bout-rimes³³. – Свадьба состоялась по всем правилам. Сперва Туленды отправился с девятью товарищами на свидание с невестой – «калымдык уйнамак». Дружки жениха называются «коччи». Робер с великим тщанием записывал казахские слова, названия обрядов, их значение, понимая, какой сенсацией станет столь подробное описание казахской свадьбы в Петербурге, Париже или Вене.

Подружкам невесты жених кланяется так низко, что пальцы касаются носков сапог, а затем медленно выпрямляется, ведя руками по сапогам до колен. Подруги-советчицы достойны самого глубокого уважения и лести. Почтительный поклон, «таджим», превратит их в союзниц жениха. Робер записывает, переспрашивает у Жумахана казахские слова, тормошит Гастона: «что? что они сейчас говорят? пусть старик переведет, чего ты зеваешь?»

«Жених заключает с подружками невесты надежный союз, который закрепляет дополнительными подарками, «чатырбай-казы». Вечером следует угощение с одноаульцами, всем очень весело, но жених все еще не встретился с невестой. Ее увели и спрятали у себя друзья семьи», - повествует Жумахан. Так что Роберу не удастся прикинуть, прибавилось ли обаяния у мало симпатичной ему Жумагуль, когда она стала, наконец, признанной невестой, - хохотнул старик, - он ведь не ошибается, Робер именно об этом думал сейчас, не так ли?

Еще Робер узнал, что, по обычаю, жених пребывает не в самом ауле, а где-нибудь на расстоянии полу-версты от него. В зарослях тальника на берегу Лепсы Туленды поставил шатер, где и оставался весь вечер. Заметно было, что никаких попыток нарушить традиции, чтобы поскорее увидеть свою невесту, он не предпринимал.

Робер и Гастон провели весь вечер вместе с Жумаханом, в обществе мужчин, осаждавших странное сооружение, похожее на плетеную беседку. Оказалось, что это остов юрты, с которой сняли войлочный покров, плетенные соломенные завесы «чий» и украшавшие внутреннюю часть ковра. В этой «кошелке» сидели женщины и девушки, и состязались в остроумии с мужчинами, сидящими по ту сторону деревянной решетки.

Робер не мог, конечно, проследить за быстрыми репликами, которые так и сыпались с той и другой стороны. Кое-что он успел записать. Он думал, что это заранее выученные традиционные диалоги. На следующий день старик Жумахан пересказал ему то, что удалось

запомнить из вчерашней шуточной перепалки, и то, что пришлось ему услышать на несметных вечерах такого рода, на которых он присутствовал многожды в течение бесчисленных столетий. С его помощью, через посредство толмаческого Гастонова дара, Робер записал следующее:

- Кому отдала ты сердце свое, уточка сизокрылая? К кому прилетела с синего озера, свет очей моих, зрачок моего глаза? Мой друг говорит: вот она! И душа моя парит как сокол на широких крыльях, - поет парень.

- Что делать мне и как мне быть? Аул твой так далек! Бессильна я, при мысли о тебе душа моя в печали! - отвечает девушка.

- О, красавица в алом платье! Серебряная пуговка у горла твоего для каждого из нас да станет вдруг святыней! Но что бы стала делать, гордыня из гордынь, если б любимый о свидании забыл? - подначивает парень.

- Джигит свиданья не пропустит, и нет препятствий для него! Ведь даже мне, «дорожке узкой» (обозначение женщины), река не стала на пути! А коль ты не джигит, - к чему тогда беседа? - смеется девушка.

- Испробуй пыл моей души и удаль сердца! - молит парень. - Дай лодочки-подвески из ушей - переплыву любую реку.

- Подвески из ушей, скажите! - возмущается девушка. - Коль ты джигит, пройдешь по волнам как по суше и обретешь меня на берегу! Коль пустозвон - иди ко дну, туда тебе дорога!

- Жестокая! Когда уйдет аул твой далеко, я золотую кисть надену, как на праздник. Другую девушку, красивее тебя найду, и полюблю, и хвастовство твое забуду! - ожесточился парень.

- Ох, не смей! Проплпю три жизни я и сна такого не увижу, чтоб девушку ты лучше повстречал, иль пожелал другую. Ты беркут без полета, коль нет меня с тобой, но мне-то ты не нужен! - обиделась девушка.

Оказалось, что от молодежи не отставали почтенные отцы и матери семейства. Оказалось, что поэтический дар и способность к импровизации - врожденное свойство народа, и что сто, двести, пятьсот лет тому назад - по крайней мере, так утверждал Жумахан - любой мужчина и любая женщина также легко сочиняли стишки и песни, как вчера вечером, никогда не повторяя друг друга, постоянно варьируя основные мотивы традиционных тем. Робер слушал, записывал, и слушал.

- Значит так, ваше сиятельство, - продолжал переводить Гастон, - старики тоже это могут, стишками переговариваться. Вроде как у нас, когда господа и дамы играют в буриме.

Робер усмехнулся. Вот ведь! Гастон прислушивается к тому, как его друзья на интимных вечерах играют в увлекательное сочинительство, покорившее все салоны.

Итак, «не забыто стариками искусство словесных турниров, никогда, видно, не иссякает в их душе живой родник поэзии», - записывает Робер.

- Пицца без соли - наказание для неба, - заводит «бой» маститый карасакал, то есть зрелый мужчина, у которого борода еще не поседела; (карасакал означает чернобородый - поясняет Робер в своей записи), - песни любви про прошлогоднее сено - велика ли в них радость? А спеть бы я мог, окажись предо мною не ты, а девица-краса!

- Расхвастался как спьяну! - поддразнивает ровесника отцветшая красавица. - Нет в пляске старого верблюда приятности для глаз, как нет тепла в истертой кошме!

- Ох, зависть, зависть мучает тебя! - возражает карасакал. - Но ничего, девицам не завидуй, ты подойди поближе, поласковой взгляни, - в глаза твои еще и можно бы влюбиться!

- Ой, нет! Курнос ты и косишь! Зачем глядеть в изрытое оспинами лицо! Твое окно намного ниже глаз моих - не встретиться нам взором, а девушкам стихи и песни старика - одна докука. Пойди к собакам, с ними кости погрызи. Но сохранил ли ты клыки? - парирует ровесница пожилого джигита.

- Напраслину ты взводишь на меня! - обижается престарелый удалец. - Ведь старый беркут крепко держится когтистой лапой за шесток и сколько раз еще слетает в поднебесье, и сколько уток сизокрылых принесет!

- Ровесник мой! Ну что хвалиться! Ведь нет уж прежней силы у тебя, и память уж не та, и зубы желты стали, и ешь ты, чмокая, да и глотать не можешь! - не сдается партнерша.

- Что ж, кто тебя здесь держит? - выходит, наконец из себя пожилой бард. - Иди домой, целуйся с старым мужем. И веки красны, и глаза тусклы, а нет, туда же, приехала на праздник песни петь!..

Красная лисица. - Записав самым тщательным образом все эти импровизации, Робер еще раз переспросил Жумахана, так ли понял

все произошедшее вчера, смысл обрядов, последовательность, а также правильно ли он записал казахские названия предметов, еды, подарков, деталей одежды. И Жумахан подтвердил, что Жумагуль действительно сидела во время веселой пирушки, следовавшей за словесным турниром гостей, в юрте соседей, и что за это, а также за устроенную пирушку, соседи получили от отца Жумагуль богатый подарок кыз-кошар, что означает «за увод невесты». И еще Жумахан подтвердил, что Робер не ошибся вчера, когда ему показалось, что Туленды слишком быстро удалился из отделенной кошмами половины юрты, где ему, по обычаю, полагалось провести вместе с невестой столько времени, сколько он сам захотел бы. Он мог пробыть там три или четыре дня, но уже на рассвете Туленды тихонько пробрался в шатер на берегу Лепсы, а наутро ускакал в свой аул.

Жумахан рассказал Роберу, что вообще Туленды следовало бы посетить свою невесту несколько раз. Ну хотя бы еще разок, недели через две-три после этого вечера. Но, что насколько он, Жумахан, может представить дальнейший ход вещей, Туленды под благовидным предлогом сократит эту часть свадебного этикета и через некоторое время поедет за Жумагуль как за женой, чтобы раз навсегда покончить с мучительным для него обрядом.

Через недолгое время Жумахан пригласил с собою Робера сопровождать Туленды в аул невесты. Предстояло увезти Жумагуль и старик загадочно сказал Туленды, что иной раз даже самые мудрые пословицы оказываются несостоятельными, и что Туленды сможет это проверить на деле. Робер, который уже не удивлялся образным речам старика, все-таки переспросил, о какой пословице идет речь, и Жумахан сказал:

- «Заманын тулки болса, тазы болып шал, - и тут же перевел. - Если уж жизнь стала лисицей, то гонись за ней как борзая». Борзые очень быстроноги и часто догоняют лисиц. Однако, не всегда, далеко не всегда...

В этот приезд Туленды привез с собой ритуальные подарки «скютакы» (плата за молоко, то есть благодарность матери, вскормившей Жумагуль), «жиргыс» (подарок отцу невесты), «отау-жабар» (покрытие для юрты), «моин-гастор» (подарок женщинам за то, что они исполняют «обряд шейной кости») и им же «ирге-тебер», то есть подарок за то, что они будут нашивать узоры из кошмы на новую юрту молодых.

И опять же Туленды остановился за полверсты от аула и снова раскинул шатер. Робер спросил, можно ли остаться с ним. Туленды кивнул: можно. Вскоре приехали женщины из аула с угощением для гостей. Одна из женщин поставила перед Туленды чашку «кисе» и налила в нее кумысу. Затем спрятала руку в длинный рукав нарядного лилового платья и тихонько пододвинула чашку к жениху. Туленды, по обычаю, тоже спрятал руку в рукав и потянулся за чашкой, но женщина ее отодвинула. Только на третий раз Туленды получил кумыс из ее рук.

Вечером жениху надлежало тайком проследовать в юрту невесты по приглашению прибывшей из аула свахи. Туленды пошел за женщиной, но вернулся не на рассвете, как можно было ожидать, а через пару часов. Робер очень сомневался, выполнил ли Туленды эту часть обряда.

На следующее утро в ауле нашивали узоры из кошмы на свадебную юрту. Потом позвали одну из женщин, которая, как объяснил Гастон со слов Жумахана, была очень счастлива в браке, а потому именно ей полагалось поднять завесу юрты, чтобы в ней счастье прочно вило свое гнездо. Во время этой процедуры Жумахан невесело усмехнулся и Робер понял, что счастье недолго в этой юрте погостит.

Затем последовало угощение. Закололи подаренных Туленды барана и жеребенка. После пира одна из женщин подала Туленды обглоданную косточку бараньего шейного позвонка. Косточка была обвязана белым лоскутом шелка. Тут Жумахан встал из-за низенького круглого столика «достархана» и обратился к гостю. Гастон переводил:

- Ваше сиятельство, он говорит, что поскольку здесь присутствует знатный гость-чужеземец, то не вспомнить ли о древнейшем обычае, который сейчас уже не в ходу, но наверняка никак не повредит молодым. Сейчас, ваше сиятельство, они принесут все, что для этого требуется.

И тут же принесли три тонких курительных свечки, кусочек масла и кусочек сала. Позвонку жеребенка смазали маслом и салом и поставили в него свечки. Затем Жумахан взял в руку позвонку и негромко, но очень четко произносил слова, не то пел, не то рассказывал. Робер вновь почувствовал то странное оцепенение, которое охватило его при первой встрече со стариком, и пока Гастон переводил странные его

слова, все время видел дымящийся костер, а позвонок казался ему оправленным в серебро.

- Из северной страны прибыл позвонок, - переводил Гастон, - золотом, серебром украшенный позвонок и маслом смазанный позвонок, пришедший из южной стороны! Там, где ожидается, да родится бурый теленок. Где был убит бык, да родится пестрый теленок. То, что изрублено топором, пусть станет стадом. Хозяин дома да будет белым как молоко!

Затем Жумахан передал позвонок Туленды и тот неловко бросил его через верхнее отверстие юрты, именуемое чанарек, чтобы дым всегда исправно выходил через это отверстие и воздух в юрте был чистым. Косточка стукнулась о свод потолка и упала на середину стола. Все засмеялись, а Туленды что-то учтиво сказал соседям по столу и вышел из юрты.

За ним следом вышли две молодые женщины. Роберу померещилось, что, дойдя до выхода, одна резко свернула в сторону, а вместо нее второй оказалась откуда-то, словно с небес слетевшая, Рабига.

- Красная лисица седлает зловещего синего коня, догоняй, догоняй, борзая! – вздохнул Жумахан, а Гастон добавил еще от себя, что, видимо, у старика все-таки что-то путается в мыслях. Может, от старости, а, может, слишком много кумыса выпил.

Вскоре все вышли из юрты и Робер увидел, что те две женщины, которые поднялись из-за стола вместе с Туленды, нарядились в богатые и причудливые наряды и обе сели на коней. Одна из них одела свадебный наряд невесты, и села на свадебного коня.

Свадебный наряд невесты порастил Робера великолепием. Опушенный выдрой и крытый красным сукном конусообразный головной убор «саукеле», к тому же расшит был золотыми и серебряными блестками, жемчугом и кораллом. На лицо спускались жемчужные нити в виде плетенки. Плетенка плотно скрывала лицо – не разглядеть. На верхушке переливался пучок павлиньих перьев, с него свисали нити жемчуга и кораллов, на кончике колыхались маленькие пучки филиновых перьев «уке» – на счастье. Свадебный камзол из китайского шелкового манька, затканного серебром и золотом, отороченный по краям соболем, туго обтягивал чем-то очень знакомый Роберу тонкий стан...

Седло свадебного коня расшито было шелками. Попона из красного сукна, обшитая золотой бахромой и одетая поверх головы, на уши

лошади, спускалась на лоб углом между глаз. Над ушами – опять-таки пучки филиновых перьев. Конь повиновался наезднице на диво, - «настоящая всадница!» – подумал Робер и ему почудилось, что девушку на коне, вот эту самую девушку, он уже как-то видел, и что она поразила его своей хваткой прирожденной наездницы. Но ничего этого не могло быть и Робер лишь глядел вслед женщинам, что проехали по всему аулу, приглашая на свадьбу, а потом поскакали в соседний аул.

- Поедем и мы, - сказал Жумахан, - каждый год наступает пора равноденствия, в каждом событии есть миг равновесия, на мгновение борзая чует красную лисицу у самых своих ноздрей.

Поехали. Жумахан свернул куда-то вбок от дороги и Робер с Гастоном последовали за ним.

Вспоминая через много лет то, что случилось потом, Робер так и не мог бы сказать, привиделся ли ему сон, или в самом деле перед ними вдруг появились те женщины. Видимо, они уже возвращались из соседнего аула, успев и там тоже пригласить всех на свадьбу.

На одном из коней, приподняв жемчужную плетенку, спускающуюся на лицо, сидела великолепная темно-рыжая лиса. Робер вздрогнул и протер глаза, онемев от ужаса. И вдруг увидел, что под увенчанным павлиньими перьями саукеле, в расшитом серебром и золотом парчовом камзоле вовсе не незнакомая ему, Роберу, женщина, а сама Рабига. Только лицо ее было чересчур светлое, словно с голубизной, а глаза мутны и без блеска.

- Красная лисица! О, se maudit renard rouge!³⁴ – воскликнул Робер и покачнувшись в седле. Гастон его поддержал и завокнулся:

- Вот, видите, ваше сиятельство, и вовсе это не барское занятие шагать по татарским свадьбам! Да еще при вашем здоровье! Представляю, что бы сказала *madame votre mere*³⁵, если бы увидела вас здесь!

И тут, откуда-то появился Туленды, который при виде Робера и его спутников поспешно юркнул в свой шатер на берегу реки, благо, встречались они именно на этом месте. Впрочем, почему-то именно здесь, чуть не у шатра повстречались и те женщины, одна из коих - можно поклониться! - была Рабига. Невидимое, паутинное, волшебство тянулось от того голубовато-бледного лица под жемчужной плетенкой к смущенному, запыхавшемуся Туленды, словно досадно опаздывавшему на самое желанное свидание. Так, во всяком случае, почудилось Роберу.

- Что с тобой, сын мой? - сказал Жумахан. И хотя Гастон ничего уже не переводил, Робер отлично понял, что старик пояснил ему: «Красная

лисица спешила туда, где обильный корм. А борзая опоздала. Равновесие минуло. Но женщины быстро справились с задачей, не правда ли?»

... Итак, свадьба отгремела. Туленды сделал родителям Жумагуль почтительный поклон «таджим» и получил в подарок роскошный чапан.

Показали приданное Жумагуль, состоящее из традиционных «девятик»: девять коров, девять камзолов, девять стеганых шуб на лисьем меху, девять парчовых платьев. Но не по девяти, а по девяти штук перечисленного, и еще многое другое входило в истинно ханские «девятики» Жумагуль. Отец Туленды, старый бий Орынбай, мог испытывать полное удовлетворение.

Перед юртой ждал оседланный свадебный конь, тот самый, которого видел вчера Робер. За ушами его чуть колыхались под легчайшим утренним ветерком филиновы перья и Робер подумал, что, видимо, не зря такие перья считаются «счастливыми». Филин – птица мудрая, прозорливая, глаза ее велики, так что видит она много больше, чем дано другим птицам. Видно, филин – признанный птичий советчик, а потому перья его считаются здесь верным талисманом от всякого зла, сглаза и наветов врага.

Принесут ли они счастье Жумагуль, чей свадебный наряд, похоже, примеряла на себя вчера красная лисица, лишь ожидая, чтобы желанная борзая ее нагнала. Борзая, которая слишком замешкалась... - подумал Робер.

А между тем, на верблюдов погрузили приданное Жумагуль и новую юрту, где предстояло поселиться Туленды, его жене, а также счастью, заранее заказанному у рока мудрыми родителями обоих.

Жумагуль в последний раз обняла родителей, над ее головой провели кусочком мяса, завернутым в шелковый лоскут, и внесли его обратно в юрту.

- Чтобы с ней вместе не ушло счастье из этого дома, - перевел Гастон, - и чтобы у них всегда было благосостояние и мясо для гостей не переводилось.

Менестрели. – В ожидании выхода Жумагуль из отчего дома молодежь веселилась на свой лад. Снова звучали стихи и мадригалы, которые, как потом оценил Робер, не посрамили бы менестрелей европейского средневековья.

В юрте сидели девушки. Молодые удалыцы подъезжали на конях к самым стенкам юрты и заводили песни. Каждый точно знал, что там, за кошмами, находится его «бийкем», что означает княжна, и для нее слагал свои стихи. Девушки узнавали голос возлюбленных и отвечали им не менее поэтично. Робер тщательнейшим образом записал со слов Жумахана и с помощью неутомимого Гастона романтический дуэт, веками звучавший в казахской степи:

*Золотит небо рассвет, моя бийкем,
Исхло от тоски мое сердце, бийкем!
Не бойся покинуть отца своего,
В новом доме будет у тебя добрый свекор, жар-жар!
Не сокрушайся, что останется здесь мать,
Там будет у тебя свекровь, жар-жар! –*

поёт-уговаривает влюбленный.

*Разве сравнится лучший мой свекр
С вскормившим меня отцом!
Нет, не сравнится, жар-жар!
И разве заменит ласковая свекровь
Вскормившую меня любимую мать?
Нет, не заменит, жар-жар! –*

отвечает девушка.

*Как в ноге есть чашка и бабка,
Так у царя в голове не один ум – а сорок.
Не сокрушайся о старшем брате, бийкем,
В новой семье будет деверь, жар-жар!
И младшего брата заменит твой деверь, жар-жар! –*

звучит голос парня.

*Хоть и добрым будет мой деверь,
Но разве ласков, как старший мой брат, жар-жар?*

*Хоть и ласков будет мой деверь,
Но младший мой брат – как крылатый конек, жар-жар! –*

вторит девушка.

*Хорошая золовка заменит тебе младшую сестру, жар-жар!
Не тоскуй о невестке, там ждет тебя милая сноха, жар-жар! –*

не сдается парень.

*Хороша золовка, слов нет,
Но разве лучшие она сестренки моей?
Хороша и сноха, но нет откровеннее и ближе
Родной невестки моей, жар-жар! –*

почти всхлипывает девушка.

*Ждет тебя белый конь, бийкем, шубка алая ждет тебя!
И отец твой был молод, и дед, не нами выдуман обычай.
Конь Ай-Каска ждет тебя, взнуздай своего коня,
Ты в мой дом все равно войдешь,
Таково веление судьбы.
Серый конь ждет тебя, бийкем, верблюдица пойдет за тобой,
Утешься, моя княжна, услышь мой голос,
Уйдем со мной, –*

молит парень.

В ауле Туленды невесту встретили хорошо. Она вошла в новую семью и «увидела очаг в доме свекра». Орынбай принял ее как нельзя ласковее. Такая сноха как Жумагуль достается не каждому! Говоря ей традиционное «твори добро, дочь моя», Орынбай, несомненно, подумал, что при доставшемся ей состоянии, приумножившем состояние Туленды, творить добро в самом прямом смысле никак необременительно.

Хотя женщины здесь не закрывали лица, но обычай требовал, чтобы, войдя в дом свекра, невестка хотя бы символически прикрывала лицо. Иначе невыполнимым оказался бы премилый, по мнению Робера,

обычай – получение выкупа «керюмдык» за «первый взгляд на лицо красавицы». Услышав это поэтическое название, Робер про себя ухмыльнулся, вспомнив скуластое лицо Жумагуль с недобрыми узенькими глазами. Однако, традиция есть традиция, мать Жумагуль вручила одному из паренков – сородичей Туленды, длинную палку, к которой привязала белый платок. Паренек прошелся среди гостей, импровизируя на ходу озорные стишки и тут же сочиняя для них мелодию:

*Приехала сноха, давайте керюмдык!
Кто что дает, давайте не хитрить!
Давайте белого верблюда –
Счастливый будет здесь приплод.
Давайте серого коня, чтоб иноходец был,
И чтоб хорош собою!
Коров давайте черных – минуют язвы их.
Баранов дайте пестрых – да пожирней давайте.
Чтоб сторожить скотину, собаку не забудьте –
И чтоб была позлей!
Ну, а ты, сноха, ты держи коня.
Осторожней будь сороки и белей яйца.
Носик ты не вздергивай, губки не криви,
Зелеными сапожками зря траву не топчи,
А главное, - сплетен не води!
Любишь курт? Ешь вволю! Мешок им набит.
Не воруй украдкой, от нас не таись.
Мужа почитай, по утрам вставай, -
Его сон стереги, рано не буди.*

После того, как из аула уехала мать Жумагуль, получив от родни Туленды весьма щедрые подарки и сопровождаемая женщинами и девушками до черты аула, Жумахан сказал Роберу:

- Вот мой подопечный и определился. Когда достигает мужчина полной зрелости и занимает в общине достойное место? Когда женится и ставит в своем ауле новую юрту, говорят наши аксакалы. Возможно, это и так. Только я думаю, никто никогда не достигает полной зрелости. Даже когда покидает свой аул навсегда. Я имею в виду, когда на мазаре ставят шест с черепом верного коня. А что касается Туленды... Имя

его – «заплачено сполна», а это очень обязывающее имя. Впрочем, проживем – увидим!

Вскоре после этого Робер подумал, было, уехать. Но Жумахан спросил его, как он себя чувствует, и Робер по совести ответил, что очень, очень недурно. Жумахан загадочно улыбнулся и сказал Роберу:

- За всеми этими свадебными делами, мы с тобой вовсе забыли о тюльпанах. Я думаю, ты можешь вернуться в Оренбург. Но не забудь, пожалуйста, что исцеление твое еще не наступило, и что весной – ранней весной – я вновь за тобой приеду в Оренбург, чтобы привезти тебя сюда и показать тебе тюльпаны. А пока уезжай. Близится зима, словно палач, обнажая меч.

На том Робер, сопровождаемый Гастоном, и уехал.

Сидя всю зиму в Оренбурге и отчаянно скучая в этом медвежьем углу, он писал и писал про то, что довелось ему увидеть «dans cette merveilleuse Tartarie»³⁶, - и сам ловил себя на том, что теперь называл этот край даже про себя «прекрасным», а не «диковинным», как год назад.

В суждениях своих, однако, он был часто несправедлив, ибо, исцелив больные легкие, еще не обрел живой души, которая отличает человека вообще от парижанина, венца, берлинца или любого другого «порхателя» и завсегдагая гостиных любой другой столицы. Он остался парижанином прежде всего, притом не просто парижанином, а воспитанником салонов, и обо всем судил как таковой. Во время пребывания в степи он видел немало знаменательных вещей и, будучи человеком наблюдательным, сообщал в письмах обо всем, что видел, а сидя в Оренбурге, нередко заносил в тетрадь, именуемую «Дневник больного», многие свои наблюдения о самых разных вещах.

Глазами парижанина. – О погоде: «Киргизкайсацкие степи подвержены страшным морозам и изнуряющей жаре. Зима приносит киргизам многие бедствия, она сопровождается ураганами: в степи неистовствует смертоносный буран. Это снежный вихрь, который сносит юрты, вырывает с корнем деревья, убивает людей и животных. Иногда он уносит баранов из стада на расстояние в 20-25 лье, и они погибают, занесенные горами снега.

За морозами без перехода следует не менее невыносимая жара. Песчаные и глиняные пустыни, без рек и без лесов, превращаются в огнедышащие жерла. Недаром все путешественники древности уверяли,

что звери и птицы как будто вымирают, прячась в норы и подземные гнезда. Травы желтеют в степи уже ранней весной. Ни деревьев, ни кустов в степи не найдешь.

На берегу Жаксарта и в песках Кара-Кума сильная жара наступает уже в конце апреля, ночью жара не спадает, росы не бывает. На берегу реки Урал летом бывает 50° жары на солнце и 34° в тени по Реамюру, железо накаляется на солнце, в песке можно испечь яйца. И как не странно, все-таки это здоровый климат, потому что местные жители обычно доживают до преклонного возраста, а иноземцы, которые здесь обосновались, исцеляются от многих болезней и набираются сил.

Между прочим, мне пришлось самому наблюдать то, о чем писал господин Левшин в 1820 году. Помните, он сообщал, что 20 октября, находясь около холмов Илик, испытывал невыносимую жару, а 28 числа того же месяца он катался на санях».

О растениях: «Итак, я сам видел «манну небесную». Не верите? Напрасно. Я сам купил фунт этой небесной крупы за русскую монетку, равную по стоимости семи французских су. Как она выглядит? Просто белая пыльца, которую собирают с растения «тикан»; его можно найти в пустыне вокруг Карчи. Чтобы собрать манну, растение накрывают белым платком и трясут. Пыльца осыпается, ее вытряхивают из платка и употребляют в пищу. Из нее варят даже варенье. Говорят, манна пользуется большим успехом у кулинаров Бухары.

В степи растут самые разнообразные травы и кустарники. В качестве топлива здесь используют кусты «айялыш», много растет полыни, которую скот поедает с жадностью. Даже мясо, баранье и конское, приобретает запах полыни, что кажется мне очень приятным. Кочевники особенно ценят траву «ит-сангик», что значит «собачья моча» – я заранее прошу прощения у дам за то, что вынужден употребить столь непотребное слово, но что поделаешь, за счет экзотики приходится делать известные скидки. Интересно, что название этого растения вполне заслужено, потому что по рассказам местных жителей собаки никогда не пропустят его, не почтив своим вниманием. Это очень кислое растение, и скот его не ест, но после зимних холодов вкус его меняется и овечьи стада, а также козы едят его очень охотно. Из этого же растения киргизы готовят мыло. Они сжигают стволы и из золы получают вязкое вещество, которое считается целебным. Сам способ приготовления этого лекарства мне кажется интересным.

Итак, роют в земле яму, разводят в ней костер, который горит ярким пламенем, а затем набрасывают туда стволы собачьего растения и закрывают яму кусками кошмы (что-то, вроде нашего фетра). Через 2-3 недели яму открывают с самыми большими предосторожностями, потому что оттуда валит удушливый едкий дым, который вызывает слепоту. Сожженные стволы растения кипятят в воде и получают вещество, похожее на деготь. Его очень осторожно используют в качестве лекарства. Очень осторожно и только для наружного употребления! Оно ядовитое, но им успешно лечат чесотку у животных и краснуху у человека. Еще здесь растет «саксаул», по-моему, ботаники называют это удивительное растение «салсола». Я не зря называю его удивительным, ибо не знаю даже как его определить: как куст или как дерево. В песках растет он очень низким, а к югу страны образует заросли довольно высоких деревьев. В Бухаре из него делают хороший уголь. Саксаул – удивительно твердая порода. Колоть его может далеко не каждый. Причудливые изгибы его ветвей вызывают неопределенное чувство. Я назвал бы это изумлением, которое испытываешь при виде уродливой красоты, или красивого уродства – и сам не знаю, что правильнее!

Не менее удивительно дерево «тагурак». Оно растет в песчаной степи целыми лесами. Для топлива оно не годится, из корней тагурака сочится вещество, на вид похожее на резиновую смолу. Она затвердевает и напоминает желтый янтарь. В это же время кора дерева покрывается белым налетом. Оказывается, это особое вещество, напоминающее свинцовые белила.

Здесь растет особый вид лука, величиной с яйцо. Он похож на обычный, но его перья внутри не полые. Местные жители называют его песчаным луком и говорят, что так его называют по-турецки».

О животных: «Я узнал с удивлением, что в этих краях водится дивная птица «каркучкач», о которой, кажется, упоминал в письмах кузен Жорж, будто бы ее видел путешественник Тимковский. Мы еще не верили, что на свете могут быть такие чудеса. Так вот же, есть такая птица! Говорят, это разновидность скворца, хотя, по-моему, она похожа на перепелку, только с красным клювом и лапками. Она обитает на горных ледниках и несется прямо на льду. В лютые морозы яйца сами по себе открываются и птенцы сразу же взлетают. Похоже, что господин Тимковский писал об этой птице совершенно такие же вещи.

И еще есть здесь птица – салоноска. Я сам ее не видел, потому что она обитает ближе к китайской границе. Но мне очень подробно о ней рассказывал сказитель Жумахан. Величина салоноски почти что с курицу. Перьев на ней нет, но она невероятно жирная. Иногда она прилетает в селения и усаживается на крышу какого-нибудь жилища, поднимая несусветный крик и писк. Тогда ее можно очень легко поймать, так как она дается в руки почти без всякого сопротивления, а также быстро привыкает к человеку и охотно сидит у хозяина на плече или на руке, как сокол. Нужно сжать ей гузку и тогда из нее выделяется нечто вроде сала, которое местные жители заботливо собирают и используют для самых разнообразных нужд. Получив это сало, птицу отпускают на волю.

Мне кажется, что господин Тимковский тоже писал что-то об этой птице, но, возможно, ее просто выдумали? Хотя то же самое мы думали и о птице «каракучкач», а по словам местных жителей она представляет собой самую реальнейшую реальность».

О людях: «Киргиз-кайсаки очень ленивы. Возможно, лень передается у них наследственно из поколения в поколение, но, может быть, этому способствует и климат, вечные чередования морозов и зноя. Заботятся они только о своем скоте и чуть ли не обожают его!

Поскольку киргизы-кайсаки большую часть своего времени проводят в безделье, то они чрезвычайно охочи до всяких рассказней. Стоит появиться в селении новому человеку, будь то старец или малый ребенок, его тотчас же окружают и дотошно выспрашивают, сперва кто он, откуда родом, кто его ближайшие родственники. Потом – обо всем, что он видел в пути, какие новости в ближайших селениях. Все рассказанное, буквально каждое слово, тут же передается в соседние аулы со специальными гонцами, и оттуда присылают ответы по поводу услышанного. Такая информация называется «хабар», а мой друг, сказитель Жумахан, назвал мне даже пословицу «Казах хабармен», что означает «казах живет слухами».

Мне кажется, эта жажда услышать степные новости имеет более глубокую причину, нежели бездельный образ жизни. Ведь здесь живет кочевой народ, который прежде всего должен обеспечить свой скот пастбищем. Потому для каждого аула насущно важно знать, кто в данную минуту находится по соседству, куда собирается откочевывать, окажется ли он рядом с врагом или с другом. Видно, этот обычай сохранился

из очень древних времен. Что поделаешь, ведь в степи нет газет и журналов. Надо же как-то знакомиться с общественными событиями и создавать общественное мнение!

Киргизы очень мечтательны и склонны к меланхолии. Они охотно уединяются и проводят в степи по несколько часов, размышляя, или же тихонько напевая протяжные и не очень благозвучные песни. Может быть, сама монотонная степь и неприветный пейзаж так действует на их настроение? Они очень доверчивы, но и сами тоже легко обещают невыполнимые вещи и также легко забывают о своих обещаниях. Они помнят добро, почитают старость, и право же, есть в этом народе какое-то странное обаяние!

Я только не понимаю, как могут киргизы испытывать привязанность к унылому краю, в котором они обитают и ведут столь жалкую жизнь. А тем не менее, они и не замечают своих неудобств и ни за что бы не согласились расстаться со своим уединением и изменить образ жизни. Некоторые из них, попав в бедственное положение и вынужденные нищетой, уехали в Россию. Но едва им удалось хоть немного денег заработать на чужбине, как они тотчас же вернулись снова в свои степи. По-моему, это самые подлинные патриоты, каких мне когда-либо довелось встретить!»

Суждения Робера во многом походили на бесстрастные путевые реликвии барона Жоржа, но во многом мнения парижанина расходились с известными записками известного Жоржа де Мейендорфа, что немало удивило родственников и знакомых молодого путешественника, оказавшегося в Оренбурге волею петербургского лекаря.

Незаметно наступила ранняя весна и старик Жумахан, как и обещал, приехал за Робером. Старик был печален. Он несколько загадочно сообщил Роберу, что немного опоздал, надо спешить, теньяны на холме могут отцвести.

Как только они прибыли в аул, старик увел Робера и Гастона на холм, к обрыву. Холм был как холм, обрыв как обрыв, Робер знал здесь каждую кочку еще с прошлого своего приезда. Но что это? Весь склон полыхал. Алое поле волновалось у их ног. Гастон застыл в изумлении, а Робер воскликнул:

- Что это? Господи, что это?

- Это кызгалдах, огненные цветы любви и ревности, или любви и верности, это уж как кто представляет себе суть вещей. Теперь в нашем

ауле стало одной прекрасной девушкой меньше. Увы! Я знал это наперед и ждал со дня на день, ибо невозможно предотвратить созревание плода, коль появилась завязь.

- Простите, ваше сиятельство, - добавил от себя Гастон, - по-моему, он что-то путает. Уж очень непонятно говорит!

Живое кольцо. - Садись. Слушай, - велел Жумахан, и оказалось, что в руках у него кобыз. Робер только что в своих Оренбургских записках отметил, что кобыз – инструмент, не способный издавать сколько-нибудь приятные звуки, но что есть виртуозы игры на кобызе, и что на таких людей можно смотреть с тем же интересом, что и на фокусника, ибо они умудряются во время игры выделять всякие занятные штуки. Потому Робер и приготовился к фокусам, так как знал, что старый сказитель считается виртуозом и слышал его игру на свадьбе.

Однако никаких фокусов сейчас не получилось, а произошло иное. Если бы парижанин Робер верил в чудеса, он сказал бы, что произошло чудо.

Старик пел. Нет, он не пел. Он рыдал. Робер не знал, где кончался голос старика, а где вплетался в его песнь человеческий голос кобызы! Да и неважно было это. А важно и удивительно, и сладостной жутью было проникнуто некое марево, которое возникало перед парижанином Робером, пока рыдал кобыз. Он не только слышал звуки, *он видел* то, о чем пел Жумахан.

...Итак, отремела свадьба. О чем думала Рабига? Что тревожило ее гордое сердце? Многим в ауле не давали покоя догадки, - не одному Роберу померещилась красная лисица на свадебном коне, - но светлое лицо девушки по-прежнему было безмятежно, влекуще, радостно-беспечно. Всему свое время, и она ждала своего часа. Не прошло и года, когда Туленды встретил Рабигу на празднике и попросил прийти вечером к реке. В тот шатер. Да, он - на месте. Стоит и стоит. Она отказалась. Через неделю он встретил ее вновь и предложил стать токал (второй женой). Она не сказала ни слова, стремительно повернулась на каблучках малюсеньких красных кебис и пошла прочь. Он шел за ней следом и толковал о том, что в его предложении нет ничего постыдного, или порочащего ее, что если она пожелает, то, невзирая на обычай, наденет самое дорогое саукеле, какое когда-либо носили невесты в этих краях, на что она ответила, что свадебное саукеле она

уже надевала, - хоть и дочь пришлого человека, и что этой подачкой ее не удивишь! Туленды посмотрел на нее с удивлением и подумал, что все-таки она очень странная девушка и бесполезно вникать в причудливый смысл ее слов, хотя сразу же вспомнил, как накануне свадьбы мчался к шатру на берегу реки, потому что кто-то шепнул ему, что там ждет его Рабига, притом в подвенечном платье, такая чушь. Но он все-таки в шатер устремился, и, конечно же, никто его там не ждал, - может, он опоздал?

- И еще я вот что скажу тебе, ровесник мой, - объявила меж тем Рабига, - ты забыл, что само слово токал оскорбительно, потому что, произнося «токал», то есть «куца», человеку так и хочется добавить «ешки» - коза. И все вместе оскорбительно, потому что означает «безрогая коза». И никакие чужие рога мне не нужны, никакое саукеле, высотой хоть до самого неба, не сделает из меня твоей жены.

Туленды не отставал от девушки и все твердил ей, что даже луна согласилась быть токал у всемогущего неба при блистательной первой жене - солнцу. И что, как известно всякому, самые красивые рожки на свете как раз и можно увидеть у молодой, только что народившейся луны. И еще говорил он, что при желании токал и байбише могут всю жизнь не видаться и не мешать друг другу. Если Рабига захочет, он, Туленды, поставит ей юрту в любом месте, какое она сама выберет, и всю жизнь проведет в этой ее юрте. Ну же, пусть она хорошенько подумает, ведь опять-таки луна и солнце сумели поделить «сферы влияния» - одна сияет ночью, другая сверкает днем.

Тогда Рабига остановилась, ноздри ее тонкого носа трепетали от гнева.

- Ты забываешь, неверный друг мой, - сказала она, - что небесная токал почти всегда закрывает половину своего лица от людских взоров, не только оттого, что щеки ее оцарапаны ревлившей байбише-солнце, но и оттого, что стыдится своей слабости. Как может любящая делить любимого? - На что Туленды ответил, что сердце Рабиги тверже черного камня и что, видно, ему суждено умереть, так и не услышав от сватов доброй вести о том, что она согласилась войти в его дом, как некогда ему обещала. И что сердце ее загадочнее таинственной книги юдеев, скрытой за семью покровами, ибо во время оно Рабига не называла его своим другом, но не раз говорила, - пусть в шутку! - что никогда не выйдет замуж ни за кого, кроме Туленды, самого ловкого джигита их рода и сына самого высокомерного бия

этой округи. Говорила она, или не говорила эти слова? Так что, по его разумению, не гордиться своей непреклонностью должна она, а стыдиться своего жестокосердия и непостоянства.

Рабига вздрогнула, как от удара, и сказала:

- Хорошо! Засылай сватов в дом моего отца и готовь подарки для сунюши, ибо ты услышишь добрую весть о моем согласии и убедишься, что слово мое крепко.

Свадьбу решили сыграть на жайляу - летних пастбищах. Родители Рабиги радовались ее счастьем и своей удаче. Они заранее представляли, какими цепкими ветвями обовьется их род вокруг могучего ствола Орынбаева рода.

В день свадьбы Рабига сказала, что хочет проститься с девичеством по-своему и еще раз вихрем промчаться по соседним холмам на любимом своем коньке Керкиике, который снискал ей славу несравненной наездницы в игре Кыз-Куу. Никто не удивился такому ее желанию, многие помнили тот странный случай, когда лихой Туленды догонял Рабигу, а догнав, поцеловал, и она велела ему стать на колени и наградила вторым поцелуем за добровольно принятый удар камней по лицу.

Как того и хотела Рабига, вихрем мчался Керкиик, и пламенем полыхало и вилось на холмах свадебное платье из алого индийского кашмира.

Что было потом? Ничего. Не было свадьбы, и не вошла юная Рабига младшей женой в дом Туленды. Долго лежала она среди камней в обрыве, и алыми были камни, обгаренные кровью девушки. Она все сделала, как сказала. Она дала согласие на свадьбу, она не стала ничьей женой, она ни с кем не делила своего возлюбленного.

Что говорили в ауле? Почти то, что предвидела Рабига. Не раз и не два довелось Жумахану услышать жестокую пословицу «Токал ешки муиз сураймын деп, кулагынан айрылды», что означает «Безрогая коза, надумав обзавестись рогами, уши потеряла». Некоторые говорили иное: «Богатому свет, а бедному - тьма». Но так говорили очень немногие.

- Я думаю, теперь этот склон всегда будет славен своими тюльпанами. Я думаю, в них след свадебного наряда Рабиги, которой не нужны были чужие рога, и которая никогда не догнала красную лисицу счастья, впрочем, как и Туленды в преддверии своей свадьбы,

когда на свидание со счастьем опоздал, - заключил старик свой скорбный сказ, - а теперь, сын мой, пойдем в аул. Погляди на бескрылую птицу Жумагуль и на раненого сокола Туленды. Взгляни на них очами твоей души, и подумай: что есть жизнь, и что есть смерть, и что есть бессмертие. Равно подумай о том, как обязует человека имя. Особенно, если оно означает «заплачено сполна». Я думаю, если тебе удастся решить, что перетягивает чашу весов – блистательное безрассудство мудрого сердца, или надежный покой запорошенной пеплом души, неистовство пламени или тление вчерашней головешки, я думаю, ты исцелишься вполне. Я думаю, в этом случае кумыс действительно окажет целительное действие, предсказанное тебе петербургским лекарем.

Переводя слова старика, в конце Гастон вовсе запутался и сказал, что не совсем уверен, все ли он точно перевел про надежный покой и про безрассудство мудрости, но про лекаря он все точно передал, в этом он уверен.

На прощанье старик благословил Робера, сложив перед собой руки треугольником, ладонями внутрь, что означало, как потом узнал Робер, истинное благословение с пожеланием вернуться с победой и счастьем. И еще на прощанье Гастон перевел Роберу одно четверостишие, которое Жумахан попросил его запомнить, ссылаясь на то, что написал его давнишний его, Жумахана, друг, ученый и лекарь Хайям, так что Робер записал все слово в слово, не переставая удивляться, - неужели речь идет о том самом средневековом Омаре Хайяме, о котором в последнее время стали поговаривать в Париже, как о выдающемся поэте, и если да, - то как мог он быть другом этого странного старца. Слова же звучали:

*Ты живым окружен кольцом.
Люди смерть называют концом!
Нет у жизни живой конца.
Разве есть конец у кольца?*

Робер де Ризнэль уехал в Оренбург и встретился там с Лалевичем, который всю зиму где-то таинственно скитался.

Он отправился в Петербург и не встретился там с Вереницким. Он не показался столичному светочу медицины, ибо чувствовал себя

совершенно здоровым. Он не навещил барона Жоржа, а лишь послал ему коротенькую записку с благодарностью за совет поехать в Оренбург. Затем он отбыл в Париж. Он написал там путевые заметки, не вошедшие в историю, подобно трудам барона Жоржа де Мейендорфа.

Возможно, Робер и не решил задачу, заданную ему Жумаханом. И это тоже было вполне закономерно, ибо во все века и у всех народов были свои мудрецы, и все они предлагали своим современникам соответствующие обстоятельствам задачи, решение которых всегда откладывалось на после.

Известно, что, встретив на водах некоего Жоржа де Геккерна, Робер не подал ему руки.

Известно, что вместе с Лалевичем он побывал в Польше в такие времена...

Впрочем, возможно, ничего и не было! Непреложно лишь то, что некий молодой человек из Парижа начисто исцелился от чахотки с помощью кумыса и восторженно рассказывал своим друзьям о встрече с одним занятым стариком-сказителем и о романтической истории, каких «знаете ли, у нас, в свете, не случается!»

И еще он очень удивлялся, как это кузен Жорж, который вдоль и поперек исколесил загадочную Tartarie, не записал ни одной необыкновенной истории, которая очень, очень бы оживила его книгу!

И нередко, рассказывая о своем путешествии, он добавлял: «Il faut avoir des yeux pour voir, que Diable!», что означает «Нет слепее того, кто не желает видеть!»

ТРИ ПРОКЛЯТИЯ РАБИГИ



Запретная тема. – Меня интересует только селение. Было или не было за барханами селение. Песни и сказы – не по моей части! – сказал юноша.

- А что говорят по этому поводу уважаемые ученые столицы? – неторопливо спросил председатель, потягивая жгучий янтарный чай.

- Говорят, никакого селения не было. А я полез спорить. Потому что сам видел в старой тетради, что хранилась в нашем роду, записи о «проклятом ауле». Что за аул такой?

- Так и написано «проклятый»? – спросил старик Жумахан. Ему было чуть не сто лет, а, может, и более и он не всегда был расположен

к беседе. Юношу об этом предупредили.

- Вот так и написано, - подтвердил он.

- А писал кто?

- Говорят – путешественник. Песни, сказы и пословицы записывал. Похоже, он весь этот край обошел.

- Нет, не слыхал, - сказал председатель. – Раз ученые говорят, не было – значит, не было!

Старик Жумахан молчал. Он закрыл глаза. Казалось, - он спал.

- Жаль! – вздохнул юноша. – Придется возвращаться ни с чем!

- Да вы погостите! – предложил председатель. – Вот, Жуке, - он человек свободный, свое отработал. Если попросите, он вам покажет барханы. Я думаю, вам интересно будет. Говорят, там есть какой-то холмик, - старая могила, что ли.

Юноша поблагодарил. Хорошо, он с удовольствием побудет денек в колхозе. Селения не оказалось – что поделаешь, зато колхоз посмотрит. Он много слышал о рыболовецких бригадах, о кабаньем острове на Балхаше. Большое спасибо за приглашение.

Он вышел от председателя вместе со стариком.

- Знаете, - сказал тот, - я, пожалуй, покажу вам колодец. Я даже полагаю, что вам следует в него заглянуть.

В словах старика юноше почудилась несоразмерная случаю торжественность.

- Какой еще колодец? И почему вы так многозначительно о нем говорите?

Сказав «многозначительно», юноша тут же раскаялся. Его предупредили, что в беседе со стариками надо ждать, пока те сами разговаривают, по принципу «не спрашивай, а слушай». Он дал себе слово молчать до самых барханов и тут же спросил:

- Я слышал, у вас есть старый кобыз? Это правда, что вы знаете песни и сказы, которые все позабыли?

Старик не ответил и юноша раскаялся вдвойне. Вспомнил, что тема «кобыз» в разговоре со стариком считалась местным «табу».

Казалось, все надежды на контакт потеряны, однако Жумахан неожиданно спросил:

- Вы хотите посмотреть холмик? Заодно я покажу вам колодец. Он там недалеко. Только я зайду к себе, возьму кобыз. Он у меня давно не прогуливался. Висит и висит. Скоро совсем онемееет. Никто с ним не

разговаривает.

Юноше стало не по себе. Никакого аула не было, сказами он не интересовался. Утро выдалось знойное, - прогулка к барханам его не манила.

А тут – старик с кобызом, который надо прогуливать. И какой-то еще колодец. И холм. И все окутано зыбким, мерцающим маревом.

Почему, почему бы повеяло на юношу, прибывшего из столицы, древними чарами, которые как бы сомкнулись вокруг него, пришельца. . .

Следы очагов. – Холмик, вот он, - сказал старик. – Говорят, здесь когда-то похоронили странного человека. Говорят, он был совсем одинокий. Семейю, дом, родню – все бросил. Не то от кого скрывался, не то сам от себя бежал. Но, может, это неправда. И вовсе тут никто не лежит. Если что и было, так очень давно. Это мне мой дед говорил, когда у меня айдар³⁷ на макушке еще не срезали, а деду уже тогда чуть не к ста годам подходило, так что судите сами. . . А колодец – вон там, видите?

Солнце поднялось высоко, и юноша не так чтоб уж очень мечтал о прогулке по барханам в самый зной. Но видно было, что с Жумаханом спорить не стоит – еще обидится. И он пошел.

В зарослях джуды ничего примечательного не было. Джуда как джуда. Только небольшие округлые пролысины делали рошу непохожей на другие.

- Вот он, - сказал старик и присел на траву. Колодец давно был заброшен и едва возвышался над землей, травы закрыли его уста. Ничего примечательного юноша не увидел. Впрочем, - как он и ожидал.

Из вежливости он спросил старика, почему колодец не используют. Судя по яркой зелени роши и травы, вода здесь обильна и хороша для питья. Зачем было рыть неподалеку новый колодец, когда проще расчистить этот? И почему аул расположился за барханами, где каждый кустик выращивают с трудом, когда тут настоящий оазис?

- Так это же колодец Рабиги! – сказал старик со значением.

- Ну и что?

- Той Рабиги, что сторела в тамуке³⁸ – вся до последней косточки! – действительно сказал старик. – Только губы ее и глаза, - как сводили людей с ума и сбивали с толку при жизни, - так и остались, и ничего им не сделалось!

Юноша взглянул на Жумахана, ожидал встретить усмешку, которая, порою, сопровождает пересказ старого предания. Усмешки не было.

- А кто это Рабига? – спросил столичный гость не без интереса.
 - Строптивая женщина. У нее был дурной глаз. И заклятые уста. Она все видела, и что видела – говорила. И все ее слова сбывались.
 - Это вы сказку рассказываете? – поинтересовался юноша.
 - Сказку? – вскипел старик. – Вот здесь она жила! Видите? Чуть не у самого колодца.

- Так, значит, был все же аул? – спросил юноша с сомнением. Жумахан оживился.

- А это? Это что? Вы посмотрите! – Тут же юрты стояли, слепому видно, – указал он на поросшие травами круглые пролысины. – А вы спрашиваете, был ли аул? Полвека он простоял. Никак не меньше. Только нисколько не вырос. Как сухое чрево бесплодной женщины. Съежился и пропал. И все из-за нее.

«Выбить бы какую-нибудь историю из старика про аул! Хоть недаром бы утро прошло!» – мысленно помечтал юноша, спросить, однако же, не посмел. Помнил: «Чтобы разговорить стариков, помалкивай и слушай».

- Ну, почему вы меня не спрашиваете из-за кого? – спросил старик, и пронзительные его зрачки вынырнули из-под тяжелых век. – Разве вы не хотите узнать про «проклятый аул»? И про вашего предка – это ведь он все записывал в тетрадь? Вы же говорили, что именно за этим приехали.

- Если расскажете, я буду благодарен, – неуверенно пролепетал юноша. От природы он был застенчив. Но жизнь в общежитии научила его скрывать под наигранным скепсисом застенчивость и мечтательность, которые не в чести у его сверстников. Общежитие было далеко, а чары древней степи – близко, и он растерялся.

Красная лисица. – Вот что, дорогой, присаживайся! – сказал старик. – Я тебе спою. Только никому в колхозе не говори. Я поклялся, что не стану петь и играть на кобызе ни для своих, ни для приезжих. Был тут один случай – обозвали меня шаманом. Но это не к делу. Так ты никому не говори, а то в ауле еще усумнятся в твердости моего слова. Но я тебе все-таки спою. Не зря же я сюда кобыз тащил. И в такую жару! Ты наш язык понимаешь?

Юноша заверил, что вот уже пять лет усерднейшим образом изучает тюркские языки и каждый год проводит лето в этих краях. Он, право же, все поймет, и никому ничего не расскажет. И пусть Жумахан-атай³⁹

не сомневается, – «слова его вольются в почтительно склоненное ухо»...

- Ну так вот, – начал старик, – о самой Рабиге, что я скажу? Она была похожа на красную лисицу. На лисицу счастья похожа. За такой всю жизнь вскачь промчишься, а настигнешь – уж и сил нет руки к ней протянуть. А и в руки возьмешь – самому стыдно станет. Борода седая и колени не гнутся – не совладать с красной лисицей.

Шла Рабига по аулу – по сторонам не глядела. Глаза у нее были такие. Внутрь как бы смотрели, не вокруг. Шла по аулу – молчала больше. Не любили ее. Называли – «жена воина». Без добра и без величания. И про это – моя первая песнь тебе, юноша, и про первое проклятие Рабиги.

Ибо три проклятия – как три огненных меча, занесла она над селением, и все три сбылись, и вот среди сочных зарослей джуды – следы прежних очагов.

И колодец. Он – последний сказ о Рабиге.

Лихолетие. – А первая песнь моя – о лихолетии нашего края, когда брат враждовал с братом, и звон мечей стоял над степью. И встречались в схватке клинки врагов, кованные рукою одного мастера. И всадники рубили друг друга и сбивали с коней – жеребцов от одной матки. И падали замертво, лицом к небу – сыны одной матери-степи.

За междоусобными делами забывали, что враг не дремлет. Ибо слепы были сыны степи. И око их замечало лишь красоту жены у знатного соседа, которому любовь не по годам. И замечало быстрого скакуна у бедняка-соседа, коему не по чину сокровище. И замечало обильный достархан⁴⁰ у богача-соседа, который поставил белую юрту на виду, чтобы остальным завидно было. И не замечало око сынов степи сизое облако на горной тропе, за которым мчались вражеские кони.

Так стояли в степи белые и черные юрты. В них рождались, женились и умирали люди, и все они были враги. Друг другу и своему краю. Они ездили друг к другу на родины, свадьбы, похороны и поминки. Устраивали байгу⁴¹ и той⁴², и все же имя им было – враги. И они сами про это знали, и в соседних краях недремлющие недруги про это знали. Но так повелось из века в век, и никто не хотел нарушить круговорот времени.

Старик умолк и закрыл глаза. Он словно спал. А юноша... Когда он потом вспоминал об этом, ему делалось не по себе. Потому что он не мог объяснить ни себе, ни другим, что он тогда испытывал. Он не

мог бы сказать, - говорил старик, или пел. Он не мог бы сказать, кто говорил, и кто пел – старик или кобыз. Он мог бы поклясться, что кобыз пел человеческим голосом...

- Так слушай же, юноша, песнь о первом проклятии Рабиги! – вскрикнул старик, пронзительно и скорбно.

Однажды в аул прискакал гонец. Обыкновенный жарши⁴³ – носитель известий. У нас не было газет и, конечно же, не было телевизоров. Но все равно мы все про всех знали. Неумоимо неслись по степи глашатаи и передавали дыхание степи-матери неукротимым ее сынам. Жарши встал посреди аула и выкрикнул:

- Атан⁴⁴, люди марала, атан! На людей волка, что за холмами, напали черноголовые. Спешите же все на помощь. Спешите. С женщин сорвали киймшеки⁴⁵ и словно распутниц заставили расплести волосы. Отцы убивают сыновей, чтобы черноголовые не угнали их в рабство. Спешите. У людей волка нет больше аксакалов – белые бороды обогреты кровью. Спешите!

Аул охватило смятение. Все ждали, что скажут старшины.

И встал у своей юрты бай⁴⁶ Аман.

- Не пойдем на помощь людям волка. Иржан из их рода еще в год овцы обскакал моего деда на байге. Он и вполонину не обладал знатностью и весом моего предка. На его стороне только и был конь с поминок хана Бержана, когда конями и чапанами одаривали нищих. Нищих, что пришли набить брюхо, впрок, до следующих поминок! Нет, не пойдем на помощь людям волка. Я и мои сыновья – не пойдем.

И встал у своей юрты заносчивый юноша Конышпай и крикнул:

- Не пойдем. Ни я, ни братья мои, - не пойдем защищать людей волка. Что они нам! Они не имеют уважения к знатным. На свадьбе их Бия⁴⁷ моего дядю посадили за семь человек от хозяина. Если я и мой род пойдем к ним, так в набег, а не на подмогу.

И вышел в круг между юртами ер-жигит⁴⁸ Жомарт и веско промолвил:

- Мы люди марала. У нас с черноголовыми не было распри. Ни в прошлые годы, ни сейчас. У людей волка свои счеты с ними, и нам нет до них дела.

Аул загудел встревожено.

- А если черноголовые нападут на нас?

- Черноголовые свирепы и ненасытны.

- От барханов до нас не так уж далеко.

- Тише, вы! – гневно сказал Жомарт. – Я полагаю, никто не упрекнет меня в трусости? Так вот, я, Жомарт, воин и сын воина, говорю вам. Черноголовые – за барханами. Они насытятся кумысом и мясом у очагов людей волка. Они уведут их жен и детей. Угонят кобылиц и верблюдов. Им достанется хорошая добыча. Им хватит ее на две-три зимы. В это время нам нечего опасаться. Когда нападут на нас, тогда и постоим за себя. Я все сказал.

Люди марала разошлись. Перед юртами забежали ребятишки и над аулом закурился едкий дымок очагов. Из юрты Рабиги вышел Туленды, что означает «заплачено сполна». Он был в доспехах и сел на коня. Рабига прильнула губами к руке, держащей поводья.

Они только что поженились. Они любили друг друга как Бержан и Сара, как Козы Корпеш и Баян Слы. Они любили друг друга не так, как положено жене и мужу, - а как поют в песнях.

- Прощай, - сказал Туленды. – Подсоблю соседям и тут же вернусь. Люди волка – храбрые воины, а черноголовые не так уж и свирепы.

- Прощай, - ответила Рабига. – Я подожду. Если был у соседа на свадьбе, как не поехать на похороны! Когда прогоните черноголовых, наши джигиты опять будут приводить жен из рода волка. И наши сыновья будут играть с их сыновьями на барханах. Прощай.

Туленды никто не провожал. Аул от него отвернулся.

- Ты спросишь, юноша, как аул его встретил? Черноголовых прогнали, а Туленды никто в ауле больше не видел. Вестей от него не было. Рабига осталась одна.

Сперва ее навещали из сочувствия. Потом к ней ходили из любопытства – узнать, нет ли вестей о муже и верит ли она в его возвращение. А если не верит, то думает ли вторично выйти замуж, или так и останется, не вдовой – не мужней женой.

Она молчала, и глаза ее смотрели вглубь ее скорби.

Она занималась своими делами, и никому не жаловалась. Она ни у кого не просила помощи и никому не предлагала дружбу. И вскоре вид ее стал для всех неприятен.

Как-то на поминках захмелевший Жомарт, увидев Рабигу среди других женщин, сказал:

- Смотри-ка, а жена воина на поминки, оказывается, ходит! Как птица кушеген⁴⁹. Почует мертвечину, и тут как тут!

Все рассмеялись.

Рабига встала, подошла к мужчинам, и, глядя в лицо Жомарта, громко сказала:

- Молчи, Жомарт! И вы все тоже молчите. Или же нет, - хвастайтесь и завидуйте друг другу – у кого чапан⁵⁰ понаряднее. Ибо вы давно не мужчины. И никто из вас, ни ты, Жомарт, ни ты, Аман, ни ваши сыновья, ни внуки, ни правнуки не удостоятся смерти в степи. А в последний час вы не обратите глаза к звездам. И последнее, что вы увидите, будет не солнце, не луна, сверкающая над степью, а серая зола и холодный пепел угасших очагов. Ибо вы не воины и не будете ими вовек, до седьмого поколения. Орлица высиживает орлят – в воробьиной стае множатся воробьи. Я все сказала.

Рабига подошла к женщинам, но они от нее отвернулись.

По аулу пошли слухи: «А жена-то воина – Мыстан⁵¹! Она нас проклала. Мыстан, Мыстан – настоящая колдунья! Теперь у нас будут рождаться хилые сыновья и бесплодные дочери».

На этом, юноша, кончается сказ о первом проклятии Рабиги.

Исполнилось ли оно? Как сказать! Только джигиты из рода марала и правда не часто воевали. Их все реже звали соседи на помощь, но перестали звать и на байгу. Они жили из года в год сами по себе. Казалось, их забыли даже черноголовые. Так что и им тоже не приходилось обращаться за помощью ни к людям волка, что за холмами, ни к людям медведя, что около реки.

Юноши стали женственны, а, стало быть, женщины – мужественны. В игре Кыз-Куу⁵² девушки легко догоняли и обгоняли своих сверстников, а победители не пытались сорвать поцелуй. У них была холодная кровь.

Ты не устал, сын мой, слушать мертвые слова о мертвом селении и забытых людях? Тогда я продолжу рассказ о безрассудной женщине, которая, по мнению односельчан, ворожкой и заклятиями погубила аул.

Колдунья. – А вторая моя песня – о вероломстве, затмевающим разум. После злосчастных поминок заболел сынишка бая Амана. Пошел с ребятишками к реке, уснул под палящим солнцем, а когда вернулся в селение, женщины шарахались от него с воплями: «Ой баяй! Шайтан бежит к нам, голый и красный, прямо из пекла!»

Мальчишка так обгорел и ему так сильно напекло голову, что старики шептались, будто ангел смерти Жебраил бродит около амановой

юрты.

Жена Амана, закусив тонкие губы, ненавидящими глазами глядела поверх холмов.

- Это она... - шептала женщина. – У! Мыстан. Это она порчу напускает на наших детей! Пусть вылечит моего сына, не то худо ей будет.

Кого имела в виду жена Амана, все знали. Послали за Рабигой. К ней явился старший сын бая и высокомерно повторил слова матери:

- Умеешь порчу насылать, сумеи вылечить. Не то – изгоним тебя из аула.

Ничего ему Рабига не ответила, только взглянула на него светлыми глазами – да, да, сын мой, глаза у нее были светлые. Не черные, не карие, а цвета водорослей, и это тоже многие считали бесовским признаком.

Она прожила три дня в юрте Амана. На третий день обгоревший «шайтан», пропитанный простоквашей, которой она его смазывала, налитый кумысом и набитый куртом⁵³, которыми она его потчевала, ревел как верблюденок и требовал, чтобы его пустили поиграть у реки.

Рабига собиралась уходить, и, стоя у входа амановой юрты, с достоинством слушала слова благодарности. К юрте на всем скаку подлетел табунщик. Поперек седла лежал вороной жеребенок. Головенка его беспомощно металась на тонкой шее. На бедре задней ноги запеклась кровь.

- Мал булмайде!⁵⁴ – сказал табунщик, сокрушенно глядя на Амана. – Еле отбил от волка. Я мчался во всю прыть. Сами видите, надо его прирезать.

- Постой! – сказал Аман. – Женщина, возьми жеребенка себе. Если выходишь – будет тебе память о моей благодарности. Если не выходишь – да будет жертвой за моего сына, которого ты вылечила.

- Ну и расщедрился! – хихикали женщины, а Рабига взяла жеребенка на руки и унесла.

Она выходила его и назвала Танбалы⁵⁵. Он и вправду был меченый, - на рубце от волчьих клыков вырос клочок белого волоса.

Меченого знал весь аул. Слава о нем ушла за холмы и за реку. Верхом на Танбалы Рабига ездила на ярмарку в самые отдаленные селения. К нему никто и близко не подступал, все знали про его неукротимый нрав. Говорили, что Рабига оттого так бесстрашно ездит повсюду одна, что Меченый может отбить ее от любого зверя ударом упругих мускулистых ног. Говорили, что Танбалы не боится волков и что

он убил восемь хищников.

Однажды к Рабиге пришел сын Жомарта и спросил напрямик:

- Это правда, что Меченый убивает волков? – и умолк, увидев на столе, на полу и на сундуках волчьи шкуры.

Рабига усмехнулась и ответила:

- Конечно, неправда! Это я насылаю порчу на волков, сынок, вот так! – Она вытянула вперед руки с тонкими запястьями, на которых серебристо позвякивали браслеты, растопырила пальцы и завывла по-волчьи: «Ууу!»

Сын Жомарта отступил и тронул бирюзовый камешек, что висел у него под мышкой – против дурного глаза. Уходя, он слышал, как хохотала в юрте Рабига. Откликаясь на голос хозяйки, тихонько заржал привязанный у юрты Танбалы.

Сын Жомарта явился во второй раз и обратился к Рабиге учтиво, но настойчиво, с прямою воина и сына воина.

- Рабига-апай⁵⁶, вы женщина, я мужчина. Ваш Меченый – конь, достойный воина, а вы на нем ездите на ярмарку. Я предлагаю в обмен на Меченого косяк кобылиц. Мне известно, – вы живете не в достатке, какой вам подходит, кобылицы вам будут не лишни. В нашем роду не скупятся, если хотят чем-нибудь завладеть. Мы не хотим обижать одинокую женщину, так что подумайте...

- А ты не боишься, что Танбалы заговоренный? А, сынок? А вдруг ты его оседлаешь, а он поднимет тебя за облака? Промчится по небу, по самой по «птичьей дорожке» кузжалы⁵⁷? Упрется копытами в рога месяца, лягнет его и с неба свалит? А если обернется смерчем и поидет колобродить по пескам? Ты и вправду не боишься, скажи?

В юрте синели сумерки, голос Рабиги шелестел как песчинки под рукой ветра. От нее пахло полынью и гвоздикой. Перед сыном Жомарта стояла юная девушка, от которой пахло полынью. Девушка подшучивала над ним и смеялась, и гортанный колдовской ее смех туманил ему голову.

- Мыстан! Как есть – Мыстан! – со страхом и истомой подумал сын Жомарта и почувствовал, как жгучая волна накатилась на него, примяла, завертела.

- Бежать! Бежать сейчас же! – сказал он себе.

Ему казалось, что он сорвался с места и бегом бросился к выходу, а на самом деле он медленно пятился от Рабиги, не отрывая глаз от ее

узкого, мерцающего в полумраке лица.

Он явился домой и заявил отцу, что женится на Рабиге. Жомарт вскочил и обнял сына.

- Ты зачем к ней ходил?

- Я хотел выменять у нее Меченого, – сказал сын Жомарта, еле шевеля запекшимися губами. – А теперь я хочу, чтобы она стала моей женой. Я хочу быть хозяином этой женщины, ее коня и ее дома.

- Она же на двадцать лет старше тебя! – кричал Жомарт. – Она колдунья! И конь ее – от шайтана! Ну, где ты видел, чтобы конь убивал волков? И сама она – волчица в логове.

Сын Жомарта лежал в бреду семь дней. Он звал Рабигу и говорил о коне, который упирается копытами в рога месяца, плывущего над степью. И все уверились, что Рабига свела давний счет с Жомартом и отняла разум у его сына.

По аулу прошел слух, что Меченый исчез. Рабига искала его и звала. Она уходила далеко к реке и к холмам, побывала у людей волка и у людей медведя, но Меченый так и не отыскался. А в ауле никто не удивлялся – за выздоровление такого славного юноши, как сын Жомарта, конь Танбалы как раз и был самой подходящей жертвой. Когда сын Жомарта выздоровел, старый воин решил устроить той.

Он явился к Рабиге самодично, в праздничном черном чапане, отороженном сободем, как подобает ер-жигиту, вошедшему в лета мудрости.

Он явился к ней, чтобы пригласить на той. Пусть не горюет из-за Танбалы. Может быть, судьба сама выбрала его, чтобы он стал жертвой за его, жомартова, сына. А Рабига – женщина умная и добрая. Она не станет жалеть, что у злого рока выкуплена жизнь жигита⁵⁸. Впрочем, Жомарт готов отдать ей из своего табуна любого жеребенка или коня-двухлетка, по ее выбору. И пусть обязательно придет на той.

Хватит чураться односельчан. Вот взять, к примеру, его самого, Жомарта. Ну, какой у них с Рабигой повод для неприязни, глупая шутка хмельного человека? Так уж сколько лет прошло с тех пор...

Пусть Рабига знает, что он с нетерпением будет ждать дорогую гостью. О! Если бы она знала, с каким нетерпением! – сказал Жомарт, приложив руку к черному бархату чапана, там, где полагается быть сердцу.

Все гадали: придет или не придет Рабига. В последние годы она все реже появлялась на праздниках. Да и праздников в ауле было не

так уж много. Даже свадеб. За двадцать лет в нем поставили всего две новых юрты. Получалось так, что юноши женились на стороне, и девушек увозили в соседние аулы, - но это не к делу! - оборвал свой рассказ Жумахан. Переждав немного в полном молчании, он вскрикнул, и кобыз, рыдая, ответил ему:

- Она пришла на той! Она все-таки пришла. На ней было лиловое платье и оно переливалось семью цветами. Такого никто никогда не видел. Она сказала, что купила платье на ярмарке у китайца. Разумеется, никто не поверил, - когда это на ярмарке бывали китайцы, торгующие волшебными платьями! Такое платье может сделать человека невидимкой. Что она там ни толкуй, а уж Мыстан она, - тут и раздумывать нечего!

Стол был обильный, угощение - каких аул давно не помнил. Сочные ломти жая⁵⁹, куски нежного, жирного казы⁶⁰ подавали до позднего вечера.

Жомарт справлялся у почетных гостей, нравится ли им мясо, всем ли они довольны, и просил отдать должное угощению.

- Подумать только! Казы из мяса благородного коня, который мог пройти по кузжалы и лягнуть лунный рог. Казы из мяса волшебного коня, что мог обернуться песчаным смерчем и донести вас до самой Мекки, так что вы и «Алла» не успели бы сказать! Кушайте, кушайте, дорогие гости.

- Рабига-апай, отведайте вон тот кусочек. Смотрите, какой сочный, так и лоснится от жира. Ну, точно как лоснились бока вашего прекрасного коня, вашего Танбалы, - кричал Жомарт на всю юрту, обращаясь к Рабиге, которая сидела с женщинами у другого достархана.

- Дорогие гости, ешьте! Эти куски мяса составляли диковинное животное, которое не боялось ничего на свете! Коня, который убил во семь волков! Ешьте, ешьте, дорогие гости! - не унимался Жомарт.

Никто уже не ел. В юрте повеяло недобрым. Рабига встала из-за стола и пошла к выходу.

У двери она остановилась и оглядела гостей и хозяев. Жомарта, его сына, бая Амана, немолодого и поубавившего пыла Коньшпая, и всех остальных. Все были в сборе. Молчали. Глядели на нее с ожиданием, злорадством и страхом.

- Люди марала, - сказала она, - вы давно перестали быть воинами, но еще умели объезжать скакунов. Люди марала, потеряв доблесть,

неужели вы утратили вторую добродетель мужчины - великодушие? Зачем же вы родились с руками, если они обучены только отнимать и убивать? Вам не страшно, что вы забыли, как протягивают руку в знак дружбы?

Вы, которые заносите руку над холкой коня, не для того, чтобы подбодрить, а для того, чтобы забить на мясо! Вы, которые не знаете, для чего мужчине нужны наколенники, - да пребудете вы, и дети ваши, и внуки, и правнуки безрукими для дружбы, безногими для битвы! Да начнется круг вашей жизни у ложа, да замкнется у котла с мясом благородного аргамака⁶¹. И да пребудет для вас великодушие - пустым словом. И да будет оно вам знакомо только по песням. Я все сказала.

Она ушла и никто не вымолвил слова - как будто все онемели. Так молча и разошлись.

По аулу поползли слухи. Теперь-де дети будут рождаться безрукими и безногими. И все по ее вине. Это из-за нее аул оскудел младенцами вот уж сколько лет, а теперь и вовсе выродится.

Колдунья, колдунья, колдунья... шелестело над аулом.

На этом кончается сказ о втором проклятии Рабиги, сын мой, и я не знаю, не наскучил ли тебе старческой песней. Если наскучил - скажи, я не буду в обиде...

Юноша лежал на траве, обратив лицо к синему степному небу. Он слышал гортанный чарующий смех, он чувствовал запах полыни и видел глаза цвета водорослей...

Щедрая весна. - Ну, слушай. Ты думаешь, после тоя, она угомонилась? А следовало бы. Ибо, не знаю - уж была она, или не была Мыстан, - только с того дня в ауле стало неладно. Словно кровавая мгла обволокла селение. Ссорились все и со всеми. По ночам сосед подкрадывался к соседу и уводил коней. У холмов обманутые женихи подстерегали невест и находили их в объятиях лучшего друга, и вершили над ними кровавый суд. Братья убивали друг друга после байги, потому что теперь жигиты уже не состязались, а враждовали на смерть. Все чаще по утрам обнаруживали вместо знакомой юрты лысый круг серого пепла - след очага. Значит, сосед, не поладив с соседом, снялся ночью и перекочевал в иные, благословенные дружкой края. Аул не только не разрастался, а ссыхался как безмужняя женщина, проводившая век на одиноком ложе.

И тут начинается сказ о третьем проклятии Рабиги. Женщины одинокой и гордой, которая навлекла гибель на родное селение, как утверждали, не уставая, односельчане.

А случись в ту пору событие, невероятное для нашего уединенного края. В аул явился чужеземец. Высок ростом, лицом бел, волосы имел желтые, светлее песка на барханах. Он пришел один, никакой поклажи с ним не было, на нашем языке говорил бегло – непонятный был человек.

Первым делом пошел к Аману, и тот повел его к старейшинам аула. О чем шла беседа, никто не узнал, только у Амана появились часы. Карманные, золотые, с толстой цепью. Аман жилета не носил и надевал часы на шею. И видно было, что они тяжелые и очень ему мешают. Но он ими гордился и не снял бы, даже если бы они были с аульный котел.

Чужеземец остался в ауле. Аман велел поставить ему юрту из светлого войлока и внутри все было убрано наилучшим образом. По вечерам сюда приходили старики. Днем заходила молодежь.

Пришедший человек привез с собой только книги. Он научил Жомартова сына читать и даже говорить по-русски. Потом оба сына Амана научились тому же. За ними пришли другие и тоже пожелали читать книги.

Однажды к чужеземцу наведася мулла. Он внимательно рассматривал книги и долго беседовал с ним. А чужеземец торопливо записывал. Он всегда записывал, когда беседовал с кем-нибудь.

К старейшинам он приходил запросто, не ожидая от них приглашения. Жомарт советовался с ним. Аман советовался с ним. Мулла приходил к нему за советом. Похоже было, что пришедший человек обосновался здесь на всю жизнь.

Как-то вошла к нему младшая дочь Амана. Она принесла каймак⁶² с приветом от отца и братьев. Он подарил ей открытки с видами неведомых городов. Потом девушка часто к нему заходила, а с ней и дочь Жомарта. Потому что они дружили чуть ли не с самого рождения.

И тут-то благополучие человека, который так легко и прочно врос в нашу суровую землю, пошло кувырком.

Счастье и несчастье – как смерч. Приходят внезапно, покуралесят, уймутся – а за ними только обломки прежней жизни останутся.

Итак, к чужеземцу вновь пришел мулла. Сухонький, желтолицый, вкрадчивый и подозрительный, – он был разгневан. Мулла строго

спросил, представляет ли чужеземец, что получится, если все девушки начнут читать книги? Не представляет? Хорошо, мулла, ему растолкует. Они перестанут рожать детей. Почему? Потому что их замуж никто не возьмет, кому нужна жена, которая одной рукой козу доит, а в другой книжку с картинками держит! Нет, нет, он и не думает угрожать, он только предупреждает как друг. Его самого одолевают сомнения, не погрешил ли он против истинного закона, когда с таким интересом рассматривал окаянные книги. Может быть, вовсе и не к чему такая затея – учить молодых людей чужому языку, непонятному старикам. Этак люди и вовсе перестанут понимать друг друга. Так что пусть уважаемый чужеземец подумает о сказанном сейчас, иначе может случиться, что суровый нрав здешнего края перестанет идти ему на пользу.

С тем и расстались.

Вскоре сын Жомарта ушел из аула. Объявил отцу, что хочет повидать чужие земли и ушел.

Заметь, мой юный друг, он не попросил благословения. Он просто объявил, что уходит. Взбешенный Жомарт едва успел протянуть вслед обе руки ладонями от себя, в знак отлучения от семьи и родины.

К чужеземцу перестали наведываться именитые люди аула. Не заходила и молодежь. Девушки, пробега мимо его юрты, отворачивались, как от запретного зрелища.

Пришедший человек захворал лихорадкой. И никто не заходил к нему, как к чумному.

Тогда и появилась у него Рабига. Она подошла к ложу и положила узкую смуглую ладонь на его влажный от пота лоб. Она села на курпе⁶³ около хворого и просидела у него всю ночь и весь следующий день.

Когда он пришел в себя, – увидел у самого лица глаза цвета водорослей и услышал позвякивание серебряных подвесок. Рабига подавала ему воды.

Стояла щедрая весна, расцвеченная алыми и золотыми тюльпанами. И все видели, как Рабига вошла в юрту чужеземца, неся перед собой охапку золотых тюльпанов. Она не спеша шла по аулу и тюльпаны сияли в ее руке словно сноп золота. Из всех щелей на нее глазели и стар, и млад, а она шла к чужеземцу и несла ему свой весенний дар, словно в волосах у нее не серебрились первые сединки.

Она приходила к нему каждый день. Он тоже часто к ней заходил, и вместе они шли к холмам, и видели их у реки, а однажды они

даже поехали на ярмарку.

Аул, возмущенный их дерзким счастьем, гудел как улей. С Рабигой не разговаривали. Ее не замечали. В ауле долго зрела буря, но разразилась она неожиданно.

Однажды утром, на виду у всего аула, к Рабиге подошли две взрослые дочери Амана, те самые, которые умели теперь читать. Они подошли и спросили льняного отвара, чтобы смазать волосы – пусть бы гуще росли. Появилась жена Амана, подбежала к дочерям и надавала им пощечин.

- Не позорьте себя! – кричала она. – Как вы смеете на виду у честных людей стоять рядом с беспутной женщиной, к тому же Мыстан! Вот она где у меня сидит, колдунья, порча ходячая! – кричала возмущенная мать.

Рабига промолчала и пошла к чужеземцу, но тот уже услышал крики и бросился ей навстречу. В них полетели камни. Один угодил мужчине в висок. Он упал. Рабига пыталась оттащить его к своему дому. Он потерял сознание, лицо его залило кровью. Люди аула молча стояли у своих жилищ.

Рабиге никто не помог. Она внесла мужчину в свой дом и он оставался в нем до последнего часа.

Через несколько дней он умер. Рабига хоронила его одна, у барханов, где в ту пору атели и золотились тюльпаны. Она хоронила его ночью, потому что боялась одноаульцев. А еще больше – она боялась не совладать перед ними со своей скорбью.

Одноаульцы не спали. Они стояли на краю аула и ждали.

- Как собака умер... - шептали одни.

- И хоронит его как собаку... - вторили другие.

- Собаке и смерть собачья... - дружно твердили все.

Похоронив друга, Рабига спустилась с холма и пошла к аулу. Люди аула стояли перед ней стеной, загородив дорогу.

- Зачем ты всегда поступаешь несообразно обычаям? – крикнул кто-то.

- Зачем ты связалась с человеком пришлым и другой веры? – зарокотала толпа.

- Если уж хотела изменить Туленды, - светлая память нашему храброму воину! – поистине он-то «заплатил сполна» и за всех нас и за твой блуд! – так тебе своих было мало? – заорал Жомарт.

- Что ты знала о человеке, в постель которого пробиралась тайком для блуда? Ты знала, кто отец его и кто мать? Отвечай!

- Я внука назвал в память о муже твоём – храбром воине Туленды, и твой блуд – мой позор! – шипел Аман.

Рабига только усмехнулась.

- Беспутная женщина, чему ты смеешься? Ты же только что похоронила человека! – вскипела толпа.

- Отчего я смеюсь? – задумчиво сказала Рабига. - Я вспомнила поговорку:

*Ата дан тулдым некесы
Кездыкпын журген жетесыз
Озе болган жыгыттын
Атасын соран нетесыз
(Без рукояти клинок,
Но закален на славу клинок.
Разве ножнами славен он,
А не грозным своим острием?) -*

негромко сказала она.

Толпа загудела.

- Послушайте, соседи мои и родичи! – воскликнула Рабига. – Я знаю вас много лет, и вы много лет знаете меня. Вы жили на своем берегу, а я – на своем. Вы осудили меня, а я – вас. Вы давно перестали быть мужчинами, соратниками и опорой друг другу. Соседи забывают звать вас в дни радости и в дни скорби, потому что руки ваши не поднимут оружия в защиту друга, не подадут хлеба голодному и воды умирающему. Уста ваши лживы. Слова ваши жалят того, кто идет к вам с открытым лицом, не прикрывшись ложью.

К тому же вы слепы и глухи. Зачем вам глаза, если вы закрываете их и орете: «Мы не видим света, - значит, его нет».

Зачем вам уши, если вы натягиваете тымаки⁶⁴ поглубже и орете: «Не хотим слышать, а раз не слышим – значит, ничего нового никто не сказал». И еще вы говорите сами себе и друг другу: «Если мы никогда не откроем глаз и ушей, - значит, никогда ничего нового не произойдет». Люди марала! Скоро вам не нужны будут и языки. Что вы будете рассказывать друг другу, раз вы слепы и глухи? О чем поведаете своим

детям, если ничего не хотите видеть и слышать? Вы уткнетесь в котлы с варевом и станете поедать мясо, хрюкая как нечистые животные. И до семидесяти семи раз седьмого поколения будете отлучены от света и слова.

Так откройте же глаза и уши. Протяните руки друг другу и выйдите за барханы и за речку к соседним племенам. Утвердите вновь родство с ними. Если же не сделаете так, да не отличите в схватке врага и да пронзите копьем друга. И да пребудете во тьме и безмолвии!

Гудящая толпа окружила Рабигу, а когда все разошлись, она еще долго лежала у края селения, обратив лицо к звездам.

После этого случая ее долго никто не видел. К юрте Рабиги не подходили. Боялись.

В ауле наступили «последние времена». Сыновья приходили к отцам с дерзкими речами и уходили из дому, не прощаясь. Дочери не ждали родительского благословения. Они следовали за избранниками в далекие аулы, не повинаясь ни разуму, ни обычаю, – единственно по велению сердца. Даже жены покидали мужей и уходили из аула неведомо куда.

Рабига нигде не показывалась. Как-то к ней зашел Туленды, младший сын сына Амана, названный «Заплачено Сполна» в честь покойного супруга Рабиги – воина, а, скорее, оттого, что она некогда вылечила маленького сына Амана, того, что обгорел на солнце.

У Рабиги жил старый пес Сыртан, которого она очень любила. Мальчик приносил собаке кости и объедки со стола. Он тоже любил Сыртана. Однажды он вздумал пробежаться с ним до соседнего аула, что у реки, и зашел к Рабиге. Если Рабига-апай позволит, он отвяжет Сыртана и прогуляет его, а то пес совсем заскучал. И пусть Рабига отведает сладкий ирымшик⁶⁵, который приготовила мать.

С этого дня Туленды, внук Амана, нередко заходил к Рабиге. Он гулял по холмам с Сыртаном и подолгу сидел около Рабиги. Он глядел в глаза цвета водорослей и слушал голос, похожий на шелест песка. Это была последняя любовь Рабиги и на этом кончается сказ о третьем ее проклятии.

* * *

- Давай перекусим, сынок, курту хочешь? Полно кручиниться. Мало ли что старики говорят? Может, все это и неправда, и никакой твой предок тут не бывал.

- Бывал! – убежденно сказал юноша, – я сам читал тетрадь.

- Так мало ли кто сюда приходил! Может, и тетради-то вовсе не его? А может, и его. Когда Рабига похоронила того человека, мулла велел сжечь его книги посреди аула. Но, может, что осталось и в ее доме. А потом юрта Рабиги и все, что в ней было, перешли к Аманову внуку, Туленды. Очень мудрый оказался парень. Долго в ауле не зажился. Ушел, и Сыртана с собой увел! Он разные бумаги унес, что у Рабиги хранились. Так что про тетрадь ничего не могу сказать наверняка.

А хочешь, я тебе четвертый сказ о Рабиге спою? Этот повеселее будет, чем остальные. Там разные небылицы сплетены-переплетены.

Итак, вот четвертый сказ о Рабиге, которая не нашла утомона, даже когда Жебраил свил свое черное гнездо у ее порога!

Анкур-Манкур⁶⁶. – Над аулом чередой вились весны и зимы. Из аула уходили молодые и старые. Молодые уходили за барханы. Отправлялись в неведомые места и почти никогда не возвращались. Старики уходили по конскому волосу в страну праведных. Давно ушли по этой тропе высокомерный и расчетливый Аман, и завистливый ловец славы Жомарт. Ушел заносчивый Конышпай и ушел снедаемый сомнениями мулла.

Юрты стояли пустые. В ауле умолк цокот копыт. Табунщики не останавливались на полном скаку, неся весть о приплоде в стадах. Ибо мало стало не только людей, но и скота.

С некоторых пор неподалеку от юрты Рабиги вырыли колодец. Теперь люди аула изредка к ней навдывались и старый пес Сыртан встречал их хриплым лаем. Нельзя сказать, чтобы с годами люди марала стали покладистее. Они бывали у Рабиги «по расчету», чтобы с колодцем чего не случилось.

Однажды кто-то сообщил, что Рабига совсем плоха. В ауле заволновались. Она жила одна, не было у нее ни овец, ни козы, ни коня. Только пес Сыртан. По старым заветам полагалось проведать ее и принять последние ее земные распоряжения.

Долго спорили, кому идти к Рабиге. Успокоились на том, что у нее часто бывает внук Амана – он уже юноша, с него спрос как со взрослого. Если что случится – он и сообщит в ауле.

Как-то вечером Туленды, внук Амана, сказал женщинам своего дома:

- Вам следовало бы пойти к ней. Неужели даже сейчас не хотите поступить по-людски!

Женщины проводали Рабигу. Она лежала молча, с открытыми глазами. Тонкая желтоватая кожа туго обтягивала лоб и щеки. Казалось – годы были к ней милостивы. Глаза цвета водорослей не потускнели. Это женщинам не нравилось.

- Мыстан, - думали они про себя. – Конечно, Мыстан. И годы ее не берут – лицо как у девушки!

Вслух же обращались к ней с почтением, как и подобает у ложа смерти.

- Рабига-апай, подумайте о пути, который вам предстоит. Кто проведет вас меж водой и огнем к берегу праведных? – спрашивала одна.

- У вас нет ни овец, ни коней. Зато есть Сыртан. Конечно, это не по обычаю, - но теперь многое делают не так, как встарь... - вторила другая.

- Вы должны сказать, согласны ли пройти к тому берегу вслед за Сыртаном, чтобы мы были спокойны за вас.

- Сыртан останется с Туленды, - сказала Рабига устало.

- А вы не боитесь? Или думаете, что за всю жизнь не совершали ни одного проступка? Даже побывавшие в Мекке опасаются, что волосок оборвется под их тяжестью! – волновались женщины.

- Я не боюсь, - сказала Рабига. – Во мне никогда не было большого веса. А теперь – на костях мяса и вовсе не осталось. Волос не оборвется.

Выйдя от Рабиги, женщины возмущались:

- Самонадеянность у нее – не поверишь! И все не как у людей! Ладно, - дело ее! Наше дело – предупредить.

- Но, может, найдется кто, чтобы взял на себя ее ошибки? Все-таки, - по обычаю положено! Не предложить ли кому в ауле? Хотя за ней не бог весть что останется, но юрта еще неплохая...

- Да что вы, милые, кто возьмет на себя ее дела?

- Я – нет!

- И я нет!

- И я тоже!

- Вот видите! И другие тоже откажутся. Похоже, придется ей уйти от нас и унести свой куржун⁶⁷ с грехами на собственной спине.

Рабига совсем ослабела и больше не поднималась. К ней опять пришли женщины.

- Мы насчет Сыртана, апай, - сказали они. – Вы не передумали? Мы хотим как лучше для вас.

- Сыртан останется у Туленды, - ответила Рабига.

- Мы понимаем, вам неудобно, что Сыртан всего только собака, - настаивали женщины. – Конечно, баран или даже коза – это другое дело. Зато Сыртан очень преданный!

- Уйдите, я устала, - сказала Рабига и отвернулась лицом к стене.

Женщины вышли и посудачили в холодке около юрты. Собравшись домой, они еще раз заглянули к Рабиге. Но в юрте ее не оказалось. Она исчезла.

- Видите! – кричали женщины. – Мы всегда говорили, что она колдунья. Теперь-то она точно попадет в пекло!

- Не попадет! – сказал Туленды, который как раз пришел проводить Рабигу. – Я беру на себя ее земные дела. Мое имя – «Заплачено Сполна». Пойдем, Сыртан. От отвязал Сыртана, который нисколько не упирался, а сразу ушел с ним. И это женщинам не понравилось.

- Видите! Пес, и тот торопится уйти с нечистого места! Он даже не вы! Ох, нехорошо, нехорошо, что колодец так близко. Не стала бы Рабига навешиваться к нему. Не надо бы пить воду из этого колодца, ох, не надо бы!

Однако, раз человек умер, похороны должны состояться. Так что для пристойности к зейрату⁶⁸ унесли небольшой тчочок, обшитый белой тканью. Всем хотелось присутствовать на странных похоронах, потому что тут обязательно должна была проявиться бесовская природа почившей!

- Вот посмотрите, каково ей будет, когда к ней анкур-манкур пожалует и начнет дубасить своей пудовой гурзе⁶⁹. И никто не выйдет, чтобы в ее защиту хоть словечко замолвить! – качали головами старики.

- Теперь-то мы воочию увидим анкур-манкура! – шептались женщины. – Обросшего козлиной шерстью и увешенного бубенцами. И железную булаву с шипами увидим. Пусть все поглядят, как расплачивается Мыстан за ворожбу и самонадеянность.

Анкур-манкура никто не видел. Все долго стояли, отойдя, как положено, на сорок шагов, и никто не вышел из круга, чтобы по обычаю сказать что-нибудь доброе о почившей, и этим умиловить грозного палача анкура-манкура.

Только Туленды подошел поближе и громко сказал, чтобы все хорошо слышали, что Рабига была теплом и светом этого аула, и что он любил ее больше всех, кого знал за свою еще недолгую жизнь.

После похорон с ним никто не разговаривал.

Но куда, куда же девалась сама Рабига, в последний раз нарушив завещанные дедами и прадедами правила жизни и смерти?

Черная река. – В то время как многие жители аула стояли у маза-ров⁷⁰, а Туленды выступил в защиту исчезнувшей Рабиги, она сама стояла на берегу темной реки, через которую перекинут был небывалой длины конский волос. Он делил черную реку на две половины. Но река казалась черной только издали. На самом деле, справа от волоса бушевали серые волны с седыми гривами. Они неистово ржали и окликали по именам новоприбывших. Слева от волоса пылало пламя. Оно ревело и вздымало ввысь жадные синие языки. Река была не особенно широкой, а волос – хорошо натянут. К волосу подходили по очереди женщины и мужчины, молодые и старые, и много маленьких детей.

Некоторых Рабига узнала. Они были из соседних аулов – людей волка и людей медведя. Стояли в очереди и несколько узкоглазых, с которыми люди марала решали некогда кровавые распри. Были здесь и черноголовые.

Все толкали впереди себя, кто барана, кто коня, кто верблюда. Детишки обнимали козлят, или сидели верхом на жеребятках и овцах. За плечами у всех были куржуны. Ступая на волос, каждый навьючивал свой куржун с земными делами на животное-проводника.

Кони, верблюды, овцы и козы осторожно ступали по волосу, а следом за ними, цепко держась за хвосты, с опаской пробирались хозяева.

Стоящие впереди Рабиги оборачивались и неодобрительно ее разглядывали. Никакого спасительного животного с ней не было и никакого куржуна она с собой не несла. Она вступила на волос легко и без страха, так что многие, стоящие за ней, злобно шушукали:

- Еще бы, без груза-то!

- Но и без спутника! – ехидно усмехались другие.

Когда Рабига дошла до половины волоса, она на мгновение остановилась. Высоко в небе седая пена сплеталась с синими языками пламени, огонь и вода перекликались над головами проходивших по волосу, звали их и манили. Рабига стояла под заколдованным сводом и слушала, как голосом вечности поют вода и огонь, и вспоминала половодье около аула людей медведя, а также как полыхали пожары, когда черноголовые напали на людей волка.

- Нашла время раздумывать! – толкались испуганные люди.

- Обратно захотела? – усмехнулись шутники.

- Не торопись – уступи дорогу! – злились будущие праведники.

Позади Рабиги жалобно заблеяла овца, за которую обеими руками уцепился тучный мужчина в роскошном бырыке⁷¹. Рабига заторопилась. Дойдя до трех четвертей волоса, она взглянула на берег, к которому так спешила толпа. Новоприбывших встречали без восторга, – видно, места было не так уж много, или пастбища оскудели. А, может быть, и здесь только что прошел джуг⁷².

Каждый стоял около четвероногого спутника и подозрительно смотрел на сходящих с волоса. Никому не хотелось вновь встретить старых врагов, – за земную жизнь успели надоесть друг другу.

У самого берега стоял Жомарт, опираясь на своего боевого коня Боз-Айгыра⁷³, которого закололи в память прославленного ер-жигита. Недалеке стоял Аман, опираясь на четырех кобылиц. Видно, ему понадобилась нешуточная опора.

Рабига искала в толпе воина Туленды, своего мужа, и не нашла. Она подумала, что, может, увидит чужеземца... Но не было и его.

- Потому что ни он, ни воин Туленды не могут же находиться на одном берегу с Аманом и Жомартом, – решила Рабига, почти что дойдя до цели.

Одноаульцы тоже ее увидели.

- Гляди-ка! Мыстан пожаловала! – заорал Жомарт, хлопая себя по ляжкам от удивления. – Заживем теперь, как на земле!

- Чему радуешься? – злобно покривился Аман. – Стоило гнать впереди себя четырех отборных кобылиц, чтобы попасть на берег, куда каждый может пробраться налегке!

- Я отказываюсь жить на праведном берегу вместе с колдуньей и распутницей! – заверещал мулла, тот самый, что велел сжечь книги чужеземца посреди аула.

Словом, – все было как на земле. Сухая степная равнина, высокое небо, подернутое белесоватой дымкой зноя, знакомые лица, знакомые слова.

А седые прохладные брызги рассыпались над головой жемчугами, синее пламя пело вольную песнь солнца, дыма, степного костра...

Рабига выбрала левую сторону. Она прыгнула с волоса почти у самого берега и отчетливо слышала, как Жомарт и Аман в два голоса орли на все поднебесье:

- Огоньку, огоньку подбавьте! Она – Мыстан, ее так не проймешь!

- Сколько она нам крови испортила! – вопил мулла. – И все-то она видела, и всем-то все выкладывала без смущения! Да будут прокляты

глаза ее и уста! – потрясал он когтистой лапкой.

Больше Рабига ничего не слышала, потому что вспыхнула ярким сине-лиловым всплохом.

Она сгорела вся до последней косточки. Видно, по левую сторону реки постарались и подбавили огоньку. Как-никак, а к голосу праведников прислушались. Но вот незадача! Если прислушиваться – так ко всем. И, стало быть, проклятие такого почтенного человека как мулла тоже не осталось не услышанным...

- Ты не догадываешься, мой юный друг, что произошло потом? Ну, как ты думаешь, почему забросили этот колодец? Подойди к нему и сам загляни».

Колодец. – Когда юноша, искавший «проклятый аул», подошел к колодцу, чары почти развеялись.

- Красивые, очень красивые сказы, - думал он про себя. – А кобыз, - истинный клад! И старик каков, - что за поэзия, что за слог! Неудивительно, если говорят, что он на кобызе шаманит. Только обижаться-то ему не на что, - мог бы гордиться!

Юноша раздвинул зеленые ладони благоухающих трав и заглянул в колодец.

Сперва он ровно ничего не увидел.

Но вдруг на самом дне сверкнули глаза. Светлые, цвета водорослей глаза. Всевидящие. Живые.

Юноша отпрянул было, но глаза манили его. Он превозмог охватившее его удивление и трепет.

- Вот так и рождаются легенды! – успел он подумать. И у самого своего лица, у самых губ вдруг увидел влажные уста. Справа, слева, перед ним, мелькали темно-алые уста. А внизу по-прежнему сияли глаза Рабиги.

Наваждение продолжалось. Он уже не мог совладать с собой и отпрянул от колодца. Закмурил глаза и провел ладонью по лицу. Потом снова заглянул в колодец. Он бы не простил себе, если бы вновь в него не заглянул. Потому что и не пытался скрыть от себя, что испытывает ужас. Так вот и поверишь в чары древней степи, и в то, что старый Жумахан и вправду шаманит на своем кобызе...

Словом, - он вновь заглянул в колодец. И пожалел. Потому что теперь увидел только темно-алую влажную оплеть из растения, именуемого здесь тобылга. Гибкие, гладкие прутья проглядывали кое-где и местами словно складывались в улыбку. На дне – в два малюсеньких озера гляделось

синее степное небо.

Юноша вновь зажмурился, вновь заглянул вглубь, и не отрывал лица от края колодца. Ему очень хотелось увидеть глаза цвета водорослей и темно-алые уста Рабиги. Он несколько раз отходил от колодца и возвращался.

Но Рабига, гордая своенравная Рабига, не пожелала больше показываться усомнившемуся юноше. Сверкнула взором, улыбнулась разок, - и исчезла.

А юноша вскоре уехал. И больше не приезжал. Так что неизвестно, узнал ли он еще что-нибудь о «проклятом ауле» и о таинственном холмике, где, возможно, похоронен был его предок.

Возможно, он потерял интерес к загадочному этому предку. Возможно, переспорил именитых ученых в каком-либо ином споре и, остепенившись, вовсе охладел к юношеским увлечениям. Да и, в конце концов, так ли уж важно, был или не был аул среди барханов, где-то в окрестностях звонкой Лепсы... Бог весть в какую старину...

На этом, читатель, заканчивается последний сказ о Рабиге, поведанный чуть не столетним, - а если верить шепоткам, то даже многотысячелетним! – Жумаханом, который все-таки чуть-чуть шаманил, когда прикасался к струнам своего кобыза.

Мне довелось увидеть этот кобыз. И даже к нему притронуться. Родичи Жумахана уверяли, что кобыз был настолько дружен со своим хозяином, что, когда Жумахана обвинили в шаманстве и, пригласив на очередной той, для надежности накрепко привязали кобыз к коновязи, чтоб старик не вздумал взять его с собой, - Жумахан в разгар тоя прослезился: «где ты, мой верный кобыз, как бы мы с тобой славно сейчас попели-поиграли!» И что же? Невдолге послышался звонкий цокот и в юрту вскачь ворвался, всхрапывая и звеня струнами, весь в мыле – волшебный кобыз. И случилось на то великое смятение, после чего Жумахан торжественно поклялся никогда больше к кобызу не прикасаться...

Прошло несколько лет. Во сне ко мне явился Жумаханов кобыз. Он велел – пришлось взяться за перо. Автор смиренно выносит на суд читателя «песни песков». В память о ныне почившем в бозе акыне Жумахане. Если только он в самом деле почил, а не скитается где-нибудь окрест нашей взметушенной земли, чтобы объявиться вновь – где и когда, кто бы знал...

Алма-Ата, Балхаш, Кемерово



Юрий Гинатулин
КАЗАХСТАНСКИЕ МОТИВЫ

* * *

Женщина-это источник, начало начал.
Мужчина, ее не испив, давно б одичал.
Сколько бы он ни кичился
И в грудь не стучал,
Женщина – это источник, начало начал.

* * *

О, нежнейшая сестра
мягкого ночного бриза,
Не криви свои уста
от минутного каприза.
Улыбнись, пусть лунный свет
по плечам твоим струится,
Дай мне радость насладиться
созерцаньем дивным черт.

* * *

Письмо

По белой звенящей мгле
Черная вязь пролегла
И разделила на две
Жизнь, что была одна.

Ты заслонила день –
Тенью коснулась лиц.
Нет!.. Я хочу под сень
Черных твоих ресниц...

Но птица умчалась в даль, –
Теплые ищет края,
Осталась лишь черная вязь
И белая, белая мгла.

Мы - о них



Георгий Петрович
МОЙ ПАРИЖ

Париж – это праздник,
который всегда с тобой
Эрнест Хемингуэй

Прожив неделю в Париже, я как нельзя лучше понял
Францию, прожив в ней три года - совершенно не
понимаю ее.

Курт Тухольский

Куда нам с грыжей до Парижа -
Шутил неглупый, но блатной
Мой друг в Перми, что жил пониже,
Я как сейчас наш дворик вижу
Опасный ночью, проходной.

Но мы читали «Жерминаль»
И знали, где Булонский лес,
А кто-то пел про Пляс Пигаль
И всех смешил Луи Фюнес.

Ласкали слух слова: манто,
Быстро, шантан и волонтеры.
Мы знали точно, кто есть кто:
Жан-Жак Руссо, Кусто, Кокто,
Д`Артаньян и мушкетеры.

Какой божественный салат
Из слов, знакомых с детских лет:
Каре, трибуны и парад,
Кюри, каро, кабриолет.
Немного солнышка - Саган,
В аорте шум - симптом Мюссе,
Жорж Санд - Аврора Дюдеван,
Памфлет, куплет, роман, эссе,
Атос, Партос, бульвар, бордели,
Открытый взорам писсуар,

Моне и «завтрак на пленэре»
 В велюре красный будуар,
 Тулуз Лотрек, Бальзак, Гобсек,
 Ван Гог - отрезанное ухо,
 За сына мстившая старуха
 У Мериме и велотрек.
 Все мне так близко, так знакомо.
 Пусти в Париж - я буду дома!

Пленил Гюи де Мопассан:
 Каприз, конфуз, плохая шутка!
 Унижен прусский офицер,
 Он - комендант и кавалер!
 И, вдруг, отвергла проститутка.

Альянс: Миледи - Кардинал,
 Свеча бросает тень на фрески.
 Назавтра бал, но где подвески?
 Готов изысканный скандал,
 Но жив отважный шевалье,
 Бежит опасным коридором.
 Успел! И вздрогнул Ришелье,
 Когда в подвесках и колье,
 Вошла Она, играя взором.

Такой затейливый багаж
 Понятий детских о Париже
 Я нес и знал как «Отче наш»,
 Где Сен-Жермен, а где Пассаж.
 Ну что ж, рассмотрим все поближе.

И вот я здесь, я постарел.
 Со мной случилась перемена.
 Теперь я знаю: адюльтер
 Гораздо проще, чем измена.

Вот старый импрессионист
 Асфальт марает между делом,
 А этот просто трансвестит
 С мужским лицом и женским делом.

Я в Шапито и очень рад.
 Струной натянутый канат.
 Жонглер неплох, но где кураж?
 Чтоб замер зал и вздрогнул аж,
 Когда б он, падая притворно,
 Сумел поймать кольцо проворно.

Жуир, гуляка и транжира
 Париж! Ты пахнешь и цветешь
 И все же многим не до жира:
 Бродяг и нищих не сочтешь.

Хемингуэй писал про праздник,
 Я ж не нашел его пока.
 Наверно, пьяный был проказник -
 Оставь в покое старика -
 Сказал я сам себе, стесняясь.
 Сморозил чушь, пардон, я каюсь.

О! Вечный спутник ожидания!
 Томился, ждал и, наконец,

В награду - разочарованье,
Таковыми нас создал Творец.

Разочарован, околдован,
Да, я отвлек от слов таких.
Обманут, втянут, арестован,
Уволен, принят, аттестован -
Вот круг понятий дорогих.

Налоги-штойеры, кредиты,
Каков мотор - таков доход,
Антраги, шайны, марки, миты,
Кто с кем, когда и как живет,
Кто с кем развелся, кто женился,
А кто в Россию возвратился.

Гид про войну, про галльский дух.
Я ж констатировал, грустя,
Что ровно через три недели:
«Не десять», «двадцать лет спустя» -
В Париже немцы устриц ели,
И этого забыть нельзя.

Но был же Сент-Экзюпери?
И был очаг сопротивления,
Как глупо, сделав обобщенье,
Стать в позу, что ни говори.

«Все, что в Париже вкус голодный».
Смакую Пушкинский сонет:
«Для роскоши, для неги томной»,
Да, вот извольте: «камамберт» –

«Он чувств изнеженных отрада»,
Чем выше сорт, тем толще плесень,
А мне на дух его не надо,
Мне этот сыр не интересен.

Вот стойка, тут творил Додэ,
Он зарифмуется с биде -
Тут я заметил машинально,
И прочь ушел от гида тайно.
Я точно знал, куда идти,
И с группой мне не по пути.
Я не полез на тело башни.
Простит Эфель, потом зайду.
Пусть с ней весь мир заводит шашни,
Мне не досуг, куда бреду?
На красный свет, едва не сбили.
Затор! Гудят автомобили.

Фонтан, шарманщик с кокаду,
Отели, дамы на панели.
Париж! Я к Бунину иду!
Вам не понять, вы все при деле!

Замедлил шаг, прошел в ограду,
А Он, как будто ждал меня,
Надгробный камень, как награду
Мне показал, к себе маня.

Какой волшебный светлый праздник!
И я волненья не таю,
Невозвращенец и отказник,
Как перед Господом стою.



Ему в венок шипы, не розы,
И на Голгофу повели,
Тебе ж Россию без наркоза,
Как пуповину отсекли.

Сгустилась синь, закат, алея,
Пошел к себе за облака,
Уснули темные аллеи,
А я, смутившийся слегка,
Себя корил: и в самом деле
Средь суеты и маяты,
Как я забыл купить в отеле
И принести тебе цветы?

Гвоздики - символ демонстраций
Не принесу, я не люблю,
Когда цветок под гром оваций
К тем, кто убил и рад стараться,
В петлицу лезет, как в петлю.

Не подошли б к моменту калы
Для панихиды те цветы.
Подснежник, снег согревший талый,
Согрей и нас! Но где же ты?

Ушла весна, суха дорога,
Июль давно уже в пути.
Ты дай мне времени немного,
Я точно знаю, что найти!

Я отыщу тебе на воле,
Где летний зной и мотыльки,
Кусочки неба в чистом поле
Цветы России - васильки.

Роман с продолжением



Николай и Светлана Пономарёвы

ГОРОД БЕЗ ВОЙНЫ

Роман

(Продолжение. Начало см. «ГС» №3)

3

Под вечер Сашка пришёл домой. Пока он ещё был в Корпусе, пока сдавал учебники, форму, прощался с ребятами, тоска была не такая сильная. Теперь же всё внутри болело, разрывалось на куски. Он знал, что не должен идти домой. Он должен умереть. Чтобы не позорить мать. Но ноги сами принесли его к дому. Он ещё немного постоял на улице и всё-таки вошёл в подъезд. Постучал в дверь сначала чуть слышно, потом – громче. В квартире послышались мамини шаги. Это был лёгкий шелест шерстяных следиков по деревянному скрипящему полу, только сейчас он казался тяжелее, скрип половиц громче, чем всегда. Вот мама остановилась у двери и спросила:

– Сашенька, это ты?

Сашка подпрыгнул от неожиданности. Этот обычный мамин вопрос вдруг прозвучал устало, даже безразлично, словно сын её давно застрелился и мама уже никого не ждёт. Сашка замер от неожиданности своего открытия, а мама повторила вопрос ещё раз. Потом наступило молчание, долгое молчание. Где-то за соседней дверью раздался шепоток, ничего не значащий, но тревожный, за другой дверью почудилось кошачье мяуканье, темнота становилась пугающей. Сашка готов был повернуться и сейчас же бежать прочь от двери, прочь из дома, прочь из города...

Замок медленно, опасливо начал проворачиваться, и вскоре дверь отворилась. Сашка зажмурился от неяркого, но неожиданного света керосиновой лампы, которую мама держала перед собой. Лицо мамы казалось бледным, измученным.

– Ох, Сашенька, – выдохнула она, неловко притягивая его к себе одной рукой. В квартире отвратительно пахло лекарствами. Сброшенные с вешалки, валялись в прихожей вещи.

– Приходили из Конторы, – объяснила мама, – такие грубые, страшные люди...

Она всхлипнула. Сашка взял из её рук лампу, пошёл на кухню. Там тоже был беспорядок.

Если мне хочется прочитать роман, я пишу его.

Бенджамин Дизраэли

– Сашенька, – мама как будто только что его разглядела, – что у тебя с головой?

– Ерунда, – пробормотал он. Похоже, те, кто приходил к ним домой, не сказали маме всего, что произошло. – Ты лучше скажи, что им было надо? О чём они тебя спрашивали?

– Они что-то искали. А спрашивали про Илью, про то, как вы в увольнение приходили. Сказали, Илья что-то натворил... – мама сосредоточенно вспоминала. – Я хотела завтра ехать к тебе в Корпус. Такое горе... Илья – такой милый мальчик. Что он сделал? Ведь его теперь могут отчислить, да?

– Мама, – оборвал её Сашка, – что говорили обо мне?

– Ничего. Проверили твои вещи и всё.

Сашка сел на табурет, положил локти на стол. Вот оно что: мама ничего не знает об отчислении, да и об Илье тоже. А уже так расстроилась. Что же будет дальше?

– Сынок, что у тебя с головой? Это опасно?

– Нет, – Сашка выдавил из себя улыбку и принялся врать: – На учениях из грузовика выпрыгивал – стукнулся. Вот отпуск дали. Недельку дома побуду.

Мама стала разжигать плитку. Сашка смотрел, как она устало двигается, и лихорадочно размышлял: Контора сюда больше не сунется – зачем он им нужен, да и из Корпуса выгнали и забыли. Значит, маме вообще ничего можно не говорить. Так для всех будет лучше. Только надо за неделю что-то придумать. Найти, куда можно уйти, как будто в Корпус. Попробовать сунуться на завод, там работникам дают койку в бараке, или в какую-нибудь охранную службу... Можно найти выход...

– Сынок, а Илью держат в Конторе? Может, сходить, попросить за него? Он не может быть виноват.

– Мама, не надо! Только не ходи в Контору! – Сашка вскочил. – Он... он на самом деле виноват. И... мы с ним больше не друзья!

Мама ещё что-то говорила, но Сашка прошёл мимо неё в комнату и стал расстилать себе на полу. Надо было лечь спать, чтобы не разговаривать с мамой. Надо было лечь и всё хорошенько обдумать. К тому же голова гудела от всего этого безумного дня...

Мама грела чай, предлагала ему поесть, потом ещё долго сидела за проверкой тетрадей, вздыхая и шелестя страницами. Сашка лежал

неподвижно и думал. Думал о том, что совсем, оказывается, не знал Илью. Не знал того, с кем год стоял в шеренге рядом, спал на одной двухъярусной койке, сидел за одной партой.

А ведь они с Ильёй даже не ругались. Сашка вспомнил, как на одно из первых построений приятель притащил драного котёнка, выбранного у забора Корпуса, и за это загремел в карцер. Сашке показалось несправедливым такое наказание, и он стал пререкаться с офицером, за что его тут же посадили рядом с другом. Тогда они поклялись никогда не расставаться.

– Вот смотри, – говорил тогда Илья, – мы постоянно попадаем в одно и то же место, вот в Корпус, в одну роту, в один карцер. Ты думаешь, просто так? Нет, это не просто так. Мы, наверно, как-то связаны.

– Да, – ответил Сашка, подумав. – Конечно, мы связаны. Давай поклонёмся дальше никогда не разлучаться, даже если нас пошлют на войну.

– Давай, – согласился Илья. – Только клятву нужно скрепить кровью. Чтобы всё было серьёзно.

Илья, найдя в кармане гвоздик, расковырял себе палец, потом то же самое сделал Сашка.

– Ну, вот, – сказал Илья, когда они перемешали кровь, – теперь мы никогда не расстанемся...

Наконец, мама погасила лампу и легла. Сашка, кусая губы, подождет, пока она уснёт, и только тогда всё-таки разревется. Теперь было можно. Раньше он и не подозревал, что в нём такой запас слёз: он плакал и плакал, а слёзы всё не кончались. На улице было совсем темно, когда обессиленный Сашка не то заснул, не то потерял сознание...

Утро было унылое: по крыше барабанил мелкий дождик, ветер трепал пожелтевшие листья старых клёнов. Сашка проснулся и долго не мог сообразить, что же произошло и почему он дома, а когда вспомнил, стало совсем плохо. Мамы в комнате не было – наверное, уже ушла на работу. Он встал, пошёл в душ. Из зеркала на него смотрел худой бледный подросток, почти ничем не напоминающий прежнего Сашку. Слишком усталый и измотанный был у него взгляд. Пояска за ночь сбилась, обнажила затянутую кровавой корочкой рану. Сашка отвернулся, встал на цыпочки и достал с полочки старенькую

аптечку. Раньше родители хранили там бинты, йод и прочие медикаменты для первой помощи непоседливому сыну, который то падал с дерева, то повисал на колючей изгороди. Бинт в коробке был. Морщась от боли, Сашка туго перебинтовал себе голову, потом проглотил пару таблеток, которые ему дали в санчасти, умылся, вышел в подъезд и постучал в соседнюю дверь. У соседей тёти Лизы и дяди Вити был единственный в доме телефон.

– Привет, солдат, – сказала тётя Лиза, увидев его, – какая у тебя повязка симпатичная!

– Мне бы позвонить, – вздохнул Сашка...

Телефон стоял в кухне на маленьком столике. Сашка взял справочник и набрал номер агентства караванной торговли. Спросил, не требуются ли там охранники караванов. «Позвоните через месяц», – попросили его. Службе бытовых услуг при правительстве города сотрудники его возраста не требовались. В организации охраны «Сириус» трубку не взяли, а в кадровом агентстве завода предупредили сразу: «Мест нет, и больше не звони». Вздохнув, Сашка позвонил в военизированную службу обороны «Штурм»:

– Чего надо? – спросил грубый голос на том конце провода.

– Не требуются ли вам молодые люди в группы обороны?

– Что, парень, совсем в дерьме? – участливо поинтересовался неизвестный собеседник.

– Да, дела неважно.

– Приходи в службу вербовки: улица генерала Пиотковского, 6. Всегда рады, приятель. У нас ты понохаешь, чем воняет порох. Полное обеспечение жилищем, жратвой, обмундированием, девками. Гы-гы, – собеседник чрезвычайно развеселился.

– Можно прийти через несколько дней?

– Валяй, приятель, надеюсь, здоровье у тебя лошадиное? А то сдохнешь, не доходя до места!

– Бывший кадет гвардии Главы, – вздохнул Сашка.

– Ну, тебя там, видно, здорово по башке съездили, если ты из такого классного места идёшь к нам. Загляни на днях к психиатру, гы-гы-гы...

Сашка положил трубку. Конечно, штурмовая бригада – это последнее, на что можно было согласиться. В городе ходили слухи, что все штурмовики воры и проходимцы... Но там совершенно точно давали

жильё. И, в конце концов, если там будет слишком плохо, никогда не поздно уйти... Он поблагодарил тётю Лизу и вернулся домой. Надо было навести порядок: подобрать выброшенные из его шкафчика и с полка вещи. В комнате было сумрачно и тихо. Тишина и бездействие нагоняли тоску. Ещё немного – тоска накроет с головой, начнёт душить, заставит плакать. Этого никак нельзя было допустить. Сашка включил радиоприёмник, откуда тут же понёсся знакомый марш. Так-то лучше...

Удивительно, сколько всякой ерунды, оказывается, накопилось у него за последнее время. То есть, правильнее сказать, сколько ерунды он притащил со старой квартиры, где жили ещё с отцом. Тогда ему казалось, что, сохранив для себя эти гимназические тетрадки, флакончики с краской и клеем для моделей, винты от разнокалиберных конструкторов, он будет жить хорошо – устойчиво и понятно. Так, как было раньше. Теперь это показалось смешным. Сашка притащил из кухни мусорное ведро, стрёб тетради туда. Верхняя оказалась не гимназической – уже из Корпуса. Сашка осторожно взял её, открыл – пространственная геометрия. А в конце – клеточки игры-лабиринта, в которой они с Ильёй искали клад. Сашка отшвырнул тетрадь и старательно подумал: «Илья – предатель города. Один из таких, которые хотят, чтобы наш город захватили бандиты из Бельска. Из таких, которые стреляют в Главу. Он ничуть не лучше того подонка, который застрелил моего отца. И я не стану о нём больше вспоминать». Сашка разыскал тряпку, старательно вытер полки, поставил на них книги, пару фотокарточек в деревянных рамках: на одной отец в форме, на другой – мама с совсем маленьким Сашкой на руках; положил окаменевший зуб слона, подаренный отцом. Глиняный замок, стоявший тут раньше, при обыске разбился, и Сашке осталось только собрать в ведро обломки. Странно, но замка было почти не жаль. Какой замок, когда жизнь переворачивается! По радио началась передача о славных героях предыдущей войны за независимость. Сашка сделал громче... Когда с уборкой было покончено, он решил почитать, но оказалось, что электричество до сих пор отключено, а керосину на кухне осталось совсем чуть-чуть. Сашка взял жестяной бидон и отправился на рынок.

Идти предстояло мимо площади Свободы. Давно, когда Сашка ещё учился в гимназии, он и его друзья бегали сюда играть. И ещё в

более давние времена, которые сам Сашка не помнил, на площади бил фонтан. Теперь от фонтана остались только несколько ржавых труб, а чаша потрескалась, и из неё кусками выкрашивался бетон. Раньше Сашка добегал сюда за пару минут, но сегодня шёл гораздо дольше. Шёл, считая одинаковые кирпичные трёхэтажки — одна, вторая, третья. Через дорогу от пятой и находилась площадь. Сашка перешагнул невысокую ржавую ограду и сел на скамейку. С места, на котором он сидел, были видны высокие дома из пластика и стали. Ему показалось странным, что в стёклах не отражается вдруг выглянувшее из-за туч солнце. Наверное, оттого, что стёкла грязные. Память услужливо подкинула эпизод, в котором они с Ильёй и Макаром мыли окна в казарме. Совсем недавно. Сашка помотал головой и приказал себе не думать об Илье. Взгляд с домов переместился левее. Там стоял памятник какому-то полководцу: мрачный офицер в фуражке, шароварах, сапогах и с мечом. Раньше Сашка считал, что так выглядели рыцари из книжек, а потом оказалось, что они ходили в латах. Надпись на памятнике давно стёрлась, но суровый взгляд выдавал большого героя древних войн. За памятником был разбит небольшой парк, засаженный чахлыми берёзками и тополями, в котором, как и вокруг площади, стояли скамейки. На ближайшей сидели несколько пацанят в гимназической форме и обменивались фантиками. На следующей покуривал пожилой мужичок, ещё на одной целовалась парочка: парень в камуфляже и пухленькая девчонка с выбритыми волосами. Солнце поднималось всё выше и стало даже припекать через свитер. Сашка поднялся и пошёл дальше. Почти все дома, мимо которых он проходил, были связаны с какими-то событиями в его жизни: где-то жили его одноклассники из гимназии, где-то знакомые по Корпусу или мамыны знакомые. И почти все окрестности он обошёл с Ильёй. Илья любил ходить по городу просто так — наугад, и иногда они всё увольнение бегали по каким-то закоулкам. «Представь, Санька, что ты здесь первый раз, — вспомнил Сашка голос Ильи. — Или представь, что мы ищем опасного шпиона». Сашка представлял всё, что хотел Илья. Ему было очень интересно с таким другом. «Ловили шпионов, — он невесело усмехнулся. — А теперь ты сам шпион. А я вроде как твой помощник». Он остановился, пережидая приступ головкружения, и понял, что уже дошёл до рынка. Очень захотелось есть. Сашка купил у какой-то старушки пирог с картошкой, а у молодого

человека — керосин, сел на доску, прибитую к двум пенькам и считающуюся скамейкой. Пирог пах резиной. Ну и пусть. Сашка жевал его и смотрел через дорогу. Там начинались рабочие кварталы, застроенные ветхими кирпичными зданиями, частными домиками и бревенчатыми бараками с осыпавшейся штукатуркой. Там было много наркоманов, хулиганов, просто бездомных... Ещё дальше находились Южные развалины — оплот штурмовиков. Место, куда ему предстояло попасть совсем скоро. Однажды, ещё в младшей школе, он уже бывал там, но после того, как за ним погнались пьяные парни, ходить туда больше не хотелось. Да и мама не позволяла...

Сашка встал и, подхватив бидон с керосином, пошёл домой. Парочка на площади всё ещё сидела, только теперь парень орал на подружку: «Дура! Ты всегда это делаешь, свинья!» Девчонка плакала, вытираясь рукавом. Сашка подумал, что нельзя так говорить девушке... Прислонившись к памятнику, он отдышался и опять пошёл мимо трёхэтажек, считая наоборот — пять, четыре, три... Когда он добрался до своего дома, голова гудела, как колокол в Корпусе. Нетвёрдым шагом он зашёл на кухню, поставил на стол керосин, и лёг на мамин диван. Первый раз пребывание дома не радовало. Трудно было врать, трудно было ничем себя не выдать...

4

Прошло ещё пять дней. Сашка, как мог, избегал общения с мамой, притворяясь то спящим, то страшно занятым. А мама ничего особенного не заметила, тем более, повязки он менял аккуратно, таблетки глотал и чувствовал себя всё лучше и лучше. Депрессия отступила, и Сашка уже совсем бодро думал о предстоящей жизни в группе обороны. Он надеялся, что как-нибудь выкрутится. И там люди живут. Какие люди, и как они там живут, Сашка представлял слабо. Друзей-штурмовиков у него никогда не было.

Наконец, он твёрдо решился идти на вербовочный пункт. Встал пораньше, взял рюкзак и сложил туда то, что, по его мнению, могло пригодиться: запасную одежду, ножик, спички, маленькую фляжку для воды. Натянул брюки, рубашку и свитер, огляделся, что можно ещё прихватить, вытащил из картонной копилки свой запас — восемь марок. Сумма была не очень и маленькая, но мелкими монетками. Сашка рассовал их по карманам, потом туго затянул шнуровку на

рюкзаке и приоткрыл дверь в коридор. На пороге стояла мама, непонятно зачем вернувшаяся с работы:

– Сашенька, – сказала она, – я как почувствовала, что ты уходишь. Уже в Корпус?

– Да, пора, – он пнул рюкзак под диван. – Отстану, потом с зачётами будут проблемы.

– А со мной даже поговорить не захотел перед уходом?

– Я тебя расстраивать не хотел, – сказал Сашка честно. – Ты же вечно волнуешься, когда я ухожу. Я записку собирался оставить.

– Саша, Саша... – мама обняла его, – ты у меня такой взрослый стал!

Он с трудом подавил желание тяжело вздохнуть и улыбнулся:

– Я тебе позвоню, если смогу. Постараюсь, в общем.

– Осторожней там с грузовиками вашими, – мама прошла на кухню и вернулась с двумя голубыми бумажками в руках. – Вот, возьми две марки. купишь себе что-нибудь...

Сашка махнул рукой и вышел в подъезд. Взять рюкзак теперь не было никакой возможности...

Недалеко от площади Свободы располагался жестяной навес, возле которого останавливались автобусы нескольких городских маршрутов. Нужный Сашке автобус оказался старым, дребезжащим и лишённым половины стёкол. Вместо сидений в нём были грубо сколоченные лавки. На боку автобуса гордо красовалась надпись: «Работа маршрута оплачена организацией «Штурм». Вступай в «Штурм» – кузницу героев!». А чуть ниже было криво выведено мелом: «Труповозка». Шёл автобус точёхонько до Южной окраины. В салоне сидело несколько рабочих в запачканных комбинезонах, лоточник со сложенной тележкой, и дюжина сварливых тёток различной комплекции, но с неизменным навязчивым запахом лука и сала. Сашка устроился на лавке в самом углу, автобус тронулся, и дома за окном побежали, становясь к окраинам всё хуже и облупленнее. На редких остановках в автобус заходили небритые мужики, напоминавшие бомжей, а недалеко от конечной в салон набилось два десятка парней, громко оравших и смеявшихся. Сашка внутренне напрягся, но они не обратили на него никакого внимания.

Вскоре автобус прибыл и остановился на заросшей лебедой и полынью площадке. От площадки в разные стороны разбегались

несколько кривых улочек, редкие обветшавшие дома, которые почти по окнам вросли в слой земли, пыли и мусора. Сашка с трудом разобрал ободранные таблички и пошёл по улице Пиотковского. Дом номер шесть несколько отличался от соседних: высокая деревянная ограда скрывала небольшой ухоженный дворик, стены были покрашены, дверь обита новой клеёнкой.

Сашка толкнул эту дверь и оказался в тесном помещении. У стойки наподобие бара стояли трое молодых людей в чёрной униформе.

– Тебе чего, бритый? – спросил один из них. Остальные даже не повернулись.

– Хочу завербоваться, – ответил Сашка.

Самый высокий и, видимо, самый старший из парней, покопался за стойкой и протянул ему серый листочек.

– Возьми, заполни. Документы у тебя есть? Давай сюда.

Сашка торопливо передал парню ненужное теперь удостоверение кадета Корпуса и сел заполнять анкету. Он и не заметил, что все парни внимательно смотрят в его сторону.

– А ты хоёшо подумай, пьятей? – спросил штурмовик со значком, на котором было написано: «Все – козлы». Он так смешно картавил, что Сашка с трудом подавил желание улыбнуться.

– Хорошо.

– Добро пожаловать в штурмовики, – сказал высокий, пряча Сашкино удостоверение. – Возьми подарок поступающему: «Кодекс штурмовика». И подожди, мы справимся, куда тебя послать.

Сашку отвели в соседнюю комнатушку. Тут, на широком дерматиновом диване с массой неприличных надписей, сидело ещё двое ребят его возраста. Один из них курил отвратительно воняющую самокрутку. Сашка отвернулся, стараясь не дышать – к горлу подкатила тошнота. Через несколько минут зашёл высокий и сказал:

– Есть три места: группа сорок пятая Воронцова в высотке № 31, пятый этаж, туда пойдёшь ты, бритый. И группа восемьдесят восьмая Чернова в высотке № 24, третий этаж, туда вы оба. Получите форму на складе, и Эдик Кролик вас проводит. Вот, возьмите удостоверения штурмовиков. Да, и не вздумайте вместе с новой формой в центр удрать: поймает – так вздрючим, мама не опознает. Понятно?

Эдиком Кроликом оказался картавый парень со значком. Он быстро объяснил двум парням, где найти Чернова – те были местные и в

сопровождении не нуждались. А потом подошёл к Сашке:

– В хоёшую гьюппу ты попадаешь, пьятей. Витька, он непьёхой. Пьявда, с гоёвой не всегда дыюжит. Его так все и зовут: Витька Шиз.

– А почему не дружит?

– Не знаю, упай, может быть, когда. Иногда ему кажется, что за ним съедят.

– Как съедят?

– Ну, съежка. Чёйный язум. И вообще, шиза она и есть шиза. Но пайни в быгаде пьявийные, – Кролик кивнул Сашке на дверь. – Тут в саяе сьяд, баяхьё поючишь и пойдём.

В сарае Сашка получил чёрные брюки, гимнастёрку, куртку, поношенные кирзовые сапоги с металлическими набойками на подошвах и выгоревшую фуражку с едва различимой надписью «Штурм». Всё это ему завернули в толстый слой оберточной бумаги.

– Ну как фойма? – иронично осведомился Кролик. – Кыюче, чем в вашем Койпусе?

Сашка вздохнул:

– Сойдет. А что, в этом всегда ходить обязательно?

– Ну ты даёшь! – закатился Кролик. – Это тойко дья боёвок, а то пьёносишь до дый, а новую хьен дадут. Ну, может, чеез паю ет, но ты язве стойко жить собияешься?

– Хотелось бы, – мрачно сказал Сашка.

– Кому сийно жить охота, в наше деймо не езет! – наставительно пробурчал Кролик.

Они прошли через частный сектор Южной окраины, и оказались в развалинах. Раньше здесь был спальный район из довольно престижных, но ещё в начале бесконечной войны бомбардировщики забросали этот район бомбами. Теперь уже и война не та, и авиации ни у кого нет, а полуразвалившиеся высотки зловеще смотрят на город пустыми глазницами. Сашка поёжился от неприятного чувства.

– Смотьи, – опять заговорил Эдик, – на всех домах номея. Ну, то есть не на всех, а на тех, где жить не очень опасно. В остайные ющше не заходи, ну есьи тойко по нужде пьиспит.

Сашка старался запомнить, куда его ведут, но это было нереально – приходилось всё время смотреть под ноги. Они с провожатым шли по кучам строительного мусора, обломкам мебели, непонятным ржавым железякам. Между всем этим хламом то там, то тут

торчала арматура, блестели на солнце осколки битого стекла. Иногда Сашка слышал какие-то крики, ругань, собачий лай, изредка им попадались плохо одетые парни.

– Гьяди, не вяпайся, – дружески посоветовал Кролик. – Эти бяди, что здесь живут, не очень чистопьётные. И... это, у тебя сигаеты не найдётся? Тут гниёт кто-то уже дней восемь. Тут ющше куйить. Нет? Жай, тогда пьёсто дыхание задейживай.

Действительно, откуда-то из развалин потянуло противным запахом разложения. Сашка с Эдиком почти перешли на бег.

– Это, небось, сатанисты язвёкаются. Мы на них обяву устьяиваи, да этих сук всех не пееёвишь. Здесь вообще всякого съёда хватает, по одному тойко днём ходим и то озияемся. Хоёшо бы тебе, пьятей, пушку заиметь. На боёвки оюжие выдают, конечно, но ющше иметь своё. Стъеать умеешь? А, забудь! Ты же у нас из Койпуса.

Наконец, они остановились перед бывшей двенадцатизатжкой с жирно намалёванным красной краской номером 31. От бомбёжки пострадали только верхние этажи здания, а низ выглядел вполне надёжно.

– Нам сюда, – сказал Кролик. – Это очень хоёший дом, тут сыязу пять гьюпп живут, так что ночью по одному вас не пееежут.

Сашка покорно полез за Кроликом в пробоину, служившую входом. Подъезд выглядел как надёжная баррикада и общественный сортир одновременно. У лестницы на мешках с каким-то мусором лежал худой долговязый парень в очках и каске. Увидев Сашку с Кроликом, парень лениво направил на них грязный обрез:

– Куда прёшь?

– Не узнай, бьёха пьётивотанковая? – Кролик засмеялся. – Я вам новенького пивейё.

– Узнал, – отозвался парень. – А ты всё скачешь?

– Пойзаю, – Кролик подтолкнул Сашку в спину. – Езь чеез мешки.

Сашка быстро преодолел препятствие и стал подниматься по лестнице. Через выбитые подъездные окна проникало достаточно света, чтобы можно было заметить, что все стены густо исписаны как неприличными словами, так и множеством имён каких-то неизвестных парней, рядом с именами стояло по две даты: видимо, дата рождения и дата смерти. Сашка почувствовал, что ему сюда совсем не хочется, но шёл дальше.

На четвёртом и пятом этажах почти не было хлама, и все двери были целые. На одной было выпарапано: «Тут живёт Кузя», на другой были изображены огромные фаллосы, а под ними красиво, с завитушками, выведено: «Вот вам всем!» Эдик подошёл к самой не приметной двери на пятом этаже и громко постучал.

– Пошёл вон! – крикнули из-за двери.

– Откывай, пидуёк, – крикнул Кролик, – замену привёй!

Дверь нехотя приоткрылась. На пороге стоял рыжий вихрастый парень с оттопыренными ушами.

– Это Ёва, – важно пояснил Кролик. Этим, видимо, было сказано всё.

– Лёва, а тебе так и Лев, – поправил его рыжий хриплым голосом и, почесав волосатую грудь под грязно-белой майкой, добавил: – Заходите, сволочи, всё равно уже разбудили.

Квартира оказалась неожиданно большой и, по сравнению с подъездом, чистой. На стенах ещё сохранились остатки обоев с приятным геометрическим узором, а там, где обои были содраны, новые обитатели понаклеили журнальных вырезок с крутыми ребятами и голыми девицами. Сашка вздохнул – из Корпуса за такие картинки выгнали бы в момент и пикнуть бы не дали... Большая комната, служившая в нормальных квартирах гостиной, была переделана под пункт питания: половину её занимал огромный стол, явно сколоченный из пары-тройки своих собратьев, вокруг стола стояли разнокалиберные стулья, табуретки, просто ящики, сверху стол был накрыт грязным листом фанеры. На фанере валялись огрызки, окурки, стояли немые алюминиевые миски и гранёные стаканы.

– Осмотрейся? – осведомился Кролик. – Садись к стою. Сейчас я тебе командю добуду.

Сашка осторожно присел на деревянный ящик. Лёва уже исчез из одной из комнат, а больше им никто не интересовался.

– Всё в порядке, – донёсся откуда-то голос Кролика. – Жди, с тобой язебоются, а я пошей.

– Будь здоров, – ответил Сашка.

– И ты не кашьай!

Эдик скрылся. Тут же в комнату вошёл огромный светловолосый парень с устрашающего вида мускулатурой, одетый в аккуратную серую куртку и такие же брюки, встал напротив Сашки и протянул

ему руку:

– Олег. Бери своё тряпье и иди за мной.

Он провёл Сашку в узкий коридорчик позади гостиной и распахнул перед ним одну из четырёх дощатых дверей.

– Живём по двое. Твой сосед Кеша, парень без заскоков, так что поладите. В комнате напротив – командор, я по соседству. Располагайся.

В комнате, куда направил Сашку Олег, стояло два деревянных топчана, шифоньер с одной дверцей, тумбочка и стол с красивыми резными ножками и испарапанной крышкой. На столе – разобранный магнитофон, грязный чайник и набор отвёрток. Стены комнаты были оклеены плакатами с неизвестными Сашке танками и автомобилями, на полу – цветастый линолеум. На дальнем топчане дремал парень в танкистском шлеме.

Сашка бросил свёрток с формой на пол и улёгся на свободное место. Новую жизнь предстояло начинать с десятью марками в кармане.

– Слышь, ты кто? – спросил его сосед, поворачиваясь.

– Я? Сашка.

– А я Иннокентий Янсен, бывший курсант бронетанковых сил, – парень посмотрел на Сашку раскосыми коричневыми глазами и приветливо улыбнулся. Лицо у него было скуластое, загорелое и, как показалось Сашке, доброе.

– Выгнали?

– Ага, я у них хотел ходовую часть танка батю на ферму угнать. Случайно влетел. На батарееках попался.

– На каких батарееках? – не понял Сашка.

– Ну, я несколько батареек на продажу хотел унести – они дорогие, – пояснил Кеша. – Неправильно я сделал. Надо было взять пяток и всё, а я взял двадцать. Ну, они в шкафчик и не влезли. Утром смотрят, а у меня полный мешок батареек под кроватью стоит. Вот и выперли. Но я у них, гадов, всё-таки набор отвёрток умотал, – тут Кеша пальцем показал на стол и продолжил, – и ещё шлем свой на память взял. И спать в нём мягко, и уши не мёрзнут.

Видимо, шлем был не единственной частью униформы, унесённой Кешей на память: на нём была тёплая кожаная куртка и приличные кожаные же сапоги – гордость всех танкистов.

– Ты не дрейфь, я у своих кентов не тырю.
 – А у меня тырить нечего.
 – Ничего, наживёшь, – Кеша встал и начал копаться в магнитофоне.

– А у вас тут электричество есть? – без особой надежды спросил Сашка.

– Какое там! – Кеша так энергично махнул рукой, что шлем сполз ему на глаза. – А вот вода течёт помаленьку. Только если ты её пить собираешься, сначала спирту хлебни, а то с кишками замучаешься.

Через пару минут пришёл Олег с небольшой жестяной коробкой в руках, протянул Сашке:

– Держи, набор новичка.

Сашка раскрыл коробку: внутри она была поделена на два отделения. Слева лежала зубная щётка и брикет самого дешёвого порошка, кусок серого мыла, коробка спичек и презерватив в мятой бумажной обёртке; правое отделение было больше – в нем Сашка нашёл вату, бинт, пластиковые ампулы с неизвестными лекарствами и несколько одноразовых шприцев.

– Вот-вот, – со значением проговорил Кеша. – Я тоже сначала ничего не понял, а на самом деле во всех ампулах одно и то же: что-то обезболивающее, на спирту. Но эту дрянь ребята живо используют: кто высосет, кто уколёт ради смеха. Я своё, конечно, спрятал, вдруг пригодится!

Сашка закрыл коробку и молча смотрел, как сосед чинит магнитофон.

– Твоя техника?

– Не, что ты! Командору делаю. А ты музыку любишь?

– Смотря какую.

– Ну и ладушки, пошарим вечерком по развалинам, я тут одно место приглядел, детали бесхозные, – Кеша мечтательно зажмурился. – Прошлый-то мой сосед вообще какой-то неживой был, свалится и спит – ничего ему не надо. Я говорю, Андрюха, давай картон собирать, окна к зиме заделаем, а ему всё по барабану! А ты как считаешь насчёт зимы?

– Я мёрзнуть не люблю, – признался Сашка.

– Прав! – совсем обрадовался Кеша, уже собирая корпус...

Продолжение следует...

Олег Курзанцев
ПОБЕГ
*(фантастическая история,
 главы из романа)*

Глава первая. ИДЕЯ



Брамск» шел вторым рейсом в эту северную навигацию, или на морском жаргоне – «завоз», в заполярный порт Певек с грузом, состоящим из всякой нужной людям во время долгой полярной ночи всячины. Чего там только не было – продукты, машины и механизмы, промышленное и бытовое оборудование, теплая одежда, разные товары народного потребления, одним словом все, что может определенное время поддерживать жизнедеятельность обособленной фактории на Крайнем Севере. Рейс был заурядный, непродолжительный и, в отличие от «загранки» – безденежный. Моряки, или как они сами себя называли с легкой руки отдела кадров – плавсостав – рейсами этими отчаянно тяготились, но такова была их судьба – судно у них было специфическое – полярное, для преодоления льдов рассчитанное, пусть не толстых – многолетних, какие ледоколы ломают, но по сравнению с большинством других морских судов усиленное. (Не везде, а в районе ватерлинии, разумеется, там, где те самые льды об корпус судна бьются.) Поэтому каждое лето, как закон, будьте, товарищи моряки, добры, обеспечьте охотников за «длинным» рублем, которых эта самая охота с насиженных мест сорвала и за Северный полярный круг занесла, всем, для зарабатывания этого самого рубля, необходимым. В других странах, в таких, как эти, проклятых местах кроме пограничников и белых медведей другого населения отродясь не бывало, ну а мы, советские, пусть себе в убыток, пусть для государственной (народной, то есть) казны ярмо непосильное, но мы зато опять «вперед планеты всей»! Засеем Заполярье кукурузой! Или кенгуру, какое там, вместо оленей разведем – нет таких вершин, которые не смогли бы взять большевики! И тянутся год от года вереницы транспортных судов с двух концов Северного морского пути, с Запада и Востока, в необъятные заполярные просторы родной страны, олицетворяя собой это емкое, только советскому хозяйству присущее понятие «завоз». Носились все с царских еще

времен с этой утопической в силу погодных и климатических условий идеей перехода кораблей летом, в одну навигацию, по Северному морскому пути, из Мурманска во Владивосток и обратно на страх всем врагам. До 1917 года эти враги были – Веры, Царя и Отечества, а после – всего прогрессивного человечества. Проклятое наследие царского режима, одним словом. Один раз немецкий рейдер во время последней большой войны, еще до нападения на нас Германии, в Тихий океан протащили, англичанам пакостить, другой раз из Владивостока лидер¹ и два эсминца провели, уже воюя против Германии, в Мурманск. И все, ничего более полезного, кроме того самого «завоза», никому по большому счету не нужного. Сам «Брамск», только что перед тем в Финляндии построенный, в прошлую летнюю навигацию, несмотря на все усилия, не смог пройти Северным морским путем с Запада на Дальний восток, пришлось возвращаться в Мурманск, оттуда – ближний свет – вокруг Евразии – домой. Да и не он один, пароходов тридцать-сорок дальневосточных, тем летом, забравшись на Север, таким же путем возвращались. Словом – от этого заполярья народному хозяйству – один геморрой! В переносном, конечно, смысле. А какому высокому государственному чиновнику, возможно, и в прямом!

В 16.00 четвертый помощник капитана Игорь Казанцев заступил на вахту. Четвертому, самому младшему из помощников, одна вахта положена с 16.00 до 20.00, а остальное рабочее время четвертый работает «делопроизводителем» – бумаги всякие, для судовой жизни необходимые, печатает и прочее там, столь же высоко интеллектуальное! Для опытного помощника не служба, а малина! Казанцев же, месяц назад придя на судно, по окончании училища, печатать на машинке не умел, не учил этому, да и о многом другом, особенно необходимом в первые месяцы службы, за все шесть лет в училище даже не упоминали! Поэтому если с вахтенными обязанностями у него проблем не было, то с печатными делами он, что называется, – «зашивался». Первые трое суток по приходу на судно не спал вовсе. А за последующие четверо поспал часов от силы пять. Некогда было. Старшие товарищи над таким служебным рвением посмеивались, но так, по-дружески – беззлобно. Печатать приходилось много, а кто начал учиться печатать на механической пишущей машинке, где не исправить, не добавить, тот Казанцева поймет и посочувствует. А если

надо сделать девять экземпляров, когда машинка пробивает всего пять, да на бланке в отдельные графы впечатать, а сам бланк шириной третьего формата, когда каретка машинки вдвое уже! В общем, не до сна тут. Один отдых – на вахте. Стой себе, смотри вперед. Да вовремя докладывай капитану, если что необычное заметишь.

Примерно в 17.30 хлопнула дверь и с сытым, и потому довольным видом на мостик зашел второй радист, абсолютный ровесник Игоря – Костя Чаплин. Сразу видно – только что с ужина. Казанцев – у него ужин только в 20.00 будет – голодно сплотнул слону и спросил:

- Как ужин?

- Душевно! – ответил радист. – Еще бы сто грамм вначале, и все, полный кайф!

- Помечтай, помечтай!

- Да, до Певека только и мечтать!

- Хорошо вам, радистам – на стоянках радиорубки закрыты, вахты стоять не надо – отдыхай в свое удовольствие, не то что мы – штурмана, сутками паримся!

- Все равно каждый день в радиобюро за текучкой бегать! Ладно, в Певеке у причала стоишь, до радиобюро пять минут пешком! А возьми Тикси, где с нашей осадкой болтаешься в шести милях от берега! Пока на катере туда, пока тот катер дождешься, пока он все суда на рейде обойдет, пока назад – вот тебе день и прошел!

- Тебе в радиобюро бегать – сплошное удовольствие – береговые радисточки, у них вход на судно свободный. Каждый вечер две-три у тебя в каюте! Тебе в порту не жизнь, а малина!

- Завидуешь? Как говорится – кто на что учился!

- Это правда. У нас, штурманов, на берегу только старпом без вахты. Второму вообще продыху нет – груз туда, груз сюда! Трояк карты корректирует – тоже петля! Не мне тебе рассказывать, сколько новой информации по обстановке каждый день по радио сваливается! А еженедельные «Извещения мореплавателям»? Так уйдешь в рейс на месяц, вернешься – на тебе четыре книжки страниц по двести каждая, и будь добр – режь, клей, рисуй! А месяца за три? А в загранку на полгода! Вот я и говорю – петля!

- Помнишь, какому-то пароходскому начальнику официально вопрос задавали – почему не учитывают переработку штурманов в море? Ведь восемь часов только вахты, а остальное когда делать? Ту же

корректуру третьему на вахте делать запрещено! Даже опытный третий тратит на корректуру часа четыре в день, когда в рейсе. А на стоянке, когда все пособия на весь рейс до выхода откорректировать нужно! А там одних карт, если даже до Японии идти, штук тридцать, а Лоции, «Огни и знаки»? Свихнуться можно!

- На стоянке хоть на вахте можно корректировать, а в море ни-ни!

- Так вот тот чин пароходский ответил, что переработка учтена в «Ваших высоких окладах»!

- Это в моих 125 рублях?

- Да фиг бы с ним, так он еще сказал, что переработка вся от неумения организовать свое рабочее время.

- Он, видать, не штурман!

- Ага, восьмилетка и ПТУ! Правда, вышестоящие задницы хорошо лизать умеет – так до зама начальника пароходства и добрался!

- Как это он в замы без высшего образования попал? С этим сейчас вроде строго? У нас в училище был заместителем начальника по Административно-хозяйственной части некто Бульченко. У него вообще образования классов пять всего было! Так высокая комиссия из Москвы его в одночасье лаборантом на кафедру Судовождения наладила! Правда, для этой кафедры из него лаборант – смех один!

- Этот пароходский – тот еще жук! Для наших отделов кадров ведь главное не победа, а участие! Он уже год двенадцатый заочно в каком-то институте вроде техникума числится! И все на втором курсе! Каждый год справку приносит, что студент, вот кадры на все его образование глаза и закрывают!

- Да-а! Кому-то на берегу лафа сплошная, кому-то болтанка в море и спрос за все!

- Не грусти! Какие твои годы! Дорастешь до старпома – будет и на твоей улице праздник!

- Знаешь, я, когда в училище поступил, сильно радовался! Как же – мечта детства сбылась! На порт глядел как-то вечером и думал: «Теперь это все мое!» Потом на одну практику сходил, на другую, порядки флотские мало-мало узнал и знаешь, чего тогда подумал?

- Чего?

- «Во, блин!»

Радист рассмеялся.

- Так иногда навкалываешься, а с тебя еще и стружку начальство снимет, так и хочется сказать: «Да гори оно, все, синим пламенем!»

- Та же история! Веришь – нет, а хочется порой все бросить к едреной матери!

- Так бы повернул руль на Юг! Куда-нибудь на Таити, продал там этот пароход к чертям собачьим и зажил бы по-человечески с какой-нибудь шоколадной таитяночкой.

- Чтобы руль повернуть, сообщники нужны. Механик – раз, радист два! И остальных изолировать поначалу. Потом-то их, от греха можно и посадить, так, чтобы они дней десять ни до кого не добрались. А там уже нас ловить поздно будет!

- Ты так говоришь, как будто у тебя уже план есть!

- План, не план, а думал я про это много! Ты-то вон второй месяц в пароходстве, и то задумываться начал, а мне за два года наши порядки уже в печенках сидят. Один выход – в водке! Да с нее спиться легко, а пожить хорошо, как люди живут, очень хочется!

В рубке хлопнула дверь, и на мостик вошли капитан и старпом. Казанцев отошел на крыло, в угол, а радист незаметно испарился.

Глава вторая. ЗАМЫСЕЛ

На следующий день, утром Казанцев выловил Чаплина, отвел того на корму и долго с ним шушукался. Чаплина после недели в машине с четвертым механиком Глюком и мотористом Повырченко. А уже потом Повырченко о чем-то шептался с электриком Лешей. После обеда Казанцев, Чаплин, Глюк и старший рулевой Золотников собрались на верхнем мостике. «Брамск» пока еще проходил траверз Петропавловска-Камчатского, и на воздухе, несмотря на довольно «свежий» ветерок, было относительно тепло. Место встречи подозрений не вызывало – чего бы молодежи не полюбоваться заснеженной вершиной сопки Авачинской в свободное от вахты время. Разговор велся вполголоса. Верхний мостик был хорош еще и тем, что имел большую площадь и любой член экипажа, поднявшийся на него, был виден как на ладони задолго до того, как он смог бы услышать, о чем говорили заговорщики.

Речь толкал Казанцев.

- Как выяснилось, мы все, кто здесь собрался, думаем примерно об одном и том же. Как грамотно и безболезненно свинтить на Запад. Мы вчера с Чаплиным немного на эту тему потрепались, и получается вполне реальная схема. Короче – выходим следующим рейсом в море, по плану это в Тикси, то есть маршрут прежний – за Полярный круг. Выходим в океан, за Курилы и поворачиваем на Юг. Экипаж, кто не с нами, изолируем. Чаплин держит связь с пароходством, как будто все в порядке. Диспетчерские² регулярно отправляем в пароходство. Сами держимся в стороне от основных судовых путей. От места поворота до Тикси ходу суток восемь. Если все это время будем идти полным ходом, к моменту, когда нас по настоящему хватятся, успеем проскочить параллель Гавайев, а то и экватор. Там ход можно будет сбросить – поэкономить топливо. Кстати, Глюк, нам топлива при заправке до Тикси, докуда хватит?

- Если не полным ходом – до Антарктиды хватит.

- Нам так далеко не нужно. Мне льдов и сейчас хватает. Я бы, честно, где-нибудь на Таити бы окопался. В общих чертах такой вот план, ребята.

- Если я буду все время на вахте, - сказал Чаплин, - в пароходстве забеспокоятся, где начальник. Почерки у нас разные – сразу пойдет доклад наверх.

- Сообщим, что у начальника острое отравление, лежит в карантине. А там, скорее всего, решат, что он в запой ушел. И успокоятся.

- Помполит свои секретки тоже посылает – на такой как раз случай, с этим как быть?

- Так и сообщим, что все отравились во время ужина, кто в этой теме. Сообщим, что прямой опасности нет, судовой доктор до Тикси справится. Навешаем лапши. Нам дней пять выиграть по времени, а там нас ловить поздно будет. В районе Гавайев только наши разведчики болтаются под видом гидрографических судов, я с ними на практике познакомился – за нами им не угнаться, ход у них не тот, а на волне они вообще больше шести узлов делать не могут.

- А как экипаж изолировать? – спросил Золотников.

- С этим надо детально разбираться. Оптимальный вариант – накрыть всех во время просмотра кино. Кино подберем такое, чтобы на него как можно больше народу собралось. Но нужно оружие. Этим надо озадачиться во Владике. Надо хотя бы три-четыре пистолета.

Пару ружей охотничьих неплохо. Тогда реально все обставить потихому – без жертв. У нас мирная операция. Да, кто-нибудь знает наверняка – у мастера³ оружие есть?

- Вроде нет, – ответил Чаплин, - мы же в загранку ходим, там все декларировать надо. Не дай бог, найдут – тюрьма!

- Но все равно надо исходить из того, что может и быть. Поэтому мастера надо в первую голову на просмотр завлечь.

- Да он и так почти все время в кино ходит.

- Ну, это нам на руку.

- Хорошо, дошли мы до Таити, а дальше что делать будем? – спросил Глюк.

- Вопрос резонный. Мысль такая – выберем островок помельче, осмотримся, затем попробуем пароход продать, а если получится, то и груз.

- Груз вряд ли, – сказал Чаплин. – На Тикси будем брать цемент, шифер. Кому он за кордоном нужен!

- Цемент наш в легкую пойдет, любая стройконтора с удовольствием заберет, по демпинговым то ценам. С шифером, согласен, сложнее, но мы торопиться не будем – зачем нам всем рассказывать, кто мы и как здесь оказались. Назовемся обычным трампом, название перекрасим, под каких-нибудь югославов закосим. С них спрос поменьше. Наши советские начальники тоже эту ситуацию сильно афишировать не станут – вдруг будет нежелательный политический резонанс! Если в море не перехватят, то постараются найти нас потихому, без всемирной шумихи. Идеологическую борьбу еще никто не отменял – на командирских совещаниях об этом постоянно напоминают, и на политзанятиях. А тут такой случай – целый пароход сбежал! Нет, наши это дело раздувать не будут! Сами посудите – сообщат они, к примеру, о нашем побеге или пиратами нас объявят, америкосы не вжись не поверят и сразу попробуют нас найти, чтобы мы на их мельницу воды подлили. А то, что американцы найдут нас скорее с их-то возможностями – к бабке ходить не надо!

- То есть, получается, если мы на юга проскочим, то нас уже не достать? – спросил Золотников.

- Абсолютно! Тем более, что пока мы будем на связи, пусть и формально, наши не смогут объявить о том, что пароход пропал! Их по радиоперехвату наших позывных вычислят и не поверят.

- А запеленговать нас по выходам в эфир не смогут? – вполне обоснованно задал вопрос Глюк.

- Смогут, если заподозрят неладное, но в том-то и задача радиста, чтобы не заподозрили. Тем более, что прецедентов не было. Одиночки сбегали, помните случай с рабочим склада в Японии. Еще мой однокашник группу захвата возглавлял, когда того парня хватились, и искать по Японии бросились.

- И чем там закончилось?

- Да все просто! Этот рабочий пришел в полицию и попросил политического убежища. В Японии! Его для порядка спросили, кто он. Он говорит: «Я рабочий продовольственного склада с пассажирского лайнера». Ему ответили: «Нам таких не надо!» Он им снова: «Позвоните американцам». Джапы для очистки совести позвонили. Те, конечно, задали вопрос, кто он. Узнали про рабочего с продовольственного склада и сказали, что им такого тоже не надо. Ну, под утро наш болезный из полиции вышел, а на улице уже зондеркоманда дожидается. Им его даже ловить не пришлось – так, ночь на улице просидели перед полицейским участком. Но зато все премию за поимку беглеца получили, как выразился еще один мой однокашник – свои тридцать серебряников!

- Понятно, что рабочий склада не Беленко, который МИГ угнал!

- Ладно, мы отвлеклись! – призвал Казанцев к порядку. – В общем, как я узнал, после следующего рейса, в Тикси, мы должны идти в Штаты⁴ за зерном. Поэтому снабжение во Владике будем принимать полное. Воду тоже. Топлива нам, как Глюк говорит, хватит. Поэтому в общих чертах так: Глюк – на тебе механическая часть, пока есть время, интересуйся, как у нас с машиной⁵, чтобы не подвела на переходе. Один моторист у тебя точно будет, но все равно на том переходе скучать будет некогда, нас крайне мало. Будем стоять вахты шесть через шесть (часов – *О.К.*), но дело того стоит. Золотников – ты на стоянке меньше всех задействован – тебе решить вопрос с оружием. Деньги мы соберем. Чаплин – ты к информации ближе всех – сообщай, что к чему. Если какие изменения в планах рейса, мы должны оперативно реагировать. Собираться часто не будем. Все и так ясно. А то еще нас заподозрят. И с водкой поосторожнее – не хватало, чтобы языки под это дело развязались. Перед следующим рейсом, за сутки – не позднее, собираемся для окончательного планирования. Ну а сейчас

любujemy Камчаткой и расходимся. Если кто вдруг посторонний сейчас попадется, мы про баб «травили» – самая нейтральная и востребованная тема. И вообще, делаем на людях вид, что основной наш общий интерес сорокаградусный! Ну, семь футов нам под килем!

Глава третья. ПОРТ ПЕВЕК

В Певек пришли рано утром. В прошлый рейс «Брамск» получил символический ключ от Севера, как первый ставший к причалу пароход в этой летней навигации. Был торжественный митинг, с флагами, музыкой и речами. На этот раз все было иначе – обычная процедура прихода в порт. Непродолжительные формальности, как обычно в непредусмотренном правилами порядке. Сперва начало разгрузки, а уже потом документальное оформление прихода в порт. Что поделаешь, штурмовщина – традиционный советский метод любого производства. Казанцев попал на стояночную двенадцатичасовую вахту в ночь – с 20.00. Дневную стоял второй помощник – все равно ему разгрузку обеспечивать, все, что связано с грузом – это его бизнес, как любил поговаривать штатный капитан «Брамска» Бакалович. День прошел под визг грузовых кранов, грохот разгрузки и матерщину грузчиков – грубый век, грубые нравы!

В восемь вечера Казанцев, облачившись в мундир, принял у второго вахту. Процедура носила символический порядок и заключалась в передаче ручной радиостанции для связи с вахтенным матросом у трапа и так называемой повязки «Рцы». Это сине-бело-синяя нарукавная повязка из горизонтальных полос, из которых средняя белая несколько уже крайних синих, являлась символом вахтенного офицера и носилась на левом рукаве в течение вахты. А называлась она «Рцы» по названию сигнального флага военно-морского свода сигналов, для буквенного обозначения которых были приняты дореволюционные названия букв русской азбуки. Повязка точно повторяла рисунок одноименного флага сигнального свода.

- Какие вводные задачи поставили нам сегодня? – спросил Казанцев второго помощника, внимательно оглядывая верхнюю палубу с открытыми крышками третьего трюма.

- Под выгрузкой третий трюм. Но сейчас у грузчиков пересмена, придут после двадцати одного. Следи за креном, а то эти ханурики

все норовят быстрее побольше выгрузить, им за это премия светит, они и рвут с одного борта, где легче. Крен больше двух градусов не допускай.

- А если слушать не будут?

- Закрывай трюма. Только не забудь в судовом журнале запись сделать, а то повесят простой на нас.

- Ладно, иди, отдыхай.

- Спокойной вахты. Да, капитан на берегу. Не пропусти его приход – он чинопочитание любит, так что встречай у трапа.

- Спасибо!

Ни в 21.00, ни позже грузчики не появились. При отсутствии грузовых операций при стоянке у причала, вахтенному помощнику уставом разрешено в ночное время отдыхать (спать) не раздеваясь. Казанцев успел обойти паропровод по верхней палубе и мостикам, заглянуть в трюма, плюнуть за борт. У трапа нес вахту Канайургин, матрос – чукча. Он до флота отслужил срочную службу в мотострелках – одно название, что мото-, пехота, короче. И этим обстоятельством страшно гордился. Закончил после дембеля шмоньку (ШМО – школа мореходного обучения - О.К.) и этот рейс был у него первым. У Канайургина была такая же ручная рация, как и у Казанцева, настроенная на шестой канал – для оперативной связи. Вообще-то вахтенный помощник вызывался к трапу двумя короткими звонками колоколов громкого боя – такой судовой звонок для подачи сигналов. Звонок этот слышен по всему судну. Но ночью, когда экипаж спит, чтобы не будить людей, связь осуществляли по радио. Казанцев проверил связь с Канайургиным, наказал тому смотреть в оба и заранее предупредить о приходе капитана. На трюмах в ночь стоял Золотников, обеспечивал грузовые операции – трюма закрывать-открывать, грузчикам подсказать чего, да мало ли дел во время разгрузки. Казанцев, закончив с Канайургиным, пошел навестить Золотникова. Тот как раз вскипятил чай.

- Привет! – поздоровался Казанцев, входя в каюту Золотникова.

- Привет, чай будешь?

- Давай!

Они просидели за чаем с полчаса, неторопливо обсуждая судовые дела, когда на весь паропровод раздались два звонка.

- Он, что, охренел совсем, малая народность Севера! – подскочил Казанцев и побежал к трапу.

У трапа с тупым выражением вечно нахмуренного лица, глупо озирался Канайургин.

- Ты какого звонишь?! – набросился на него Казанцев.

- Капитан, однако, пришел.

- А рация тебе для чего дана?

- Я в дырочку кричал-кричал, никто не отозвался!

- Капитан где?

- К себе, однако, пошел. Шибко пьяный!

- Я с тобой потом разберусь! – Казанцев помчался к капитану.

Капитан стоял в своем кабинете, опираясь руками на стол. Его покачивало.

- Ты где ходишь, вахтенный помощник! – протяжно пронудил он. – Ты где капитана должен встречать, а? По бабам шляешься? Не успел на судно прийти, службу нести не умеешь! Я тебе дырок в талоне враз наколю! Говори, где был?

- У дежурного по трюмам, обсуждали грузовые операции.

- Почему к трапу встречать не вышел?

- Матрос не вызвал, чукча, наверное, рацией пользоваться не умеет!

- Врешь, у Кладовкиной ты был, прелестями ее пользовался!

- Нет, я был у Золотникова, чай пил, там еще мой стакан недопитый остался!

- Я завтра у него спрошу, и смотри мне! Ступай! – капитана качнуло с еще большей амплитудой.

Казанцев вышел из капитанского кабинета и пошел к трапу.

- Показывай, в какую дырочку кричал? – обратился он к Канайургину.

- В эту, однако! – чукча показал на микрофон – Эту большую клавишу нажимал!

- Попробуй еще!

Канайургин нажал клавишу передачи и забубнил в микрофон. Рация Казанцева молчала.

- Дай сюда! – Казанцев взял у матроса рацию и поглядел на селектор каналов. Переключатель был установлен на третий канал.

- Ты вот эту ручку крутил? – спросил он Канайургина, показывая на селектор каналов.

- Крутил, однако, стоять скучно, нет никого! Крутить веселее, однако!

- Ты же канал переключил, дубина! Поэтому и меня вызвать не смог. А я из-за тебя от мастера фитиль получил ни за что! Больше не трогай ничего, и не крути! А то когда-нибудь тебе тоже чего-нибудь открутят. Смотри внимательно, грузчиков не проморгай! – Казанцев пошел к себе.

- А кто такой дубина, однако? – спросил Канайургин ему вслед.

- Да пошел ты!

Подымаясь к себе в каюту, Казанцев раздумывал над словами капитана.

«С чего ради он мне Кладовкину припел? Весь пароход знает, что она со старшим механиком любовь крутит. Она баба тертая, с младшим помощником шашни заводить не будет, а то и его, и ее на каждом судовом собрании по любому пустяку долбать станут. А так полный комфорт – стармех на судне второй человек, - начальник обособленной службы, - кто против него пойдет! Но и капитан просто так болтать не станет. Неспроста это все». И тут Казанцева осенило! Он вспомнил случай из прошлого, первого его рейса, который произошел здесь же в Певеке. После того торжественного митинга, вечером, местное начальство собралось у капитана – праздновали открытие навигации. Засиделись они часов до одиннадцати вечера. А примерно в полдвенадцатого ночи к Казанцеву в каюту, - а он сидел и что-то печатал на утро, буквально влетела взъерошенная Кладовкина. Полчаса потолкалась, выпила кофе, а в полночь оживилась и упорхнула. Когда Казанцев в разговоре поинтересовался, что она делает на их палубе в это время, она пояснила, что убирала у капитана после его посиделок с гостями.

«Так она меня просто подставила! – понял Казанцев. - Капитан ее позвал в надежде, что она после уборки у него останется на ночь, а она от него свалила и в мою каюту зашла. Коридор из его кабинета свободно просматривается, там всего три двери – моя, помполита и хозпомощника. Увидеть, в какую дверь заскочила Кладовкина, несложно. Вот сука! Но капитан-то! Он, что, про стармеха не знал? А может наоборот – знал, решил, что если она стармеху такие услуги оказывает, то и ему не откажет! А она отказала, да еще и меня перед капитаном замазала! Вот тварь!» Казанцев вошел в каюту, проверил связь с Канайургиным, решил, что если представиться случай, он Кладовкиной непременно овладеет, - не зря же капитанский разнос

выслушивал! - и, не раздеваясь, прилег на диван.

Утром, сдав вахту третьему помощнику и позавтракав, Казанцев с третьим механиком Гришей Самопалом пошел в город. Это только так называлось на морском сленге – город, на самом деле небольшой поселок городского типа по меркам обыкновенной жизни, но для заполярья это был город, с трех-четырёх этажными домами, магазинами и прочими благами цивилизации.

- Куда пойдем? – спросил Казанцев, когда они с Самопалом вышли с территории порта.

- Пойдем в местный универмаг, мне одеколон купить надо.

Они дошли до универмага, и зашли в парфюмерный отдел. Из одеколонов был только «Тройной». Гриша немного полубезничал с девушкой-продавцом, что возымело действие - та наклонилась и достала из-под прилавка пузырек одеколона «Спортклуб» – совместное производство фабрики «Заря» и французской фирмы «Л'Ореаль», по тем временам – полный «писк»! После этого, по неписанным правилам, должно было последовать приглашение в ресторан, но Гриша, увы, был несвободен. На пароходе его дожидалась Света Облепихова, с которой Самопал составлял «судовую» семью. В Виннице у него была другая жена – законная, но до Винницы далеко, а хочется сейчас. Гриша и Света свою связь старательно скрывали, настолько старательно, что Казанцев вычислил их без труда. Он просто обратил внимание, что на всех совместных посиделках судовой молодежи, Облепихова и Самопал совсем не общались. Для сухопутных отношений это означало бы неприязнь, ненависть, что-нибудь еще, столь же болезненное, но для флота в девяносто девяти случаях из ста это было свидетельством того, что ночи они проводят вместе. Поэтому приглашение в ресторан не последовало и Гриша, забрав одеколон, надежд девушки-продавца не оправдал. Казанцев был абсолютно свободен, даже и не до пятницы, а значительно дальше, но случайные связи его интересовали в последнюю очередь. Большой любви хотелось отчаянно, а по пустякам размениваться было лень. К тому же полноценного отдыха все равно не получилось бы, так как завтра с восьми утра ему снова на вахту. Механики стояли сутками, и у Гриши, также сменившимся с вахты этим утром, впереди был еще один свободный день. Поэтому Казанцев на призывный взгляд обманутой Гришей девушки не ответил, быстро купил в соседнем отделе



сирийский галстук синего цвета в мелкую белую крапинку и вместе с Самопалом покинул универмаг. Делать было особо нечего, из исторических достопримечательностей в Певеке имелась только вечная мерзлота, рестораны в Заполярье традиционно открывались только после шести вечера, работая в дневное время, как простые рабочие столовые, кино надоело на пароходе, где его от нечего делать крутили каждый вечер. По дороге попался продуктовый магазин. Казанцев с Гришей вошли внутрь, где их внимание привлекла копченая колбаса – редкость даже для столь высоких широт. Правда, друзей несколько смутил внешний вид колбасы – она была неровно обмазана какой-то мутно-белой субстанцией.

- Это, что у вас с колбасой? – спросил Казанцев стоявшую за прилавком бесформенно располневшую тетку средних лет в замызганном халате.

- Что Вам не нравится? – довольно миролюбиво спросила в ответ тетка.

- Вот это, белое, сверху!

- Так это парафин!

- Зачем? – удивился Казанцев.

- Как зачем? – еще больше удивилась тетка. - Чтобы не портилась!

- А чего ей портится, она же копченая?

- Так ей лет-то сколько, почитай с войны в бочках залитая парафином хранилась, спецзапас, с северных островов, со станций законсервированных. Вот срок хранения вышел, ее в продажу и пустили.

- Ничего себе! Получается, этой колбасе лет тридцать!

- Да чего ей делается! Говорю же Вам, в парафине лежала залитая, без доступа воздуха. Вы не сомневайтесь – берите, все берут, и никто еще не умер!

Казанцев и Самопал, тем не менее, к заметному разочарованию тетки, рисковать не стали и колбасу, которую произвели задолго до их появления на свет, не купили. Не найдя в магазине ничего, чего не было бы в судовой артелке⁶, они направились на судно, где Казанцев устроился у себя в каюте с книгой на диване, а Гриша незаметно, как ему казалось, прошмыгнул к Светке.

Продолжение следует...

***От межи, от сохи,
от покоса...***



Валентина Кузина
ЗА ГРАНЬЮ ПАШНИ
Повесть
(Продолжение. Начало см. «ГС» №3)

Глава третья

Ночь легла плотно и прочно. Замерла старая деревня Зыряновка. Избавилась от стука бабьих ведёр, прокуренного самосадам покашливания стариков, от плача несмышлёнышей, оставленных отцами, ушедшими на фронт. В густой темноте угадывались высокие тополя, и во взмытом шелесте их листвы царило спокойствие, тревожное в тишине. Только колхозный сторож дед Василий напоминал о своём ночном дозоре, глуховато постукивая колотушкой где-то на краю деревни, не нарушая глубокого сна трудолюбивых её обитателей. Но вот, полоснула тишину песня, не по возрасту поющего озорная и смелая. Проснулась Егориха, дала волю брани.

- Чего горлопанит? Как с печи упал! – Марфа приподняла от подушки раскудлаченную голову, с беспокойством покосилась на горничную дверь, за которой отдыхала невестка, добавила:

- Разбудит, окаянный, Елену... Это опять Василия городской внук орёт, вот у кого глотка лужёная! – Старуха поворочалась на овечьей шкуре, заменявшей подстилку, уткнулась в сатиновую подушку, засопела, шамкая слова: - Сон перешиб, дурень эдакий!

Спать Марфе больше не хотелось. Думы посетили сами собой, как всегда, про сына Андрюшу. Уж год, как нет известий. Думала она и про сноху Елену, которой гордилась и при всяком удобном случае хвалила её перед бабами.

Равномерно стучали ходики, время от времени опадала и вздрагивала цепь на сломанных зубцах механизма. Егориха приподнялась, прислушалась к дыханию Елены, подумала: «Надо поговорить с Василием, пусть приструнит внука своего. Не дело это. Который раз глотку дерёт... Спробуй усни после того!»

Утро наступило скоро. Под окошком вырос Филимон.

- На гороховое поле Елену наряжаю... Не запаздывает пусть. И ты, тётка Марфа, туда же.

Адам был садовником Бога, поэтому всю работу по саду и поныне делают на коленях.

Р. Киплинг

- Чего ради бы она запаздывала... Давно уж на ногах! – Егориха обернулась к Елене: - Слыхала? Чо сказал-то? Не запаздывает пусть. Начальство нашлось! Спасу нет. Нарядит всех на работу, а сам, может, на бочок, всхрапнёт всласть. Кто его в чём учитывает... Полина, дак, та только рядом с людьми: то на пашне, то на конюховке, то на лесорубе...

Ленка с немой улыбкой наблюдала за свекровью, за движениями её рук: та готовила в неизменную корзиночку - обед для неё. Старуха то уходила в сени, то появлялась, при этом каждый её шаг, каждое движение без лишней суеты было размеренно и привычно. Всё, чем бы ни занималась свекровь, было с ней неотъемлемо. А она всё ещё ворчала:

- Всё ходит, выдыхается... Харю отожрал!

- Ты о ком? – не поняла Ленка.

- О Мартынове... О ком же боле?

Свекровь снова подошла к корзинке и, положив ладонь на её дужку, доложила:

- Молочко вот тут топлёное... Пирожок сгоношила свёкольный, огурчиков сорвала... Уж больно нынче они у нас с тобой толстокорые... Заполивали мы их, однако.

Ленка привыкла к тому, что Марфа разговаривала всегда, что не свойственно было её, Ленкиной, матери. Матрёна говорила тихо и мало.

- Слышь? Чо говорю-то, Лена? – снова позвала Егориха.

- Слышу, слышу... Огурчики заправляли...

- Я говорю: пошто добрую кофту натягиваешь? Поберегла бы. Немного у нас с тобой одежды... А сохранишь доброе, то подольше вещица подюжит. Спомни-ка, на тебе её Андрюша любил! - Марфа приложила палец к подбородку, пытаясь вспомнить что-то, потом, вспомнив, заговорила обрадовано:

- Положу-ка я ещё тебе, Лена, морковочки. Может, погрызёшь наверхосыточку? Тимку-горлопана угостишь, али ещё там кого...

- Положи. День длинный. Погрызу, - засмеялась Ленка.

- Ну, иди с Богом. Вон бабы подъехали. А мы со старухами неспешно пешком пойдём. Дома кое-чего перетолкну и тоже отправлюсь.

Подвода подкатила почти к самому окошку. На телеге, свесив босые ноги, сидели бабы и дружки-подростки Тимка и Зиновий Фирсов, старший у Антонины.

Егориха растворила окошко, поискала глазами Тимку:

- Тимофейка, – зычно протрубила она. – Ты пошто по ночам спать людям трудовым не даёшь?

Но подвода тронулась и покатила по дороге, грохоча и пошвыстывая несмазанными колёсами. Переполненная людьми телега кренилась. Парнишки разом прыгнули на землю.

- Пешочком пробежимся! – крикнул Зиновий. И они понеслись напрямик через перелесок. Елена пошла за ними.

- Всё лошадам полегче, - бросила она бабам. – Через Заячий рям пойду.

Она шла, не теряя из вида бегущих парнишек. Ноги, почти не отдохнувшие за ночь, отзывались в икрах и бёдрах ещё вчерашней усталостью. Юбка, сшитая из грубой ткани, тяжёло и неуютно касалась загорелых ног. Босые подошвы, привычные к студеной росе, ступали по облюбованной ещё с весны тропинке, усеянной душистым разнотравьем. После работы, уставшая, она обязательно вернётся сюда, к чистоводной воркотливой речке и, с удовольствием отпыхивая, погрузит своё тело в божественную прохладу. Елена улыбнулась и пошла быстрыми шагами вдоль болотной, замшелой низины. Сквозь листву виднелась дорога, по ней и катила телега с колхозницами. Лене было хорошо одной. При первой же возможности она старалась уединиться. Хорошо и свободно мечталось, и никто не наседали на мысли. На дороге послышался топот, бригадир в пролётке обогнал подводу, крикнул, приостанавливая коня:

- Поживее! Пырей посева давит! Дождик пробрызнет – сорняк расползётся!

- Вот у меня потому и болит голова, - выкрикнула трактористка Капа: - Прямо всю ноченьку про тот сорняк думала! – Она усмешливо покосилась на бригадира.

- А тебе давно уже надо возле трактора быть, - недовольно подметил Филимон. - А ты только сейчас тянешься! Подружку твою где-то не видать. На горох наряжал.

- Вон она, кустами повадилась бегать... Дорога, говорит, короче. А когда идёт, думы разные думает... Про Андрюшу...

- Ладно, - оборвал бригадир. - Про думы потом! - Филимон остановил коня, поднялся в двуколке во весь рост, остановилась и телега. - Теперь слушайте меня - полоть станете, наседайте от осинника. Сюда, в эту сторону, сорняки сокращайте, - он скупно улыбнулся. - Работу виднее будет.

- Затемно домой уходим. Хоть бы юбочнку на себя состирнуть, - сказала тётка Авдотья.

- Кончится война, отмоешься!

- Сердечко от жары заходится, - нудила она: - Чую, до своей смерти не доживу.

- Хватит тебе, тетка Авдотья, - сказала Капа. - Кому жаловаться на судьбу надумала? Если бригадир тебя поймёт, то земля в однораз перевернётся.

Мартынов понукал коня. Ходок сорвался с места, спина Филимона засерела выгоревшей от солнца косовороткой. Капа смотрела на ту спину, пока ходок с Мартыновым не свернул в Заячий рям, подумала: «За Ленкой охотитесь».

Ленка чутьём угадала приближение бригадира и, заслышав стук его пролётки, помчалась за кусты. Он прокатил мимо, потом повернул обратно, остановился совсем рядом, осмотрелся. Ленка дрожала и в то же время успокаивала себя: «Он траву для покосов смотрит, не меня! Чего я взбудораживаюсь!?» Но боялась приподняться и, пока не убедилась в исчезновении Филимона из ряма, тихо лежала за кустами. Она встала, старательно отряхнулась, вдруг засмеялась над собой.

- Чего, спрашивается, в кусты подорвала? - вслух дознавалась она у себя и пожимала плечами. - Он даже никогда не смотрит в мою сторону.

Но какой-то голос изнутри подсказывал ей, что встреча с Филимоном наедине нежелательна, даже самая случайная. На ум пришли слова свекрови: «Харю отожрал! Выздымается!» Это рассмешило Ленку: «Чего она на него так? Красавец мужик. Правда, уж шибко в себя влюблённый... Ну так, стоит того!» Ленка отмахнулась от ненужных мыслей, как от осы, бегом рванула через перелесок и вскоре очутилась на небольшой опушке, где вчера обедали с бабами. Сердце колотилось от быстрого бега. Телега с людьми только что подкатила. Все были заняты разгрузкой своей

поклажи. Лена достала за чужими кузовками свою заветную корзиночку, отошла в сторону. Через минуту она слилась с работающими, приняла на себя частицу той всеобщей обязанности, что требовало время. Вот и свекровь появилась. Как всегда, её окружили подростки, у них она была за старшую.

Подъехал Филимон, прокричал:

- Чего сгрудились! Надо разомкнуться - полоска поля проглянет пошире! А ты, тётка Марфа, забери своих школьников и с другого края двигайте навстречу. А то отираются, бездельничают... Им присмотр необходим!

Марфа подоткнула с двух сторон подол своей юбки за пояс, выпрямилась.

- Чо говорить о них? Они у меня и так молодцы. - Она подтянула к себе рыжую девчонку. - Уж который раз говорю тебе, Минка, траву таскай на межу. А то, подрастёт она, возрадуется, заоживает. Тогда, спрашивается, на кой ляд труды наши?

Марфа повертела головой, отыскивая невестку.

- Елена, там в корзинке у нас платок, повяжи на голову Минке. В эдакую жару без платка припёрлась... И сама тоже айда сюда, становись со мной рядом! Вот полоску и захватим.

- Ты, тётка Марфа, дома Еленой командуй, а здесь она под началом... - отозвался бригадир. - Здесь позволь мне беспокоиться о каждом из вас.

Марфа живо обернулась к нему:

- Тут ноздри раздувать неча! Она у меня, Елена-то, хоть с какого краю встанет, всё едино обскачет всех!

Старуха взяла из рук Ленки платок, сама повязала его на голову Минки. Заговорила ласково:

- Рыжие кудряшечки-то повыгорают, потому как солнышко на тебя больше всех смотрит. А почему? Да потому, что ты сама золотистая, как солнышко.

- Елена! С завтрашнего дня станешь заместо своей матери воду возить на выпаса, на поле и к трактору, - распорядился Филимон.

- А она? - обернулась к нему Ленка.

- А она тут, на прополке заместо тебя будет... И за пацаньём с Марфой присматривать. Сваты ведь.

Не оборачиваясь, бригадир пошёл к двуколке.
 - Не вынесет мамка жары! – побежала за ним Ленка.
 - Сколько вынесет... Я не ирод... А там поглядим.
 - Тогда, я откажусь и всё тут!
 - Если за каждым разом эдак на бригадира покрикивать станешь... - Филимон не договорил, усмехнулся. - На Хмелькову, поди, не осмелилась бы... Чего от меня спряталась? – рассмеялся он вдруг белозубо.

- Это когда? – вытаращилась на него Ленка.
 - Сейчас, в ряме.
 - Не прибавляй, чего не следует.
 - Вон на локтях всё ещё трава висит, – он помолчал. – Прячешься, стало быть, знаешь, от чего... Догадливая.
 - Ещё чего... Стану я с тобой в прятки выпрыгивать! Не та я, какой ты меня видишь!

Ленка помчалась к свекрови, влезла между ею и Минкой и теребила сорняк, не разгибаясь, до самого обеда. Ей казалось, что Мартынов всё ещё где-то тут и смотрит ей в спину. Егориха, усердно вырывая траву, в то же время следила за школьниками.

- Зиновий, - говорила она, - мать-то давно ли твои штаны зашила, а у тебя заново колени сияют. Не маленький уж, скоро тринадцать минет. Вон Тимофейка какой аккуратный. Может, городской, потому... А ты эту аккуратность перенимай! Ты председательский сын, тоже надо. Ещё как надо-то!

Авдотья, не отрываясь от работы, сказала:

- Ничего! Вырастет, девки все сопли облизнут!
 - Так оно, так... Только аккуратность-то с детства в себе пестуют!

Ленка, не замечая того, отставала от свекрови. Пальцами шевелила будто через сон, как-то бестолково, наощупь.

- Тебе али нет говорю, Елена? – будто пробудила её свекровь. - Перехвалила я тебя, однако... Горох - не горох, трава - не трава - всё в ведёрко мечешь! Она распрямилась во весь рост, осмотрела спины ребятишек, радостно сообщила:

- Ну, готовьте посудинки... Питьё вам тётка Матрена везёт!

Все сорвались с места, и скоро старая Матрёнушка, держась за длинный черен, прилаженный дедом Василием к цинковому ведёрочку, стала наделять влагой подставленные ребятиней посудинки.

Отдых. Матрёна села рядом с Егорихой. Елена взобралась на скирду прошлогодней соломы, перевела дух. Вспотевшая спина ныла, и лопатки горели от солнца. Возле скирды, понуро опустив голову, стояла лошадёнка. Ей тоже доставалось сполна.

Ленка откинулась на спину, закрыла глаза. Под шум нарядных берёз пришли к ней воспоминания. Тогда, до войны, так же шумели берёзы, она тоже лежала на скирде, только рядом с ней был молодой муж Андрюша. Помнила Ленка, как спросила его тогда:

- Не любил бы, не взял за себя?
 - Не взял бы, - кратко ответил он.

Ей достаточно было тех слов, но от переполняющего душу счастья она снова спрашивала:

- А вот, правду ли люди говорят, будто бы деревья разговаривают?

- Так и есть, - кивнул Андрей.
 - О чём они теперь говорят?

- Подожди, послушаю, - он замолчал, а Ленка ждала тогда чуда, ждала терпеливо, не отводя взгляда от его губ. Наконец, он приподнялся на локоть, прошептал: - Они говорят: «Здравствуй, красавица Елена!»

Воспоминания задели за живое. Захлебываясь сладкими сердечными думами, Ленка простонала слабо и тоскливо. Камнем что-то подкатило к горлу и защемило в невидимые клещи. И, чтобы окончательно не раскиснуть, она порывисто села, откинула в сторону пропахшие землёй рукавицы, будто они и были во всём виноваты. Услыхав Тимкину песню, она заторопилась. Тимка пел, как всегда, развлекая сверстников и баб. Егориха с пониманием и гордостью говорила Матрёне:

- Горластый парень... Учиться, говорит, на певца пойду, как война кончится. Шибко изобразительный. Я, говорит, Козловского изображаю. А кто такой Козловский? Не знаю я. Да и знать ни к чему.

- Слыхала я, слыхала про Тимку-то... Сама Полина часто просит петь про две берёзы. Будто бы берёзы те супругами зовутся. А начинает петь про них, так сердце и захолонёт!

Авдотья прервала Тимку:

- Съездил бы ты, Тимофейко, отвез бы водицы на крутогорское поле. А бабушка Матрёна здесь тихонечко отдохнула бы. — Она подошла к Матрёне. — Говорят, нынче Полина там сама руководит.
- Так, может, я туда поеду сама? — забеспокоилась старушка. — Неловко.

Ленка уже уселась на край деревянной бочки, заявила подбегающему Тимке:

- Я тоже с тобой поеду, Тима. Петь мне одной будешь. Как его там? Ленский, что ли? А ты, мама, в самом деле передохни.

- ...Что-о-о день грядущий мне готовит... - затянул Тимка, усаживаясь рядом с Ленкой.

- Где ты это всё берёшь? — удивилась она. — Прямо как заправский артист!

- По радио слышу, - гордо отвечал певец.

На широкой полосе колхозного поля ни одна из баб не повернула головы в сторону Ленки и Тимки, никто не обрадовался воде, как это бывало всегда. Их взгляды были устремлены на маленькую приближающуюся точку, в которой Тимка узнал почтальонку Фроську.

- Беду несёт кому-то, - грустно проговорила Ленка.

- Может, наоборот? — зачем-то сказал парнишка.

- Нет уж, беду!

Беду угадывали по Фроськиной походке — медленной и понурой. Когда же было всё благополучно, девчонка ещё издали махала письмом и кричала от радости. Нынче она шла прямоком на поле, туда, где работала Хмелькова, плелась медленно, безрадостно. Бабы сбились в кучку. Воцарилась тишина. Казалось, все разом перестали дышать. Все, как по команде, сгрудились вокруг Полины, будто ждали от неё защиты от возможной беды. И, чтобы как-то ослабить напряжение, Полина крикнула Фроське:

- Чего тянешься, как помирать собралась?

Девчонка, подстёгнутая окликом председательши, ускорила было шаг, потом замедлила снова и, уже не в состоянии справиться с собой, остановилась. К ней, не сговариваясь, двинулись бабы. Фроська стояла молча, виновато смотрела на приближающуюся

толпу, боясь протянуть Полине обжигающее руку известие.

- Фрося, что это? — выдавила Полина.

- Я не смогла, не смогла отдать сама Антонине, - заскулила Фроська. - Отдай, если можешь.

Полина взяла бумагу из рук Фроськи. На немое молчание женщин, на их широко раскрытые в нескрываемом страдании глаза она только покачала головой, подтверждая этим суть холодной истины.

- Антон Иванович погиб... Фирсова убили...

А Фроська уходила тихо, удручённо, втянув голову в плечи. В такие минуты на неё больше никто не обращал внимания. Причитания баб остались позади. Она ускорила шаг. Ей ещё предстояло пережить нынче не одно преподношение людям казённо-холодных известий. Девчонка почти волоком тянула свою почтовую сумку. И некому было пожаловаться, что маленькая ростом, тринадцатилетняя Фроська сама каждый раз с болью переносила чужое горе.

Вечером, возвратясь домой, она бросила у порога ненавистную сумку, не раздеваясь, села на кровать и, обхватив холодный козырёк, тихо заплакала. Ей стало жаль самоё себя. Вспомнилась умершая недавно мать, после которой и повисла на Фроське её почтовая сумка. Мать работала почтальоном. Фроська заплакала горестно, с обидой на весь белый свет. «Мамочка... Мамочка моя... Загину я без тебя. Вот те крест, загину! Людям не до меня. У каждого своё. А я борюсь с трудностями, как ты меня учила... Что-то не получается. Но я ещё попробую. Какой-нибудь пользой займусь, кроме того, что на балалайке брэнчать да сумку таскать... Папка домой воротится, ботиночки новые купит. Придёт же, наверное, то время, когда чёрных известий не будет? Придёт! А ещё подскажи, Господи, бабушке Егорихе, пусть почаще она зазывает меня тыквенной каши поесть. А Тимка пусть мне молочка принесёт... Ох, как я хочу молочка!»

Успокоенная своими надеждами, Фроська зевнула, легла на подушку, прошептала, вздыхая:

- Узнала ли тётка Антонина про горе своё? Сказали уж поди. Сказали.

А про горе Антонина узнала поздним вечером. Рванув на себя дверину, почти не чувствуя ног, она вбежала в дом. Взмахом руки

столкнула на затылок платок и, приторможенная мрачной обстановкой в доме, остановилась у порога. Ей бросились в глаза завешенное чёрным платком зеркало и отяжелевшие взгляды старух. Она отыскивала среди них лицо Матрёны. Старуха встала с лавки, подошла к Антонине, губы её дрожали, покрасневшие веки повлажнели.

-Тоня, - тихо, с осторожностью, проговорила старуха, - Антон твой... И нечего мне сказать тебе в утешение... Одно скажу: молись.

Глава четвёртая



По просьбе Полины Хмельковой вечером Нинила Зайцева и её дочь Любашка ходили от дома к дому, стучали сельчанам в оконные рамы, громко извещали:

- На собрание! На собрание!

Люди, побросав все дела, потянулись к правлению, устало садились на длинные деревянные скамейки, принесённые из правленческого сарая, негромко переговаривались между собой. В воздухе зависли голубовато-серый дымок и терпкий запах доморощенного табака. На что уборщица Нинила безнадежно развела руками:

- Вы чего, старики, спятили? Собрание ещё не начиналось, а в правлении уже не продохнуть! Завернёте свою закрутку больше глаз и не расстаетесь с ней. Пальцы у вас уж пожелтели от курева этого. Вы только каждый поглядите на пальцы-то свои... Приглядитесь! Тьфу, срам какой!

Нинила ушла сердитая, не оборачиваясь.

- Ай-да Нинила! Вот это расчихвостила, так расчихвостила! Паче, как пацанов каких! – прохрипел древний старик. – Я, вот, сроду бы на пальцы-то свои и посмотреть не надоумился... А ведь взаправду она сказала, неприглядные, совестно нам должно быть!

Нинила вернулась с веником, набросилась на баб.

- Вы тоже хороши! Всё своими семечками заплели. Это вам не вечёрки, а правление. Где появиться – там горы.

Нинила, круто работая руками, торопилась убрать подсолнечный мусор до прихода Полины и, управившись, окинула взглядом сидящих:

- Поимейте хоть чуток совести! Я всё утро тут кверху задницей торчала, вылизывала каждый уголок... Вам что... Понасорите и домой уйдёте, а нам с Любашкой заново изо всех сил выкладываться!

Она замолчала, увидев в дверях Полину.

- Что, Нинила, разошлась – обыденно спросила её Хмелькова, проходя к столу и усаживаясь на своё место.

- Да так, для порядку она, - ответил за неё дед Василий.

- Ну, коли для порядку, то не лишнее, - поддержала её Полина, и так же просто обратилась к ней с вопросом:

- В лампу керосину добавила?

- А как же? Ясное дело! – затараторила с готовностью та. – Было бы сказано, а я уж всегда сполню!

- Хорошо. – Хмелькова поискала глазами бригадира. – Филимон, садись рядом, к тебе тоже будут вопросы. А прежде всего давайте почтим память председателя нашего Антона Ивановича.

Все встали разом, склонили головы. Воцарилась тишина. Кто-то сдержанно всхлипнул, повлажнели глаза и у Полины. Она обвела взглядом присутствующих и тихо сказала:

- Садитесь. Ну, а теперь... Говорите, у кого что наболело...

Снова заплакала трактористка Капа, подробно рассказывая о том, как сыплются запчасти и что работать совсем невозможно. Пустив слезу, она проявила и силу своего характера.

- Посылайте меня в район! В область...Хоть в Москву...Поеду запчасти требовать. Добьюсь!

Полина поддержала её:

- Правильно Капа сказала. Только поедет у нас по этим делам Мартынов. Он мужик.

- Кто же меня где ждёт? – возразил Филимон.

- Никто не ждёт... Потому и посылаю. Выгонят из одной двери - лезь в другую, настойчивости тебе не занимать. – Полина вздохнула, поискала глазами деда Василия: – Есть у нас ещё важное дело. Ты, вот, уважаемый Василий Маркелович, как сообразишь насчёт моего такого предложения: обуть к холодам ребятшек всей нашей деревни. Теперь лето, все босые носятся, а подступят холода?

Все настороженно молчали, ждали.

Дед Василий поднялся, кашлянул:

- А что, я подсобить не отказываюсь... Чем могу... Это завсегда пожалуйста. Только вот, глаза уж не те, да и очки, понимаешь ли, с одним, как есть, стёклышком... А во всём остальном, завсегда!

- Вот-вот, - перебила его Хмелькова. – Всё так. И глаза не те, и одному не под силу... Вот выход и напрашивается: организуем-ка мы с вами такие мероприятия, что-то вроде подростковых вечёрок. На подростковых вечёрках и станем наших старших школьников обучать такому ремеслу, как подшивать пимы, подбивать кожаную обувь... Думаю, то будет огромная польза!

Полина помолчала, словно давала возможность обмозговать сказанное ею, продолжала:

- Вас, старичков, - она окинула всех просящим взглядом, приложила руку к груди, - вас прошу от имени матерей наших, находящихся тут, рядом с вами, принять участие в обучении ребят. Вы – советчики во всех моих делах, на вас я и тут уповаю и полагаюсь.

- Ну дак, - растроганно заговорил Василий, осматриваясь по сторонам, ища у стариков поддержки нерешительным. – Надо, однако, старики, подсобить.

- Ну, раз уж надо...

- Спробуем!

- Ежели чего из этого выйдет, то пошто бы и ...

Не желая лишних раскачиваний, Полина сразу подвела черту.

- Вот и спасибо! По-другому я не думала... Знала, поймёте! У нас с вами одна семья.

- Всё верно затеваете, - привстала с места толстенная баба Татьяна. – Делом займутся ребята, а то, не во гнев будь сказано, Василиев-то городской внук по ночам песни ревёт, окаянная его душенька! – Она гневно шмякнулась широким задом на скамью. – И откуда он только выныривает? Заорёт так, что, того и гляди, горшки с полок попадают!... И пошто он углом не родился, как бы хорошо поросётам о него зады чесать!

- Да он работает лучше всех! – выкрикнула Капа.

Дед Василий поднялся с багровым от стыда лицом:

- Я так скажу, добрые люди, пословица говорится: про своих детей спроси у людей. Вот и выходит, откуль я знаю, али, вот, старуха моя, чем внучок займается. Взыщу по всей строгости! - Он покашлял в кулак, похренёкал, выпрямился, обратился к Полине: - Давай-ка мы насчёт делов говорить... А сказать я хочу про тот сарай, что посередь поскотины стоит. Старый он, вот-вот придавит кого-нибудь... Патсаньё там играть повадилось. Вот его, сарай тот, разобрать. То доски и на школьную крышу сгодятся.

- Неча уводить разговор... - опять подала голос Татьяна. – Ишь-эть, до чего хитрущий старик. Доски...

- Ась? - переспросил дед Василий, не расслышав.

Капа громко разъяснила, вызвав общий смех:

- Да вот, Татьяна высказаться хотела про склад, про тот порядок, который там создаёт... Войдёшь ненароком за чем-нибудь и уходить не хочется. А что? Там каждой вещице своё место.

- Хватит уж! - выкрикнул кто-то. – Что там на фронте делается?

- Где у нас газета? – обратилась Полина к Филимону...

По домам расходились, вздыхая тяжело, с ощущением постоянного страха за своих близких, находящихся там, на войне.

А Тимке было всыпано волосяной верёвкой по заду, но он не сопротивлялся, не стал более того раздражать деда. Он знал, что не петь не может, потому особых обещаний не давал.

Прополка заканчивалась, заканчивалась борьба с пыреем крепким и вездесущим. От усталости школьники ползали на коленях, продырявливали последние штанёшки. Вот тут-то и просили Тимку петь, он упорно отказывался после дедушкиного нагоняя.

Зиновий Фирсов, чтобы скоротать жаркий изнурительный день, рассказывал что-нибудь интересное. Он умудрялся много читать о героях, о капитанах... О том и рассказывал. А когда замолкал, то надолго. В такие минуты любил мечтать. Далеко-далеко уходил он в своих мечтах: и падал он, смертельно раненым, хоронили его в великолепных доспехах, но он оживал назло врагу, потому что рядом с ним, в его воображении, была Минка - конопусчатая, рыжая, задиристая девчонка. Упоенный размышлениями,

Зинко забывался, оборачивался на Минку – она всегда на прополке копошилась сзади. Работать быстро она не умела, зато без умолку трещала.

Зинко знал причину её словоохотливости. Минка с трудом переносила голод, потому излюбленной темой её разговора была еда. Для успокоения своего желудка она придумывала небылицы и вслух рассказывала всем, что у них с мамой в буфете залежались конфеты и что вчера, наконец, они их съели с неособой охотой. Рассказывала, как тётя из города привезла им с мамой по целой сайке, а ей, Минке, досталась самая большая. Девчонка так увлекалась своими рассказами, что верила в то сама. Концовку своих повествований она договаривала тихо. У неё вдруг наворачивались слёзы. Минка внезапно замолкала, непонимающими глазами смотрела на всех, пыталась ещё шутить, но в голосе уже звенели слёзы. Ребята все замолкали и так молча смотрели на Минку. Всем становилось жаль её и у каждого из них была мечта ощутить вкус той недостижимой сайки, рассказ о которой кружил голову, создавал боль в желудке. А Минка размазывала на лице пыль, стоя во весь рост с грязными уязганными коленками, крупная из себя, хотя и было ей двенадцать лет, беспомощная, перепуганная своим состоянием. Вот в такие минуты сердце Зиновия щемило. Если бы хоть мизерный кусочек хлеба, приподнёс бы он его Минке, как бесценный дар!

Именно в таких случаях приходила на помощь умная, догадливая Марфа Егорова. Будто совсем не заметив Минкиных слёз, она кричала:

- Ну-ка, Марина, беги на выпаса, принеси нам колодезной водицы!

За это Зиновий благодарен был Марфе безмерно. Потому, что там, на выпасах, доила колхозных коров Минкина тётка.

Полыхала июльская жара. Потянулась паутина от куста к кусту, от травинки к травинке. Объявляли о долгой безводной сухости кузнечики, с шумом летящие из-под ног. Кусты сворачивали листву в мелкие трубочки, где тотчас заводились личинки, поедающие зелень. Небо без единого облачка предвещало беду. До бешеного взгляживания заедали пауты скотину, загоняли в воду, и при великом старании пастухов было совсем невозможно выдворить её оттуда.

...И вот, совсем неожиданно, дождь чесанул с такой силой, что заплясали по дороге дождевые нити – непрерывные и шумливые. Небо заволокло и обложило тучами. И так на целый день.

- Ох, благодать-то какая! – говорила Авдотья своему деду Василию.

Набегал ветер, вздымал морось от земли и нёс над веселящимися ручьями.

Заявился Тимка. Дождь сполоснул с его лица грязные потёки, волосы прилипли ко лбу, пришлёпанные дождем. Они сморщились. Усталое лицо улыбалось.

При появлении внука Авдотья будто озарилась. Она кивнула ему на рукомошник, поспешила в куть.

- Не мог под стоком руки помыть? – проворчал дед.

- Забыл, - виновато проговорил Тимка. – Филимон домой отпустил... Мы обрадовались...

Старательно обтирая руки, Тимка смотрел на бабушку. Она, как волшебница, одним движением руки сняла с полки старенький, давно прогоревший противень. Внук сразу же очутился рядом. По сжатым губам бабушки, по хитроватым щелочкам её глаз знал он, что скажет она.

- Не совсем удачно, но поесть можно... Отрубей немножко было. Ешь, Тима, какие-никакие, а всё ж лепешки.

- Удачно, удачно, - говорил парнишка, уже вонзая зубы в горьковатое, но пахнущее едой бабушкино изделие.

Он жевал, и ему в эту минуту не хотелось думать больше ни о чём. Ему хотелось жевать долго-долго, придерживать языком жевки, но голод брал своё, и, размоченные обилием слюны, они рвались в желудок, не дожидаясь позволения.

- Как дела на полевых колхозных фронтах? – будто бурундучок, распрямился дед. – Отчего-то по домам разбежались. Надо было дождь переждать, а за то время веничков для баньки наломали бы.

- Мы, деда, и так много сделали... Не дождь, точно получилось бы полторы нормы.

- Это сходно! Ежели только не показалось тебе.

- Я тебя никогда не обманывал... Филимон ведь замерял!

- Да, верю я, верю! Время уж больно тяжёлое...

Авдотья не выдержала.

- Чего ты, старый, привязался к парнишке? Сроду дотоху свою навязываешь!

Она обернулась к Тимке:

- Ешь, Тима, ешь. А хочешь, дак полежи маленько.

Тимка положил в карман последнюю лепёшку, зашпешил.

- Зиновию отнесу, мать болеет.

- После похоронки никак не успокоится. Молочка ей нынче отнесла. Воеет, всё воеет, горемычная.

- А Фроське молочка? Ты обещала.

- Ну ладно, отнеси маленько, - кивнула в согласии Авдотья. — Много-то нету, а крыночку налью.

- Не пролей, да дождём не разбавь! - наставительно крикнул дед. - Вырастет, может, невестой твоей станет.

И старик со старухой посмотрели Тимке вслед. Их взгляды ласкали тонковатую шею внука, остренькие лопатки, растопыренные, согнутые в локтях, руки, неуклюже державшие крынку с молоком, прикрытую от дождя кепкой. Тимка удалялся в пелену сырого седого воздуха, навстречу лучикам солнца, несмело пробивавшимся окольно грозовой тучи.

- Коленька... Как есть, Коленька. — прошептала Авдотья.

Старик думал о том же, но чтобы не поддаться слабости, засуетился.

- Авдотья, телёнок-то всё чай на приколе? Ухлопало, поди, скотинку-то! Позабыли, эть, про телёнка-то!

Он поспешно сдёрнул с гвоздя дождевик. Но Авдотья остановила его.

- Вон, не видишь? Верёвка на гвозде висит. Тимка отвязал уж.

- Ох, и баламуты же вы, - пробурчал старик, а губы его скривились в благодарной улыбке к внуку, трудолюбивому и догадливому, и к старухе, которая всё умела делать и подсказать в самое нужное время. Василий ещё кивнул головой, о чём-то думая про себя. Ему вдруг стало легко, наверное, от той мысли, что всё у него есть: и внук, и сыны, защищающие Родину, пусть пока не герои, но уже при медалях. Есть ещё Авдотья, любившая порой подсолить, но не особо солоно, а так, по своей бабьей необходимости.

Продолжение следует...

Антонина Пегушина САМОВАРЫ



Седой Лунь, проснувшись еще до рассвета, сидел на зава-
линке племяшева дома, Саньки, правнука того Ерофея,
что сумел-таки схорониться от беды в тайге и чуть не до
ста лет там прожил — не хотел вылезать на люди. Страх в него
вколотили до конца дней, когда раскулачивали село.

Сидел Седой Лунь, самокрутку палил... Еле чаял утра дож-
даться, свой дом поглядеть, людей повстречать, может, кого и
узнать.

А утро только начиналось. От реки белой дымкой поднимал-
ся туман, ощупью плыл над землей, почувствовав тепло ее, под-
нимался и таял. Тьма еще отступать не хотела, но свет отгонял
ее все дальше - оповещал: просыпайтесь. И, послушно его зову,
все пробуждалось: туман отстал от реки, за ним побежал вете-
рок, свистнула ранняя птаха, громко заголосил петух, замычала
спросонья корова...

Все - как надо; как было до нас, как и после нас будет: то
добавится голосов и звуков, то так мало останется их, что толь-
ко жутью повеет от такой тишины. И бежал бы, куда глаза гля-
дят, но от себя куда убежишь? Все равно - везде лишний, непри-
каянный...

Да и сердце к родным местам прикипело. Хорошо - да в лю-
дях, плохо - да дома. Так то вот оно...

Иногда в предутреннюю незвучную песню, не спросясь, вре-
жется какой-нибудь голос - скажем, матерок подгулявших креп-
ко мужичков, или пересвист ребят, что на конях возвращаются
из ночного. Но это — когда было...

И где оно все?...

Вымерли деревни, словно чума по ним прошла. Стоят сирот-
тами избы с заколоченными окнами. На многих ошетинились
крыши, от дождя и солнца кое-где уже и провалились. Кладби-
щенским холодом веет от них. Только на закате, где стекла еще
не выбиты, вдруг заиграет последний луч солнца, и тогда ка-
жется, что в избе еще люди живут: вот зажгли лампу, и вся семья
после трудового дня сядет ужинать.

Но минула та пора, и когда опять настанет, и будет ли, кто знает...

Из трехсот дворов, - Санька сказывал, - еще жилым пахнет всего в шести избах. На этой стороне четыре избы, да на той стороне две.

Одинокие старухи и старики доживают свой век...

Пока ноги ходят.

Руки в огороде хлопочут – значит, еще можно биться, с голоду не умрешь, не пропадешь. Опять же в субботу, глядишь, из города кто-нибудь из внучат прибежит, хлебушка принесет, гостинцев. А уж если красненького бутылочку – так уж вовсе праздник, с песнями и прибаутками, смехом и слезами.

Ждут субботы старые. Неважно, к кому придут. Лишь бы пришли, все веселее.

* * *

Раньше три подружки часто ссорились, каждая верх держать хотела, а теперь смирились да и воображать-то не перед кем: ухажеры перемерли. Один Семен остался, но он и в девках их не жаловал, все посмеивался, что одеты не по-городски и «завлекалочек» у них нет. Да и большой человек он сейчас – в городе живет, все ездит, чего-то проверяет, в тетрадку записывает... Сказывал, обществом пенсионеров ведает, а может, и привирает.

Манефа, которой он очень нравился по молодости, быстро смекнула насчет увлекалочек – челку себе подстригла немного наискосок, она получилась с задором – все одобрили: лицо покруглее стало и глаза поярче. Загордилась девка: в осколок зеркала все чаще посматривает, лицо чуть мукой припудрит – ну впрямь городская.

Ждала на посиделках встречи с Семеном. Пару одевала кашемировую, ботинки высокие, - материн полушалок на плечи.

Пришел Семен с двухрядкой, ватага парней ввалилась в избу. Расселись против девок на лавки. Растянул меха Семен, да как крикнет:

- Становись на кадрили!

Парни бросились к девкам. Манефу трое пригласили – ни с кем не пошла. Сидит, губы поджала, с Семена глаз не сводит, а

он ее и не замечает: весь - в пляске.

Когда кончилась седьмая кадрили, растянул меха гармонист и полилась другая песня - грустная, подхватили ее молодухи:

*Догорай, гори, моя лучинушка,
Догорю с тобой и я...*

А потом подошел Семен, пошутил:

- Что ты, милочка моя, над собою сделала, да как у мерина мово челочку подрезала...

Все засмеялись.

Манефа, дальняя родня Седого Луня, с которой его давеча Санька свел, мастерица была рассказывать. И памятью бог не обидел. Всех помнила и ничего не забыла из лихолетья.

...Ох, и взорвалась девка, выскочила на круг и давай частушки шпарить про гармониста. Пошла перепалка, к Манефе присоединились девчата, к Семену - ребята. Волна на волну шли, гребнем, с шумом и хохотом.

А когда утихомирились, чинно расселись по лавкам и только глазами друг другу улыбались. Поболтали еще о том, о сем и разошлись парами.

Семен исчез незаметно, оставил гармонь своему брательнику. Не любил смотреть в манящие глаза девок, а еще пуще не терпел баловства...

Манефа назло ему всю жизнь так и проходила с челкой-«завлекалочкой».

* * *

На субботу с вечера собираются старухи. Достают из кованых сундуков любимые наряды, что хранили десятилетиями, и только по большим престольным праздникам одевали.

От времени отцвели краски, потускнели полушалки, не одна заплатка легла на рукава шугаев (так называли кофты). Но все равно они самые красивые, сердцу милые, а уж сколько воспоминаний хранят... Состарились вместе с их владелицами, те тоже стали будто бесцветные и с одежками выровнялись - походили друг на дружку.

К обеду в субботу выходят бабки на улицу, садятся рядком на скамейку и глядят на гору, откуда по дороге должны показаться гости. Смотрят молча, изредка кто-нибудь кашляет или вздохнет, а то и просто похрустит пальцами.

Так проходит час, другой.

Но никто не появляется на угорье.

И тогда ожидавшие, словно проснувшись, начинают предполагать и выдумывать - почему не пришли.

Сами знают, только страшно признаться, - на сегодня о них забыли, или есть дела поважнее.

- Ну, девки, - скажет одна из них, - пошли в баню мыться засветло, а то керосин беречь надо, да и один угар от него в бане.

Разбегутся по избам за рубашками и полотенцами, а потом прямою к баньке. У реки она стоит, наполовину в землю ушла, - наверное, сто лет ей, - а все тепло держит, хоть и топится по-черному, а хороша, как бзданеш из ковшика разок-другой на камни, так и присядешь, чтобы лицо и уши не обожгло, а потом залезешь на полки и давай себя жарить веничком березовым вдоль да поперек, по спине и бокам, с отяжечкой, так умаешься, еле в предбанник вылезешь, присосеешься губами к туесочку с холодным кваском, и вроде как вновь на свет белый народился. Этак захода два-три сделаешь, а потом полураздетый, полотенцем голову обмотав, покачиваясь, идешь в избу...

Сто пудов с себя сбросил, снял и с души весь груз. Такая благодать по всему телу разливается...

Уморились бабки в баньке, еле до избы доползли и скорей - на боковую: полежать, отдышаться, охолонуть немного, да и подремать не мешает.

Тишина стоит до сумерек. Пора расходиться по своим углам. Хоть дом невелик, а спать долго не велит. Опять же пищу какую ни на есть сварганить, пыль со столешницы смахнуть. Что ни говори, а избе хозяйка ой как нужна, без нее - ни тепла, ни хлеба.

Пошла за реку Манефа, изба ее на самом угоре, из окон далеко видно: вся округа на ладони.

Лет пять тому, а, может, и больше, правнук Лешка, сын внука Пашки, приехал в гости и привез ей в подарок бинокль:

- Вот, бабуль, чтоб тебе зря ноги не топтать, сперва в бинокль погляди, что твои подружки делают, дома ли, а потом в гости иди.

Настроил ей бинокль, а она глянула в него и как закричит:

- Гляди-ко, Лизавета с сумкой на пекарку за хлебом пошастала, и мне пора!

Потом перевела оптику на пекарню, увидела, что двери на замке, и давай опять во весь голос, но только уже подружке:

- Не ходи, возвращайся обратно, закрыта пекарка!

И - правнуку:

- Гляди, гляди, на меня зенки свои уставила, а все одно идет.

Выскочила на крыльцо, да как ударит клюкой по железке.

- Ты что делаешь, бабуля?

- Упреждаю ее, что зря идет.

Лизавета остановилась, махнула рукой, развернулась и пошла обратно.

Долго хохотал правнук над выдумками бабушек, а потом понял, что даже кусок лемеха - это способ общения: сигнал бедствия, желания встретиться, все зависит от того, сколько раз ударят и как ударят. Свой язык. Утром проснутся - и бух по железке протяжно разок: «Жива я, жива».

В старости каждый метр ходьбы километром кажется...

- Тревожно что-то на душе, - жалуется Манефа сама себе, - как бы не заболеть; погода, видно, переменится, оттого тягость во всем теле; а, может, там, в городе, что случилось?

Поднялась по ветхим лесенкам на крыльцо, дернула за шнурок щеколду, дверь открылась со скрипом. Фу, как жутко, скорее бы найти спички и зажечь лампу, и куда это Шарик запропастился? Кликнула пса раз, другой. Он нехотя вылез из логова под крыльцом и направился к хозяйке. Одряхлел, бегать и лаять тяжело. Но раз зовут, - надо идти...

- Барсики, Барсики, - позвала Манефа.

Три разных по виду и возрасту кота спрыгнули с печки ей под ноги.

- Ну вас, постылые лежебоки, покуда не позовешь, не подниметесь!

Бурча еще что-то, хозяйка зажгла лампу, села к столу, положила натруженные руки на колени и с горечью прошептала:

- Ну вот. Вся семья в сборе, а поговорить не с кем. Шарик, ну скажи, почему никто не пришел, что-нибудь случилось, беда какая, может, на паром опоздали, на работе задержались...

Но Шарик лениво помахивал хвостом и спокойно смотрел в глаза хозяйке.

Тени сгущались. Ночь, глухая ночь мягко вкрадывалась в дом. Ни пить, ни есть не хотелось одной. Столько было надежд на сегодня и на завтра!

Осень ко двору приближается, а дров мало, на зиму не хватит. Может, к Лизе перебраться на зимовье? Но совестно:

- Что я - не хозяйка, избу свою бросать? Может, еще и Петро, сынок, объявится, придет, а меня нет. Внуки, правнуки приедут, а изба - холодная, и в печи ничего нет. Правду говорит внук Пашка, на что мне старый амбар, стоит ни к чему столько лет. Замок на дверях ржавый, крыша прохудилась, угол один совсем осел, а я все его сторожу, - ворчала Манефа.

Уходил муженек, наказывал, чтобы от амбара ключи никому не давала, и сама туда не ходила. Вернись, де, сдам все по списку государству. А Семен?! Такой дотошный был этот Семен. И чего он так приворожил ее по молодости? А сейчас и вспомнить тошно - что творил, когда хозяином входил «раскулачивать». И перво-наперво - зырк на стол:

- А, чаями балуетесь, вон самоварище какой завели! Эй, кто-нибудь, тащите самовар на телегу к прочему скарбу!

И - утаскивали...

Чего там в этом проклятом амбаре? Сколько раз в окошко заглядывала, вроде как пусто. Ни детям, ни внукам туда не дала глянуть. Почти полвека прошло...

Все чаще всплывают в памяти те дни. Раскулачивали в ту весну всех. Мужа Петюню в комиссию включили вместе с Семеном, как грамотного, - как ни верти, приходскую школу окончил, в церковном хоре пел. Семена-то старшим определили. Ох ты ж, Господи... Отобранное свозили к ним в загон; что - в амбар сносили, что - прямо под навесом складывали.

Как-то раз приехал к ним из города начальник большой, стал на Петра кричать, а тот возьми в перепалке и скажи:

- Мало ли что сарафанное радио наговорит!

Начальник ничего не ответил, только по сторонам оглянулся. Не слышал ли кто?

Через неделю вызвали Петра в город, - и пропал человек. Говорили, - без Семена не обошлось. Слухи разные ходили, потом затихли, а с войной и совсем человека забыли. Трех детей одна вырастила. Всякое бывало: с голоду пухли, последнюю скотину со двора уводили, с каждой курицы яйца сдавала государству.

Однажды ни с того, ни с сего несущка сгубла; спасибо, справку выдали в сельсовете, что не по хозяйкиному злему умыслу, а по старости и болезни подохла птица. До сих пор в сундуке лежит та справка вместе с книжками по сдаче госпоставок. Бережет их она, мало ли что будет, а документ - он и есть документ, может, и защитит от какой беды; правда, от времени бумага стала желтой и, буквы еле читаются, но печать еще хорошо видна, да и при натуге разобрать все можно.

Были и радости... Вот полушалонок кремовый с цветами красными и кистями длинными подарили ей за ударный труд. Ног под собой не чуяла, когда председатель правления ей этот полушалонок на плечи накинул:

- Носи, Манефа, ты с честью его заслужила!

Так по большим праздникам его и одевала. Хранит Манефа бережно полушалонок тот, только он теперь не кремовый, а желто-грязный от ветхости, и цветы поблекли, и кистей стало вдвое меньше. Но ничего, ничего еще посмотрится в нем Манефа, когда свою «завлекалочку» выпустит.

Сколько раз колхоз то поднимался, то падал. Одно время столько люду скопилось, даже школы открыли: начальную и десятилетку - в два этажа, с музеем родного края. Ребятня по дворам ходила, всякую старь собирала, песни, частушки записывала, фотографии, письма, вещи погибших на войне.

Помнится, пристали к Манефе отдать в музей прялку, которой, почитай, больше двухсот лет. Она из поколения в поколение передавалась.

«Скажем, пошли сватать девушку, - вспоминала Манефа, - жених ей прялку дарит. Сперва каждый сам делал ее, а потом стали родительские брать. Мне мой-то подарил прялочку такую

красивую, резную, легкую, аккуратную. Потом уж только узнала, что принадлежала она еще прапрадедущке. Искусный мастер был, его поделки из дома в дом переходили по наследству».

Хорошо, что не отдала прялку в музей, она бы там пропала. Школа стоит наполовину без крыши, внутри все разорено, да и стены давно бы разобрали на дрова, кабы не Леший - охраняет, никому спуску не дает.

Не заметила, как и задремала от невеселых дум, - голова все ниже и ниже стала склоняться к столу. Может быть, и упала бы на руки, но послышался знакомый стук в окно - захлопотала Манефа, побежала открывать дверь.

На крыльце стоял ее любимый внук и широко улыбался. Заплетенный мешок и две сумки - у ног.

- Не ждала, маманя?

Маманя - так он ласково называл ее в душевные мгновения, не хотел напоминать о преклонных годах.

- Ну, тебе от всех поклоны! - заходя в избу, сказал он, затем поклонился в пояс, поцеловал бабку в лоб, погладил по спине, как маленькую. Да и против него она выглядела в полумраке, в блеклом свете керосиновой лампы, почти как девочка. Огромный детина, вылитый Петро. Надо же, и руками размахивает также и везде поспевает, а уважительный какой...

- Да у тебя тут хоть тараканов морозь, - спохватился. - Ну-ка, давай буржуйку затопим.

Железная печка ни летом, ни зимой не убиралась из избы. Со временем ее обложили кирпичом с полу и по бокам, и напоминала она собой неуклюжий камин, но грела хорошо, когда топились. Внук быстро набросал в нее старых щеп и сушняка, сунул кусок газеты, поджег, и - печка загудела, заговорила. Вскоре стало в избе тепло, поставили чугунок с картошкой, чайник. Готовились к ужину.

- Позвать, что ли, товарок-то? - спросила Манефа.

- Сейчас придут, я, когда мимо изб проходил, посвистел, так что знают.

Но, верная правилам жизни, Манефа вышла на крыльцо и ударила два раза по лемеху. Снизу ей ответили голоса - подружки уж у дома. Пока расшаркивались, мыли руки, на столе уже

все собрано: вареная картошка, соленые грибы, ломтиками нарезана любительская колбаса, сушки, сахар пиленый, хлеб и две бутылки красненького.

- Садитесь, бабоньки, красавицы! - Пашка каждой пододвинул табуретку, поднес тарелку с вилкой, налил в маленькие граменные стопки вино.

Старухи счастливо улыбались, прихорашивались, то поправляя платок на голове, то рюшки на кофте.

- Давайте, выпьем сперва за вас, Манефа Егоровна, за вас, Елизавета Петровна, за вас, Акулина Ивановна, за вас, Анна Дмитриевна, - кланяясь, предложил Павел. - Будьте здоровы, многие вам лета, спасибо за то, что храните родные места и эти избы, сделанные без единого гвоздя. Пока вы живы, есть дом, куда можно приехать с радостью, побродить по лесам и болотам, покопаться в земле, почувствовать себя мужиком. Будьте здоровы!

Выпили все разом. Павел налил по другой:

- Ешьте, ешьте. Я люблю, когда вы радуетесь моему приходу. Там, в городе, я чужой, все не свое, казенное, куда ни кинься, везде плати. А из чего платить, у меня детей пять ртов, комнатка маленькая, как в муравейнике живем, мать часто болеет.

Я вот домой хочу. Здесь мои деды и прадеды жили, здесь вот и она, бабуля моя, живет. Здесь мой корень, здесь я хозяин.

Иду сегодня по лесу, дорога совсем заколодела, мосток провалился, два часа сушняк таскал, лаги клал, весь вымок, давай костер разводить, сушиться. Сиж у огня, как сирота. Вроде, и хозяин ты этой земли, и не хозяин. Кто же я, черт побери, в чью дурную голову пала блажь согнать нас с этих земель. Нерентабельные... Ишь, слов понавыдумывали...

Всю жизнь здесь жили, себя худо-бедно кормили, еще и государству налоги платили. Сколько у нас в колхозе на ферме было рогатого скота? А? Семьсот голов! А телят, нетелей, бычков, свиной, лошадей триста голов, своя птицеферма, клуб, школа, теплицы, два магазина, почта, сберкасса - и все коту под хвост.

Триста дворов вымерло. Людей работающих потеряли, кто спился, кто уехал, а кто и повесился... Все кругом заросло диким кустарником, леса горят каждое лето от пакостников...

Павел замолчал, задыхаясь от подступившего к горлу кома, потом схватился рукой за сердце.

- Бабуля, дай-ка мне пиджак, там у меня таблетки. Ох, опять кольнуло. Не надо было пить. Да, думаю, кагор, стопочка, авось пронесет...

Манефа захлопотала вокруг внука, запричитала. Проглотив две таблетки, Павел вытянулся вдоль по лавке. Старухи притихли, потом начали разговаривать вполголоса. Анна налила еще по стопочке сладкого и предложила:

- Давайте, бабоньки, выпьем за тех, кого уже нет в живых, царство им небесное, упокой, господи, души грешные, пусть им земля будет пухом.

Все разом перекрестились и выпили.

- Счас бы, Лизавета, гармонь, песни попевать, да вот Пашка захворал.

- Ну, полноте, - Манефа встала, пошла за заборку и вынесла гармонь, трехрядку, завернутую в большую тряпку.

- Давай, Манефа, потихоньку сыграй нашу «Улочную», - сказала Акулина.

Сначала гармонь плохо слушалась в корявых руках, но память взяла свое – и полилась «Улочная», за ней частушки-прибаутки, а потом любимая песня: «Догорай, гори, моя лучинушка...»

Подружки пели, плакала гармонь, текли по морщинистым щекам соленые слезы.

*Как настанет морозное утро,
Будет дождик слегка моросить,
Из друзей моих верно, наверно,
Знать, никто не придет хоронить.*

Песни вспоминались по куплету, по отдельным словам, многое - забыто и только мелодия еще была жива.

Манефа время от времени справлялась о самочувствии внука. Он уже крепко спал, как ребенок, иногда причмокивая губами.

- Умаялся паря, две смены отстоял у станка, пятнадцать верст отмахал, по пути мостик подправил. Сказывал, что схороненные

у моста под старой елкой топор и пила совсем заржавели, давно уж их никто в руки не брал, а раньше, бывало, идут мужики в город или из города, увидали, что мост размыло или лага где провалилась – тут же за работу. Развезло дорогу – поправят. На обочинах-то гравий кучами лежал, сама сколько раз в подоле его носила, чтобы выбоину засыпать, а теперь никому ничего не нужно. Только пить да жрать подавай. Одно в голове: деньги, деньги, - сокрушалась Манефа. - Все приbedняются, а поглядишь, у молодых мужиков впереди «фартуки» выросли, а бабы такими кондами ходят, - стыд смотреть.

Внук летось приезжал, побасенку рассказывал: две брюхатые, на сносях, подружки спрашивают одна другую, кто кого ждет: одна – сына, другая - дочь, а тут мужик лет сорока подошел пузатый, они переглянулись, пересмешницы, и спросили:

- А вы, дяденька, кого ждете?

- Автобус, - отвечает.

Вот какое брюхо отъел!

От дружного хохота Павел проснулся, сел на лавку:

- Не помню, как сморило. Сначала думал, конец мне будет, но ничего, отлегло. Испортил вам вечер.

- Да нет, мы все веселимся, - хором ответили бабки.

- Пить я уже не буду, а вот почаявничать с вами – пожалуй-ста, отведать Иван-чая, заправленного душицей, листьями малины и смородины...

На стол поставили чашки с блюдцами и ложечками, как в старину. Самовар занял центральное место, правда, он не урчал, не шипел – электрический; его залили кипятком, хозяйка чинно разливала по чашкам чай.

Пили с блюдца, важно, вприкуску с сахаром, конфетой, только сушки макали, чтобы были помягче.

- Сливочками бы чай забелить, да с пенкой красной, – размечталась Акулина. - У меня раньше Чернуха ведро молока давала, да такого густого! Бывало, идет стадо, а она впереди, голова вверх, сама вся лоснится, увидит меня, встанет и замычит. Умница, толковая. А сейчас на сорок верст кругом одна корова, да и та у Лешего. Что-то он нынче голосу не подает. Заработался, кедровник за болотом сажит. Ну и беспокойный, одно слово – леший.

Далеко за полночь засиделись четыре подружки, покемарят по-курьи, - и опять болтать, прошлое вспоминать. Память – она цепкая, все в свою копилку собирает, а надо будет, да хоть к слову придется, и выбросит такой поток «всякоты» всякой, что только диву даешься, откуда столько в голове умещается.

- А помнишь, Аннушка, какой год грибной выдался перед войной, всем миром в тайгу ездили. В мякинных корзинах, на телегах грибы возили, а потом по избам раздавали. Мужиков-то, парней сколько было, - больше, чем баб и девок. Из других деревень сватали, а после войны два брата Митюхины вернулись: старший без ног, а младший с одной, - да Алексей Александрович израненный. Да еще Семен Гаврилов на каталке, одни руки торчат – чисто самовар. Так его и прозвали. Это уже потом ему в городе протезы приделали, - продолжала Акулина, - вся деревня от малого до старого голосила, когда их встречали. На сто рядов переплакались... Ох, как душа болит, что все не так, бабоньки, шло, и сейчас как не надо идет. Ведь испокон веков мужика на хозяйстве держали – ему видней, как с землицей разговаривать. Это уже опосля из кабинетов начали бумажками руководить, а теперь совсем согнали мужика с земли.

- Ну да, - сказала Лизавета, - а помните, как колокол загудел-заголосил в день Победы, сперва никто ничего не понял, со страху бабы сразу молиться начали, на колени попадали. И впрямь, будто конец света наступил. Первым опомнился Ванька Маленький, да как рявкнет:

- Народ, вы что, очумели, радоваться надо, войне конец, а они в рев. А ну, по домам, и потом в клуб, неси, как в старину, у кого что есть. Живых поздравим, а усопших и погибших добрым словом помянем. Выжили, выстояли... Мать вашу...

- Точно, точно, Лизавета, - подхватила Манефа, - ох уж и поплакали, и порадовались. До рассвета не расходились...

Павел слушал, слушал старух, да вдруг забеспокоился:

- Маманя, что-то я смотрю на поленницу дров, убывает она, а как зимовать будешь?... Надо амбар распилить на дрова, пока он совсем не иструпел.

Бабоньки поддакнули. Манефа опустила голову, словно разглядывала морщинки и жилы на корявых от старости и тяжелой работы руках.

Только мысли ее - далеко, далеко в той осени, когда пришли за ее богатырем. За два слова, сказанных не со зла, сгубили такого работника, цены ему не было...

«Прости, родной, - вела Манефа немой диалог с мужем Петюней, - что слово не сдержала, нужда заставляет амбар разобрать, замерзать не хочется, и податься некуда. Как там, в старинной песне? «Кругом-то, кругом осиротела»... Нет, как-то не так она поется, мотив помню, а слова – забыла... Все минет, - видно, и мое времечко подступает. Даст бог, увижусь с тобою там, извинюсь и прощения попрошу. А, может, в амбаре-то уже и нет ничего, за полвека все сгнило и в пыль превратилось, завтра утром отопру при свидетелях, греха на душу не возьму, чужого мне не надо».

Она бы долго еще про себя рассуждала, но внук положил ей руку на плечо и сказал с улыбкой:

- Маманя, давай, я на себя возьму ответственность. Передавай мне все по списку!

Манефа заулыбалась и кивнула головой. Паша принял начальственную позу и, громко перечислив всех манефиных подружек по фамилиям, предупредил, что завтра в десять утра они обязаны явиться, как свидетели, на осмотр вещей, конфискованных у зажиточных крестьян и кулаков более полувека назад.

Женщины спохватились, «заквохтали»:

- А, может, мы и сейчас начнем, лопаты есть, все равно и утром в амбаре без лампы будет темно.

Но, посоветовавшись, решили не спешить и поход в амбар отложили до завтра.

Ужин продолжался. Так уж оно повелось исстари: поедят, поговорят, попоют, попляшут – и опять за стол. Русский человек любит выпить и хорошо закусить, чтобы водочка не сморила, а расшевелила, по жилочкам прошлась бы, чуть в голову ударила и так бы все в тебе захорошело, как будто и не было ничего плохого.

Перед сном старухи вспомнили опять про амбар, встали перед Павлом на вытяжку и отпрапортовали:

- Будем в десять, товарищ, - или как теперь нам тебя называть: гражданин, благородие, господин, хозяин?

- Зовите меня, э... «гражданин Павел Егорыч», фамилия не обязательна, гражданочки вы мои, - и он заулыбался.

Женщины вдруг замолчали... Никто уже давно не называл их гражданками.

«А ведь мы и есть граждане России, гордиться надо, что граждане, а мы стыдимся, стесняемся требовать свою кровную пенсию, на которую работали, считай, бесплатно всю жизнь. И стали мы как бы лишними», - грустно подумала Манефа.

Потом улеглись спать, кто на полотах, кто на печке, а Павел, подбросив в буржуйку дров, потушив лампу, растянулся на лавке, укрывшись телогрейкой, но уснуть долго не мог. Всякое лезло в голову. А тут еще: «ох» - будто простонал контрабас на печи, выдохнул со свистом «ля» кларнет, застонала «скрипка» на деревянном пологе, зевнула протяжно труба - и полилась мелодия сна: храпело, стонало и бормотало, плакало, охало, кашляло, скрипело и ворочалось беспокойное стариковское ночное царство. Что им снилось, бабулям? Написать о судьбе каждой - экий роман получился бы! - вздохнул Павел.

Едва рассвело, как на том берегу заговорила колотушка Лешего. Павел быстро вскочил с лавки, босой и полураздетый выбежал на крыльцо дать ответ. Три раза с оттяжкой прошелся по лемеху: знак, что все живы и здоровы. Колотушка снова затархтела, но с расстановкой, с интервалом: мы, де, идем к вам. Павел ударил еще раз, постоял немного и - опять по ней: поняли, мол, и ждем вашего прихода.

Когда вернулся в избу, «девоньки» уже суетились, сновали по избе, прихорашивая ее и себя. Манефа колдовала у печки. Две подружки собирали на стол, заглядывая в пустые бутылки, огорченно качали головой, сокрушаясь, что не оставили на утро по пятьдесят грамм и хоть бы чего куснуть. А еще Петра Верещагина, Седого Луня, надо позвать, да племянша внучатого Верещагина - Саню, что в городе врачом работает. Раз уж позвал - угощай!

Манефа изредка поглядывала на подруг и лукаво усмехалась в конец платка. Она-то знала, что на утро Павел оставил бутылочку красненького. Ведь и в воскресенье не грех выпить.

«Да что мы, пьянь какая-нибудь, - нет, так только, для сугреву, иль после баньки опять же, по праздникам», - оправдывалась она сама перед собой.

Вскоре появился Лешак с корзинкой и сумкой в руках, а за ним Саня с Петром Верещагиным.

Рослый, с большой гривой седых кудрявых волос и такой же бородой, он и впрямь походил на Лешего. Широко улыбнувшись белозубым ртом, рывкнул:

- Здорово, лежебоки, кто рано встает, тому бог дает, а вы все проспали. Я вот корзину брусники набруснил, корову подоил, скота на волю отправил.

- Когда это ты, старый, все успел, вроде, светать-то недавно стало, - бросила мимоходом Манефа.

- Светать! Гляди, солнышко тебе уже в задницу уперлось, все норовит тебя из избы на работу выгнать. Обленились, телки вы мои, вот возьму и брошу вас к лешему.

Подружки захохотали. Манефа, поправив «завлекалочку», пропела, что она уже много лет к Лешему «рвется и спешит, а он от нее, как от ладана, бежит»...

Бабы опять засмеялись. Алексей знал, что про себя они давно его Лешим зовут. Дед поставил на стол туесок, - сказав, что это его, собственного приготовления, малиновка, - бутылку молока и пирог с капустой.

- Садитесь, красавицы да мужики, завтракать, пока я добрый, а пирог горячий.

Все дружно сели за стол. Он неторопливо разрезал пирог на ровные части, каждому положил на блюдце.

- Ты, Манефа, все никак не угомонишься, горячая, а «завлекалочка» твоя малость поседела, но ничего, смотрится ежисто. А ты, Анна, все такая же стройная, как в девичестве, только румянец исчез, зато пудриться тебе не надо. Анна-то наша, бабоньки, тоже обженилась с биноклем! Захожу к ней, а она спит на лавке в обнимку с ним, ну чисто, как когда-то с Иваном!

Анна зарделась, будто девка на выданье.

- Ну и что?! Мне тоже бинокль подарили. Не все Манефе, а и мне кой-что в жизни перепадает.

И снова - хохот.

- Пень ты еловый,- нарочито добавила она.

- Не пень, а кряж кедровый. Это верно, бабоньки, люблю кедры за богатырскую статью и заботливость о живности и о нас, грешных. Шишки в войну после картошки вторым хлебом были. Ох, и потаскал я их мальцом. Бывало, затемно убегу в лес, чтобы к вечеру насшибать мешок шишек, а потом по частям ближе к дороге перенести. Мама с сестрой после работы ко мне бегут подсобить, радуются, расхваливают меня, кормильцем величают, а я от такой похвальбы уже и забыл, что коленки содраны и пузо в царапинах, и все тело горит и дрожит от усталости.

Придем домой, засветит мама лампу и ахнет, увидев, на кого я похож - отмыть меня задачка! Ссадины и царапины натрет соком лопуха, да еще шумит на меня, чтобы лежал смирно. Так и усну в слезах от боли и обиды.

Питомник бы сделать - кедр выращивать, а то мало его осталось. Я, конечно, молодняка за эти годы много посадил, не весь прижился, но все равно - после себя оставлю след на земле. А вот за сосну я рад, она свое сама везде сеет. Помните дальнее поле, где Егоркины три сосны стоят, - еще подростком посадил, до высылки. Так они все поле своими детками заняли, да так густо, - проредить бы надо, пока еще маленькие, но есть и по метру ростом.

Леший мог часами рассказывать о деревьях, знал их болячки, целебные свойства и прочие особенности.

За столом все сидели тихо, пили чай с малиновкой и пирогом, слушали Алексея. Он помешивал ложечкой чай в бокале, изредка отпивая по глотку и все говорил, говорил. Потом вдруг замолчал, посмотрел на часы, шустро вскочил со скамейки, схватился за шапку:

- Ну, бабоньки, прощайте, мне бежать пора, совсем забыл, вчера за малым логом кобылу с жеребенком встретил, хотел ее поймать, но не далась, а уздечки у меня с собой не было. Прибрать надо скотину, ходит бесхозная, откуда пришла, непонятно, искал отметину на холке, но не нашел. Жеребчик махонький еле на ногах держится, - как бы волки не задрали. Пойдем, Павел, со мной, и ты, Саня, помогите. Объявится хозяин - отдам, если нет - будут у меня жить. Да и жив ли хозяин...

Павел посмотрел на бабулю, те кивнули ему - мол, помочь надо старому. Мужики быстро ушли, а Петр - Седой Лунь - направился за околицу. Чаепитие закончилось, и подружки побежали каждая к себе заниматься хозяйством.

Павел вернулся скоро. Кобылу встретили на дороге к селу. Дед Леший протянул ломоть хлеба, она понюхала, старый попятился, лошадь - за ним, и так добрались до самой старицкой избы. У крыльца - ведро с пойлом. Она, фыркая, начала пить, помахивая хвостом. Алексей погладил животное, потрепал по бокам. Кобыла стояла смирно, словно ждала, что еще ей дадут. Дед отломил кусок хлеба, она съела, потерлась головой о его спину.

- Господи, какая же ты умная скотина, благодаришь меня, ну, спасибо тебе, красавица, - дед накинул на нее уздечку. - Ну, а теперь пойдем в твое новое жилище, оно не богатое, но там тепло и спокойно.

Кобыла вслед за ним - во двор, в стойло.

- Вот, Паша, и скотина любит привет, понимает добро. Теперь моя семья еще больше стала.

- Александрович, а сена у тебя хватит до весны? - спросил Саня. - Может, помочь тебе?

- Помоги, мил человек, перевезти его ближе к дому, а накопил я много.

Договорились, что в следующую субботу и воскресенье займутся сеном.

Павел распрощался и - к бабуле. Насвистывая, давал знать, что идет домой.

Манефа, поджидая внука, готовила тесто на вареники с картошкой, Павел любил их со сметаной, или запивать молоком.

К десяти утра все чинно собрались во дворе у Манефы. И Седой Лунь с Саней подоспели, только Лешего не было видно. Пора к серьезному делу приступать. Без указания сверху, без казенной бумаги, - открывать амбар.

«Слыханны ли дело, самовольничают, а вдруг... а как бы чего не вышло», - промелькнуло у женщин в головах, но опять же - они только свидетели, а ответственность на Павле. Хотя - негоже парня подставлять, в случае чего на себя все возьмем,

не дадим в обиду!

Подружки переглянулись, вздохнули и решительно направились к двери амбара. Седой Лунь и Саня остались стоять у крыльца.

Павел улыбался, - понимал их очень хорошо.

Манефа достала из кармана фартука ключ и подала внуку.

- Боюсь я, парень, не ровен час, не дай бог, чтобы тебе чего не приписали.

- Да что ты, маманя, ведь в живых-то уже никого нет, ни тех, кто командовал, ни тех, кто с дуру исполнял. Матушка-земля уж всех сровняла. Я давно бы амбар завалил, да тебя жалел, память твою о деде, о прошлом.

Он решительно остановился у дверей амбара. Вставил ключ в замок, подергал туда-сюда, кольца выдернулись, звякнули, упали, и дверь, со скрипом накренившись, отворилась.

Черная дыра дохнула могильным холодом и сыростью. Все невольно отшатнулись. Павел зажег лампу, подал Манефе, а сам засветил фонарик. Перед глазами вошедших лежало, стояло, висело прошлое. Все было одного серо-грязного цвета. Кучи и кучки. Свалка. Укор, стыд, позор безвременья. Кладбище искореженных судеб.

Бабы заплакали. Свидетельницы минувшего вновь переживали то, что довелось когда-то видеть, но тогда и посочувствовать было страшно, а сейчас свое и чужое горе сплетались так близко и ощутимо, что слезы перешли в рыдания. Павел опомнился первым, он вывел женщин из амбара, усадил на бревна, лежащие рядом, попытался успокоить.

Дольше всех сокрушалась Манефа:

- Боже, что я наделала, прости меня, грешную. Простите, люди добрые, вот дура я! Да мне хоть в войну открыть его, скольким бы людям голодным и бездомным добро бесхозное помогло, а я все сгноила, сгноила напрочь, грех-то какой на душу взяла! А все Семен, окаянный, Петюню моего запугал: возьми на хранение, у тебя амбар большой. А того не знал, что мы добро хранили, чтоб хозяевам отдать, когда вернуться. Верили, не может же такая буча вечно длиться. А вот ошиблись. Выходит, - может. И никто не вернулся...

Она долго еще причитала. Остальные плакали молча. Павел ждал, - пусть досыта выревутся, сбросят с себя тяжесть прошлого и нынешнего. А про себя подумал: «А все - слепая покорность. Отобрали – молчим. Хранить велели для государства – храним. А думать-то когда научимся, когда идолам поклоняться перестанем? Не чинуюшам - земле надо кланяться, она мать-кормилица, а мы на ней работники. Оглянитесь, люди добрые, посмотрите, как мы ее искорежили да испоганили. Не пора ли жить по-хозяйски? Раньше в центральных губерниях толщину чернозема метром мерили, а сейчас... Да, всех мыслей не переобразишь. Пора и за дело. Крышу разбирать надо. С того и начнем...»

Павел взял топор и полез сбивать доски на крышу, но переступать на нее с лестницы не рискнул, - поверхность ветхая, потемневшая, подернулась мохом. Ухнул топором – образовались обширные бреши, надломились изношенные лаги. Постучал по углам, сходил в сарай за ломом - работа пойдет быстрее, так что к вечеру амбар будет разобран, а, может, и раньше.

Осевший, покосившийся амбар доживал свои последние часы. Скоро, скоро будут раскатаны по сторонам бревна, содержащуюся в нем рухлядь сожгут или сбросят в яму и закопают, сровняют с землей символ былого бушевания общей одури.

Пока же бабы, вслед за Павлом, снова зашли в приговоренное к сносу строение. На этот раз было светло – сквозь проломы в крыше пробивались лучи осеннего солнца.

Павел метлой раздвигал паутину, тронул большую кучу, - похоже, это одежда; она тут же развалилась, рассыпалась, превратилась в прах. Анна подошла к шеренге не по росту выстроенных непонятных предметов:

- Бабы, это же самовары!

Она качнула рукой первый, потянула на себя:

- Да он живехонький, целый, смотрите, какой богатырь, - схватила его за ручки, вытащила на улицу, обмела веником и потерла песочком. – Не сгнил. Гляди, Манефа, заблестел. Слышь, чей же он был? Медали-то на нем николаевские. Тульский, зная, самовар. Ох, ты, пузан, ведерный, или даже поболее! - закрутилась вокруг него, чистила травой, утирала передником.

Вскоре все самовары рядом стояли на дворе. Старухи хлопотали и, как курицы, квохтали над ними. Наконец, устали, утомонились, сели опять на бревно...

- Бабоньки, а самовары-то на хозяев похожи, - воскликнула Акулина.

- Да ну?! - удивилась Манефа.

- Вот те ну - полозья гну. Этот вот пузан, верещагинский, семья у них большая была, всем дед Ерофей заправлял, ох, и кряж был, ну чисто этот самовар. Богато жили. Когда Верещагиных сослали, так в их доме школу открыли. Они все на железных кроватях с блестящими шишечками на спинках спали. По-городскому старались жить, мужики грамотные - и детей своих учили. Скота было много. Бабы ихние в кашемировых полушалках ходили, в высоких ботинках, борчатки имели. Борчатки - это шубки: внутри мелкая овчина, а сверху тонкое сукно, сшито, как платье-татьянка. Моя мама все им завидовала, так ей хотелось такую шубку иметь, да где там, при нашей-то бедноте. Правда, мы тоже при НЭПе в середняках ходили, вроде как вздохнули, оперились, а потом опять все прахом пошло...

- Ты-то откуда знаешь? - спросила Манефа.

- Кое-что сама видела, остальное от мамы узнала. Оно ведь как: от отца - к сыну, от матери - к дочери, и пошло по всему роду. Память - она цепкая.

- А этот треножник чей? На самовар-то не похож, - продолжала опознание Манефа. - Его, беднягу, за что взяли? Он этого... постой, вспомню, как его звали - деда, который себя в бане сжег... Нет, не упомяну. Ну, вспомните, деда, который себя в бане сжег. Лизин, что ли? Да, да. Он ходил по молодости в извоз с этим треногом каждую зиму, деньги копил, потом потихоньку разбогател. Сыновья у него работающие были. Они тоже извозом занимались. Домину на угоре выстроили, приторговывали. Лавку в городе хотели открыть, а керенки-то и «сдохли», - потом в старой избе стены ими оклеивали. Загоревал старик, но не сдавался, крепкий был, хозяйственный. А как прознал, что раскулачивать будут, ушел на хутор, месяц там жил, плотничал, здоровые лесины валил и пилил на дрова, - две такие колоды привез, нашим парням с места

не сдвинуть. Одну у крыльца поставил, а другую около поленницы дров. На этой, мол, мясо будем рубить, а на той дрова колоть.

Когда пришли раскулачивать - в топленой бане заперся. Помылся, попарился, одел на себя все чистое и давай водку пить и волком выть. Ребяшня слышала, как он плакал и стонал, матерился, потом захрипел. Решили, что в предбаннике уснул. А дед, оказывается, сгорел с водки. Взрослым и малым не до него было...

Я к чему это рассказываю? Лет десять назад Лиза со своим мужиком колоду, что у поленницы стояла, решила распилить. Поставили дном кверху. Когда землю соскоблили, - увидели, что в колоде-то кляп торчит, кое-как вытащили, а там - тайник, полведра мелочи: медяки, серебро и даже золотые.

- Да, старик был худой, небольшого росточка, жилистый, - вклинилась в разговор Анна. - Похож на этот треног... А этот самоварище чей, фигуристый, даже талия есть, красавец писанный!

- Я его узнала, - сказала Манефа, вздохнув. - Он из семьи Дмитрия Семеновича, деда Лешего. У них в новой избе на столике, на серебряном подносе стоял, а вокруг стаканы в серебряных подстаканниках. Мы тогда еще малыми были, иногда нам разрешали заходить в эту избу, и больше всего ребятам самовар нравился.

- Да, этот самовар у нас в доме стоял, - вдруг с горечью сказал Седой Лунь, - а потом мой дед деду Лешего подарил, покумились они... У Верещагиных, по нашей линии, одно время все мертвые детишки рождались. А уж потом-то - как горох из лукошка посыпались: вот мы с Егором, да брат мой старший, да сестры - по сей день так и не знаю, сгинули или нет - беглыми были ведь только мы с Егором. Прямо из теплушки бежали. А крестным у меня был Дмитрий Семенович. Вот дед Дмитрию Семеновичу самовар-то и подарил, - усмехаясь, дополнил Седой Лунь.

Бабы ахнули! Все минет, а прошлое - тут как тут, то там моргнет, то тут ухмыльнется! Полвека прошло, а Петюня Верещагин, в Седого Луна превратясь - жив-живехонек, и свой



самовар семейный распознал.

- Так тебе, Манефа, вроде этот красавец писанный глянулся? – произнес Седой Лунь.

- Ой, да это моя первая любовь с детства была! – хохотнула Манефа.

- Ну так и бери себе его на память про всех нас. Все хоть не зря берегла. Не ошиблась – авось, де, кто вернется. Вот, я вернулся! Сань, не против такого подарка?

- Это еще у Лешего надо спросить, - улыбнулся городской Саня. – Его деда, Семеныча, добро.

- Ох, ох, ой! – послышался за их спинами голос, это объявился Леший на подворье. – Я, значит, к шапочному разбору? Дел в лесу сегодня – по горло. Но – все равно, вовремя пришел. Значит, самовар деда моего Манефа-«завлекашечка»-таки сберегла. Ну, так ей чай из него и пить на доброе здоровье. А этого, твоего уроды электрического, Маня, со стола убери, смотреть тошно. Вечером приду – сам этого «красавца» разожгу, на стол поставлю, чтоб тебе не корячиться. И всякий раз, как позовешь, приду без отказа. Не зря у тебя «завлекашка» ершистая, даже меня зацепила.

Уже солнце шло к закату, а около амбара еще «опознавали» самовары и балагурили.

- Мне пора, пожалуй, - неожиданно спохватился Седой Лунь. – Что-то я здесь загостился. Могилки все повидал, землицы родной набрал, все сделал, как наказывал отец...

- Да куда тебя несет, мужик? – удивился Леший. – Ты с нами живи, вон сколько домов пустых, мы за день тебе все обустроим, как положено, по обычаю. Если молодые не возвращаются, так пусть хоть старики упокоятся на своей земле...

- Я, например – возвращаюсь! – объявил Павел. – Сегодня решил укрепко. А раз решил – так тому быть!

- Молодец, Пашка! - воскликнул Леший. - И ребят молодых за собой тяни, пока я жив - вам словом и делом помогу. Пришло ваше время землю обихаживать. Это вам Богом и судьбой предназначено.

*Лос-Анджелес,
2005-2006гг.*

Состарившимся детям



Татьяна Багрова НЯНЯ ДЛЯ НЮШИ



Работа главного бухгалтера, подразумевая приличный доход, имеет и другую – негативную – сторону. Она (эта работа) отвергает начисто очередные отпуска, больничные, большую часть праздничных и выходных дней – это пресловутые введенные Думой двухнедельные новогодние каникулы, из которых бухгалтерам выпадает наслаждаться отдыхом максимум до 3-го января, потому что уже к 10-му надо готовить несколько отчетов. И уж тем более деятельность главбуха никак не предполагает заслуженный декретный отпуск. Тут либо сразу, – узнав о беременности, – увольняйся, либо, преодолевая тошноту токсикоза и страшную раздражительность, вкупе с усталостью, тащи весь груз бухгалтерского и налогового учета фирмы на своих хрупких плечах и растущем животе.

Именно поэтому, обнаружив в тесте на беременность две долгожданные полоски, Светлана сначала обрадовалась, а потом, хорошенько все взвесив и обдумав, посоветовалась с мужем и решила работу продолжить, но заранее подыскивать няню.

«На ловца и зверь бежит», – подумала она во время очередной процедуры в дамском салоне, когда маникюрша Алена, вырисовывая на ноготках тонкие лепестки цветочного орнамента, сказала:

- Так Наташа занимается этим делом. Я точно знаю, потому что она – моя клиентка и рассказывала, что сейчас занимается с девочкой, по-моему, лет пяти. В бассейн водит, воскресную школу, ну, и все такое.

- Так она занята?

- А вы позвоните и спросите. Вот телефон. Тем паче, вы, как я поняла, работали вместе?

Светлана и Наталья действительно полгода проработали вместе в одной фирме. Правда, о Натальиных деловых качествах Светлане ничего не было известно, поскольку бухгалтерия с менеджерами пересекалась только в дни выдачи зарплаты. Зато Ната была инициатором всех корпоративных вечеринок, принимала активное участие в организационных мероприятиях, и даже в написании сценариев. Пользуясь невероятным сходством с признанной примадонной эстрады, на всех вечерах исполняла шлягеры звезды, и – в рыжем парике и

Дети дерзки, привередливы, вспыльчивы, завистливы, любопытны, своекорыстны, ленивы, легкомысленны, трусливы, неводержанны, лживы и скрытны; они легко раздражаются смехом или слезами, по пустякам предаются неумеренной радости или горькой печали, не выносят боли и любят ее причинять. Значит, они уже люди!

Жан де Лабрюйер

балахоне, смешно косолапя, - неизменно срывала бурю аплодисментов. Уволившись, она, ни с того, ни с сего, решила стать няней, и почти сразу обратилась в специальное агентство.

Получив такую информацию, Света в этот же день набрала телефон, выданный Аленой. Узнав ее, Наташа обрадовалась, - сначала пошли воспоминания: «А помнишь, как этот..., а тот...», - потом она долго ахала и охала, узнав об «интересном» положении, наконец, сообщила, что ко времени предполагаемого разрешения от бремени, она уже будет свободна, - ее теперешние работодатели вскорости переезжают на местожительство в другой город.

- Так что будем считать, что я тебя «забронировала», - Света успокоено закончила разговор.

Потом в бесконечной череде бухгалтерских отчетов и налоговых проверок лишь пару раз звонила будущей няне, удостоверяясь, что договоренность в силе. Несколько озадачили Наташины расценки, но будущая мама рассудила, что вместе с мужем такую сумму потянут, в крайнем случае, няня будет приходить не на восемь часов в день, как бы хотелось, а на пять-шесть...

Рожала Света, совершенно неожиданно, буквально на следующий день после сдачи годового отчета. А спустя неделю дома ждала детская кроватка, коляска и гора накопившихся за семь дней бумаг. Так что няню вызвали сразу.

Только переступив порог, Наташа, весьма пополневшая со времени совместной работы, осведомилась, - как и чем она будет питаться. Света, ожидая вопросы про ребенка, его привычки и особенности, пролепетала растерянно что-то вроде «супчик всегда найдется», хотя молодые мамы знают, как тяжело с грудным малышом выбрать время на «готовку». Няня, к счастью, великодушно ответила, что ей достаточно будет и просто бутербродик с чаем. Светлана с мужем радостно закивали, и показали Наташе - где у них чайник, кофе и сахар. Они даже предположить не могли, каких размеров будет этот бутербродик, и что чая понадобится ведро, не меньше, в день.

Их холодильник стал лучшим другом няни. Рабочий день начинался у нее с того самого обещанного бутерброда-«бурербродища» с полулитровой чашкой кофе. Поскольку младенцы первые месяцы, в

основном, только спят, едят и пачкают памперсы, времени «откушать» у няни было предостаточно, чем она не преминула воспользоваться. В обед она наворачивала сваренные Светланой далеко за полночь щи, не игнорировала ланчи, полдники, полуполдники и полуланчи.

Через несколько дней, когда патронажная сестра разрешила прогулки, няня разразилась взволнованной речью по поводу тяжести коляски, которую приходится таскать на четвертый этаж (увы, в сталинской пятиэтажке лифты не предусматривались с самого начала). Света так прониклась ее горестью и рассуждениями, что даже почувствовала себя виноватой.

Приближалось время обеда. Наташа подступила с «наболевшим» вопросом:

- Что мне можно поесть?

Катастрофически не высыпаясь, Света урывала часок сна днем, между бесконечной бухгалтерской работой, поэтому ничего готовить не успевала. Супруг, жалевший ее, давно перешел на магазинные полуфабрикаты.

- Там курочка есть, - покушай. - Она пожертвовала готовыми куриными «ногами», которые муж специально покупал для нее самой в ближайшем универсаме.

- А супчика нет? Щей? - Няня недовольно поджала губы.

- Да я не успеваю, - начала было оправдываться Света, но та уже доставала курицу, кетчуп, и хозяйка, чтобы не видеть такого мародерства, вышла из кухни.

Перед уходом попросила Наташу прийти и на завтра - в субботу. Та сразу «сскисла»:

- Завтра выходной, все отдыхают. Я, конечно, могу выйти, но по двойному тарифу.

Двойной тариф по няниным ставкам явно было не потянуть. Светлана покорно кивнула, распрощалась с Натой и надеждой на завтра хоть немного поспать, закрыла входную дверь и поплелась, отчаянно зевая, к Ньюшиной кроватке...

Муж, пришедший с работы, зашел в детскую в тот момент, когда она меняла «оприходованный» дочерью памперс.

- Света, - в голосе было недоумение, - ты зачем съела столько сухарей, а на Анютке это не отразится? Ты же пока еще кормишь

грудью?

Жена, зная, что Игорь любит есть суп с сухарями, а не с хлебом, в растерянности вертела грязный памперс в руках:

- Ты в курсе, я-то сухари терпеть не могу. Подожди, - она заглянула в пустую вазу для фруктов, служившую супругу емкостью, куда он складывал поджаренные самолично в духовке квадратики черствого хлеба, а теперь держал в руках как неоспоримую улику, и тут Свету осенило:

- Это же няня все слопала, я видела, - когда-то она сидела за столом, журнал читала!

Супруги, переглянувшись, бросились на кухню... Экстренная ревизия быстро выявила безрадостную картину – няня, ничтоже сумняшеся, уничтожила недельный запас продуктов, сделанный накануне: от полукилограммового горячо любимого Светой сыра «Маасдам» остался крошечный кусочек, масленка блестела разводами сливочного масла по стеклянным бокам, батончик не менее любимой «Докторской» исчез полностью, осталась сиротливо свернувшаяся в серпантин оболочка - видимо, батончик окончил свою недолгую колбасную жизнь на няниных бутербродах. Банка кофе стыдливо скрывала на дне несколько коричневых гранул, а сахарница сияла девственной пустотой. Только специальная сахарная ложка была облеплена присохшими крупинками сахара, - очевидно, чай мешали прямо его.

- Нам ее не прокормить, - хмуро заметил супруг, – по миру пойдем! Слушай, какой зверский аппетит! Где только все помещается. Впрочем, с ее ростом и филейной частью... И ведь, что удивительно – когда она успевает? Завтра срочно займусь поисками замены. А твоя Наташа работает последний день!

Назавтра произошло много событий: только начатые поиски выявили интересную картину – Наталья, - видно, «по знакомству», - запросила со Светланы в два раза больше того, что обычно берут няньки. Притом, что во всех агентствах уверяли: за работу в выходные положено полторы ставки, а никак не две.

Света еле дождалась конца «рабочего дня» Наташи.

Выслушав, что приезжает Светина мама, которая и будет помогать с дочкой, няня, театрально смахнув слезу, процедила «Всего хорошего», таким тоном, что ясно стало, - если бы это пришлось ей

по силам, няня как раз сделала бы все, чтобы ничего хорошего у бывших хозяев никогда не было...

Со следующей претенденткой Светлана и Игорь беседовали не менее часа. Урегулировав все животрепещущие вопросы: питание, тарифы, они договорились о выходе няни на следующий день. Но назавтра неожиданно новая няня позвонила по телефону и милым голоском сообщила, что нашла другое место, которое ближе к дому, и, соответственно, удобнее.

- Но мы же договорились? – недоумевала Светлана. Не получив вразумительного ответа, в сердцах швырнула трубку, а Игорь принялся за дальнейшие поиски.

В таком небольшом городе, оказалось, сложно найти помощницу! Агентства, в основном, занимались подбором персонала для предприятий. Прибегнув к объявлениям в газете, несколько дней не могли найти что-либо подходящее: то в няни просится совсем молоденькая девочка, то, наоборот, слишком уж пожилая дама, для которой «походы» с коляской вниз-вверх будут не под силу. То далеко добираться (а как раньше на окраинные заводы ездили?!), то могут работать только неполный день, то у себя на дому, что Свету, и без того загруженную, с огромным документооборотом, никоим образом не устраивало.

В конце концов, нашли. Но... как только Лена, - так ее звали, шагнула в прихожую, по квартире распространился жуткий запах табака, шедший, вероятно от одежды, потому что по телефону она заверяла, что не курит...

Поиски продолжились. Следующая няня, добросовестно исполняющая свои обязанности, несколько усыпила Светину с мужем бдительность. Однако, проработав недели три, как-то раз появилась утром, благоухая вчерашним «амбре». Светлана весь день «надзирила» за ней, боясь, как бы она чего не перепутала с похмелья. А на следующий день та и вовсе не появилась. Зато после полудня раздался телефонный звонок. И, услышав «Але», какая-то дама, извинившись, попросила «пропажу» к телефону.

- Ее нет.

- А когда мне лучше перезвонить, чтобы ее застать? - настаивали на том конце провода.

- Не знаю. Сегодня ее не было.

Невидимая собеседница ждала, видимо, именно такого ответа.

- Она не вышла на работу?
 - Не понимаю вашего интереса? – удивилась Света.
 - О, зная Марину, этого можно было ожидать. Неужели вы не заметили, что она злоупотребляет спиртным?
 - Простите, а вы кто?
 Собеседница снисходительно хохотнула:
 - Я ее коллега. Тоже няня. И что вы теперь намерены делать?
 - В смысле?
 - Вы же не собираетесь и дальше доверять ребенка человеку, который может прямо на работе глотнуть пивка, а то и чего покрепче. Кстати, у вас дома все спиртное цело?
 - Не замечала..., - совсем растерялась Светлана.
 - Кроме того, - ее уже не слушали, - она может и прибрать что-нибудь ценное к рукам. Ну, вы понимаете, о чем я?
 - Да вы что!?
 - Были случаи. Это маленький город, контингент людей, которые могут позволить себе помощницу, ограничен. Поэтому вам необходимо было хорошо проверить – кого вы взяли. Вот я, например, всегда предоставляю рекомендации. У меня их много и все положительные. Так что, если вы еще не определились с выбором, можете записать мой телефон...
 - Оп-па-па! – подумала Света.
 - ... Только у меня есть ряд требований...
 - Ну-ну?.. – включилась она в игру.
 - ...Чтобы меня уважали, чтобы со мной считались...
 - Как это?
 Претендентка не замечала иронии:
 - ...Чтобы относились ко мне, как к человеку, а не как к прислуге, которую можно не замечать, чтобы...
 Дальнейшие «требования» Светлана не расслышала, поскольку Аня, дремавшая до этого у нее на руках, завопила, требуя обеда. Разговор свернулся сам собой, - правда, собеседница еще попыталась продиктовать телефон для связи. Света, поспешно крикнув:
 - Да, да, записала! – понеслась в детскую, кормить дочку.
 Когда передала мужу разговор, он улыбнулся:
 - Конечно, такой няне мы не подойдем. Столько требований! А словечко-то подобрала – прислуга, - обидное какое-то. Ты не переживай, я

по свежим объявлениям звонил – завтра придет Олеся.
 - А кто она?
 - Работала в детском садике, сказала, что любит именно с малышами водиться. Посмотрим.
 Олеся было тридцать два. У самой имелась двенадцатилетняя дочь. О муже она пробормотала что-то, вроде как, - они не всегда живут вместе.
 Ньюшу она трогательно называла какими-нибудь ласковыми прозвищами – зайчонок, зайка, малышка. Всегда выручала, когда под вечер неожиданно «наваливалось» какое-нибудь срочное бумажное дело. Настораживала только какая-то напряженность в ней, - она напоминала заведенную пружину, - но Светлана с Игорем легкомысленно отбросили возможные домыслы, видя, как хохочет взрослеющая Аня над какой-нибудь выдуманной няней прямо «с ходу» игрой. Проигнорировали они даже неожиданно возросшую плату за городской телефон, понимая, что няне, вероятно, надо контролировать свою подрастающую дочь. Категорический отказ Ньюши ползать в том возрасте, когда ее ровесники всю уже осваивали пространство, списали на наследственность – ее старшая сестра тоже начала ходить сразу.
 Олеся лихо справлялась с тяжелой коляской, никогда не жаловалась на усталость и довольствовалась вполне умеренной оплатой своих услуг.
 Жестокая расплата наступила через полгода, когда Нютке исполнилось восемь месяцев.
 День начинался, - как обычно. Папа вставал первым, «наводил туалет», а потом Светлана занимала ванную, готовясь к рабочему дню, который хоть и проходил дома за компьютером, но предполагал, тем не менее, кучу встреч и беганий по лестнице вниз, а потом вверх с пачкой очередных учетных форм.
 Сквозь шум фена, тем не менее, Света сразу слышала истощенный крик дочери, вылетела, как есть – голышом, - и увидела несущегося к ней мужа с перекошенным лицом. На руках билась Аня. Ее крик страшной боли долго стоял в ушах. Игорь сунул жене ребенка, схватил стоящий на полке в ванной комнате «Пантенол», - спасение при ожогах, - и стал равномерно покрывать ручку дочери белой пеной, что вырывалась из пульверизатора. Только теперь,

опустив глаза, Света увидела страшные волдыри. Они прямо на глазах появлялись, тут же лопались и превращались в серые лоскуты кожи, свисающие с крохотных пальчиков, запястья, до самого сгиба руки.

Игорь отдавал короткие громкие команды: «Продолжай!», «Давай мне!», «Срочно набирай доктора!», «Спроси, что еще надо делать!». Светлана, близкая к обмороку, как робот, выполняла все команды. Именно то, что муж – бывший морской офицер, прошедший хорошую школу оказания первой помощи – не растерялся и сразу принял правильные меры, помогло ожогам затянуться быстро и без последствий. Нюточка кричала три часа. Три часа Света качала ее, кружилась по комнате (создаваемый кружением ветер обдувал большую ручку и облегчал боль). И все три часа к ней были обращены ничего не понимающие глаза самого дорогого в мире сокровища, которые как будто говорили: «Мама, мне так больно! Сделай же что-нибудь!» Когда уставшая дочь заснула, Света, наконец, смогла выяснить у Игоря все подробности. Оказалось, няня собиралась кормить Нюшу завтраком. Приготовила кашку, а себе налила кипяток в кружку, намереваясь добавить туда кофе. (Как она собиралась и кормить ребенка, и одновременно пить кофе – так и не удалось выяснить). Чашку с кипятком поставила на стол, за которым на своем высоком детском стульчике сидела девочка. Увидев новый предмет, Аня, конечно же, потянулась к нему, и весь кипяток из повалившегося бокала попал прямо ей на ручку!

- Мне приходится завтра? – Света только стала оправляться от шока, поэтому не сразу поняла – о чем ее спрашивает няня.

- Конечно, - а кто будет помогать ухаживать за больным ребенком! – взорвался Игорь.

Олеся уползла. И пока все долгие две недели ездили к хирургу, делали перевязки, накладывали мази, она продолжала работать. Но замену ей искать стали сразу. Кроме того, Света, в ужасе от этого случая, вдруг обнаружила письмо Олесяного мужа из колонии, где он сидел за грабеж (Игорю, как адвокату, выяснить это было как дважды два), так что теперь она вообще боялась оставлять няню одну с ребенком, поэтому ходила за той, как тень, примечая каждое ее движение. Что вызывало еще больший «напряг» в доме.

- Я нашел неплохое агентство, сегодня пересмотрел кучу анкет, завтра будем Анятке новую няню подбирать. – Игорь протянул жене несколько листов с данными кандидатов.

Из четырех претенденток пришли две: сначала худощавая бывшая учительница, которая не подошла по причине, - как выяснилось в ходе собеседования, - занятости великовозрастным сыном, за которым надо ухаживать, кормить. А посему задерживаться, если возникнет такая необходимость, не сможет ни под каким видом.

Вторая – повар, которой надоела ее работа. Директор агентства рекомендовала именно ее, и супруги решили попробовать.

Повариха продержалась всего четыре дня. С первых же минут выяснилось, что она понятия не имеет, как надо вести себя с девяти-месячным ребенком, - она обладала некоторым опытом работы с детьми школьного возраста. Поэтому, придя домой с несостоявшейся встречи раньше оговоренного часа, Света не имела сил ни сердиться, ни ругаться, застав няню с подопечной на руках перед телевизором за просмотром сериала. Расстались быстро и практически мирно.

Уже в который раз сели за объявления, обзванивали знакомых. Теревили директрису агентства, уже получившую аванс за свои услуги. Как-то приятельница, «озадаченная» сразу после жуткой истории с ожогом, вспомнила, что «одна знакомая ее знакомой» вроде зарабатывает и сиделкой, и няней. Может, ее попробовать?

Позвонили. Оказалось, Елена Петровна, - пятидесяти пяти лет, - может выйти только через месяц, когда мальчика, с которым она сейчас сидит, отдадут в садик.

На этот месяц замученная звонками Нюшиных родителей директор агентства «дала» временную няню.

Вот, наконец, можно было и успокоиться – они увидели, что есть настоящий профессионал! Жалко было, что по ряду личных обстоятельств эта женщина не могла много работать. Такие большие нагрузки, как у них – на полный рабочий день – были для нее тяжелы.

Только познакомившись с Анечкой, Ирина Анатольевна сразу обратила внимание, что ребенок не ползает, плохо ходит.

- Скорее всего, - сказала она, - бывшая нянечка злоупотребляла ходунками, я заметила, они у вас есть.

- Есть, но мы редко сажали в них малышку, - начала было возражать Света.

- Это вы – редко. А няни, - я часто сталкиваюсь с этим, - ленятся водить ребенка – тяжело, спина начинает болеть, мышцы каменеют «внаклонку» полдня ходить. А в ходунки посадил – и носится дитя, счастливое, а она и по телефону может поговорить, и поесть, и полежать даже.

«Так вот почему плата за телефон с приходом Олеси так резко выросла», - осенило Свету.

Профи – есть профи. Ирина водила любимое чадо из комнаты в комнату, заставляя правильно ставить ножку. Была куплена какая-то черную смесь с чудным названием озокерит, делали обертывания, массаж. Через неделю Нюша начала ползать, через другую она носилась на карачках, как маленький юркий тараканчик по всему дому, а, обнаружив, что, держась за опору, можно легко вставать, пробовала самостоятельно ходить вдоль дивана.

Родители радовались, Анюта крепла, месяц пролетел быстро. И тут позвонила Елена Петровна, объявившая, что готова приступить к работе.

Приступила. Вместе с ней каждое утро в дом врывается мощный запах пота. По какой причине она так жутко потела – неизвестно.

Игорь переживал, что дочурке приходится целый день проводить с человеком, от которого разит, как из раздевалки хоккеистов после матча.

Пробовали как-то с этим бороться – сначала намеками, потом подарили дезодорант, потом еще один. В конце концов, Света каждый вечер после ее ухода брала одежду, в которую няня переодевалась, приходя на работу, и стирала в машинке, щедро добавляя ароматный «Ленор». И, представьте себе, каждый вечер она вытряхивала эту «сменку» из пакета, и каждый вечер она пахла, как гимнастерка солдата после 20-километрового марш-броска. Просто какая-то фабрика по производству пота!

Открывались окна и проветривалась квартира, невзирая на морозы. Помогало ровно на то время, пока через эту комнату не прошепчет няня.

- Может, она сильно переживает, старается, - поэтому так потеет, - сердобольная Света Елену Петровну оправдывала.

- Да она просто не моется и не стирает одежду, - взрывался Игорь, и супруга, соглашаясь, замолкала.

Первые недели Елена Петровна действительно очень хотела понравиться и завоевать расположение. Как бывший медработник, знакомый со многими лечебными процедурами, она была незаменима, когда требовалось промыть носик, сделать профессиональный массаж. Правда, она частенько забывала мыть посуду за собой и ребенком, или оставляла разбросанные игрушки, но почти все предыдущие няни грешили неаккуратностью, поэтому супруги терпели.

Охлаждение к родителям и, как следствие, к ребенку, началось после невинного, с точки зрения нормального человека, вопроса. Затерялся слоник из набора зверушек, и Игорь, без всякой задней мысли, решил спросить Елену Петровну: не знает ли она, куда слон мог деться?

Что тут началось! Няня всполошилась, начала причитать, что она не знает, что в глаза слона не видела, что они вообще с Нюшей давно не играли с этим слоником, да и зачем он ей нужен! Под конец она почти кричала. Игорь уже и не знал, как остановить этот поток возмущения.

Елена Петровна, наконец, успокоилась сама и, оскорбленная, удалилась в детскую. Поскольку внешне все вроде было спокойно, Света решила, что «конфликт», которого, собственно, и не было, улажен. Тем более что через день пропажа нашлась – слон был закинут Нютой за диван, куда папа совершенно случайно решил заглянуть.

Забегая вперед, надо заметить, - истинную реакцию «милрой Елены Петровны» на любые замечания узнали гораздо позже, когда она ушла. Вернее, когда ее «ушли».

Супругам казалось, что все нормально, но мстительная натура нянюшки требовала сатисфакции. Всем, - даже Светиной помощнице по дому – Зине - преподносилась версия о том, что ее обвинили в воровстве Анютиных игрушек, что был устроен настоящий допрос с обыском, а между тем Игорь со Светланой сами специально спрятали вещь, только бы иметь повод придрасться к Ее Честнейшейству.

А между тем, Игорь – юрист, которого очень трудно обмануть, – пару раз поймал няню на лжи. Дело в том, что начались постоянные «отпрашивания» в самые неожиданные моменты. Например, где-то в середине дня, когда Света, теперь ненадолго выходявшая на работу в офис, прибегала на обед, няня говорила:

- Можно мне сегодня пораньше уйти? Нам надо Ване купить куртку.

Ваня – это муж Елены Петровны. Только появившись в доме, она с первого дня начала выкладывать все подробности своей жизни с ним. Сразу стало известно, что женаты они десять лет, что, обжегшись на первом браке, она не хотела выходить за него замуж, но Ваня пошел к ее взрослым уже детям, рассказал им – как любит их мать, и дети принялись «обрабатывать» ее со своей стороны. Ваня работал на каком-то крупном предприятии главным инженером, а теперь, уйдя на пенсию, посменно дежурит вахтером. Но там мало платят, а куда еще податься!

С одной стороны, ничего плохого не было в том, что пожилые люди сохранили свежесть чувств, но Свету некоторые детали из уст няни даже коробили: супруги были в курсе, какой большой живот у Вани, что он кушает, как спит, сколько раз чинил микроволновую печь, и как, со скандалом, менял ее в магазине. Кстати, чтобы поменять эту самую микроволновку, няня опять отпрашивалась, и у супругов (особенно у Светы, конечно) летели в тартары все намеченные планы и встречи.

- Послушайте, Елена Петровна! – не выдержал Игорь, когда она выложила очередную версию: неожиданно приехали дети (из ближайшего городка), поэтому она уйдет на три часа раньше. – Вы работали на производстве, пусть даже это был медпункт на заводе. И что, если вдруг к вам «неожиданно», как вы говорите, приезжали дети, вы бросали работу? Нет! Почему же у нас вам позволительны такие фортели? Ваши дети не могут пару часов поболтать по тем же магазинам, пока вы не придете? Каждые три-четыре дня у вас появляются причины уйти раньше! Поймите, наконец, мы со Светой – деловые люди, мы потом краснеем перед теми, кого подводим, только из-за того, что, сломя голову несемся домой, – освобождать няню для встречи великовозрастных чад, у которых своих детей по двое!

- Ты не слишком сурово ее отчитал? – спросила жена, когда Елена Петровна упорхнула.

- Да врет она все. Никакие дети к ней не приехали. Помнишь, в эту субботу она отпрашивалась тоже для встречи с детьми. Как бы они её ни любили, не могут они по сотне километров накручивать каждые три дня для встреч с родными. Даже потому, что бензин нынче дорог.

- А что тогда?

- Не знаю. Но уверен, – со временем все выяснится.

Игорь как в воду глядел. Оказалось, что няня подрабатывает еще и сиделкой, – ухаживает за прикованным к постели стариком, к которому обязана выходить два раза в неделю. Точное время ей не установили. В любой момент могли позвонить, и потребовать в такой-то час явиться. Вот она, как сайгак, и прыгала между двумя работами, пытаясь не потерять и тот, и другой заработок. Узнай супруги тогда, что она от больного приходит к Ньюше, на порог бы не пустили! Неизвестно, какой там букет болезней, да и энергетика больного человека все равно и сиделке передается, а от нее – к малышке!

И, наконец, самой большой ложью оказалось состояние здоровья Елены Петровны. При приеме у всех нянь спрашивали про здоровье, справки смотрели, но понимали: справкам доверять не приходится – можно сто штук таких выписать «по-знакомству». На собеседовании, на вопрос о болячках, Елена Петровна честно призналась, что немного глуховата, вследствие какого-то перенесенного нервного расстройства, «а в остальном все в порядке».

Немного глуховата, – это няня сильно себе польстила. Потому что когда она, укачивая Нюточку, засыпала рядом, можно было ходить по комнате, брать вещи, заглядывать ей в лицо, стрелять из пушки, – няня спала крепким сном, иногда даже похрапывая. Попытки разбудить оканчивались успехом только в случае длительного физического контакта, – в смысле расталкивания, – после которого попытки убедить ее, что она действительно спала, как сурок, разбивались о непреклонное – «я боялась пошевелиться, чтобы не разбудить кроху».

Так вот, совершенно случайно Игорь, имевший в среде медиков многочисленных знакомых, проговорился о глухоте «бонны»

и «нарвался» на доктора, который наблюдает ее уже много лет.

- Она в тридцать лет перенесла инсульт, у нее гипертония, отсюда – частые головокружения. Она в любой момент может упасть. Плюс ишемия и много еще чего, с такими же неприятными названиями, - врач сочувственно посмотрел на мужа:

- Побокую врачебную тайну, потому что хорошо к тебе отношусь, а Анютку считаю своей крестницей, и не хочу, чтобы с ней произошло что-нибудь плохое. Хватит вам и той дикой истории с ожогом. Мы все до сих пор в шоке!

Уложив дочь, остаток вечера муж с женой провели за медицинской энциклопедией, захлопнув которую, поняли: няня – слишком больной человек, чтобы позволить себе заниматься маленькими детьми, за которыми «глаз да глаз».

Чашу переполнило очередное ЧП. Как-то раз зашли в детскую и увидели лежащий на комодике журнал. У них скопилась целая подписка этих «Караванов» за несколько лет. Лежали они в библиотеке в шкафу. Поэтому Света сразу спросила:

- Елена Петровна! Это ваш журнал?

- Нет, ваш. Я взяла почитать. А что – нельзя? – выплывшие с возрастом глаза смотрели так невинно!

Игорь постарался сдержаться:

- Елена Петровна! Давайте сразу договоримся, - это наш дом. Здесь правила устанавливаем мы. Если вам что-то хочется взять из библиотеки, - будьте добры, ставьте нас в известность. Мы дорожим нашим собранием, и нам не хочется, чтобы вы самостоятельно открывали шкафы в поисках литературы. Кроме того, я удивлен, что у вас есть время читать, – любознательная Анечка требует ежеминутного внимания, а иначе сразу же будут вытащены кастрюли с полком, стащены покрывала с дивана и кресел, ну и так далее...

Няня молча выслушала отповедь. Никак на нее не отреагировала. «Молчание – знак согласия», - посчитали Игорь со Светланой и успокоились. Ох, и зря!

Книги, - спрятанные в игрушках, прикрытые детскими книжками или журналами по воспитанию грудничков, Света стала находить частенько, когда приходила с работы раньше оговоренного времени, и няня, видимо, не успевала положить тома на место. Правда, обнаруживала припрятанное только после окончания

смены, - Елена Петровна была уже дома, поэтому замечаний больше не делали. Просто вытаскивали книги или журналы из-под «завалов» и относили на место. Стали запирают комнату с книгами на ключ. Но в те дни, когда приходила помощница, библиотеку не закрывали, поскольку там необходимо было пропылесосить и вытереть пыль, как и во всей квартире.

И вот не выдержала помощница по дому, скромная Зина. Она, страшно стесняясь, попросила Свету на «пару слов» и поведала о «новых подвигах» Елены Петровны:

- Понимаете, Света, я все время молчала, как-то неудобно вступать, но мне Нюшу жалко. Она посадит ее в кроватку, а сама – либо к телефону, либо на кухню – чай пить. Может просто – подойти к окну, полчаса стоит, что-то там разглядывает. А если Анечка начинает хныкать – сразу ее осекает: «Ну, что ты плачешь!» Она вообще ею не занимается. Доходит до того, что она мне может бросить: «Зина, посмотри за девочкой, я пойду пообеду!» Мне – что, мне не трудно, но каждый свою работу должен выполнять! А потом, вы не представляете, как она меня «достала» своим Ваней! Я про него уже все знаю. С утра до вечера, - пока я убираю, может ходить за мной со своими рассказами – какая она замечательная, и как все ее ценят. Вот только вы – нет. Платите мало...

Тут Светлана округлила глаза, потому что заработок у Елены Петровны был почти равен окладу системного администратора у нее на предприятии.

- ...Уйду, говорит, у меня куча мест есть, где я в два раза больше буду зарабатывать. А еще лучше... - тут Зина остановилась перевести дух, - ...а еще лучше, говорит, буду, как ты, - квартиры убирать. Помахал тряпкой три часа – свободен! Она ничегошеньки не понимает! Это же самое трудное! Попробуй угодить. Люди разные! – Распавшись, Зина не замечала, что сама размахивает зажатой в руке тряпкой для мытья окон:

- И еще, Света, пойдемте в детскую, я специально не убирала – вас ждала. Пока они на улице, я хочу, чтобы вы еще кое-что знали.

Она подвела ее к комоду в Нюшиной комнате и заставила чуть ли не лечь на пол: под комодом... лежала книга.

- Я знаю, что вы библиотеку от нее закрываете. Так теперь она берет книги в те дни, когда я убираю. Я ей говорю – нельзя, а она

шкаф открывает и лезет туда... Нехороший она человек. Вас не уважает, Ньюшу не любит... ничего не ценит...

Зина горестно вздохнула. А Света благодарно коснулась ее плеча:

- Зина, спасибо, что рассказала об этом. И ты не переживай, - никого ты не «сдала», потому что все, что ты рассказала, мы и так замечаем. По реакции Анюты. Когда няня уходит, она нам с папой выдает такую гиперактивность, что мы валимся с ног от усталости.

- Гиперактивность? Это как?

- Она носится по комнатам, кричит. Причем видно, что это не просто игра ребенка. Она как будто выплескивает из себя негативную энергию, накопившуюся за целый день общения с няней. Иногда плачет, снимая напряжение. Дети ведь обязательно должны и бегать, и кричать, - это тоже элемент нормального развития. А если не позволять им этого - накопившаяся энергия может вылиться в самые уродливые явления. И потом, я сама вижу, что няня с Ньюшей не работает, - за все время с Еленой Петровной девочка ни одного нового слова не выучила.

- Так та глухая. Ей просто трудно общаться!

- Вот и я об этом. Я за три часа, остающиеся до сна дочери, и за выходные, мало чем успеваю с ней позаниматься. Так что опять надо за поиски приниматься!

Далее все происходило по прежней схеме: знакомые, объявления, агентство.

- Я одного не могу понять, - кипятился Игорь, - человеку сделали замечание, он не принял его к сведению. Это просто патология какая-то. Или ей действительно все равно, что она может потерять это место. Наверное, действительно, есть куда уйти, где и заработок выше, и работа легче.

- Куда уж легче! - теперь возражала Света. - Ньюше год исполнился - ходит прекрасно, сама играет, требует внимания только когда надо книжку ей почитать или покормить. Готовлю ей я сама. Даже у плиты не надо стоять!

- А я понял! - вдруг воскликнул Игорь, указывая в угол.

Света посмотрела в том направлении - на экране телевизора шли титры какого-то фильма.

- Ты в этих буквах расшифровал тайное послание древнеегипетской няни? - она попыталась рассмешить мужа.

Тот почесал подбородок, к вечеру потемневший от отросшей с утра щетины:

- А ты не смейся. Я сейчас, пока ждал звонка директора агентства - по поводу очередной кандидатки, сидел и смотрел двадцатикакую-то серию «Моей прекрасной няни». Актриса, изображающая няню, порхает в короткой юбочке по квартире с евроремонтом, завтракает за одним столом с работодателем, командует его помощниками. Короче, делает все, что угодно, только не занимается с ребенком. Я его даже и не увидел в этой серии. Там кто - мальчик или девочка?

Света помедлила:

- По-моему и то, и другое, впрочем, не знаю, - я не смотрю сериалы.

- А надо бы! Тогда мы с тобой, может, и поняли бы истоки наших бед! Няни-то, - вспомни повариху! - смотрят сериалы. И что видят? Няня спасает своего хозяина от неминуемого банкротства, устраивает жизнь многочисленным подругам, по полчаса беседует ни о чем с мамой. Вот они и переносят киношную жизнь в свои серые будни. То есть ничего не делают по уходу за ребенком, искренне полагая, что, коли они согласились хотя бы просто за ним присматривать, а ничего другого никто из них, кроме одной Ирины Анатольевны, и не делал, - это уже величайшая милость по отношению к нам.

- А ты не слишком сурово судишь? - Света подняла брошенную Ньюшей пирамидку.

- Я говорю, что вижу. Где бы ни работать, - лишь бы не работать. Я с этим каждый день сталкиваюсь. Просто не представлял, что этот вирус проник и в среду нянь тоже.

...Выслушав, что няню теперь не получается содержать, - дела пошли не очень хорошо, - Елена Петровна нехорошо сузила глаза и по привычке поджала губы:

- В чем я провинилась?

- Да ни в чем, Елена Петровна. - Игорь терпеливо повторил все, что говорил и раньше. - Наши обстоятельства поменялись.

- И все же не понимаю, - она повысила голос, - чем я вас не устроила! Я прекрасный специалист. Меня все ценят!

Игорь потихоньку оттеснял няню к двери:

- Уверяю, у нас нет к вам претензий. Просто случилось то, что может случиться со всяким: мы предполагаем, Господь располагает!
- Я всегда хорошо с детьми обращаюсь! – уже на площадке взвизгнула Елена Петровна голосом ржавой пилы.

Игорь с облегчением захлопнул дверь, а Ньюша, расслышавшая последнюю визгливую фразу своей бывшей няни, неожиданно повторила ее на своем тарабарском языке, но с такой узнаваемой интонацией, что Светлана с Игорем рассмеялись. Видя их веселье, Ньюша повторила «номер», улыбаясь немногочисленными пока зубами, вместе с хохочущими родителями.

А потом Игорь уговорил Ирину Анатольевну выйти на работу. И оказалось, что она как раз была свободна, потому что ее подопечного отдали в садик. И каждое утро Ньюша счастливой улыбкой встречала няню, каждый вечер махала ей «до свидания» обеими руками, и каждый день демонстрировала родителям новые достижения: собирала пирамидку, пыхтя, волокла на веревке игрушечный трактор, извлекала крохотным пальчиком звуки из детского пианино и радостно приплясывала перед папой и мамой, наконец-то обретшими покой.

Мира Левина МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ

Восточная сказка. ЛИНГАМ И ЙОНИ

Жили-были старик со старухой, звали их Лингам и Йони. И были у них два сына Вишна и Кришну и дочь Лакшми-бай. И случился неурожай, и пали все священные коровы, и даже обезьяны померли все. И настал великий голод, и спустилась на землю великая сушь.

И сказала тогда Лакшми-бай:

- Пойду я на панель, но не допущу смерти голодной отца моего Лингама и матери моей Йони.

И пошла она на панель, но скоро заболела дурной болезнью и умерла в страшных муках. И сказал тогда Кришну:

- Пойду и я на панель, но не допущу голодной смерти отца моего Лингама и матери моей Йони.

И пошел он на панель, но схватил его страшный зверь AIDS и умер Кришну, покрытый язвами в страшных муках. И сказал тогда Вишну:

- Стану я охранителем и буду охранять отца моего Лингама и мать мою Йони.

И стал он охранителем и написал о себе ТРАХ-тат и слетелись соколы сизые и вороны ясные, и воспрянул род человеческий духом и сказал грузин:

- Жить стало лучше, жить стало веселей!

Разбогател Вишну и стали отец его Лингам и мать его Йони объектом поклонения, и живут они с тех пор в сытости и праздности!

Западная сказка. ПОКРОМКИН И БАЙДА

Жил да был бывший добрый молодец, а ныне запойный старик Байда. Была у него шашка и старые галифе. Был Байда когда-то защитником сирых и убогих, а ныне одряхлел, но духом не пал.

И появился в тех краях заезжий лихой молодец Покромкин - богатырского роста, весу и с виду зело дюже угрюмый. Пил по многу меду хмельного и воротил, что хотел, покуда не падал. И чинил обиды народу, засовсем продохнуть не давал.

И пошел народ Байде челом бить, просить Покромкина убить-растерзать.

Не сробел Байда, кинул клич боевой давешний: - Поднимайтесь, мать вашу! - крикнул и, зажав в зубах шашку, в галифе и ватнике отправился воевать Покромкина.

А хмельной удалец - заводной молодец сидел тем часом в корчме да уписывал за обе щеки диковинный плод - апельсин, заедая пряником печатным, запевая водицею морскою. А ученый кот ему тем временем все уши промурлыкал. Распахнулась тут дверь, и предстал пред их ликами во всей старческой красе старец - молодец Байда в кавказском чекмене поверх ватника с шашкою в зубах и злобно вращая выпуклыми глазами под впуклыми линзами. Схватил старик Байда рукой шашку и замахнулся ею, да сноровка уже не та, что ране. Лихой молодец Покромкин, вознеся



над столом торс свой могучий, в тот же миг одною дланью смел в дальний угол кота ученого с его баснями, другою хватко цапнул сучковатую булаву и поразил оной Байду меж глаз. Дико вскричал пораженный в святая святых Байда, и отлетела его душа, и ушел он в мир иной, и представился он в одночасье. А лихой молодец - заводной удалец Покромкин опрокинул махом ведерный штоф горилки, хлопнул дверью и был таков. А кота он по пути раздавил, ибо весу в нем было осьмнадцать четвертей.

Совсем не сказка. СТРАХ

Барон Александр Евгений Вольфганг фон Пок, мужчина несколько толще средней полноты, почти неопределенного, немного сиюминутного возраста, с одутловатой физиономией сидел в форме майора НКВД, в своем кабинете, за широчайшим, покрытым зеленым сукном, письменным столом на могучих дубовых ногах и что-то мрачно отчеркивал красным карандашом в газете. Делал он это настолько резко, что газета с треском рвалась, а карандаш крошился и рассыпался по столу. Зазвонил телефон. Барон лениво и с неохотой левой рукой взял трубку, поднес к уху и тут же с грохотом вскочил, щелкнул каблуками и, выкинув вперед правую руку ладонью вниз, заговорил:

- Хайль... Черт! Слушаю, товарищ Сталин! Так точно, товарищ Сталин! Никак нет, товарищ Сталин! Всегда, товарищ Сталин! Герцог, товарищ Сталин! Никогда, товарищ Сталин! Есть, товарищ Сталин!

После, бросив трубку, барон со шмяканьем рухнул в кресло, рванул уже с час душивший его ворот кителя с двумя шпалами на петлицах, так, что отлетели крючки и верхняя пуговица, открыл стол, достал револьвер системы «Наган» образца 1887 года, приставил его к виску, зачем-то достал носовой платок, степенно высморкался, с минуту внимательно разглядывал высморканное, чертыхнулся, матюгнулся, плюнул перед собой и, с упоминанием слова «мать» и ряда других, нажал на спусковой крючок. Раздался громкий щелчок. Барон Александр Евгений Вольфганг фон Пок, майор НКВД, без сознания, мешком свалился под стол.

Обитателям пещер



Александр Болотов
ВИДЕНИЯ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ



Было это в годы смутные, когда распалась связь времен, и хлеб родил худо, и юродивые кричали на митингах по всей державе. Когда нанесло с неметчины на отчие дома окаянных дистрибьютеров о шести главах, в лакированных пинжаках, с картавой речью прельстительной. Когда засвистали, задержались в бесовских экранах лже-медовые рекламные проимандовки, и распались хороводы, и потянулись парни с девками в смрадные города на прельстительный тот посвист.

Подкатит, бывало, к столичному бизнес-колледжу рефрижератор с архангельским номером и надписью «Рыба» и выпрыгнет из кабины эдакий лобастый малец в американских кроссовках урюпинского производства.

- Ты чего... - ослабнет вахтер. - У нас давно всё упрочено...

- Из Холмогор мы... - угрюмо, но без стрельбы и насилия скажет детинушка. - Маркетингу учиться...

А, может, вахтеру всё это и поблазнилось после вчерашнего. Но вообще-то богаты призраками и видениями смутные времена...

Видение холопу Митьке

Думского боярина Твердохлебова холоп компьютерный Митька, что своему боярину на компьютере рейтинг предвыборный считает, рассказал как-то в едовом шопе дилера первой гильдии Хераськина, что будто бы случилось ему, Митьке, видение. Что будто вышел он наемдни из валютного трактира и не то чтобы в дымину трезвый, но при своем уме и в здравом смысле, и будто на углу явились ему четыре стриженных молодца в кожаных куртках и тренировочных штанах «Адидас», попросили закурить, закурили, сказали «спасибо» и ушли. И к чему это, и как теперь жить дальше, он, Митька, не знает.

Народ в шопе посмеялся, и дилер первой гильдии Хераськин сказал, что это, скорее, к деньгам, вопрос только, кто, где и за что их с Митьки сдерет...

Видение дилеру Хераськину

Но грех смеяться над чужими видениями. Ибо приходит время и ежевечернего кошмара дилера первой гильдии Хераськина. И только

Если бы обитатели пещер умели смеяться, вся бы история сложилась иначе.

Оскар Уайльд

смерды закрывают заведение и откланиваются хозяину, только остаётся он один в пустынном и темном шопе, - тут же является ему, как по расписанию, тень его секретаря обкома товарища Петра Митрича. И качается над прилавками, завывая и требуя партвзносы с оборота и отчисления на партийную газету от продажи тушёнки из тушканчиков, и отдельных партийных процентов от деликатных операций с тюменской нефтью, с чеченскими гранатометами да от весёлого заведения в бывшем пионерлагере «Светлый путь»... И грозит: «Мы скоро вернемся, Хераськин, мы уже близко... В день возрождения советской власти мы спросим: «Коммунист Хераськин, а где ты был, а что ты делал?..»

Впрочем, через полчаса тень Петра Митрича, умаявшись витать и грозить, объявляет обычно Хераськину последний строгий выговор и, буркнув «я в обком», втягивается в вентиляцию...

Видение у кассы

А на казённом чайниковом заводе, где издавна клепались чайники класса «земля-воздух», а после конверсии уцелевшие мужики, бабы и прочие казённые люди стали клепать чайники класса «плита-стол» и уже изрядно тех чайников склепали, но на четвертый заклепок не хватило, — завелся на том заводе призрак зарплат. Строго пятого и двадцатого открывается со стекломерзким скрипом окошечко кассы и маячит в нем за сеткой паутины «чёрная кассирша». Трясет чёрной головой, перебирает чёрные ведомости и чёрными руками мечет чёрные купюры:

- Ну, кто первый?! Подходи, не задерживай!

Руку протянешь - ан беспросветной бестии и след простыл. И вот так каждый месяц, в аванс и получку. Но говорил в цехе блаженный технолог Василий, что будто бы по заветному слову обращается «чёрная кассирша» в живую суровую бабу и сварливо выдает настоящую зарплату настоящими деньгами - разноцветными и с картинками. И будто слово то передается от директора к директору из поколения в поколение и является страшной родовой директорской тайной, а за разглашение - кара лютая через получение зарплаты вместе со всем коллективом...

Видение на паперти

...Время смутное, время тёмное. Темно и зябко на паперти Государственной Думы. Братья и сестры, подайте, кто сколько может убогому избирателю на светлое будущее!

Депутат идет густо, подает нескупо, а под выборы и вовсе от щедрости шалее. И если убогий не дурак, если может толково прослезиться над лучезарным прошлым, если вовремя скрипнет зубами о разворванной стране, хрустнет челюстями на аршинный список супостатов («вечная тебе память, раб Божий Станиславский!») - глядишь, и набежит на светлое будущее до утра.

- Спасибо, товарищ, дай Бог тебе здоровья! Но пасаран! На север их, на север! Вперед к коммунизму! Боже царя храни! Даешь рынок! Спасибо, господа...

А то и выйдет из дверей главный скорбец за народ, думский боярин Твердохлебов, приблизится, не чинясь, и так тепло, по-дружески, спросит:

- Ну что, товарищ, холоп неверный, сытно ли тебе при твоей долгожданной демократии?

- Дык, господи, батюшка боярин!..

- То-то!.. Вот тебе, убогий, моя предвыборная программа, прочитай, размножь, раздай по холопам - и будет тебе счастье.

И, скорбя о нас, пойдёт к машине. Скорбно сядет в нее, попеняет кучеру, что кондиционер до сих пор не чинен («вот так и державу разваливают... э-хе-хе...») и, печалясь, велит гнать в вотчину, кою наскорбел себе за смутные годы.

Видение на панели

Но шальное время не обходит видениями и бояр. Нежный призрак, ангел во плоти, стуча каблучками по ступенькам, скатился к машине думского боярина Твердохлебова.

- Пресветлый боярин, помоги душе заблудшей десятью баксами на платные курсы передовых ткачих-многостаночниц!

И разгладилось чело у боярина. И подумалось ему... И ещё раз подумалось... О том, что... Ну, не так, чтобы... да нет, не в том смысле, да и не ко времени... Ах ты, Господи...

- Многостаночниц, говоришь? У-у грешница...

Дал пять долларов, похмурился и добавил ещё полсотни рубликов на учебник по устройству и обслуживанию передовых ткацких станков...

Видение падшей девицы

Багряные задние огни боярина Твердохлебова не успели скрыться за углом, а девица - нежный призрак - поимела своё собственное видение.

Помахивая кистенями, поскрипывая сапогами, зримо прея в черной униформе, подошли к ней три слегка добрых молодца (младшему форма трогательно велика). По-хорошему подошли, в ногу, и коренной молвил сурово:

- Сестра! Не позорь кровь свою! Не время на панели баксы шибать, когда житья не стало от эскимосов! Поналезли к нам через Берингов пролив, замаскировались, во все щели проникли, и оттуда продают и спаивают доверчивый и страстнотерпный народ наш!

- И девок портюнь, - вздохнул средний. - Никакого на хрен генофонду не осталось!

- А всё из-за коварства тайных эскимосов, - застенчиво вставил младшенький, распахивая под ремень складки черной гимнастерки.

Девушка ахнула, зарделась, прониклась, и тут же за неподдельное раскаяние и готовность бороться получила три братских поцелуя и брошюру про мировой эскимосский заговор...

Добры молодцы, узрев вдали подозрительный профиль, поспешили к нему рубленным шагом, а девушка - светлый ангел, - оборотясь к ближайшей колонне, сказала:

- Можешь уже-таки вылазить - они переключились на эскимосов.

И убогий брат ея задумчиво вышел из-за хладномраморной колонны:

- Эскимосов? То-то я смотрю: конкурентов на паперти всё больше, и в кого не ткни - тайный эскимос...

...Вечер распластался по бульварам, бесстыдно расшеперился по площадям, покрыл улицы. Лобастый малец, что надясь напугал вахтера бизнес-колледжа, неспешиа протопал по городу, поглазель на срамных девок у «Интуриста» («страхотюдины!»), дал закурить двум потрепанным кандидатам в президенты, пошурвился на вывески «Sex-shop «Lyubava» и «Kalinka-company», зажевал гамбургер и помог молодой маме перенести коляску с описавшимся будущим спикером парламента. И на мосту случилось ему видение. Привиделось ему такое будущее этой немыслимой страны, что тихо охнул малец и перекрестился на рекламный щит Народного банка:

- Всё, пора переходить на минералку...

Мостовая

Топ-топ, топ-топ... ой! .. топ-топ.

Маргариточка идет по головам.

Жалкие моралисты, инфантильные интеллигенты, энергетические кастраты, вопящие о безнравственности хождения по головам...

Топ-топ...

...Вам не понять неизъяснимую печаль человека, который вынужден проносить свою свободу и независимость по убогой мостовой из чужих макушек. Где туфельки то и дело скользят по потным ушам, вызывая снизу нудные протесты...

Топ-топ... Ой, блин, извините!.. Топ... топ...

...Где из-под ног то и дело слышится злобное шипение: «Ишь, разгулялась стерва!» - «Ничего, скоро шею свернет!» - «Ой, да что ж вы толкаетесь! Стойте смирно!» - «А вы тут вообще не стояли!»...

Топ-топ...

...Где каждый так и норовит за лодыжку цапнуть, а на прошлой неделе какая-то сволочь только зубами чвакнула — и напрочь откусила каблук у новой французской туфельки, а таких туфелек у Маргариточки, извините, не полный шкаф!..

Топ! Топ!

- Уй-юй! Ну, Маргарита Олеговна, ну вот опять... очки...

- Ах, простите, Аполлон Сергеевич, я вас не узнала! Ну как вы, дорогой? Как здоровье, печень, дети? Это ваш? Какая прелесть! Вот тебе конфетка. А вы все ещё без работы? Ай-яй-яй, какие времена!.. Извините, спешу...

Топ-топ-топ...

Деловые импотенты, которых акушерки когда-то ошибочно называли мужчинами! Надувайте щеки, произносите слова, соответствуйте в постели, воюйте, бросайтесь под танки и на трибуны, проявляйте массовый героизм... Но избави вас Боже вставать на пути у женщины, идущей по головам!

Топ-топ, топ-топ...

- Марго! Ну сколько можно! Я уже весь вспотел и прочее... Ну когда, Марго?! Я соскучился!

- Ну не здесь же, милый. Потерпи, уже скоро. Дай я тебе макушечку оботру... Ты хоть голос подавай, чтобы я опять на моего мальчика не

наступила... Целую!

Топ-топ, топ-топ...

- Маргуня! Маргунчик!

- Светик! Боже мой! Ну как ты?!

- Вот, познакомься... Это - мой...

- Где?

- Да ты на нем стоишь.

- Ах, извините! Очень приятно!

- И мне, и мне очень приятно! Жена столько про вас...

- Надо как-нибудь встретиться! Звони, дорогая! Целую!

Топ-топ-топ...

Маргариточка идет по головам. Печальная временная необходимость. Но уже свежий ветерок треплет её волосы и обдувает красивый, чуть выпуклый лоб. Значит, вершина недалеко...

- Господа! На сегодняшней презентации я хочу поднять первый тост за женщину нового типа, за виновницу торжества, которая, кстати, как раз вступает в мой фужер (внизу смех и оживление)...

- Ах, господа, мне, право, неудобно... Благодарю...

- Серега! Снимай скорей - смотри, какой ракурс! ..

Топ-топ, топ-топ-топ... топ...

- ... Ай! Мама-а! (откуда-то из голов: «Ритуля, дочка, ты не ушиблась?!»)

Не ушиблась. Но дьявольски запнулась об какую-то заразу в клубном пиджаке, которая пыталась выкарабкаться наверх из общего месива.

Время застыло. Полет... Летит Маргариточка, рассыпая по ветру злые слезы. Головы волнуются:

- На взлет пошла!

- Свалилась!

- Простите, вверх не падают.

- Жалко девку. Потесниться бы да принять...

- Не волнуйся! Эти если и валятся, то опять к нам на головы...

Летит Маргариточка в лучах заката. Солнечный фон поглощает одинокую фигурку, и тут автор уже ничего не гарантирует...

Замороженные музы

Эти зарисовки - мизерная доля тех невысказанных случаев, курьёзов и историй, которые всегда происходили и происходят в области культуры

и особенно в театрах и вокруг них. Перед вами всего лишь скромная личная добыча автора, который поскрёб по сусекам своей памяти, а также подобно старьёвщику прошёлся по завалам чужих легенд и преданий. И дай Бог здоровья всем, кто щедро делится со мной своими историями...

Конец 70-х. Режиссёр нашего городского театра (замечательный режиссёр!) на очередной встрече с главой областной культуры. Когда все текущие вопросы были исчерпаны, и режиссёр уже собирался откланяться, глава придержала его и самым дружеским тоном сказала:

- Да, и вот ещё ... Дорогой мой, на вас обижаются. Ну что за мальнишество, ну зачем вы каждое утро, снимая трубку телефона, здороваетесь с сотрудниками КГБ?

Конец 70-х. Городской народный театр. Зал полон. Идет спектакль «Молодая гвардия». По ходу действия денщик немецкого офицера - сволочь фашистская - швыряет сапогом в Олега Кошевого. Неудачно швыряет: сапог улетает в оркестровую яму, аккуратно на голову парня, который впервые пришёл в этот театр и в яме ждал, когда его друзья-артисты отыграют спектакль. Улетевший со сцены сапог этот парень воспринимает, как большую накладку в ходе спектакля (которую, к слову сказать, в зале никто и не заметил). И решает помочь ребятам...

Драматическая сцена между Олегом Кошевым и немецким денщиком. Тишина в зале. Тут из оркестровой ямы вылетает сапог и, описав крутую параболу, смачно шлепается на сцену. Публика в экстазе, весь драматизм летит к черту...

Между прочим, тот чудак из оркестровой ямы потом стал очень хорошим артистом, играл на профессиональной сцене и даже снимался в кино.

Рассказала заведующая литературной частью одного театра.

Дело было на Украине, ещё при советской власти. Артисты областной драмы везут спектакль труженикам села. За рулём автобуса шофер театра по фамилии Понедельник - на Украине подобные веселые фамилии не редкость.

И надо же случиться такой беде, как авария. На одном из сельских проселков автобус перевернулся. Слава Богу, никто seriously не пострадал, хотя и была пара переломов, но в основном - ушибы и стресс.

Бедный Понедельник вообще впал в полную прострацию и закаменел - никаких реакций.

Как-то ухитрились вызвать «скорую», она приехала, бригада оказала первую помощь. После чего врач «скорой» обратился к завтруппой с просьбой помочь заполнить необходимый документ по поводу происшедшего.

Завтруппой - дама, которую вообще невозможно было вывести из равновесия. Всегда невозмутима, всегда хладнокровна, энергична и строга.

- Как фамилия водителя? - спрашивает врач.

- Понедельник, - четко отвечает завтруппой.

Врач внимательно смотрит на неё. Проверяет её пульс.

- Как вы себя чувствуете?

- Спасибо, нормально.

- Я спросил у вас фамилию водителя?

- Понедельник.

- Вы успокойтесь, - начинает волноваться врач. - Всё уже позади, всё хорошо, все целы. Голова не болит? Не тошнит? Нет? Ну, давайте... как у нас всё-таки фамилия водителя?

- Понедельник...

Этот уникальный диалог продолжался довольно долго, но всё-таки обошлось без госпитализации.

90-е годы. Молодой журналист собрался приобщиться к искусству и решил начать с театральных рецензий. Для начала он позвонил заведующей литературной частью «главного» городского театра и осведомился о их репертуаре в новом сезоне.

- «Федра»? Кто автор? Жан Расин? Одно «с» или два?.. А о чём?.. Ну, хотя бы вкратце...

У завлита было ангельское терпение и фатальная установка на дружбу с прессой. Следующие четверть часа журналист только торопливо строчил, изредка бормоча: «Потрясающе... А он?.. А тот?..»

- Что ещё в планах? Ага, пишу: «Тартюф»... Первая «тэ»? Тимофей?.. Кто автор?..

Через некоторое время этот парень напросился на репетицию. Ставили Толстого - «Живой труп». Вскоре заведующей литературной части театра попадает в руки газета, в которой описана работа театра над постановкой. Завлит читает и у неё темнеет в глазах.

Мало того, что журналист отметил, что «название известного романа Л.Толстого «Труп» режиссёр психологически усилил добавлением контрастного прилагательного «живой» - «Живой труп». Мало этого - он ещё глубокомысленно порассуждал о том, как символична стоящая в углу сцены лестница-стремянка (которую там, к слову сказать, забыл перед репетицией монтировать). Но даже подобные «открытия» не так мучили бедного завлита, как вопрос: что же тогда из себя представляет главный редактор этой газеты?

Кассиры театров - настоящий кладёз околотеатральных убийственных ситуаций. Возьмем тот же «Живой труп». Генетическая жертва Великого Октября заглядывает в окошечко театральной кассы:

- «Живой труп» - это чё, про Ленина?

Или вот ещё вопрос к кассиру:

- У вас сзади что? (Перевожу: есть ли места в амфитеатре?)

Кассир - женщина остроумная, острая на язык:

- То же, что и у всех.

- А почём?

- Договоримся...

Это надо просто цитировать. Документ, между прочим.

«Экспертное заключение

... ..бря 1996 г.

На основании запроса №... отбря 1996 г. заместителя начальника ОПР СОБ УВД экспертам-искусствоведам, Заслуженным работникам культуры РФ (имярек) принята к исследованию следующая продукция:

- упаковка презервативов, изъятая в киоске №... ..-ского района;

- три упаковки презервативов, изъятые в киоске №... ..-ского района;

- упаковка презервативов, изъятая в киоске №... ..-ского района.

При исследовании установлено, что обложки всех представленных презервативов содержат красочные изображения полубоженных и обнаженных женских тел. Все изображения подчеркивают демонстрацию привлекательности женского тела, носят призывной к половому акту характер, что дает основания отнести эти изображения к явно эротическим.

Эксперт,

Заслуженный работник культуры РФ (имярек)»



Невольно представилось: «На основании запроса ОПР СОБ УВД... экспертом-искусствоведом, принята к исследованию картина Рембрандта «Даная». При исследовании установлено, что картина содержит красочное изображение обнаженного женского тела и носит призывной к половому акту характер...»

Вещи, конечно, несравнимые, но как подумаешь о критериях...

Интересно люди проявлялись в бурные девяностые. Причем, независимо от политических убеждений или отсутствия таковых. Вообще, по моему, в мире есть две основные партии и две основные нации: люди порядочные и непорядочные. Но это так, притча.

Было у меня два знакомых - творческие люди и пламенные патриоты. Когда мы собирались втроем, они так скорбели о гибнущей Родине, что мне даже неудобно становилось за свою недостаточную скорбь. «Все разворовывается! Все продаются! Куда мы каемся!...» и т.д., и т.п. Вот так они треплются о гибнущей России — полгода, год, два года... Как-то послушал их один мой друг-поэт и бестактно брякнул (после первых ста граммов): «Не знаю насчет того, что все продаются, но ещё столько денег не напечатано, чтобы, например, фашисты или коммунисты могли меня купить. Да и некоторые скороспелые «демократы» из бывших...» И тут два моих патриота заржали и хором завопили: «Так веди их сюда! Какая разница, кто платит!».

Что-то меня на политику перекосило. Вернемся к музам.

Москва, Литературный институт. Семинар Анатолия Приставкина. После основной работы (обсуждения чьих-то произведений, намеченного в этом семинаре) наш общий друг и очень хороший прозаик попросил несколько минут «для разрядки обстановки». И прочитал нам свой юмористический рассказ - удивительно длинную и нудную притчу о кулике, который что-то там делал на своем болоте. «Кто хочет высказаться?» - спросил Анатолий Игнатьевич. Мы по очереди заговорили: о слабостях этого произведения, об отдельных сильных моментах, о том, что юмор - это особая материя и т.д., и т.п. Очень серьезное было обсуждение. Последним, по традиции, высказался Приставкин. «Знаете, - задумчиво сказал он, - что самое поразительное в этом произведении?...» Мы затаили дыхание. «...То, что вы говорили о нем целых двадцать минут! О чём тут вообще говорить!»

Одинокий голос человека



Смерть достаточно близка, чтобы можно было
не страшиться жизни.

Фридрих Ницше

Светлана Василенко

* * *

На еврейском кладбище
У могилы мужа
Стою одна.
Все знают, кроме меня,
Дуры,
Что сегодня живому сюда нельзя:
Суббота.

Сиротская могила.
На памятник нет денег.
Денег нет ни на что:
Ни на жизнь,
Ни на смерть.
На сапоги тоже нет.
Ты же знаешь, Марк, нашу с тобой жизнь:
Еле дотягивали до получки.

Разговариваю с тобой.
Ворох новостей.
Жалуюсь на сына.
Он все со своей Машей.
Марк, я опять влюбилась
На старости лет
Тут в одного.
Ты привык.



Ты рассеянно слушаешь меня,
Лежа
словно на диване,
незряче глядя
на свой небесный футбол.
Невпопад переспрашивая:
Как его зовут? Саша?
Горячась:
За это надо давать красную карточку
Или назначать пенальти!

И я вдруг ясно понимаю, что
Ты такой же
Ничуть не изменился.
И нам хорошо
Как раньше
Просто молчать
Друг с другом
Здесь на еврейском кладбище,
Когда живым сюда нельзя.
Суббота.

*1 июля 2006 г.
Москва*

Примечания



Светлана Василенко
Я ВЫПАЛА ИЗ МИРА ЛЮДЕЙ...

¹ (с. 14) Харидвар – священный город индуистов в Индии, в предгорьях Гималаев, у истока Ганга, в переводе – Двери Бога.

**Анатолий Найман: «СТРАНЕ НУЖНЫ ЛЮДИ С
ЧУВСТВОМ СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА»**

¹ (с. 27) *Найман Анатолий Генрихович* - родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский технологический институт (1958).

Пишет стихи с 1954 года. Печатается как переводчик поэзии с 1959 года. *Анатолий Найман* - один из четверки поэтов, которых *Ахматова* назвала «волшебным хором». С 1962 года - литературный секретарь *Анны Ахматовой*. Выпустил несколько поэтических сборников: «Стихотворения» (1989), «Облака в конце века» (1993), «Ритм руки» (2000), «Софья» (2002), «Львы и гимнасты» (2002). В самиздате ходили сборники стихов Наймана «Сентиментальный марш», поэмы «Стихи по частному поводу», «Сентябрьская поэма». Читательское признание принесли ему книги «Рассказы о Анне Ахматовой» (1989), «Статуя командира и другие рассказы» (1992), «Славный конец бесславных поколений» (1998), романы «Любовный интерес» (2000), «Сэр» (2001). Переводил с итальянского, старофранцузского. Автор многочисленных переводов английских, французских и американских поэтов. Преподавал в ведущих университетах США и Италии. В качестве приглашенного стипендиата посещал Оксфордский университет (Англия) и Кеннановский Институт (США).

Член французского ПЕН-клуба (1989).

Отмечен премиями журналов «Октябрь» (1995, 1997, 2000, 2002), «Новый мир» (1997). Роман «Сэр» входил в шорт-лист Букеровской премии (2001). Роман «Каблуков» - в шорт-лист Букеровской премии (2005).

Живет в Москве.

Алексей Тепляков
**СИБИРЬ: ПРОЦЕДУРА ИСПОЛНЕНИЯ
СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ В 1920 – 1930-Х ГОДАХ**

¹ (с. 214) - *Сувениров О.Ф.* Трагедия РККА 1937–1938. М., 1998, с. 308.

² (с. 216) - ГАНО, ф. 1, оп. 1, д. 39, л. 286; ф. 20, оп. 2, д. 5, л. 2, д. 2, л. 171, 205.

³ (с. 217) - Там же, ф. 20, оп. 2, д. 162, л. 145, 151, 184, 185, 187, 205, 207; ф. 1027, оп. 8, д. 23, л. 51; Маргиналы в социуме. Маргиналы как

Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, у кого ты украл эту книгу.

Илья Ильф

социум. Сибирь (1920 – 1930-е годы). Новосибирск, 2004, с. 121.

⁴ (с. 217) - ГАНО, ф. 20, оп. 2, д. 109, л. 220, 450, 452.

⁵ (с. 218) - *Степанов А.Ф.* Расстрел по лимиту. Из истории политических репрессий в ТАССР в годы «ежовщины». Казань, 1999, с. 64, 30; Расстрельные списки. Москва, 1937 – 1941. М., 2000, с. 495, 498; Архив УФСБ по НСО, д. п-4436, т. 2, л. 287 – 288; ГАНО, ф. 20, оп. 1, д. 259, л. 1-4.

⁶ (с. 219) - *Смирнов Н.Г.* Репрессированное правосудие. М., 2001, с. 396, 397, 399; *Сувениров О.Ф.* Трагедия РККА... с. 187.

⁷ (с. 219) - Сталинские расстрельные списки. М., 2002; Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Март 1953 – февраль 1956. Том I. М., 2000, с. 325; *Степанов А.Ф.* Расстрел по лимиту... с. 30 – 31; *Бирюков А.М.* Колымские истории. Новосибирск, 2004, с. 112.

⁸ (с. 220) - *Степанов А.Ф.* Расстрел по лимиту... с. 69; Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Том II. Февраль 1956 – начало 80-х годов. М., 2003, с. 662; ГАНО, ф. п-4, оп. 34, д. 74, л. 180; Расстрельные списки... с. 490, 495.

⁹ (с. 221) - ГАРФ, ф. 353, оп. 3, д. 780, л. 11 (сообщено *А.И. Савиным*); ГАНО, ф. 1027, оп. 8, д. 39, л. 72 об.; *Глухов С.* Семен Николаевич Коган // Инфо-Панорама (Ижевск). 2005, 6 янв.

¹⁰ (с. 222) - ГАНО, ф. 1027, оп. 8, д. 39, л. 80, 30, 67; ф. п-1, оп. 2, д. 59, л. 31 об., д. 412, л. 4-7; оп. 3, д. 35, л. 5; *Олех Г.Л.* Кровные узы. РКП(б) и ЧК/ГПУ в первой половине 1920-х годов: механизм взаимоотношений. Новосибирск, 1999, с. 41.

¹¹ (с. 223) - ГАРФ, ф. 374, оп. 27, д. 487, л. 64; ГАНО, ф. п-3, оп. 1, д. 6006, л. 156; РГАНИ, ф. 6, оп. 1, д. 659, л. 40; оп. 2, д. 289, л. 181 – 181 об.

В монографии *Л.П. Белковец* «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири (конец 1920-х – 1930-е годы). М., 1995, с. 192 ошибочно указано, что *Бранецкий* после Сибири «пошёл на повышение».

¹² (с. 224) - Архив русской революции. Т. 19 – 20. М., 1993, с. 72, 132; *Ваксберг А.И.* Нераскрытые тайны. М., 1993, с. 149 – 150; *Абрамов В.* Смерш. Советская военная контрразведка против разведки Третьего Рейха. М., 2005, с. 519.

¹³ (с. 225) - Архив УФСБ по НСО, д. п-8440, л. 184, д. п-20843, л. 13, д. п-20838, л. 59, 60; Боль людская. Книга памяти репрессированных томи-чей. Т. 4. Томск, 1994, с. 200, 308; *Олех Г.Л.* Кровные узы... с. 35; ОСД УАДА-АК, ф. р-2, оп. 7, д. п-24332, т. 16, л. 260; ГАНО, ф. 1096, оп. 1, д. 419, л. 144, 344; ЦХАФАК, ф. п-312, оп. 1, д. 7, л. 221; Архив УФСБ по НСО, д. п-3593, т. 2, л. 461; *Березжов В.И.* Питерские прокураторы. СПб., 1998, с. 191.

¹⁴ (с. 226) - *Бедин В., Кушникова М., Тогулев В.* От Кузнецкого острога до Кузнецкстроя: 3000 имён в архивных и библиографических источниках (опыт биографического словаря). Кемерово, 1998, с. 371; *Тепляков А.Г.* Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД в 1936-1946 // Минувшее.

Исторический альманах. Вып. 21. СПб., 1997, с. 250; *Шшикин В.И.* (сост.) Сибирская Вандея. Новосибирск, 1997, с. 683; *Хёне Х.* Чёрный орден СС. История охранных отрядов. М., 2003, с. 323 – 324.

¹⁵ (с. 227) - ГАНО, ф. п-10, оп. 1, д. 1211, л. 63; ф. 1096, оп. 1, д. 295, л. 86; ф. п-1204, оп. 1, д. 1, л. 3.

¹⁶ (с. 227) - Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917 – 1991. Справочник. М., 2003, с. 30, 46; Архив Русской революции. Т. 19 – 20. М., 1993, с. 120 – 121.

¹⁷ (с. 228) - ОСД УАДААК, ф. р-2, оп. 7, д. п-5485, т. 1, л. 16; Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ... с. 40.

¹⁸ (с. 229) - ГАРФ, ф. 374, оп. 27, д. 487, л. 43 – 44; ГАНО, ф. п-1, оп. 8, д. 36, л. 15; Архив УФСБ по НСО, д. п-17386, т. 1, л. 718.

¹⁹ (с. 230) - ГАНО, ф. 1, оп. 1, д. 157, л. 58; ф. п-1, оп. 2, д. 453, л. 10; оп. 7, д. 16, л. 20; ф. п-6, оп. 1, д. 189, л. 25, 74 об.; *Олех Г.Л.* Кровные узы... с. 56; ЦДНИТО, ф. 1, оп. 1, д. 4, л. 265 – 267, 276; ЦХАФАК, ф. п-37, оп. 2, д. 20, л. 144.

²⁰ (с. 232) - ГАНО, ф. п-1, оп. 7, д. 15, л. 1-4; ф. п-6, оп. 1, д. 934, л. 25; ТОЦДНИ, ф. 1, оп. 1, д. 17, л. 116, д. 276, л. 53 об.; Известия Сиббюро ЦК РКП(б). № 42 – 44. Омск, 1922, с. 40; ЦДНИОО, ф. 18, оп. 2, д. 12, л. 403, 405; ОСД УАДААК, ф. р-2, оп. 7, д. п-4651, т. 42, л. 62 – 65; ГАНО, ф. 911, оп. 1, д. 11, л. 9; ф. 1027, оп. 8, д. 31, л. 17, 25, 31, 65, 66; РГАСПИ, ф. 17, оп. 9, д. 2734, л. 77 – 77 об.

²¹ (с. 233) - *Шрейдер М.П.* Воспоминания чекиста-оперативника. Архив НИПЦ «Мемориал», с. 81; *Ваксберг А.И.* Нераскрытые тайны... с. 10; *Гладков Т.* Награда за верность – казнь. М., 2000, с. 250; РГАСПИ, ф. 17, оп. 9, д. 2985, л. 126 – 126 об.; Архив УФСБ по НСО, д. п-20905, л. 82; Боевые годы. Новосибирск, 1959, с. 53; ГАНО, ф. п-3, оп. 15, д. 9836 (л. д.); ф. п-11, оп. 1, д. 77, л. 7-8; *Гришаев В.Ф.* «За чистую советскую власть...» Барнаул, 2001, с. 163.

²² (с. 233) - *Агабеков Г.С.* Секретный террор: Записки разведчика. М., 1996, с. 51; Сведения *К.В. Скоркина*.

²³ (с. 236) - ГАНО, ф. п-6, оп. 1, д. 611, л. 127 – 128; ф. 1027, оп. 8, д. 39, л. 72 об., д. 23, л. 59, 69, 146, 276, 280, 292, 604, 446, д. 31, л. 103; ОСД УАДААК, ф. р-2, оп. 7, д. п-4651, т. 42; *Степанов А.Ф.* Расстрел по лимиту... с. 70; ЦХАФАК, ф. п-5762, оп. 1, д. 3, л. 15 об.

²⁴ (с. 236) - ГАРФ, ф. 374, оп. 27, д. 488, л. 32; ГАНО, ф. 1027, оп. 8, д. 39, л. 80, 30, 67.

²⁵ (с. 238) - *Шшикин В.И.* Енисейская губернская чека в 1920 году: дела и нравы // Гуманитарные науки в Сибири. №2. Новосибирск, 1994, с. 50 – 51; ЦДНИОО, ф. 1, оп. 2, д. 48, л. 60 – 61 об.; РГАНИ, ф. 6, оп. 1, д. 148, л. 109.

²⁶ (с. 238) - ГАНО, ф. п-10, оп. 1, д. 510, л. 84, 87, 91 – 99.

²⁷ (с. 238) - За советы без коммунистов. Крестьянское восстание в Тюменской губернии 1921. Новосибирск, 2000, с. 666.

²⁸ (с. 239) - *Дружников Ю.И.* Доносчик 001, или Вознесение *Павлика Морозова*. М., 1995, с. 121 – 122.

²⁹ (с. 240) - *Тепляков А.Г.* Сексотка Люба // *Родина*. 2000, №9, с. 72; ГАНО, ф. п-11а, оп. 1, д. 45, л. 56, 90, 93 об.

³⁰ (с. 240) - *Гришаев В.Ф.* Невинно убиенные. Барнаул, 2004, с. 79 – 80; ГАНО, ф. 1027, оп. 8, д. 23, л. 482, 491, д. 31, л. 53, д. 39, л. 51.

³¹ (с. 240) - ГАНО, ф. 1027, оп. 8, д. 31, л. 102, 138, 124, 29, 41, 54 – 56, д. 13, л. 60, д. 23, л. 342.

³² (с. 242) - Забвению не подлежит. Книга памяти жертв политических репрессий Омской области. Т. 3. Омск, 2001, с. 38; ЦДНИОО, ф. 7, оп. 4, д. 77, л. 46 (сведения *Ю.И. Голикова*); Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ... с. 435 – 436; ОСД УАДААК, ф. р-2, оп. 7, д. п-5700, т. 7, л. 234, 238, д. п-7014, л. 128 об.

³³ (с. 242) - *Бедин В., Кушникова М., Тогулев В.* От Кузнецкого острога до Кузнецкстроя... с. 61; ГАКО, ф. п-9, оп. 1, д. 320, л. 8 об., 14 – 14 об.; РГАНИ, ф. 6, оп. 1, д. 658, л. 119.

³⁴ (с. 243) - *Соловьёв А.В.* Тревожные будни забайкальской контрразведки. М., 2002, с. 59 – 72; ГАНО, ф. 20, оп. 2, д. 109, л. 220, 450, 452, д. 162, л. 90, 54.

³⁵ (с. 243) - *Исаев В.И., Узроватов А.П.* Правоохранительные органы Сибири в системе управления регионом (1920-е гг.). Новосибирск, 2006, с. 149 – 150; ГАНО, ф. 20, оп. 2, д. 109, л. 452 – 455, 457, 458, 460.

³⁶ (с. 244) - ГАНО, ф. 1061, оп. 1, д. 17, л. 6, 8, 17.

³⁷ (с. 245) - Там же, ф. 1027, оп. 7, д. 7, л. 19, 52.

³⁸ (с. 246) - *Нарымская хроника 1930 – 1945. Трагедия спецпереселенцев. Документы и воспоминания.* М., 1997, с. 172.

³⁹ (с. 246) - Архив УФСБ по НСО, д. п-17386, т. 1, л. 716.

⁴⁰ (с. 247) - *Тумишис М.А., Папчинский А.А.* ОГПУ и общество в период коллективизации: неизвестные страницы // *Новый часовой*. 2001, с. 273 – 274.

⁴¹ (с. 247) - *Тепляков А.Г.* Персонал и повседневность... с. 250; ГАНО, ф. 1027, оп. 8, д. 23, л. 482, 491, д. 31, л. 53, д. 39, л. 51.

⁴² (с. 248) - *Отечественные архивы*. 1992. №2, с. 28, 29; *Бережков В.И.* Питерские прокураторы. СПб., 1998, с. 178; *Мозохин О., Гладков Т. Менжинский.* Интеллигент с Лубянки. М., 2005, с. 424.

⁴³ (с. 249) - ГАНО, ф. 1027, оп. 8, д. 13, л. 53, 56, 57.

⁴⁴ (с. 249) - Там же, д. 31, л. 30, д. 23, л. 383, 384, 547, д. 30, л. 110, 111, д. 23, л. 423 – 423 об.

⁴⁵ (с. 251) - *Брат А.* Исполнитель (рукопись; архив автора); *Тепляков А.Г.* Персонал и повседневность... с. 250 – 251; *Боль людская. Книга памяти репрессированных томичей.* Т. 5. Томск, 1999, с. 111; *Гришаев В.Ф.* Реабилитированы посмертно. Барнаул, 1995, с. 39; Архив УФСБ по НСО, д. п-777, л. 171 – 172.

⁴⁶ (с. 252) - *Родина*. 1998, №9, с. 86; *Гольдберг Р.* Книга расстрелянных. Т. 1. Тюмень, 1999, с. 495 – 501; Т. 2. Тюмень, 1999, с. 8 – 55, 432.

⁴⁷ (с. 253) - *Шрейдер М.П.* НКВД изнутри. М., 1995, с. 85 – 86; *Бруль В.И.* Немцы в Западной Сибири. Т. 1. С. Топчиха Алтайского края. 1995, с. 172; *Юнге М., Биннер Р.* Как террор стал “большим”. Секретный приказ № 00447 и технология его исполнения. М., 2003, с. 254; *Гольдберг Р.* Книга расстрелянных. Т. 2. Тюмень, 1999, с. 432 – 433, 436.

⁴⁸ (с. 254) - ГАНО, ф. 20, оп. 2, д. 2, л. 226; Спецпереселенцы в Западной Сибири 1933 – 1938. Вып. 3. Новосибирск, 1994, с. 117 – 118; Забайкальский рабочий (Чита). 1989, 5 октября; ОСД УАДААК, ф. р-2, оп. 7, д. п-5380, т. 2, л. 30; Сведения Красноярского отделения общества «Мемориал».

⁴⁹ (с. 255) - *Тепляков А.Г.* Управление НКВД по Новосибирской области накануне и в начальный период Великой Отечественной войны // *Западная Сибирь в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.)*. Новосибирск, 2004, с. 262, 267; *Фойгт Л.И.* Сталинск в годы репрессий. Новокузнецк, 1995, с. 60; Архив УФСБ по НСО, д. п-8139, л. 235 – 239, 265, 280.

⁵⁰ (с. 256) - *Шрейдер М.П.* НКВД изнутри... с. 86; *Тепляков А.Г.* Персонал и повседневность... с. 254; Архив УФСБ по НСО, д. п-12492, л. 62.

⁵¹ (с. 256) - Забайкальский рабочий (Чита). 1989, 5 октября.

⁵² (с. 258) - РГАНИ, ф. 6, оп. 2, д. 19, л. 19, 28 – 45, 71 – 73.

⁵³ (с. 258) - Архив УФСБ по НСО, д. п-6195, л. 172.

⁵⁴ (с. 261) - *Панков С.А.* Сталинский террор в Сибири 1928 – 1941. Новосибирск, 1997, с. 224; *Александров А., Томилов В.* Два ленских расстрела // *Восточно-Сибирская правда* (Иркутск). 1996, 28 мая; *Овсиенко В.* Начало великого террора // *Зеркало недели*. 2002, №29, 3-9 авг.; *Юнге М., Биннер Р.* Как террор стал «большим»... с. 97, 101; *Полешиков В.М.* За семью печатями. Сыктывкар, 1995, с. 15 – 22; *Ватлин А.Ю.* Террор районного масштаба: «Массовые операции» НКВД в Кунцевском районе Московской области 1937 – 1938 гг. М., 2004, факсимиле документа на вкладке; *Степанов А.Ф.* Расстрел по лимиту... с. 212; *Сухомлинов А.В.* Кто вы, *Лаврентий Берия*? М., 2003, с. 168.

⁵⁵ (с. 262) - *Садовская Е.Ю., Толоконников Э.А.* Метод групповой идентификации останков жертв массовых расстрелов // *Корни травы*. Сб. статей молодых историков. М., 1996, с. 183; *Тарнавский Г., Соболев В., Горелик Е.* Куропаты: следствие продолжается. М., 1990, с. 28, 34, 108, 111, 164 – 166, 200 – 201; *Литвин А.Л.* Красный и белый террор в России. 1918 – 1922 гг. М., 2004, с. 95; *Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т. 51, с. 19; *Игнатова Е.* Записки о Петербурге. СПб., 2003, с. 448 – 449; ЦДНИОО, ф. 1, оп. 2, д. 260, л. 43; Архив УФСБ по НСО, д. п-8139, л. 255, 266, д. п-8213, л. 390.

⁵⁶ (с. 263) - ЦХАФАК, ф. п-10, оп. 14, д. 190, л. 20; оп. 20, д. 47, л. 179; оп. 22, д. 95, л. 14, 51; ГАНО, ф. 1027, оп. 10, д. 13, л. 2; *Ватлин А.Ю.* Террор районного масштаба... с. 90; РГАНИ, ф. 6, оп. 2, д. 615, л. 4 об.

⁵⁷ (с. 266) - *Сухомлинов А.В.* Кто вы, *Лаврентий Берия*... с. 91 – 92; Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Том II. Февраль 1956 – начало 80-х годов. М., 2003, с. 589, 648; Книга памяти жертв политических репрессий республики Хакасия. Т. 1. Абакан, 1999, с. 465 – 466; *Кузнецов И.Н.* Репрессии 30 – 40-х гг. в Томском крае. Томск, 1990, с. 221 – 223; *Тумишис М.А.* ВЧК. Война кланов. М., 2004, с. 144; *Сувениров О.Ф.* Трагедия РККА... с. 288 – 289; РГНИ, ф. 6, оп. 2, д. 671, л. 161; ОСД УАДААК, ф. р-2, оп. 7, д. п-5037, л. 15, 81, 105, д. п-5380, т. 2, л. 30.

⁵⁸ (с. 267) - Дело революции (Новониколаевск). 1920, 24 июля, 10 октября; Архив УФСБ по НСО, д. п-20905, л. 140 – 141, 143 – 144.

⁵⁹ (с. 267) - Архив УФСБ по НСО, д. п-17386, т. 1, л. 716.

⁶⁰ (с. 267) - ГАНО, ф. п-30, оп. 1, д. 54, л. 91 – 91 об., д. 114, л. 78, д. 167, л. 71; РГНИ, ф. 6, оп. 1, д. 320, л. 55 – 56.

⁶¹ (с. 269) - Реабилитация: как это было... Том I. Март 1953 – февраль 1956. М., 2000, с. 382; Реабилитация: как это было... Том II. Февраль 1956 – начало 80-х годов. М., 2003, с. 568.

⁶² (с. 269) - *Сухомлинов А.В.* Кто вы, *Лаврентий Берия*... с. 209 – 219; см. также: *Судоплатов П.А.* Разведка и Кремль. М., 1997; *Колтакиди А.И., Прохоров Д.П.* Внешняя разведка России. СПб.-М., 2001; *Колтакиди А.* Ликвидаторы КГБ. М., 2004.

⁶³ (с. 269) - Архив УФСБ по НСО, д. п-8139, л. 239, 244.

⁶⁴ (с. 271) - *Тепляков А.Г.* Портреты сибирских чекистов // Возвращение памяти: Историко-архивный альманах. Вып. 3. Новосибирск, 1997, с. 82; Советская Сибирь. 1937, 27 декабря; Архив УФСБ по НСО, д. п-491, л. 194, д. п-8918, л. 436, д. п-6423, л. 315; ЦХАФАК, ф. п-5, оп. 1, д. 108, л. 1, 16, д. 115, л. 19; ф. 834, оп. 5, д. 1, л. 167; ГАЧО, ф. п-1, оп. 1, д. 934, л. 45; ф. п-3, оп. 1, д. 80, л. 58; ГАНО, ф. 1027, оп. 8, д. 13, л. 2, д. 43, л. 7; оп. 10, д. 13, л. 120; ЦДНИОО, ф. 14, оп. 2, д. 74, л. 7; ф. 17, оп. 1, д. 1922, л. 28.

⁶⁵ (с. 272) - Забайкальский рабочий (Чита). 1989, 6 октября; ГАЧО, ф. п-3, оп. 1, д. 888, л. 137, 138; Архив УФСБ по НСО, д. п-8139, л. 266; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г. Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни. Документы. М., 2001, с. 491, 276 – 279.

⁶⁶ (с. 274) - ОСД УАДААК, ф. р-2, оп. 7, д. п-5037, л. 81, 92; РГНИ, ф. 6, оп. 2, д. 1357, л. 201 – 202; *Шрейдер М.П.* Воспоминания чекиста-оперативника... с. 81; *Белковец Л.П.* «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири (конец 1920-х – 1930-е годы). М., 1995; *Петров Н.В., Скоркин К.В.* Кто руководил НКВД, 1934-1941: Справочник. М., 1999, с. 439; *Абрамов В.* Смерш... с. 561; Архив УФСБ по НСО, д. п-547, д. п-8139, л. 256, 258 – 259; РГАСПИ, ф. 17, оп. 9, д. 2777; ГАНО, ф. п-58, оп. 1, д. 10, л. 32 – 34, 93, д. 77, л. 118, д. 78, л. 88, д. 113, л. 71 – 72, д. 141, л. 10, 85; ТОЦДНИ, ф. 107, оп. 1, д. 304, л. 51; *Шангин М.* Террор против совести. Омск, 1994, с. 70; ЦДНИОО, ф. 2, оп. 1, д. 193, л. 3; ЦДНИТО, ф. 80, оп. 1, д. 956, л. 31.

⁶⁷ (с. 274) - Герои незримого фронта. Ужгород, 1978, с. 88; Вечерний Барнаул. 1998, 20 января; *Гришаев В.Ф.* «За чистую советскую власть...» Барнаул, 2001, с. 79; ЦХАФАК, ф. п-10, оп. 4, д. 196, л. 66, д. 102, л. 1.

⁶⁸ (с. 274) - *Петров Н.В., Рогинский А.Б.* «Польская операция» НКВД 1937 – 1938 гг. // Репрессии против поляков и польских граждан. М., 1997, с. 31.

⁶⁹ (с. 276) - РГНИ, ф. 6, оп. 2, д. 382, д. 456, л. 15; оп. 3, д. 382, л. 146, д. 94, л. 149; Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Том II... с. 653; *Петров Н.В., Скоркин К.В.* Кто руководил НКВД... с. 359, 253; Сталинские расстрельные списки. М., 2002; *Антекварь П.* Белое солнце Синцзяна // Родина. 1998, №1, с. 86; Военно-исторический архив. Вып. 2. М., 1998, с. 241 – 246, 252.

Алексей Тепляков ДНЕВНИК ЧЕКИСТА СЕМЁНОВА, ИЛИ ГОЛГОФА ВОИНСТВУЮЩЕГО ТРОЦКИСТА И БЕЗБОЖНИКА

¹ (с. 335) - Хвалебные стихи о ВЧК с весьма откровенным содержанием часто появлялись в прессе 1920-х гг. Вот, например, фрагмент из «Коммунэре о чекисте Семёнове» *Г. Лелевича*:

*Всю ночь огни горели в губчека.
Коллегия за полночь заседала.
Семёнова усталая рука
Пятнадцать приговоров подписала.
И вот землёй засыпаны тела...
Семёнов сел в хрипящую машину,
И лишь на лбу высоком залегла
Ещё одна глубокая морщина.*

Или красноречивая цитата из юбилейного послания чекистам *В.В. Маяковского* «Солдаты Дзержинского» (1927 г.):

*(...) Крепче держись-ка!
Не съест врагу.
Солдаты Дзержинского Союз берегут.
Враги вокруг республики рыскают.
(...) Мы стоим с врагом
о скулу скула, и смерть стоит,
ожидает жатвы.
ГПУ – это нашей диктатуры кулак сжатый.*

*Храни пути и реки,
Кровь и кров,
Бери врага, секретчики,
и крой, КРО.*

² (с. 335) - ГАНО, ф. п-6, оп. 1, д. 412, л. 67а – 70.

³ (с. 338) - Архив УФСБ по НСО, д. п-2265, л. 40.

⁴ (с. 338) - Там же, д. п-2265, л. 17, д. п-15206, л. 22, 25.

⁵ (с. 339) - ГАНО, ф. п-6, оп. 2, д. 2975, л. 12.

⁶ (с. 339) - В 1926 г. чекисты заявили, что раскрыли организованную *Г. И. Мясниковым* в тюрьме «антипартийную организацию», состоявшую в основном из работников домзака.

ДНЕВНИК ЧЕКИСТА СЕМЁНОВА

¹ (с. 341) - В середине сентября 1926 г. секретарь Минусинского окротдела ОГПУ *М.М. Филичкин* направил письмо начальнику окротдела *А.Г. Иванову* и секретарю окружкома ВКП(б) *М.М. Ноздрину*, прося их «принять надлежащие меры как по линии ГПУ, так и по линии партии» к *Д.Н. Семёнову*. *Филичкин* сообщал, что 8 сентября комсомолец ячейки ОГПУ *В.Т. Кузмин* ему рассказал, что *Семёнов*, разговаривая с политссыльным меньшевиком *Ю. Цедербаумом*, заявил: «Скоро, мол, и я поеду в Нарымский край в ссылку за то, что поддерживаю точку зрения оппозиции». *Филичкин* отмечал, что аналогичные высказывания *Семёнов* делал в разговорах с беспартийными работниками окротдела ОГПУ и посторонними лицами. Он подчёркивал, что в «выявленном действии т. *Семёнова* по отношению к *Цедербауму*» нет ни малейшей линии чекиста, и я опасаясь за сохранность в секрете всей работы Секретного Отделения ОГПУ и его линии по отношению к антисоветским партиям, среди которых он ведёт работу». ГАНО, ф. п-6, оп. 2, д. 2975, л. 46.

² (с. 342) - *Э.Ф. Лагздин* записал беседу с *Семёновым* тогда же, 23 сентября 1926 г. Согласно этой записи, *Семёнов* сказал, что 11 человек собрались у него 25 июля и все высказывались против линии партии. Во время работы в Уральском обкоме комсомола «мы там получили секретные директивы, чтобы оппозиционеров не выдвигали на руководящую работу, по-моему, это было несправедливо». В окротделе ОГПУ *Н.П. Константинов* назвал *Семёнова* мальчишкой, провокатором и «хуже, чем предателем», так что *Семёнов* в ответ едва удержал себя от оскорбления действием. *Семёнов* цитировал мнение *Ленина* о невозможности строительства социализма в одной стране без мировой революции, а отметив слова *Н.И. Бухарина* о том, что доходность частного сектора много выше государственного, спрашивал: «Не преобладают ли у нас капиталистические элементы?» *Лагздин* зафиксировал и такие высказывания своего оппонента: «Я читал заграничные

газеты, где они иронизируют, например, какая разница между политбюро и цирком, и пишут, что в цирке один укротитель заставляет себя слушать несколько львов, а политбюро не может укротить одного льва (*Троцкого*)» или расширяют комсомол, как «компанию, сосущую молоко». Там же, л. 45 – 46.

25 сентября *Лагздин* панически сообщал в Новосибирск зампреду СибКК ВКП(б) *Я.М. Банковичу*, что в Минусинске оппозиционно настроенные коммунисты стали организовываться в особую группу и в августе провели тайное собрание. Информация *Семёнова* о том, что он получил из Москвы письмо о снятии видного большевика *В.И. Зофа* с должности за принадлежность к оппозиции, дала повод *Лагздину* резюмировать: «Из всего вышесказанного ясно, что из Москвы т. *Семёнов* получает директивы, как действовать и т. д. Прошу Сиб. КР. (*краевую*) КК сообщить мне – каким методом выявить оппозиционеров и (*дать*) другие указания по отношению к оппозиционерам». Там же, л. 43.

³ (с. 349) - Вот характерные выдержки из этого письма от 13 октября 1926 г.: «(...) Фамилии товарищей останутся неизвестными! Предательство я не совершал и не пойду на него! (...) Я сказал всё! Теперь судите!» Там же, л. 27 – 28.

⁴ (с. 350) - Протокол закрытого собрания членов и кандидатов ВКП(б) ячейки при Минусинском окротделе ОГПУ и табачной фабрики «Динамо» от 18 октября 1926 г. говорит, что на нём присутствовало 16 чел., председатель – *М.М. Филичкин*. После доклада об итогах работы 6-го пленума Минусинской организации ВКП(б), обсуждения кандидатур в состав окружкома и выбора делегатов на окружную партконференцию было рассмотрено дело *Семёнова*.

В ответ на обвинения *Филичкина* и вопросы присутствующих *Семёнов* заявил: «Служебное время фракционной работе я не уделял. С меньшевиками разговоров на тему оппозиции и высылки меня в Нарымский край не вёл. Меньшевики – враги, я это знаю и моя вина лишь в том, что говорил по этим вопросам с некоторыми комсомольцами. (...) О своих взглядах (оппозиционных) я говорил со многими товарищами, как-то: *Зинковым*, *Ноздриным*, *Лагздиным* и др. Созыв фракционных собраний проводился только в присутствии партийцев, это никому не возбраняется. О выговоре с занесением в личное дело: я составил меткую и довольно справедливую заметку, последняя попала в «Крокодил», за это мне и вынесли выговор, но не за склоку, как говорят здесь на собрании, а за резкий тон. Уверяю, что этот выговор был снят по моему заявлению и почему он остался всё же в деле – не знаю. (...) Мне шло почтой «Завещание Ильича», я его не получил и где оно, не знаю... Если коммунист думает одно, а делает другое – он не коммунист. Не было бы честно, если бы я думая одно, делал другое.

Вопрос о строительстве социализма я разделяю с оппозицией. Если я осознаю свои ошибки, я вновь вступлю в партию и буду с нею, если же нет,

то останусь с оппозицией».

Прения:

Уколов: Семёнов часто говорит: «Может, я ошибаюсь». Он говорил мне, что не согласен с решениями 14 партсъезда. (...) На вопрос же, кто был на собрании, ответил: «Не выдам». На мои ему слова о вреде фракционности он ничего не ответил. Тов. Семёнов – неуравновешенный член партии... пребывание тов. Семёнова и в партии, и даже в Минусинске – излишне.

Сецко: Учить т. Семёнова нам не приходится, его учили Окружком и КК. Семёнов говорит, что: «Я, может, ошибаюсь», он не говорит, кто был у него на собрании. (...)

Авгул: Тов. Семёнов с приходом в наш Отдел стал вести разлагающую работу. Зинкову он говорил, что собрание у него было, но кто на нём был и что обсуждали – не сказал. Выдавал себя всем за оппозиционера, вёл разговор с Цедербаумом Ю. об оппозиции и говорил ему, что будет выслан в Нарым. Разглашал чекистскую работу. Мой вывод – Семёнова исключить из партии.

Понедельников: На вопрос Уколова, признаёт ли Семёнов себя членом партии и подчиняется ли собранию, Семёнов ответил утвердительно, но в то же время не хочет указать, кто был у него на фракционном собрании. На собрании (в отделе ОГПУ), где стоял вопрос т. Зинкова об оппозиции, Семёнов вёл запись, но потом не выступил, якобы ему Предсобранья Сенаторов не дал слова, а после этого стал об этом «бузить». ...Я настаиваю, чтобы Семёнов сказал, кто был у него на собрании и что там делалось. (...)

Гусев: Прав, вероятно, Уколов, что у Семёнова не было никакого собрания, ему просто стыдно сознаться, иначе бы он, Семёнов, сказал, кто у него был. ... Семёнов, по-моему, в будущем осознает свою ошибку.

(...)

Филичкин: Семёнов приводил здесь одни склочные факты (с Ноздриной, Андреевым, Директором Танну-Тувинского банка и пр.)... данное ему Отделом наказание считает как бы репрессией со стороны Отдела, Окружка и Контрольной Комиссии. В своей объяснительной записке пишет и высказывает свои меньшевистские взгляды. Ездя в Москву, истратил на свои нужды динамовские средства и не был отдан за это под суд потому, что он наш сотрудник. Я предлагаю Семёнова из партии исключить без права поступления.

Семёнов: Создавать сам на себя дело я не могу. Что делаю – знаю. Факты о Ноздриной и других у меня имеются, кто сказал – не отвечу. Если я считаю, что оппозиция права, то я с нею и буду».

Собрание постановило исключить Семёнова из членов ВКП(б) без права поступления. Там же, л. 17 – 20.

⁵ (с. 352) - Ходлер Ф. (1853 – 1918), швейцарский живописец-модернист.

⁶ (с. 352) - На заседании окружной контрольной комиссии 23.10.1926 г. отмечалось, что «тов. Семёнов свои действия и взгляды признаёт правильными и говорит, что также в будущем будет действовать согласно своих убеждений, поскольку признаёт линию ЦК партии неправильной, он будет бороться против партии» и цитировалось заявление Семёнова от 13 октября 1926 г. о том, что «его толкают на необходимость новой борьбы за чистоту учения Ильича... зовут для сплачивания сил для удара по поднимающей голову «Сталиновщине». Обвинив чекиста в «противопартийной фракционной деятельности» и «разлагающей работе среди ВЛКСМ, в результате чего имеется случай выхода из комсомола Сорокиной, его близкой знакомой», контрольная комиссия постановила: «За организационную противопартийную работу тов. Семёнова исключить из ВКП(б)». 29.10.1926 г. у Семёнова был отобран партийный билет. ГАНО, ф. п-6, оп. 1, д. 411, л. 166.

⁷ (с. 353) - Келлерман Бернгард (1879 – 1951), немецкий писатель-романист.

⁸ (с. 357) - Первоисточник см. в эпиграмме Н. Щербины: «У нас чужая голова, // А убежденья сердца хрупки... // Мы – европейские слова // И азиатские поступки».

⁹ (с. 359) - Донос комсомолки И. Китайкиной о вербовке Семёновым единомышленников см.: ГАНО, ф. п-6, оп. 2, д. 2975, л. 37.

¹⁰ (с. 359) - Д.Н. Семёнов в день подачи заявления 24 марта 1927 г. был восстановлен в партии Сибирской краевой контрольной комиссией ВКП(б) «как осознавший свои ошибки и как рабочий по социальному положению». Там же, л. 1.

¹¹ (с. 361) - Д.Н. Семёнов, арестованный в Новосибирске 5 января 1935 г., постановлением Особого совещания НКВД СССР от 9 мая 1935 г. был за «контрреволюционную троцкистскую деятельность» осуждён на 5 лет ИТЛ и этапирован со спецконвоем в Дальлаг НКВД СССР с последующим взятием «на особый учёт». Реабилитирован 15 июня 1989 г.

Виктор Вайнерман ДОСТОЕВСКИЙ В ОМСКЕ Воспоминания, легенды и мифы

¹ (с. 371) - 8 октября 1845 г. Федор Михайлович писал своему старшему брату, М.М. Достоевскому: «Миннушки, Кларушки, Марианны и т.п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разобрали меня в прах за беспорядочную жизнь. Эти господа уж и не знают, как любить меня, влюблены в меня все до одного. Мои долги на прежней точке». ПСС, т.28, кн.1., – Л. «Наука», 1985, с. 116. Но говоря о документе, я не имею ввиду ни это, ни другие высказывания в духе Хлестакова, которыми пестрят письма купающегося в первых лучах славы

молодого Достоевского.

² (с. 372) - *Токаржевский Шимон* (1821-1900) - польский политический каторжанин. В 1847 году был осужден на каторгу в Сибирь и к наказанию палками. В омском остроге находился с 1849 по 1857 год. После освобождения в 1857 году поселился в Варшаве, однако впоследствии вновь принялся за политическую пропаганду, присоединившись в Русской Польше к действовавшим тогда патриотическим революционным организациям, готовившим восстание. С 1864 года неоднократно подвергался ссылке на поселение, на каторгу. Отбывал наказание в Александровске, Иркутске, Галиче Костромской губернии. Умер в Варшаве. Выведен в «Записках из Мертвого дома» в главе «Претензия» и «Товарищи» под сокращенной фамилией *Т-вский*. *Достоевский* пишет о нем с большой симпатией.

³ (с. 372) - *Токаржевский Шимон Ф.М. Достоевский* в Омской каторге (воспоминания каторжанина). - В кн.: Звенья, Т. 6. - М. - Л., 1936. - с. 506.

⁴ (с. 373) - Там же. - с. 506-507.

⁵ (с. 373) - Там же. - с. 506.

⁶ (с. 374) - Между прочим, *Токаржевский* здесь прямо следует за *Достоевским*. Как отмечали исследователи, «арестант *Ломов*, «из зажиточных крестьян, К-ского уезда», пырнувший другого арестанта шилом в грудь, — это преступник гражданского ведомства *Василий Лопатин*, 43 лет, крестьянин Тобольской губернии, Курганского округа, осужденный «за смертоубийство» на восемь лет. 1 ноября 1850 г. он за драку с *Лаврентием Кузевановым* и *Герасимом Евдокимовым* (у *Достоевского* — Гаврилкой) и нанесение последнему «шилом легкой раны в левый бок и царапины в шею ниже левого уха» был наказан шпицрутенами «через 500 человек два раза». См.: [4], 282

⁷ (с. 375) - Там же. - с. 498-499.

⁸ (с. 375) - *Дьяков В.А.* Каторжные годы *Ф.М. Достоевского* (по новым источникам). - В кн.: Политическая ссылка в Сибири. XIX - начало XX в. Историография и источники. - Новосибирск: Наука, 1987, с. 203.

⁹ (с. 376) - Там же. - с. 204.

¹⁰ (с. 376) - Там же. - с. 205.

¹¹ (с. 376) - [4], 204-205.

¹² (с. 376) - Полный перевод мемуаров на русский язык впервые выполнен *М.М. Кулиниковой*. Публикация книги завершена в третьем выпуске альманаха «Голоса Сибири», Кемерово, 2006 г.

¹³ (с. 377) - «Голоса Сибири», вып.3, с. 445.

¹⁴ (с. 377) - Там же, с. 453.

¹⁵ (с. 378) - Там же, с. 459-460.

¹⁶ (с. 378) - Там же. Апология дворянства, приписываемая *Достоевскому*, сама по себе является знаком неприязни и нежелания отдать писателю необходимую дань справедливости. Выйдя из острога, *Достоевский* заявил, что он полностью на стороне простого народа. Своё последующее

творчество он посвятит защите «униженных и оскорбленных», а в «Дневнике писателя» и знаменитой «Речи о *Пушкине*» прямо призовет полюбить народные святыни и жить с народом одной жизнью.

¹⁷ (с. 378) - Там же.

¹⁸ (с. 378) - Там же, с. 461.

¹⁹ (с. 379) - Там же, с. 462.

²⁰ (с. 379) - Там же, с. 463.

²¹ (с. 379) - Полный свод законов Российской Империи (ПСЗРИ). Собрание второе. - Т. 8. - Отд. Первое. - 1833, СПб, 1834, с. 45.

²² (с. 379) - *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: в 18 т.: т.3. Произведения (1850-1862). - М.: Воскресенье, 2003, СС. 7-9.

²³ (с. 380) - Там же, с. 441.

²⁴ (с. 381) - Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ф. 312, оп. 2, д. 622, л. 21.

²⁵ (с. 381) - Там же, л. 5, 5 об.

²⁶ (с. 381) - Там же, л. 2.

²⁷ (с. 382) - Там же, л. 4 об.

²⁸ (с. 382) - Там же, л. 18.

²⁹ (с. 383) - Там же, л. 21 об.

³⁰ (с. 383) - Там же, л. 6.

³¹ (с. 384) - 28, 1, 224

³² (с. 385) - *Валиханов Ч.Ч.* Собрание сочинений и писем в 5 томах. - Т. 4. - Алма-Ата. - 1968. — с.341.

³³ (с. 385) - *Дьяков*, цит. соч., с. 209.

³⁴ (с. 386) - «Голоса Сибири», вып.3, с.443.

³⁵ (с. 387) - Там же, с.444.

³⁶ (с. 387) - «22 июля 1858 г. последовало открытие в Омске девичьей школы и при ней приюта «Надежда», и для ближайшего управления как школой, так и приютом, по распоряжению генерала *Гасфорда*, был образован особый комитет. На таких началах приют со школой продолжали существовать только до 1861 года. С основанием в сем году Омского благотворительного общества и открытием на его средства «Убежища» для 80 бесприютных детей до 14-летнего возраста, с обучением их Закону Божию, чтению, письму, арифметике и ремеслам, обстоятельства указали на необходимость и возможность расширить объем преподавания в девичьей школе приюта «Надежда» и школа эта с августа месяца 1861 года была преобразована в женское училище 2 разряда, на основании Высочайше утвержденного 10 мая 1860 г. положения о женских училищах ведомства Министерства народного просвещения. Затем в августе 1863 и помянутое женское училище было преобразовано в женскую гимназию». ГАТО (Государственный архив Томской области), ф.125, оп.1, д. 537, лл.3-6.

³⁷ (с. 387) - [4], 67.

³⁸ (с. 388) - «Голоса Сибири», вып.3, с.451-452.

- ³⁹ (с. 388) - Там же, с.472.
⁴⁰ (с. 388) - Письмо *Е.И. Капустиной* *Достоевскому* слишком велико, чтобы приводить его здесь полностью. В то же время оно содержит слишком ценные сведения, чтобы говорить о них мельком. См. об этом наш очерк в книге «Поручаю себя Вашей доброй памяти» (*Ф.М. Достоевский* и Сибирь), с. 227-248.
⁴¹ (с. 388) - *Крыжановская Н.С.* - *Ф.М. Достоевскому*, 4 августа 1861, Омск. - *Достоевский и его время.* - Л., 1971. - с. 252-253.
⁴² (с. 389) - [4], 67-68.
⁴³ (с. 390) - «Огонёк», 1946, № 46-47. - с.27.
⁴⁴ (с. 390) - См.: *Любимова-Дороватовская В.* *Достоевский* в Сибири. Новые материалы. - «Огонёк», 1946, № 46-47. - с. 27-28.
⁴⁵ (с. 391) - *Браиловский С.Н.* *Ф.М. Достоевский* в Омской каторге и поляки. «Исторический вестник», 1908. - № 4. — с. 194.
⁴⁶ (с. 391) - *Кошаров П.М.* (1824-1902) - дворовый человек князя *Голицына*, воспитанник Петербургской академии художеств. В 1851 году был направлен в Томск. Преподавал в мужской гимназии, затем в реальном училище (см.: *Ирина Девятьярова.* Из коллекции Худ-прома. - Альманах «Иртыш» - Омск, 1991. - Вып. 1).
⁴⁷ (с. 391) - Статья более нигде не перепечатывалась.
⁴⁸ (с. 393) - *Валиханов.* - Т. 5. - с. 200.
⁴⁹ (с. 393) - Государственный архив Омской области (ГАОО), ф. 86, оп. 1, д. 9, св. 1, л. 4.
⁵⁰ (с. 393) - *Федор Михайлович Достоевский* в портретах... - с. 155.
⁵¹ (с. 393) - *Палаиенков А.Ф.* По местам *Ф.М. Достоевского* в Омске. - Омск, 1965. - с. 23.
⁵² (с. 394) - Это припев к стихотворению *И. Виттера* «Иртыш»:

*Певец молодой, судьбой гонимый,
 При бреге быстрых вод сидел.
 И, грустью скорбною томимый,
 Раздуку с родиною пел...*

Стихи *И. Виттера* созвучны настроению *Достоевского*. Композитор *А.А. Алябьев* положил их на ноты (примеч. *А.Ф. Палаиенкова*).

- ⁵³ (с. 394) - См.: *Вайнерман В. Иван Федорович Соколов.* // *Достоевский* и Омск. - Омск: Ом. Кн. Изд-во, 1991, с.100-106
⁵⁴ (с. 395) - *Францева М.Д.* Воспоминания. - «Исторический вестник», 1888, № 6. - С. 628-629; см. также: *Громыко М.М.* Сибирские знакомые и друзья *Ф.М. Достоевского*. 1850-1854. - Новосибирск, 1985. - с. 5-25.
⁵⁵ (с. 395) - *Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев.* «Кузнецкий венец» *Федора Достоевского* в его романах, письмах и библиографических источниках минувшего века». - Голоса Сибири. - Выпуск

- второй. - Кемерово: Кузбассвуиздат, 2005, с. 535
⁵⁶ (с. 396) - «Сибирские огни», 1927, №4 июль-август, с.174
⁵⁷ (с. 396) - Там же, с.177
⁵⁸ (с. 396) - Там же, с.176
⁵⁹ (с. 397) - *А. Южный* - псевдоним *Андреевского Алексея Александровича* (1845-1902, педагога, историка Запорожья), см.: История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Т. 3. ч. 1. 1857-1894. - М., 1979. - С. 71 (впервые воспоминания *А. Рожновского* опубликованы в газете «Кавказ»). Тбилиси, № 40, 41 от 13 и 14 февраля 1882, затем: «Иллюстрированный мир», 1882, № 9. - С. 135-136; полностью: в кн.: *Успенский Н.В.* Из прошлого. - М., 1889 (под заглавием: *Ф.М. Достоевский* на каторге). Др. публ. (с сокр.) - в кн.: *Федор Михайлович Достоевский* в воспоминаниях современников и его письмах. - Изд. 2-е, испр. и доп. ч. 1. - М., 1923 под заглавием: Рассказ *Рожновского* о *Достоевском* на каторге.
⁶⁰ (с. 397) - Цит. по: *И. Бежанов.* Забытая публикация. - «Литературная Грузия», 1983, № 2. - с. 180.
⁶¹ (с.397) - Там же.
⁶² (с. 398) - Биография, письма и заметки из записной книжки *Ф.М. Достоевского*. СПб., 1883, с.139-140
⁶³ (с. 398) - *Бежанов*, указ. соч. - с. 188-189.
⁶⁴ (с. 399) - *Черевин Н.Т.* Полковник *де Граве* и *Ф.М. Достоевский*. - «Русская старина». - 1889. - № 2. - с. 318.
⁶⁵ (с. 400) - *Герасимов Б.* Новые данные о жизни *Достоевского* в Семипалатинске. - «Русская речь» (Ново-Николаевск), 1919, 22 февраля.
 Он же: «Сиб. огни», 1926, №3, с. 124-144; «Рабочий путь», Омск, 1926, 14 апреля; «Огонек», 1926, №39, с. 10-11. *Пиксанов Н.К.* *Достоевский* в Сибири; *Бурков И.* Заметки о Семипалатинске. - «Сиб. огни», 1927, №2; *Герасимов Б.* Где же отбывал каторгу и ссылку *Ф.М. Достоевский*. «Сиб. огни», 1927, №4, с. 174-177
⁶⁶ (с. 400) - *Вайнерман В.* Влюбленный *Достоевский* // Азбучные истины, - Омск, 2004, с.22-26.

Светлана Ананьева ВРЕМЯ - ПРОСТРАНСТВО - АВТОР

Литература

1. *Barthers R.* Texte/Encyclopedia universalis. Vol.15.P,1973
2. *Степанов Ю.С.* «Интертекст», «интернет», «интерсубъект» (к основам сравнительной концептологии) // Известия АН. Серия литературы и языка. 2001. Том 60. №1. с.3-11.
3. *Виноградов В.В.* О теории художественной речи. - М., 1971.

4. Пресняков О.П. Поэтика познания и творчества. - М., 1980; Его же: А.А. Потебня и русское литературоведение конца XIX - начала XX веков. - Саратов, 1978.

5. Пресняков О.П. А.А. Потебня и русское литературоведение конца XIX - начала XX веков. - Саратов, 1978.

6. Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интернет в мире текстов. - М.: Агар. 2000. - 280 с.

7. Кривошапова Т.В. Русская литературная сказка конца XIX - начала XX веков (Эволюция жанра). - Дисс. на соискание научной степени доктора филол. наук. - Астана. 2003.

8. Ухтомский А.А. Письма // Пути в незнание. Писатели рассказывают о науке. Сборник под редакцией Агапова Б. - М.: Наука, 1973. - 480 с.

9. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. - М.: Советский писатель, 1963; его же: Эстетика словесного творчества - М., 1979; его же: Вопросы литературы и эстетики. - М.: Художественная литература, 1975.

10. Есин А.Б. Время и пространство // Введение в литературоведение. - М.: Высшая школа. - 1999. С.47-62.

11. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. - М., 1997; Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. - М., 1980; его же: Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь - М., 1988; его же: Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-XIX века). - СПб, 1994; Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры - М., 1984; Пространство и время в литературе и искусстве. Теоретические проблемы. Классическая литература (Под ред. Ф.П. Федорова) - Даугавпилс, 1987; Ритм, пространство и время в литературе и искусстве (Отв. ред. Б.Ф. Егоров) - Л., 1974; Успенский Б.А. Семиотика искусства - М., 1995; Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Избранное. - М., 1995 и др.

12. Чернец Л.В. Мир произведения // Введение в литературоведение. - М.: Высшая школа. 1999. С.191 -202.

13. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. - М.: Наука, 1979.

14. Хализев В.Е. Теория литературы. - М.: Высшая школа, 2002. - 437 с.

15. Володин Э.Ф. Специфика художественного времени // Вопросы философии. - 1978 - №8 - С.132-142.

16. Лихачев Д.С. Летописное время у Достоевского // Лихачев Д.С. Литература - Реальность - Литература. - Л., 1981.

17. Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун XX века. - М.: Советский писатель, 1989.

18. Чичерин А.В. Идеи и стиль. - М., 1968.

19. Живов В. Двуглавый орел в диалоге с литературой // Новый мир. - 2002. - №2. - С.174-176.

20. Лисевич И.С. Пространственно-временная организация древне-китайских мифов о культурных героях // Фольклор и мифология Востока в сравнительно-типологическом освещении. - М.: Наследие, 1999. С.123-140.

21. Каскабасов С.А. О типах и формах взаимодействия казахской литературы и фольклора // Известия АН КазССР. Серия филологическая. 1984. №3. С.19-24.

22. Ибраев Ш. Мир эпоса. Поэтика казахского героического эпоса. - Алматы: Гылым, 1993.

23. Круглый стол: современный казахстанский роман // Литературная Азия - 2002 - С.30-32.

24. Ауэзов М. Роман в состоянии помочь обществу // Литературная Азия - 2002 - С.13-14.

25. Елеукиев Ш.П. От фольклора до романа-эпопеи. - Алма-Ата: Жазушы, 1987.

26. Джуанышбеков Н.О. Проблемы современного сравнительного литературоведения. Дисс. на соискание степени доктора филол. наук. - Алматы: КазГУ, 1996.

27. Савельева В.В. Художественный текст и художественный мир. - Алматы: ТОО Дайк Пресс, 1996.

28. Каскабасов С.А. Золотая жила - Астана, 2000; Исмакова А.С. Казахская художественная проза. Поэтика. Стиль. - Алматы: Гылым. 1999.

29. Автоинтерпретация. Сб. статей под ред. А.Б. Муратова и Л.А. Незуитовой - С.- П., 1998.

30. Белинский В.Г. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 7. - М., 1981.

31. Фарыно Е. Введение в литературоведение. - Warszawa, 1991.

32. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. - М., 1975. С. 234-407.

33. Днепров В. Идеи, страсти, поступки. - Ленинград, 1978.

34. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. - М.: Советский писатель, 1963.

35. Фридендер Г.М. О некоторых проблемах поэтики сегодня - В кн.: Исследования по поэтике и стилистике. - Ленинград: Наука, 1972.

36. Хомич Э.П., Шпагина С.А. Типология снов в петербургских повестях Достоевского 40-х годов // Филологический анализ текста. Вып. II. - Барнаул, 1998. - С.23-32.

37. Чирков Н.М. О стиле Достоевского. - М., 1967.

38. Чичерин А.В. Поэтический строй языка в романах Достоевского // Творчество Достоевского. - М.: Издательство АН СССР, 1959.

39. Маркин П.Ф. Символика слов-образов в ранних произведениях Ф.М. Достоевского // Филологический анализ текста. Вып. II. - Барнаул, 1998. - С. 3-24.

40. Раков Ю. По следам литературных героев. - М., 1974. - С.107-116.
41. Кожин В. «Преступление и наказание» Достоевского // Кожин В. Три шедевра русской классики. - М., 1971.
42. Туниманов В.А. Рассказчик в «Бесах» Достоевского - В кн.: Исследования по поэтике и стилистике. - Л.: Наука, 1972.
43. Фридлендер Г.М. Поэтика русского реализма. - М.: Наука, 1971. - 296 с.
44. Кантор В. Достоевский и культурная память // Вопросы литературы. - 2001.- Март - апрель. - С. 334-343.
45. О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. - М., 1990; Касаткин Н.В., Касаткина В.Н. Тайна человека. Своеобразие реализма Достоевского. Учебное пособие. - М., 1994; Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского. - М., 1991; Селезнев Ю.И. Достоевский. - М., 1990; Мелетинский Е.М. Достоевский в свете исторической поэтики. Как сделаны «Братья Карамазовы». - М., 1996; Буянова Е.Г. Романы Ф.М. Достоевского - М., 1998; Достоевский и мировая культура. - М., 1997.
46. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. - М., 1979.
47. Кокто Ж. Пространство и время в романах Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. - Л., 1971. Т. 2.
48. Бэллс Р. Структура «Братьев Карамазовых» (США, 1997); Томпсон Д. «Братья Карамазовы» и поэтика памяти (Англия, 2000).
49. Томпсон Д. «Братья Карамазовы» и поэтика памяти. Перевод с англ. Жутовской Н.М. и Видре Е. М. - СПб: Академический проспект. 2000. - 345 с.
50. Ломинадзе С. Перечитывая Достоевского и Бахтина // Вопросы литературы. 2001. Март-апрель. - С.39-58.
51. Боров Ю. Художественные взаимодействия как внутренние связи литературного процесса // Теория литературы. Том IV. Литературный процесс. - М. ИМЛИ РАН. Наследие. 2001.- С.41-47.
52. Пресняков О.П. Поэтика познания и творчества. - М.: Художественная литература, 1980.
53. Минералов Ю.И. Теория художественной словесности. Поэтика и индивидуальность. - М.: Гуманитарный издательский центр. Владос, 1999.
54. Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской. - М., 1922.
55. Боров Ю. Критический реализм XIX в.: мир и человек несовершенны; выход - непротивление злу насилем и самосовершенствование // Теория литературы. Том IV. Литературный процесс. - М. ИМЛИ РАН. Наследие. 2001. С.388-402.
56. Пушкин А.С. Сочинения в трех томах. - М., 1955.
57. Хализев В.Е. Теория литературы. - М., 1999.
58. Арбан Д. «Порог» у Достоевского. Тема, мотив и понятие // Достоевский. Материалы и исследования. Т.2. - Л., 1976. С.19-30.

59. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. - М.: Художественная литература. 1975.
60. Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. - М., 1994.
61. Керн А.П. Воспоминания. Дневники. Переписка. - М.: Правда, 1989.
62. Гордин А. Анна Петровна Керн // Керн А.П. Воспоминания. Дневники. Переписка. - М., 1989.
63. Прозоров В.В. Автор // Введение в литературоведение. - М., 1999. С.11-21.
64. Аргументы и факты. - 1999. Июнь. - №23.
65. Раевский Н. Портреты заговорили. - Алма-Ата: Жазушы, 1976.
66. Карамзин Н.М. Что нужно автору? // Карамзин Н.М. Соч.: В 2 т. 1984. Т. 2.
67. Топоров В.Н. Об экстропическом пространстве поэзии (Поэт и текст в их единстве) // От мифа к литературе. - М., 1993.
68. Козьмо Пауло. Дьявол и синьорита Прим. - М.: ИД «Гелиос», 2002.
69. Эсалнек А.Я. Своеобразие хронотопа в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» // Филологические науки.- 1999. - №2. - С.3-10.
70. Козьмо Пауло. На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала. М.: ИД «София», 2003.
71. Чудаков А.П. Языки и категории науки о литературе // Чудаков А.П. Слово - вещь - мир. От Пушкина до Чехова: Очерки поэтики русских классиков. - М., 1992.
72. Фрайзе М. После изгнания автора. Литературоведение в тупике? // Автор и текст. Вып 2. - СПб, 1996.
73. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. - 1998.
74. Поляков М.Я. Цена пророчества и бунта. - М., 1975.
75. Гинзбург Л.О документальной литературе и принципах построения характера // Вопросы литературы. - 1970. - №7.
76. Гинзбург Л.О литературном герое. - Л., 1979.
77. Лосев А.Ф. Логика символа // Контекст. - 1972. - М., 1973.

Виктор Вайнерман
РАССКАЗ «НЕИЗВЕСТНОГО»
ИЛИ СНОВА О НИКОЛАЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ
ФЕОКТИСТОВЕ

¹ (с. 435) - «Голоса Сибири» писали о Н.В. Феоктистове См.: Виктор Вайнерман. Портрет Неизвестного, или очерк о Николае Васильевиче Феоктистове. // «Голоса Сибири», вып. первый. — Кемерово:

Кузбассвуиздат, 2005, с. 91-105.

Николай Феокистов ВОСКРЕШЕНИЕ ИЗ МЁРТВЫХ

¹ (с. 437) - Название дано публикатором. Рукопись без названия хранится в Омском государственном литературном музее имени *Ф.М. Достоевского*, ОЛМ 21/105. Публикация *В.С. Вайнермана*. Публикуется впервые.

² (с. 443) - Царь Николай I (примеч. Публикатора)

³ (с. 449) - Геспериды, в древне-греческой мифологии, дочери Атланта, обитавшие на счастливых островах в саду, где росли золотые яблоки. (Примеч. автора)

⁴ (с. 452) - То, что *Достоевский* придавал этому случаю исключительное значение и, по-видимому, искренне верил в это «спиритическое» пророчество, можно судить по тому, что он долго не мог забыть его и через полтора года в письме к матери *Ольги Ивановны – Прасковье Егоровне Анненковой* 18 октября 1855 года из Семипалатинска, спрашивает: «Не слыхали ли вы чего об одном гадании в Омске в мое время? Я помню, что оно поразило *Ольгу Ивановну*». Но для нас интересно, что и его самого оно поразило не меньше, чем *Ольгу Ивановну*. (Примеч. автора)

⁵ (с. 453) - Здесь мы считаем уместным устранить некоторую неточность, прочно укрепившуюся во всех биографических справках и очерках о времени пребывания в Омске после выхода с каторги. Везде говорится о том, что он жил у *Ивановых* «около месяца». На самом деле *Достоевский* гостил у *Ивановых* немного более полумесяца, а «около месяца» жил у них *Дуров*. (Примеч. автора)

Мэри Кушникова ПЕСНИ ПЕСКОВ

¹ (с. 584) - Барымта – угон лошадей

^{1a} (с. 585) - Чий - плетеная циновка, которую используют и как перегородку в юрте.

² (с. 585) - Керге - внутреннее плетение остова юрты.

³ (с. 585) – Баксы - шаман.

⁴ (с. 585) – Чембары - кожаные штаны с раструбами для верховой езды.

⁵ (с. 586) – Курпе - стеганное тонкое одеяло – подстилка для сидения.

⁶ (с. 586) – Кобыз - струнный музыкальный инструмент, щипковый.

⁷ (с. 586) – Камча - витая из кожи плетка для верховой езды.

⁸ (с. 587) - Ибн Сина – Авиценна.

⁹ (с. 588) – Сурпа - мясной бульон.

¹⁰ (с. 588) – Акын - сказитель.

¹¹ (с. 588) – Ахрет - саван.

¹² (с. 590) – Байга - праздник, состязания джигитов.

¹³ (с. 606) - Qui lo sa, qui lo sa? - как знать?

¹⁴ (с. 609) – Казике - женская одежда, казакин.

¹⁵ (с. 616) – Citta – город.

¹⁶ (с. 616) - Qui ha paura fa torre - кто боится, тот строит башни.

¹⁷ (с. 624) - Kibitka – кибитка.

¹⁸ (с. 624) - Fi donc! - Отвратно!

¹⁹ (с. 624) - Ce pauvre Robert - бедняжка Робэр.

²⁰ (с. 624) - Malheureuse maladie de poitrine - злосчастная легочная болезнь.

²¹ (с. 624) – Tartarie – Татария.

²² (с. 626) - Bout du monde - на краю земли.

²³ (с. 626) - Que diable! - черт возьми!

²⁴ (с. 626) - Charmes - волшебства.

²⁵ (с. 626) - Ce cher George - милый Жорж.

²⁶ (с. 626) - Quadrille blanche - белая кадрили.

²⁷ (с. 628) – Charmes - чары.

²⁸ (с. 629) - Chapap - чапан.

²⁹ (с. 629) - Du vraie vison, mon cher! - настоящая норка, так-то милый мой!

³⁰ (с. 633) - Ce demi-russe - этого полу-русского.

³¹ (с. 634) - Дение коныз - скопидом.

³² (с. 634) - Comme il faut - прилично, по правилам.

³³ (с. 635) - Bout-rimes - буримэ.

³⁴ (с. 641) - O, ce maudit renard rouge! - О, эта проклятая красная лисица!

³⁵ (с. 641) - Madame votre mere - госпожа ваша матушка.

³⁶ (с. 646) – Dans cette merveilleuse Tartarie - в этой изумительной Татарии.

³⁷ (с. 657) – Айдар - пучок волос на бритой голове ребенка, оберег (его срезают в семь лет).

³⁸ (с. 657) – Тамук - адское пламя.

³⁹ (с. 658) – Атай - отец, уважительное обращение.

⁴⁰ (с. 659) – Достархан - накрытый для пир стол.

⁴¹ (с. 659) – Байга - праздник со спортивными состязаниями.

⁴² (с. 659) – Той - свадьба, пир.

⁴³ (с. 660) – Жарши - гонец, вестник.

⁴⁴ (с. 660) – Атан - боевой клич, «по коням!»

⁴⁵ (с. 660) – Киимшеки - головной убор замужней женщины.

⁴⁶ (с. 660) – Бай - знатный человек, богач.



- ⁴⁷ (с. 660) – Бий - судья.
⁴⁸ (с. 660) – Ер-жигит - храбрец, богатырь (профессиональный воин).
⁴⁹ (с. 661) – Кушеген - стервятник.
⁵⁰ (с. 662) – Чапан - халат, верхняя одежда мужчины.
⁵¹ (с. 662) – Мыстан - колдунья, ведьма.
⁵² (с. 662) – Кыз-куу - национальная конная игра, когда девушки-наездницы догоняют джигитов.
⁵³ (с. 663) – Курт - сушеный соленый овечий творог.
⁵⁴ (с. 663) – Мал булмайде! - животное не выживет!
⁵⁵ (с. 663) – Танбалы - меченый.
⁵⁶ (с. 664) – Апай - мать (уважительное обращение к женщине старшего возраста).
⁵⁷ (с. 664) – Кузжалы - млечный путь.
⁵⁸ (с. 665) – Жигит - удалец, рыцарь.
⁵⁹ (с. 666) – Жая - мясное блюдо.
⁶⁰ (с. 666) – Казы - колбасы.
⁶¹ (с. 667) – Аргамак - породистый степной конь.
⁶² (с. 668) – Каймак - сливки.
⁶³ (с. 669) – Курпе - стеганое одеяло для сидения на полу.
⁶⁴ (с. 671) – Тымак - шапка с «ушами».
⁶⁵ (с. 672) – Ирымшик - творог.
⁶⁶ (с. 673) – Анкур-Манкур – демон.
⁶⁷ (с. 674) – Куржун - дорожный домотканый мешок, который перекидывают через седло лошади.
⁶⁸ (с. 675) – Зейрат - кладбище (мусульманское).
⁶⁹ (с. 675) – Гурзе - булава с шипами.
⁷⁰ (с. 676) – Мазар - погребение мусульманского типа.
⁷¹ (с. 677) – Бырык - бархатная шапка, отороченная мехом.
⁷² (с. 677) – Джут – бескормица.
⁷³ (с. 677) – Боз-Айгыр - «светлый скакун».

Олег Курзанцев

ПОБЕГ

(фантастическая история, главы из романа)

- ¹ (с. 706) - Лидер - крупный эсминец
² (с. 710) - Диспетчерская - ежедневная радиogramма о состоянии судна – где, куда, чего, сколько и т.п.
³ (с. 711) - Мастер - лапитан
⁴ (с. 712) - Штаты - США
⁵ (с. 712) - Машина - судовой двигатель.
⁶ (с. 718) - Артелка - провизионная кладовая.

Примечания

Содержание

Слово к читателю. 5

Личное

Светлана Василенко. Я выпала из мира людей... 11

Из первых уст

Елена Сурикова. Анатолий Найман: «Стране нужны люди с чувством собственного достоинства.» 27

Изящная словесность

Виктор Вайнерман. Измена. Рассказ 37
Виктория Кинг. Мариям (из нового романа) 59
Евгений Асташкин. Чёрный отпуск 75
Александр Аханов. Браконьерша 83
Виктор Богданов. Голос человека в траве 88
Наталья Елизарова. Воспоминание 89
Галина Кудрявская. И плакали птицы...
(главы из повести) 93
Пётр Ореховский. Бессоница 98
Алиса Поникаровская. Крысы 104
Пётр Тушинолов. Пирожное на десерт 106
Ирина Юсупова. Научи себя любви 126

Рифмы и ритмы

Татьяна Нагорская. Вновь одиночество
наполнило бокал... 149
Умберто Саба. Грядущей осенью 150

К 70-летию поэта Юрия Воробьёва

Игорь Егоров. Слово о поэте 153
Юрий Воробьёв. Стихотворения и переводы 156
Андрей Дёмин. О «Венке сонетов» Юрия Воробьёва 171

Исповедь

Александр Болотов. В больнице (нечаянные заметки) ... 177

Цветы усопшим

Что делать с писателями? Фрагмент записи
выступления Романа Солнцева (круглый стол
в Москве, 08.09.2005г.) 191

<i>Виктория Кинг. На смерть поэтов</i>	194
<i>Марианна Фаликова. Когда бессмертие «коллективу» не нужно</i>	195

Рецензии

<i>Татьяна Багрова. Городок, в котором ничего не происходит (о рассказах Светланы Василенко, «Новый мир», 2005-2006)</i>	199
<i>Олег Курзанцев. «На добрый вспомин...» (о новой книге Александра Лейфера)</i>	204
<i>Ксения Тилло. «Код да Винчи»: может ли бестселлер повлиять на ментальность человечества?</i>	207

Памятки истории

<i>Алексей Тепляков. Сибирь: процедура исполнения смертных приговоров в 1920-1930-х годах</i>	213
<i>Михаил Шмүлёв. Воспоминания о Карлаге</i>	277
<i>Александр Водолазов. Там, за далью непогоды. Описание жизни Александра Васильевича Светакова (окончание. Начало см. «ГС» №3)</i>	283

Сибирский дневник

<i>Алексей Тепляков. Дневник чекиста Семёнова, или голгофа воинствующего троцкиста и безбожника</i>	335
<i>Дневник чекиста Семёнова</i>	340

К 185-летию Ф.М. Достоевского

<i>Виктор Вайнерман. Достоевский в Омске. Воспоминания, легенды, мифы</i>	369
<i>Светлана Ананьева. Время - пространство - автор</i>	400
<i>Светлана Ананьева. Творчество Достоевского и Тургенева в ракурсе мотива блудного сына (отзыв на новую книгу барнаульской исследовательницы Валентины Габдуллиной)</i>	430

Памяти достоевсковеда Н. Феоктистова

<i>Виктор Вайнерман. Рассказ «Неизвестного» или снова о Николае Васильевиче Феоктистове</i>	435
<i>Николай Феоктистов. Воскрешение из мёртвых</i>	437

Лев Толстой и Сибирь

<i>Марина Борисова. Ищем добро и справедливость. А они рядом... ..</i>	465
<i>Анна Малород. В лагерях. Записки учительницы толстовской школы (1930-е гг.)</i>	470
<i>Борис Гросбейн. Мои встречи с Анной Степановной Малород</i>	547
<i>Обращение потомков коммунаров-толстовцев в Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации</i>	551

Сибирь - Казахстан

<i>Мэри Кушникова. Песни песков</i>	559
<i>Юрий Гинатулин. Казахские мотивы</i>	680

Мы - о них

<i>Георгий Петрович. Мой Париж</i>	683
--	-----

Роман с продолжением

<i>Николай и Светлана Пономарёвы. Город без войны (продолжение. Начало см. «ГС» №3)</i>	691
<i>Олег Курзанцев. Побег (фантастическая история)</i>	705

От межи, от сохи, от покоса...

<i>Валентина Кузина. За гранью пашни (продолжение. Начало см. «ГС» №3)</i>	721
<i>Антонина Пегушина. Самовары</i>	737

Состарившимся детям

<i>Татьяна Багрова. Няня для Ньюши</i>	761
<i>Мира Левина. Между Западом и Востоком</i>	778

Обитателям пещер

<i>Александр Болотов. Видения смутного времени</i>	783
--	-----

Одинокий голос человека

<i>Светлана Василенко. На еврейском кладбище... ..</i>	795
<i>Примечания... ..</i>	799

ГОЛОСА СИБИРИ

Выпуск четвёртый

Подписано к печати Формат
Бумага офсетная № Печать офсетная. Усл. печ. л.
Тираж экз. Заказ №

Издательство «Кузбассвуиздат».
650043, г. Кемерово, ул. Ермака, 7. Тел. (384-2)-58-34-48

internet: www.kvi.bip.ru e-mail: 582934@rambler.ru